

**Энтони Бёрджесс
ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН
ТРЕПЕТ НАМЕРЕНИЯ**

ТРЕПЕТ НАМЕРЕНИЯ



Энтони Берджес

Энтони
Дёрдже

Заводной
Апельсин

•
Трепет
намерения

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»
1992



ПЕРЕВОДЫ С АНГЛИЙСКОГО

ОФОРМЛЕНИЕ
ЛЯШЕНКО А. Я., РАКОВСКОГО Г. А.

Б 4703010101—2900 2900—92
080(02)—92
ISBN 5—253—00716—4

- © Бошняк В.
Перевод. 1991.
- © Смолянский А.
Перевод. Комментарии.
1991.
- © Ляшенко А. Я., Раковский Г. А.
Оформление. 1992.

ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН

Роман

Часть первая

1

— Ну, что же теперь, а?

Компания такая: я, то есть Алекс, и три моих druga, то есть Пит, Джорджик и Тём, причем Тём был и в самом деле парень темный, в смысле gluruı, а сидели мы в молочном баре «Когова», шевеля тоzgoı насчет того, куда бы убить вечер — подлый такой, холодный и сумрачный зимний вечер, хотя и сухой. Молочный бар «Когова» — это было zavedeniye, где давали «молоко-плюс», хотя вы-то, блин, небось уже и запомнили, что это были за zavedeniya: конечно, нынче ведь все так скоро меняется, забывается прямо на глазах, всем plevatt, даже газет нынче толком никто не читает. В общем, подавали там «молоко-плюс» — то есть молоко плюс кое-какая добавка. Разрешения на торговлю спиртным у них не было, но против того, чтобы подмешивать кое-что из новых shtutshek в доброе старое молоко, закона еще не было, и можно было pitt его с велосетом, дренкромом, а то и еще кое с чем из shtutshek, от которых идет тихий baldiozh, и ты минут пятнадцать чувствуешь, что сам Господь Бог со всем его святым воинством сидит у тебя в левом ботинке, а сквозь тоzг проскакивают искры и фейерверки. Еще можно было pitt «молоко с ножами», как это у нас называлось, от него шел tortsh, и хотелось dratsing, хотелось gasitt кого-нибудь по полной програм-

ме, одного всей kodloi, а в тот вечер, с которого я начал свой рассказ, мы как раз это самое и пили.

Карманы у нас ломились от babok, а стало быть, к тому, чтобы сделать в переулке toltshok какому-нибудь старому hanuge, obtriasi его и смотреть, как он плавает в луже крови, пока мы подсчитываем добычу и делим ее на четверых, ничто нас, в общем-то, особенно не понуждало, как ничто не понуждало и к тому, чтобы делать krasting в лавке у какой-нибудь трясушейся старой ptitsy, а потом gvatt kogti с содержимым кассы. Однако недаром говорится, что деньги это еще не все.

Каждый из нас четверых был prikinut по последней моде, что в те времена означало пару черных штанов в обликпу со вшитой в шагу железной чашкой, вроде тех, в которых дети пекут из песка куличи, мы ее так песочницей и называли, а пристраивалась она под штаны как для защиты, так и в качестве украшения, которое при определенном освещении довольно ясно вырисовывалось, и вот, стало быть, у меня эта штуковина была в форме паука, у Пита был guker (рука, значит), Джорджик этакую затейливую раздобыл, в форме tsvetujotshka, а Тём додумался присобачить нечто вовсе паскудное, вроде как бы клоунский mordet (лицо, значит), — так ведь с Тёма-то какой спрос, он вообще соображал слабо, как по zhizni, так и вообще, ну, темный, в общем, самый темный из всех нас. Потом полагались еще короткие куртки без лацканов, зато с огромными накладными плечами (s myshtsoi, как это у нас называлось), в которых мы делались похожими на карикатурных силачей из комикса. К этому, блин, полагались еще галстучки, беловатенькие такие, сделанные будто из картофельного пюре с узором, нарисованным вилкой. Волосы мы чересчур длинными не отращивали и башмак носили мощный, типа govnodav, чтобы пинаться.

— Ну, что же теперь, а?

За стойкой рядышком сидели три kisy (девчонки, значит), но нас, ratsanov, было четверо, а у нас ведь как — либо одна на всех, либо по одной каждому. Kisy были прикинута дай Бог — в лиловом, оранжевом и зеленом париках, причем каждый тянул никак не меньше чем на трех- или четырехнедельную ее зарплату, да и косметика соответствовала (радуги вокруг glazzjev и широко размалеванный rot). В ту пору носили черные

платья, длинные и очень строгие, а на grudiah маленькие серебристые значочки с разными мужскими именами — Джо, Майк и так далее. Считалось, что это malltshiki, с которыми они ложились spatt, когда им было меньше четырнадцати. Они все поглядывали в нашу сторону, и я уже чуть было не сказал (тихоенько, разумеется, уголком рта), что не лучше ли троим из нас слегка porozvittija, а бедняга Тём пусть, дескать, отдохнет, поскольку нам всего-то и проблем, что postavitt ему пол-литра беленького с подмешанной туда на сей раз дозой синтемески, хотя все-таки это было бы не по-товарищески. С виду Тём был весьма и весьма отвратен, имя вполне ему подходило, но в mahatshe ему цены не было, особенно liho он пускал в ход govnođavu.

— Ну, что же теперь, а?

Напугик, сидевший рядом со мной на длинном бархатном сиденье, идущем по трем стенам помещения, был уже в полном otjezde: glazzja остекленевшие, сидит и какую-то тигрицу бубнит типа «Работы хрюк-хрюк Аристотеля брым-дрым становятся основательно офиговательны». Напугик был уже в порядке, вышел, что называется, на орбиту, а я знал, что это такое, сам не раз пробовал, как и все прочие, но в тот вечер мне вдруг подумалось, что это все-таки подлая shtuka, выход для трусов, блин. Выпьешь это хитрое молочко, свалишься, а в bashke одно: все вокруг bred и hrepovina, и вообще все это уже когда-то было. Видишь все нормально, очень даже ясно видишь — столы, музыкальный автомат, лампы, kisok и malltshikov, — но все это будто где-то вдалеке, в прошлом, а на самом деле ni hrega и нет вовсе. Уставишься при этом на свой башмак или, скажем, на ноготь и смотришь, смотришь, как в трансе, и в то же время чувствуешь, что тебя словно за шкуру взяли и трясут, как котенка. Трясут, пока все из тебя не вытрясут. Твое имя, тело, само твое «я», но тебе plevatt, ты только смотришь и ждешь, пока твой башмак или твой ноготь не начнет желтеть, желтеть, желтеть... Потом перед глазами как пойдет все взрываться — прямо атомная война, — а твой башмак, или ноготь, или там грязь на штанине растет, растет, блин, пухнет, вот уже весь мир, zagaza, заслонила, и тут ты готов уже идти прямо к Богу в рай. А возвратишься оттуда раскисшим, хныкающим, morgder перекошен — уу-ху-ху-хууу. Нормально, в общем-то, но трусовато как-то. Не для того мы на бе-

лый свет попали, чтобы общаться с Богом. Такое может все силы из парня высосать, все до капли.

— Ну, что же теперь, а?

Радиола играла вовсю, причем стерео, так что *golosnia* певца как бы перемещалась из одного угла бара в другой, взлетала к потолку, потом снова падала и отскакивала от стены к стене. Это Берти Ласки наяривал одну старую *shtuku* под названием «Слупн с меня краску». Одна из трех *kisok* у стойки, та, что была в зеленом парике, то выпячивала живот, то снова его втягивала в такт тому, что у них называлось музыкой. Я почувствовал, как у меня пошел *torsh* от ножей в хитром молочишке, и я уже готов был изобразить что-нибудь типа «куча-мала». Я заорал «Ноги-ноги-ноги!» как зарезанный, треснул отъехавшего *hapugi* по чану или, как у нас говорят, *v tyukvi*, но тот даже не почувствовал, продолжая бормотать про «телефоническую бармахлюндию и грануляндию, которые всегда тыры-дырбум». Когда с небес возвратится, все почувствует, да еще как!

— А куда? — спросил Джорджик.

— Какая разница, — говорю, — там *glianem* — может, что и подвернется, блин.

В общем, выкатились мы в зимнюю необъятную *potsh* и пошли сперва по бульвару Марганита, а потом свернули на Бутбай-авеню и там нашли то, что искали, — маленький *toltsbok*, с которого уже можно было начать вечер. Нам попался ободранный *stari kashka*, немощный такой *tshelovek* в очках, хватающий разинутым *hlebalom* холодный ночной воздух. С книгами и задрозганным зонтом под мышкой он вышел из публичной *biblio* на углу, куда в те времена нормальные люди редко заходили. Да и вообще, в те дни солидные, что называется, приличные люди не очень-то разгуливали по улицам после наступления темноты — полиции не хватало, зато повсюду шныряли разбитные *malltshipalltshiki* вроде нас, так что этот *stari* профессор был единственным на всей улице прохожим. В общем, *podgulivajem* к нему, все аккуратно, и я говорю: «Извиняюсь, блин».

Глянул он на нас этак *ruglovato* — еще бы, четверо таких *ambalov*, да еще откуда ни возьмись, да с ухмылочками, но ничего, отвечает. «Я вас слушаю, — говорит, — в чем дело?» — причем этак зычно, учительским тоном: пытается, значит, представить, будто он и не *ruglyi* вовсе. Я говорю:

— Вижу вот книжонки у тебя под мышкой, блин. Редкостное, можно сказать, удовольствие в наши дни встретить человека, который что-то читает.

— Да ну,— сказал он, весь дрожа.— Неужто? Впрочем, да, да.— А сам все смотрит на нас, на одного, другого, в глаза заглядывает, уже стоя посередине такого улыбочивого аккуратного квадрата.

— Ага,— говорю.— Очень было бы интересно глянуть, блин, если разрешишь, конечно, что это у тебя за книжки такие. Больше всего на свете люблю хорошенькие чистенькие книжки.

— Чистенькие?— удивился он.— Хм, чистенькие.— И тут Пит хватъ у него из-под мышки всю его drebedeni и скоренько нам раздал. Каждому по книжке досталось, кроме Тёма. Та, что оказалась в руках у меня, называлась «Введение в кристаллографию», я раскрыл ее и говорю: «Здóрово, первый сорт», а сам страницы листаю, листаю. И вдруг говорю таким голосом раздраженным:

— Эт-то еще что такое? Гадкое слово, мне на него и глядеть-то стыдно. Ох, разочаровал ты меня, братец, ох, разочаровал!

— Но где?— засуетился он.— Где? Где?

— Ого,— вступил Джорджик,— вот уж где грязь так грязь! Вот: одно слово на букву «х», а другое на «п».— У него была книга под названием «Загадки и чудеса снежинок».

— Надо же,— присоединился к нам и balbesina Тём, глядя через плечо Пита и, как всегда, perebarstshivaja.— И впрямь, все как по нотам: и чего куда, и на картинке показано. Слушай,— говорит,— да ты же просто грязный kozlina!

— И это в таком почтенном возрасте, ай-яй-яй,— заговорил снова я, принимаясь рвать попавшую мне в руки книгу пополам, а мои друзья занялись тем же с остальными книгами, а особенно старались Тём с Питом, вдвоем справляясь с «Ромбоэдрическими структурами». Stari intell сразу в kritsh: «Они не мои! Хулиганство! Вандализм! Это муниципальная собственность!»— или что-то вроде. Попытался даже вроде как вырвать книги у нас из рук, но это уж вовсе была hohma.

— Что ж, придется тебя, братец, проучить,— сказал я.— Достукался.— Причем оказавшийся у меня в руках учебник был переплетен очень крепко, нелегко было устроить ему gazdgyzg — еще бы, книга была старая, вы-

пущенная во времена, когда все делали очень добротнo, вроде как не на один день, но я все же выдиpал из нее страницы, комкал и осыпал ими *stari kashku*, они кружились и летали в воздухе, словно огромные снежинки, при этом мои друзья делали то же самое, и только Тём просто плясал вокруг и кривлялся — клоун и есть клоун.

— Вот тебе, вот тебе,— приговаривал Пит.— Получай под расписку, погань, грязный порнографист!

— Поганое ты *otroddje, padla*,— сказал я, и начали мы *shustritt*. Пит держал его за руки, а Джорджик раскрыл ему пошире *pastt*, чтобы Тёму удобней было выдрать у него вставные челюсти, верхнюю и нижнюю. Он их швырнул на мостовую, а я поиграл на них в каблучок, хотя тоже довольно крепенькие попались, гады, из какого-то, видимо, новомодного суперпластика. *Kashka* что-то там нечленораздельное зачмокал — «чак-чук-чук», а Джорджик бросил держать его за *gubiohi* и сунул ему *toltsbok* кастетом в беззубый рот, отчего *kashka* взвыл, и хлынула кровь, блин, красота, да и только. Ну, а потом мы просто раздели его, сняв все до нижней рубахи и кальсон (*staryh-staryh*; Тём чуть *bashku* себе на них глядя не *othohotal*), потом Пит *laskovo* лягнул его в брюхо, и мы оставили его в покое. На заплетающихся ногах он пошел прочь — мы ему не очень-то сильный *toltsbok* сделали,— только все охал, не понимая, где он и что с ним, а мы похихикали *tshutok* и прошлись по его карманам, пока Тём выплясывал вокруг с замызганным зонтиком, но в карманах мы мало чего обнаружили. Нашли несколько старых писем, из которых некоторые, написанные еще в шестидесятых, начинались с «милый мой дорогой» и всякой прочей *driani*, еще нашли связку ключей и старую пачкающуюся авторучку. Старина Тём прервал свою пляску с зонтиком и, конечно же, не выдержал — принялся читать одно из писем вслух, вроде как чтобы показать всей пустой улице, что он умеет читать. «Мой дорогой,— начал он своим писклявым голосом,— пока тебя нет со мной, я буду все время о тебе думать, а ты не забывай, пожалуйста, одевайся потеплее, когда выходишь из дому вечерами». Тут он выдал *gromki* такой *smeh* — «ух-ха-ха-ха» — и притворился, будто вытирает этим письмом себе *jatu*.

— Ну ладно,— сказал я.— Завязываем, блин.

В карманах брюк у *stari kashki* нашлось немного *babok* (денег, стало быть) — не больше трех *hrustov*, так

что всю его melotshiovku мы раскидали по улице, потому что все это было курам на смех по сравнению с той капустой, что распирала наши карманы. Потом мы разломали зонтик, всем тряпкам и одежде устроили gazdzyzg и разметали их по ветру, блин, и на том со старым kashkoi-учителем было покончено. Конечно, я понимаю, то был вариант, так сказать, усеченный, но ведь и вечер еще только начинался, так что никаких всяких там извини-нини-ненний я ни у кого за это не просил. «Молоко с ножами» к тому времени как раз начинало чувствоваться, что называется, budte zdraste.

На очереди стояло сделать смазку, то есть слегка разгрузиться от капусты, тем самым, во-первых, обретя дополнительный стимул, чтобы triahnutt какую-нибудь лавочку, а во-вторых, купив себе заранее алиби, и мы пошли на Эмис-авеню в пивную «Дюк-оф-Нью-Йорк», где не бывало дня, чтобы в закутке не сидели бы три или четыре babusi, lakaja помойное пиво на последние грошовые остатки своих ГП (государственных пособий). Тут мы уже выступали такими pai-malltshikami, улыбались, делали благовоспитанный zdrasting, хотя старые вешалки все равно от страха были в отпаде, их узловатые, перевитые венами gikegy затряслись, расплескивая пиво из стаканов на пол.

— Оставьте нас в покое, ребятки,— сказала одна из них, вся такая морщинистая, будто ей тысяча лет,— не трогайте бедных старух.— Но мы только зубами блесь-блесь, расселись, позвонили в звонок и стали ждать, когда придет официант. Он явился, нервно вытирая руки о грязный фартук, и мы заказали себе четыре «ветерана», а «ветеран» — это в те времена был такой коктейль очень модный из рома и шерри-бренди, а еще некоторые любили добавить туда сок лайма — тогда это называлось «канадский вариант». А я и говорю официанту:

— А ну-ка, обслужи babushek по полной программе. Всем по двойному виски и еще дай им чего-нибудь взять с собой.— Я вывалил из кармана на стол весь свой запас deng, и трое моих друзей сделали то же самое — ох, времена были! В общем, появились на столе у perepuglyh старых вешалок стаканы с горючкой, а они сидят ни живы ни мертвы и не знают, чего сказать. Насилу одна из них выдавила: «Спасибо, ребятки», но по ним было видно: смекнули уже, что тут дело нечисто. Ладно, вы-

дали мы им по бутылке «Янк-Дженерал» — коньяка, значит, причем это уже с собой, а я еще дал deng, чтобы им с утречка принесли на дом по дюжине пива, а они, дескать, пусть только свои voniutshije адреса рассылному оставят. Потом на оставшуюся капусту мы скупил в zabegalovke все пироги, крекеры, бутерброды, чипсы и шоколадки, и все это тоже для старых кочерыжек. Потом говорим: «Stshias вернемся», и под бормотанье старых куриц — мол, спасибо, ребятки, дай Бог вам здоровья, мальчики — мы уже пошли на выход без единого цента deng в карманах.

— Ну и ну, прям что в самом деле какие-то мы dobery, — сказал Пит. Причем явно наш темный Тём ни в зуб игой не vjezzhaejt, но он помалкивал, чтобы мы не назвали его лишней раз glupym и bezmozglym. Ну и пошли мы тут же за угол на Эттли-авеню, там в тот час еще работала лавка, где продавали сласти и tsygarki. Мы сюда уже месяца три как не заходили, на улице было тихо, пустынно — ни милисентов с автоматами, ни всяких там патрулей ополчения, которые в те дни все больше по ту сторону реки ошивались. Надели мы маски — тогда это было новшество, чудненькие такие, в самом деле baldiozhno сделаны в виде лиц всяких исторических персонажей (когда покупаешь, тебе в магазине сразу и фамилию его говорят), так что я был Дизраэли, Пит был Элвис Пресли, Джорджик был Генрих VIII, а Тём был поэт по имени П. Б. Шелли; маски были просто отпад: волосы и всякое такое, и еще специальная пластмассовая штучка приделана — дернешь, и вся fignia тут же скатывается трубочкой, чтобы, когда дело сделано, спрятать в сапог; в общем, надели и втроем вошли. Пит остался снаружи на striome — не то чтобы это так уж нужно было, просто на всякий rozhagnj. Очувившись в лавке, мы тут же бросились к Слаузу — он там хозяином был, толстый такой kashka с пивным брюхом, который сразу все ropj и кинулся к себе в коитору, где у него был телефон, а может, даже и хорошо смазанная шестизарядная pushka. Тём лихо перемахнул прилавок, взметнув ворох пачек с куревом, которые с треском ударили в большой плакат, на котором какая-то kisa демонстрировала покупателям zuby и gjudi для рекламы очередной марки mahyu. Все, что можно было vidett потом, это единый ком, в который сплелись старина Тём и Слауз, покотившиеся за штору в подсобку. Потом можно было только slyshatt хрипы

и удары за шторой, грохот падения каких-то vestshei, ругань, а потом звон стекол: дзынь-ля-ля! Мамаша Слауз, жена хозяина, так и замерла, словно примерзла к полу за прилавком. Ясно, что, дай ей волю, она сразу подымет kritsh — убивают, мол, и тому подобный kal, поэтому я скоренько заскочил за прилавок, sgrabastal ee и тоже смял в ком, ощутив в ноздрях vonn ee парфюмерии, а под руками ее трясущиеся обвислые grudi. Я зажал ей rot своей grablei, чтобы она не bazlala на весь большой свет о том, что ее грабят и убивают, но эта подлая шутка так укусила меня за ладонь, что я сам испустил дикий kritsh, а потом уже и она завопила на всю вселенную, призывая ментов, то есть милисентов. В общем, пришлось выдать ей toltshok гирей от весов, а потом поработать над ней ломиком, которым они ящики распечатывали, и тут уж она как миленькая заплясала под красным флагом. Повалили мы ее по полу, shmotki, конечно, на ней vrazdryzg, но это уж так, dlia baldy — и slegontsa попинали govподavami, чтобы прекратила свой kritsh. А когда я увидел, как она лежит, выкатив наружу grudi, я еще подумал, может, заняться, но нет, это у нас было намечено на потом. Взяли мы кассу — очень, кстати, неплохо рiподnialiss — и с несколькими блоками лучших tsygarok, блин, svalili.

— Ну и тяжелый же хряк-то он оказался, — все повторял Тём.

Вид Тёма мне не понравился: грязный какой-то, взъерошенный, явно после драки, что, конечно, верно, однако истина истиной, а вид будь любезен иметь подобающий. Галстук такой, будто по нему ногами ходили, маска съехала, mordog в пыли, и мы втащили Тёма в переулок, где, посплюнув платки, tshutok его подправили, убрали кое-какую griazz. Чего не сделаешь ради дружбы! Назад в пивную «Дюк-оф-Нью-Йорк» мы возвратились очень скоро, я по часам проверил: нас не было каких-нибудь минут десять. Престарелые babushki все еще сидели, попивая пиво и виски, которое мы им поставили, и я сказал: «Привет, девчата, как житуха?» Они опять за свое: «Спасибо, ребятки, дай Бог вам здоровья, мальчики», а мы позвонили в kolokol, пришел на сей раз другой официант, и мы заказали пива с ромом — ужасно пить, блин, захотелось; поставили выпивку и старым вешалкам — на их выбор. Потом я сказал babushkam: «Мы ведь никуда отсюда не выходили, правда же?»

Все время здесь были, верно?» До них все мгновенно doshlo, отвечают:

— Все верно, ребята. Ни на минуту с глаз не отлучались, как Бог свят. Благослови вас Господь, мальчики.— И снова за стаканы взялись.

Впрочем, это вряд ли было так уж важно. Прошло меньше получаса, прежде чем менты начали проявлять признаки жизни, да и то пришли всего лишь каких-то два молоденьких мусора, все такие розовенькие под shlemami. Один говорит:

— Эй вы, кодла, вы что-нибудь знаете про то, что случилось только что в лавке Слауза?

— Мы? — невинным тоном спрашиваю я.— А что там такое случилось?

— Грабеж, избиеение. Двое госпитализированы. А ваша кодла где была нынче вечером?

— Нечего со мной таким тоном разговаривать,— отвечаю.— Я на эти ваши подколки плевать хотел. Мне, блин, вообще не нравится ваша манера общения.

— Эти ребята все время здесь были,— вступились за нас старые veshalki.— Дай Бог им здоровья, уж такие парнишки чудные, такие добрые, щедрые! Онн все время здесь были, ни на минуту не отлучались. Уж мы-то видели бы, если что не так.

— Мы просто спросили,— примирительно отозвался молоденький мент.— Работа у нас такая, что ж поделаешь.— Однако, уходя, он окинул нас довольно мрачным и подозрительным взглядом. Мы проводили их громким, исполненным на губах, салютом: пыр-дыр-дыр-дыр! Но лично сам я находил события той ночи, да и предыдущих тоже, слегка разочаровывающими. Толком даже и подраться не с кем. Все просто, как поцелуй в ямичку. Впрочем, вечер был весь еще впереди.

2

Выходя из пивной «Дюк-оф-Нью-Йорк», мы сквозь ее широкую витрину zasekli старого hronika, в смысле пьяницу, распевавшего поганые песни своих поганых предков, а в промежутках икавшего и рыгавшего так, будто у него в прогнивших вонючих кишках целый поганый оркестр. Если есть vestsh, ktorую я не выношу, так это именно такое поведение. Ну не могу я смотреть, когда muzhik грязный, качается, рыгает пьяным своим выхло-

ном, сколько бы ему лет ни было, однако в особенности когда он такая старая obrazina, как этот. Он стоял, будто илипнув в стену, в жутком и изгвазданном виде — штаны мятые, на них giaz, kal и Бог знает что еще. Пришлось ии него взяться, пару раз хорошенько vgezatt, но все равно он продолжал горланить. Песня была такая:

Будем вместе мы, моя милая,
Хоть ушла ты далеко.

Но когда Тём сделал ему несколько раз toltshok кулаком по поганым его zubbjam, пьяница петь перестал и заголосил: «Давайте, кончайте меня, трусливые выродки, все равно я не хочу жить, не хочу я жить в таком подлом сволочном мире!» Я велел Тёму слегка tomoz-puttsla, потому что иногда мне интересно бывало послушать, что эти старые hapugi имеют сказать насчет жизни и устройства мира. Я сказал: «О! А отчего это мир, по-твоему, такой уж подлый?»

Он выкрикнул: «Это подлый мир, потому что в нем позволяется юнцам вроде вас на стариков нападать, и никакого уже ни закона не осталось, ни порядка». Он орал во всю мочь, в такт словам размахивал gukegamі, однако kishki его продолжали изрыгать все те же блыр-длыр, словно у него внутри что-то крутится или будто сидит в нем какой-то настырный и грубый muzhik, который нарочно его zaglushajet, и stari kashke приходится воевать с ним кулаками, продолжая орать: «В этом мире для старого человека нет места, а вас я не боюсь вовсе, потому что я так пьян, что бейте сколько хотите — все равно я боли не почувствую, а убьете, так только рад буду сдохнуть!» Мы похмыкали, похихикали, но ничего ему не отвечали, а он продолжал: «Что это за мир такой, я вас спрашиваю! Человек на Луне, человек вокруг Земли крутится, как эти жуки всякие вокруг лампы, и при этом никакого уважения нет ни к закону, ни к власти. Давайте, делайте, что задумали, хулиганы проклятые, выродки подлые!» И после этого он выдал нам тот же исполненный на губах салют: пыр-дыр-дыр-дыр! — точно такой же, каким мы проводили молоденьких ментов, и тут же снова запел:

Я за родину кровь проливал
И с победой вернулся домой —

так что пришлось его slegontsa zagasitt, что мы и сделали, веселясь и хохоча, но он все равно продолжал горла-

нить. Тогда мы ему так vrezali, что он повалился навзничь, выхлестнув целое ведро пивной блевотины. Это было так отвратно, что мы, каждый по разу, пнули его сапогом, и уже не песни и не блевотина, а кровь хлынула из его поганой старой pasti. Потом мы отправились своей дорогой.

Только это мы подошли к районной электростанции, как появился Биллибой со своими пятью koreshami. Дело тут вот в чем: в те дни, блин, парни ходили больше четверками и пятерками, вроде как автомобильными командами, поскольку четверо — это как раз экипаж для машины, а шестеро — уже вообще верхний предел. Временами несколько таких небольших шаек объединялись в одну большую, чтобы получилось что-то вроде армии для ночного сражения, но чаще всего бывало удобней болтаться по городу мелкими группками. Биллибой меня дико раздражал, до тошноты, я просто видеть не мог его толстый ухмыляющийся mordeg, к тому же от него еще и vonialo словно пережаренным жиром, пусть даже он, как в тот раз, был разодет в лучшие shmotki. Мы zasekli их, они нас, и принялись мы друг за другом потихому pabliudatt. Тут-то уж дело намечалось стоящее, будь спок: pozh, tsepp, britva, а не какие-нибудь там кулачки с каблучками. Биллибой с koreshami tormoznuliss, бросив на полпути задуманное — что-то они там такое собирались делать с плачущей devotshkoi, которой было лет десять, не больше; она у них уже в kritsh пустилась, но платье все еще было на ней, причем Биллибой держал ее за один guker, а его первый друг Лео — за другой. Они, видимо, занимались как раз матерной частью, а к материальной собирались перейти чуть позже. Увидели на подходе нас и тут же melkuju kisu отпустили: иди-иди, hnykalka, таких, как ты, на пятак ведро, и она бросилась прочь, посверкивая в темноте белизной тощих коленок и продолжая повизгивать: «Ой-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй!» А я — с такой еще улыбкой, широкой, дружеской — и говорю: — Кого я вижу! Надо же! Неужто жирный и вонючий, неужто мерзкий наш и подлый Биллибой, koziol и svolotsh! Как поживаешь, ты, kal в горшке, пузырь с касторкой? А ну, иди сюда, оторву тебе beitsy, если они у тебя еще есть, ты евнух drotshenyi! — И с этого началось.

Нас было четверо против шестерых, хотя это я уже говорил, но зато у нас был balbesina Тём, который, при

ней своей тупости, один стоил тронх по злости и владению всеми подлыми хитростями драки. У Тёма вокруг пояса была дважды обернута увесистая tsepp, он размотал ее и принялся shugovatt ею у недругов перед глазами. У Пята с Джорджиком были замечательные острые pozhi, я же, в свою очередь, не расставался со своей любимой старой очень-очень опасной britvoi, с которой управлялся в ту пору артистически. И пошла у нас загуби в потемках — старушка-луна с людьми на ней только-только еще вставала над горизонтом, а звезды посверкивали, будто pozhi, которым тоже хочется vstriatt в наш dratsing. Одному из друзей Биллибоя я ухитрился бритвой испорить спереди всю одежду, аккуратненький такой tizlez сделал, даже не коснувшись под shmotkami тела. В драке этот приятель Биллибоя не сразу обнаружил, что бегаёт весь нараспашку, как лопнувший стручок, смеркая голым животом и болтая beitsami, а когда заметил, вышел из себя настолько, что Тём с легкостью до него добрался — ш-ш-ш-асть его tseppju по glazzjam, и покатился, болезный, кубарем, вопя и забывая. Успехивно сопутствовал нам, и вскоре мы уже взяли главного помощника Биллибоя в каблучки: ослепленный ударом цепи Тёма, он ползал и выл, как животное, но получив наконец хороший toltshok по tykve, замолк.

Из нас четверых вид, как обычно, хуже всех был у Тёма: лицо в крови, шмотки грязным комом, зато остальные были в полном порядке. Осталось мне только добраться до вонючки Биллибоя, вокруг которого я плясал со своей britvoi в руке, как какой-нибудь корабельный парикмахер в очень бурную погоду, — вот-вот ropishu его по грязной его поганой hare. У Биллибоя был pozh — длинный такой выдвижной клинок, но он tshutok отставал с ним от событий и особого вреда никому причинить не мог. Да, блин, истинное было для меня наслаждение выплясывать этот вальсок — левая, два-три, правая, два-три — и чиркать его по левой щечке, по правой щечке, чтобы как две кровавые занавески вдруг разом задергивались при свете звезд по обеим сторонам его пакостной жирной физиономии. Вот уже льется кровь, бежит, бежит, но Биллибой явно ни figa не чувствует, по-прежнему топчется со своим дурацким pozhom, как разжиревший voniutshi медведь, а достать меня не может.

Тут послышались сирены — на подходе были менты

с пушками наготове, выставленными во все окна полицейской машины. Та hnykalka, должно быть, уже рго-jabedala — будка для вызова мусоров была неподалеку, сразу за районной электроподстанцией.

— Ладно, не бойсь,— крикнул я напоследок,— ko-ziol vonючий. Я тебе еще beitsy поотрезаю.

С тем они и побежали прочь — все, кроме главного их molotily по имени Лео, который посапывал, лежа на земле,— медленно, отдуваясь, побежали они к северу, в сторону реки, а мы пошли в противоположном направлении. Как раз за следующим поворотом обнаружился переулоч, пустой и темный и собоих концов открытый для отхода, и там мы передохнули, сперва быстро-быстро хватая воздух, потом все спокойнее и наконец стали дышать нормально. Было это подобно отдыху между подножиями двух ужасающих огромных гор, чьи роли отводились двум многоквартирным корпусам, во всех окнах которых плясали быстрые голубоватые сполохи. Все смотрели telik. В тот день происходило то, что у них называлось всемирным вещанием — одну и ту же программу передавали по всему миру, кому угодно, а угодно главным образом бывало людишкам средних лет и среднего достатка. Выступал обычно либо какой-нибудь дурацкий знаменитый клоун, либо певец-негр, и всю эту volynku ловили в космосе специальные телевизионные спутники и отбрасывали обратно на Землю. Подождали мы, попыхтели, слышнм — менты с сиренами катят на восток,— ну, все, значит, пронесло, как говорится. Один balbesina Тём не радовался, все глядел вверх на звезды, на планеты, на Луну эту самую, причем с таким открытым gotom, будто он ребенок и никогда ничего подобного прежде не видывал; глядел-глядел да и выдал:

— Интересно, есть там на них что-нибудь? Вообще, что там наверху может быть?

Я сильно ткнул ему в бок, сказав:

— Ну ты, глупый ubliudok! Не твоего ума дело. Скорей всего там такая же zhiznn, как здесь: одни режут, а другие подставляют брюхо под pozh. А сейчас, пока еще не вечер, пойдем-ка, бллин, дальше.

Ребята посмеялись, но balbesina Тём поглядел на меня серьезно, а потом снова уставился на звезды и на Луну. И мы пошли по переулку дальше, под голубоватыми сполохами этого самого всемирного вещания с обенх сторон. Теперь нам требовалось заполнить ма-

шину, и мы, выйдя из переулка, свернули влево, где раскинулась площадь Пристли-плейс, как мы определили по сразу же бросившейся в глаза большой бронзовой статуе какого-то старого поэта с обезьяньей верхней губой и всунутой в немощный дряхлый гоt трубой. Шагая к северу, мы вышли к старому замызганному Фильмодрому — облупившейся развалюхе, пришедшей в полный упадок, потому что туда ходили разве что malltshiki вроде меня и моих дружков, да и то лишь для того, чтобы сделать кому-нибудь toltshok или gazrez либо заняться в темноте добрым старым sunn-vunn. Судя по закрававшему фасад Фильмодрома рекламному щиту, где, кроме всего прочего, имелось два-три засиженных мухами кадра из предлагавшейся картины, фильм, по обыкновению, был ковбойским боевнком, причем на стороне шерифа там, естественно, дерутся сплошные ангелы, которые со страшной силой лупят из револьверов по мерзавцам противника — этакая долбежно-напыщенная vestsh, из тех, что, по милости Госфильма, во множестве наводняли в те времена экраны. Машины, припаркованные у киношки, в большинстве своем были, прямо скажем, не подарок, дряхлые и разболтанные, однако одна была поновее — «дюранго» 95-го года, и я решил, что эта подойдет. У Джорджика на связке с ключами имелись и отмычки, дубль-дизель, как они тогда назывались, и вскоре мы были уже в машине — Тём с Питом сели сзади, начальственно попыхивая tsygarkami, а я включил зажигание, завел, и машина недурственно затарахтела, пробуждая в кишках приятное такое, теплое трепетанье. Ногу на педаль, со стоянки задним ходом, и понеслась — только нас и видели.

Мы немножко покрутились по задворкам, на переходах распугивая stari kashek и babushek, зигзагами гоняясь за кошками и так далее. Потом мы свернули к западу. Движения на дороге было немного, и я знай себе давил педаль до упора, так что «дюранго» заглатывал дорогу, как спагетти. Вскоре мимо побежали зимние деревья, стало темно, как бывает только за городом, а в одном месте я переехал что-то большое, с ощеренным зубастым гоtот, мелькнувшим в свете фар, после чего это что-то завершало, хрустнув под колесами, и старина Тём на заднем сиденье чуть себе bashku напрочь не отхохотал. Потом попался нам молоденький парнишка, который obzhimalsia со своей подружкой под деревом,

мы остановились, поулюлюкали tshutok, потом немножко их для порядку rotuzili, дождались, когда они поднимут kritsh, и уехали. У нас была задумана операция «незванный гость». Вот где можно будет от души повеселиться, размять кости и robestshinstvovatt. Наконец приехали в какой-то поселок, на краю которого был маленький коттеджик — торчит себе на отшибе, и маленький садик при нем. Луна стояла уже высоко, коттеджик виднелся очень явственно, я подкатил, поставил машину на тормоз и, покуда остальные трое хихикали, как bezupni, я разглядел на воротах надпись «ДОМ» — мрачноватое, надо сказать, название для усадьбы. Я вышел из машины, приказав kogesham вести себя потише и притвориться серьезными, потом открыл калитку и подошел к двери. Вежливо и тихонько постучал, но никто не появился, тогда я постучал tshutok сильней, и на этот раз услышал, что кто-то подошел, щелкнул замок, дверь на дюйм-другой приотворилась, вижу, смотрит на меня glaz, а дверь на цепочке. «Да? Кто там?» По голосу женщина, скорее даже kisa, поэтому я заговорил очень вежливо, тоном настоящего джентльмена:

— Пардон, мадам, простите, что побеспокоил, но мы вот гуляли тут с приятелем, и вдруг с ним что-то такое произошло, по-моему, с ним плохо, он там на дороге — упал и лежит, стонет и встать не может. Не будете ли так добры, не позволите ли мне воспользоваться вашим телефоном, чтобы вызвать «скорую»?

— У нас нет телефона, — сказала kisa. — Сожалею, но телефона у нас нет. Придется вам зайти к кому-нибудь другому. — А изнутри коттеджика все «тра-та-та» да «тра-та-та» — кто-то на машинке печатает, и вдруг машинка смолкла и донесся мужской голос:

— Дорогая, что там стряслось?

— Гм, — начал я по новой, — не будете ли вы так добры, не пустите ли его выпить стакан воды? С ним, похоже, обморок, понимаете? Похоже, он отключился, вроде как в обморок выпал.

Девушка чуть поколебалась и говорит: «Подождите-ка». После чего куда-то пошла, а трое моих дружков тихонько вылезли из машины, крадучись подобрались поближе, на ходу надевая маски, я свою тоже надел, а шаловливую ручонку шасть в щель, цепочку-то и скинул — kisu я своим приличным голосом так umaslil, что, уходя, она дверь не заперла снова, как это подобает, когда

имеешь дело с подозрительными типами вроде нас, да еще ночью. Вчетвером мы с ревом ворвались; Тём, как всегда, прыгал и выплясывал, изрыгая грязнейшую брань, а коттеджик маленький был, это уж точно. Мы с хохотом ввалились в комнату, где горел свет, а там эта kisa вся съежилась — а так из себя ничего вообще, симпатичная, и gudi что надо, а рядом с ней ее muzh, тоже такой довольно-таки моложавый tshelovek в больших очках, а на столе пишушая машинка, везде разные бумаги разбросаны и одна стопочка у машинки — ее он, видимо, только что напечатал, так что перед нами, стало быть, опять intell, книжник наподобие того, с которым мы пошустрили пару часов назад, только на сей раз это был не читатель, а писатель. В общем, он говорит:

— Что такое? Кто вы? Как вы смеете врваться без разрешения в мой дом? — А у самого и голос дрожит, и руки тоже. А я ему в ответ:

— Не бойсь. Пусть страх покинет твое сердце, брат мой, забудь о нем и не трясись от страха никогда. — Тем временем Джорджик и Пит отправились искать кухню, а старина Тём стоял рядом со мной, разинув рот, и ждал приказаний. — Кстати, что это такое? — сказал я, берясь за стопку напечатанных листочков на столе, а очкастый muzh в крайнем смятении отвечает:

— Вот именно, я у вас хотел бы спросить: что это такое? Что вам нужно? Убирайтесь вон, пока я вас отсюда не вышвырнул! — Старина Тём под маской П. Б. Шелли прямо так и зашелся от хохота, заревел, как медведь.

— Это какая-то книга, — сказал я. — Похоже, вы книжку какую-то пишете! — Говоря это, я сделал свой голос хриплым и дрожащим. — С самого детства я преклоняюсь перед этими, которые книжки писать могут. — Потом я поглядел на верхнюю страницу с заглавием — «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» — и говорю: — Фу, до чего глупое название. Слышанное дело — заводной апельсин? — А потом зачитал немножко оттуда громким и высоким таким голосом, как у святоши: «Эта попытка навлечь на человека, существо естественное и склонное к доброте, всем существом своим тянущееся к устам Господа, попытка навлечь на него законы и установления, свойственные лишь миру механизмов, и заставляет меня взяться за перо, единственное мое оружие...» — Тут Тём произвел губами все ту же музыку — пыр-дыр-дыр-дыр, а я не выдержал и усмехнулся. Потом я начал рвать

страннцы, разбрасывая обрывки по всему полу, а этот самый muzh-писатель, как bezumni, кинулся на меня, ощерив стиснутые желтоватые zubba и выставив вперед руки, как лапы с когтями. Стало быть, настала очередь Тёма, который ослабил и, повторяя «э-э-э», а затем «во-во-во», принялся расшибать inteliu hlebalo — хрясь, хрясь, с левой, с правой, так что из бедняги потекло что-то красное, вроде вина, снова того же самого вина, что и везде, словно им снабжает нас какая-то единая всеобщая корпорация, — потекло, капая на чистенький новый ковер и на обрывки книжки, которую я продолжал неутомно раздирать — razdryzg! razdryzg! Все это время kisa, эта его любящая верная жена, стояла, замерев у камина, и сперва вообще будто окаменела, а потом принялась испускать malennkije kritshki, словно сопровождая работу кулаков Тёма. Потом из кухни появились Джорджик с Питом, что-то дожевывая, однако все-таки в масках — в этих масках можно было даже есть, и ничего страшного, причем Джорджик держал в одной gable копченый окорок или что-то вроде, в другой краюху хлеба со здоровенным шматом масла, а Пит побалтывал в бутылке пиво, держа в другой руке изрядный кусище торта. «Ха-ха-ха», — загоготали они оба, видя, как Тём, пританцовывая, лупит писателя, и наконец тот взвыл, зарыдав что-то типа того, будто рушится дело всей его жизни, заухал чего-то там сквозь окровавленный got, а эти хохотали, но, правда, приглушенно, потому что с набитыми ртами, и было видно, как вылетают и падают крошки. Такого я не любил — это грязно и неприятно, а потому сказал:

— Бросьте zhratshku! Я вам этого еще не разрешал. Давайте-ка лучше подержите его как следует, чтобы он все видел и не вырвался.— Они, стало быть, отложили свои припасы и взялись за писателя, у которого очки были уже треснутые, но все еще кое-как держались, а старина Тём продолжал прыгать и скакать, отчего на полочке подпрыгивали всякие безделушки (потом я их все смахнул на пол, чтобы они не тряслись, там zgia, пакость такая), в общем, Тём, прыгая, продолжал шустрить с автором «ЗАВОДНОГО АПЕЛЬСИНА», украшая его tordez сиреневыми разводами и вышибая у него из ноздрей вкусно чавкающий черный sok.

— Ладно, horosh, Тём,— сказал я.— Теперь следующий номер, с Bogom.— Тём навалился на kisu, которая

все еще поскуливала, лихо взял ее в переплет, скрутил руки сзади, а я срывал с нее triarку за triarкой, те двое похохатывали, и наконец на меня вылупились своими розовыми glazzjami две очень даже tshudnenkije grudi — да, блин, а я, готовясь, уже razdergivalsia. Vjehav, услышал крик боли, а этот писатель hrenov вообще чуть не нырнул, завопил как bezumni, изрыгая ругательства самые страшные из всех, которые были мне известны, и даже придумывая на ходу совершенно новые. После меня была очередь Тёма, и он в обычной своей skotskoj манере с задачей справился, не снимая бесстрастную маску П. Б. Шелли, а я покуда держал kisu. Потом смеина составов: мы с Тёмом держим уже ослабевшего и почти не сопротивляющегося писателя, у которого сил только и оставалось, что бормотать pevniatitsu, будто он нахлебался молока с ножами, а Пит с Джорджиком chustriat с kisoj. В общем, мы вроде как otstrelialiss, и все равно, ну вроде как кипит в нас такая ненависть, такая ненависть, и мы пошли все ломать, что было можно, — машинку, торшер, стулья, а Тём (в своем репертуре) otlii, загасив огонь в камине, и приготовился наде- лась кучу на ковер, тем более бумажек хватало, но я сказал «нет».

— Ноги-ноги-ноги! — скомандовал я. Писателя и его жены вроде как уже и не было в этом мире, они лежали все в кровище, растерзанные, но звуки подавали. Жить будут.

В общем, залезли мы в поджидавшую нас машину, я, чувствуя себя не совсем в норме, уступил очередь за рулем Джорджику, и мы понеслись обратно в город, давя по дороге всяких визжащих и скулящих мелких zvegiuh.

3

Мы почти доехали до города, блин, уже вот-вот должна была показаться Капача, которая тогда называлась «Индустриальный канал», и вдруг смотрим: стрелка указателя топлива вроде как zdohla, подобно тому как свалились к нулю те стрелки, что указывали желание каждого из нас продолжать хохотать и веселиться; двигатель машины забарахлил — kashl-kashl-kashl. Нет, ну ничего страшного, конечно, — неподалеку вспыхивали и гасли, вспыхивали и гасли голубые огни железнодорож-

ной станции, причем совсем рядом. Оставалось решить, бросить ли машину, чтобы ее потом подобрали менты, или, как повелевали нам ненависть и желание крушить и убивать, спихнуть ее в мутные воды и насладиться тем, как она там bullknet, и тем самым завершить вечер. Решили, пусть bullknet, вышли, отпустили тормоз, вчетвером подкатили ее к краю канавы, где чуть не вровень с краями плавали griazz и kal, потом toltshok — и полетела, родимая. Нам пришлось отскочить, чтобы одежду не забрызгало грязью, но она ничего, нормально пошла: ххрррясь-буль-буль-буль! «Прощай, ненаглядная!» — выкрикнул Джорджик, а Тём присовокупил к этому свой клоунский хохоток. Потом двинулись на станцию — все-го-то одна остановка до центра и оставалась. Мы, как rai-malltshiki, купили билеты, дисциплинированно подождали на платформе, где было полно игральных автоматов, с которыми shustril Тём (у него карманы вечно были битком набиты мелочью и всякими шоколадками, чтобы при необходимости umaslivatt бедных и неимущих, хотя таковых на горизонте что-то не наблюдалось), а потом с грохотом подкатил старый «экспресс-рапидо», и мы вошли в вагон поезда, в котором народу ехало очень мало. Чтобы не терять времени даром, все три минуты, за которые поезд доехал до центра, мы shustrili с обивкой кресел (было в те времена такое: кресла, да еще и с мягкой обивкой) — сделали ей полный razdzyg с выпусканьем внутренностей, а старина Тём долго лупил по окну tseppju, пока стекло не треснуло, разлетевшись на зимнем ветру, но что-то мы притомнились, приутихли и скисли — удалось все же, блин, кое-какую энергию порастрасти за вечер, и только из Тёма, клоуна неумного, радость так и перла, хоть и был он весь грязный, а уж потом от него разило за версту — тоже, между прочим, черта, которая мне в нем не нравилась.

В центре мы вышли и медленно двинулись к бару «Korova», уже slegontsa позе-о-о-о-вывая, показывая луне, звездам и уличным фонарям коренные зубы с пломбами: все-такн мы были еще подростки, malltshiralltshiki, и с утра нам надо было в школу, — а когда зашли в «Kogovu», народу там было еще больше, чем когда мы выходили оттуда ранним вечером. Но тот hapirik, который в полном otrube что-то лопотал, накачавшись синтемеском, или чем там он накачался, все еще был на месте и продолжал бормотать: «У дурмопсов ту-

да-сюда инк-стинкт обоняние брым дырьдум...» Это, видимо, у него был третий или четвертый отпад за вечер, потому что он уже приобрел некую нечеловеческую бледность, вроде как стал vestshju, и его лицо было словно изваяно из мела. Вообще-то, если уж захотелось ему так долго болтаться на орбите, надо было сразу занять один из маленьких кабинетиков за перегородкой, а не сидеть в общем зале, потому что здесь кое-кому из malltshikov может прийти в голову slegontsa poshustritt с ним, хотя и не всерьез, поскольку во внутренних помещениях бара всегда сидят здоровенные вышибалы, которые запросто сумеют прекратить любую серьезную zavaruhu. В общем, Тём сел рядом с этим hanurikom, едва втиснув под стол свою клоунскую песочницу, скрывавшую его хозяйство, и изо всех сил треснул того по ноге своим грязным гоуподавом. Однако hanurik, блин, ни черта не почувствовал, потому что слишком он витал в облаках.

Кругом большинство были padtsatyje — shustrili и баловались молочком со всяческой durrju (padtsatyje — это те, кто раньше назывался тинэйджерами), однако были некоторые и постарше, как vekі, так и kisy (но только не буржуи, этих ни одного), сидели у стойки, разговаривали и смеялись. По их стрижкам, да и по одежде (в основном толстые вязаные свитера), было ясно, что это все народ с телевидения — они там за углом на стульях что-то репетировали. У kis в их компании лица были очень оживленные, большеротые, ярко окрашенные, kisy весело смеялись, сверкая множеством zubbev и ясно показывая, что на весь окружающий мир им plevatt. Потом был такой момент, когда диск на автоматическом проигрывателе закончился и пошел на замену (то была Джонни Живаго, русская koshka со своей песенкой «Только через день»), и в этом промежутке, в коротком затишье, перед тем как вступит следующая пластинка, одна из тех женщин, kisa лет этак тридцати с большим gakom (белые волосы, got до ushei) вдруг запела; она и спела-то немножко, всего такта полтора, как бы для примера в связи с тем, о чем они между собой говорили, но мне на миг показалось, блин, будто в бар залетела огромная птица, и все мельчайшие волоски у меня на теле встали дыбом, мурашки побежали вниз и опять вверх, как маленькие ящерики. Потому что музыку я узнал. Она была из оперы Фридриха Гиттерфенстера «Das Bettzeug» — то место, где героиня с перерезанным горлом

испускает дух и говорит что-то типа «может быть, так будет лучше». В общем, меня аж передернуло.

Однако паршивец Тём, сглотив фрагмент арии, будто ломтик горячей сосиски, опять выдал одну из своих пакостей, что на сей раз выразилось в том, что, сделав пыр-дыр-дыр-дыр губами, он по-собачьи взвыл и дважды ткнул двумя растопыренными пальцами в воздух и разразился дурацким смехом. Меня от его вульгарности прямо в дрожь бросило, кровь кинулась в голову, и я сказал: «Svolotsh! Дубина грязная, yugodok невоспитанный!» Потом я, перегнувшись через Джорджика, сидевшего между мной и Тёмом, резко ткнул Тёма кулаком в zubbja. Тёма это чрезвычайно удивило, он даже гоf разинул, вытер рукой с губы кровь и с изумлением стал глядеть то на окровавленную руку, то на меня:

— Ты чего это, а? — спросил он с совершенно дурацким видом. Того, что произошло, почти никто не видел, а кто видел, не обратили внимания. Проигрыватель опять вовсю играл, причем какой-то zhutki электронно-эстрадный kaI. Я говорю:

— А того, что ты guboshliop паршивый, не умеющий себя вести и не способный прилично держать себя в обществе, блин.

Тём напустил на себя злокозненный вид и сказал:

— Ну так и мне, знаешь ли, не всегда нравится то, что ты проделываешь. И я отныне тебе не друг и никогда им не буду.

Он вынул из кармана огромный obsoplivlenni платок и стал вытирать кровавые потеки, озадаченно на него поглядывая, словно думал, что кровь — это у других бывает, только не у него. Он изливал кровь, словно во искупление pakosti, которую сделал, когда та kisa вдруг излила на нас музыку. Но та kisa уже вовсю хохотала со своими kogeshami у стойки, сверкая zubbjami и всем своим зазывно размалеванным litsom, явно не заметив допущенной Тёмой грязной вульгарности. Оказывается, это только мне Тём сделал пакость. Я сказал:

— Что ж, если я тебе не нравлюсь, а подчиняться ты не хочешь, тогда ты знаешь, что надо делать, druzhistshe.— Но Джорджик довольно резко, так, что я даже обернулся к нему, проговорил:

— Ладно вам. Kontshiaite.

— А это уж личное дело Тёма,— возразил я.— Не хочет, видите ли, всю жизнь ходить у меня shesterkoi.—

И я твердо взглянул на Джорджика. Тём, у которого кровь течь уже переставала, продолжал ворчать:

— Интересно, кто дал ему право приказывать и делить мне *toltsbok*, когда ему вздумается? Я ему *beitsy* оторву, *glazzja tseppju* вышибу, тогда будет знать.

— Осторожнее,— сказал я как можно тише, лишь бы слышно было сквозь уханье стереопронигрывателя, которое было в *ushi*, отдаваясь ото всех стен и потолка; да еще этот, который в *otrade*, начал пошумливать: «Искра приближается, бутлитыкбум...» И еще я сказал: — Когда хотят жить, такими словами не бросаются, имей в виду!

— Нрен тебе,— проговорил Тём, осклабясь.— Большой такой *tolsti* тебе *hren*. Не следовало тебе делать то, что ты сделал. В следующий раз выходи лучше с *tseppju* или *britvoi*, больше я от тебя такого не стерплю.

— Что ж, *popishemsia*, когда скажешь, точи *pozh*,— ридкнул я в ответ. Тут и Пит подал голос:

— Ну ладно, хватит, заткнитесь оба. Друзья мы или нет, а? Нехорошо, когда друзья начинают *tsapattsia*. Гляньте, вон *ratsany* какие-то на нас скалятся, прямо *rtu do ushei*. Нельзя так ронять себя.

— Нельзя,— согласился я.— Но Тём должен знать свое место. Верно?

— Постой-ка,— удивился Джорджик.— Ну-ка, откуда поподробнее! Что-то я впервые слышу насчет того, чтобы кому-то нужно было знать свое место.

— По правде говоря, Алекс,— поддержал его Пит,— не следовало тебе давать Тёму этот совершенно незаслуженный *toltsbok*. Это сказал я и повторять не буду. Я говорю это с полным уважением, но если бы это мне он от тебя достался, тебе пришлось бы отвечать. Больше ничего говорить не буду.— И он опустил *litso* к стакану с молоком.

Я чувствовал, как внутри все вскипает, однако, стараясь скрыть это, заговорил спокойно:

— Кто-то должен быть во главе. Дисциплинна необходима. Так или нет? — Никто на это не сказал ни слова, даже не кивнул. Внутренне я вскипел еще больше и еще спокойнее стал внешне.— Признаться,— сказал я,— что-то я давненько уже руковожу вами. Верно? Так или нет? — Они все слегка покивали, довольно-таки нехотя. Тём отирал последние следы крови. Он теперь и заговорил:

— Ладно, ладно, *zamniot*. Тарабумбия, сижу на тумбе я. С устатку мы все, видать, немножко *oborzeli*. Больше не говорим об этом.— Меня удивило, даже, пожалуй, слегка испугало то, что Тём заговорил так мудро. А он продолжал: — Шас лучше всего в теплую кроватьку, а потом айда по домам. Правильно? — Меня все это до крайности удивляло. Двое других согласно закивали, мол, правильно. Я говорю:

— Про тот *toltsbok*, Тём, ты пойми меня правильно. Это все музыка, понимаешь? Я становлюсь как *bezumni*, когда какая-нибудь *kisa* поет, а ей мешают. Из-за этого и получилось.

— Ладно, все, идем домой, маленькая *spiatshka*,— сказал Тём.— Большим мальчикам надо много спать. Правильно? — «Правильно, правильно»,— закивали остальные двое. Я сказал:

— Что ж, я думаю, это лучшее, что мы можем придумать. Тём нам правильную идею *rodkinul*. Если не встретимся днем, блин, что ж, тогда завтра в тот же час и в том же месте?

— Конечно,— сказал Джорджик.— *Zamiotano*.

— Я, может быть, немного опоздаю,— предупредил Тём.— Но в том же месте, это уж точно. Может, только чуть позже.— Он все еще притрагивался время от времени к губе, хотя крови на ней уже не было.— И будем надеяться, что тут больше всякие *kisy* не будут упражняться в пении.— И он издал свой коронный, так знакомый нам всем клоунский ухающий хохоток: «Ух-ха-ха-ха». Я решил, что он настолько тёмный, что и обидеться как следует не способен.

В общем, разошлись мы каждый в свою сторону, я шел и все время рыгал от холодной *dugi*, которой наглотался. Бритву держал наготове на случай, если вдруг какие-нибудь дружки Биллибоя окажутся поблизости от моего подъезда, да, кстати, и другие *bandy*, *shaiki* и *gypру* тоже время от времени набегали повоевать друг с дружкой. Жил я с *tatoi* и *rapoi* в микрорайоне муниципальной застройки между *Кингсли-авеню* и шоссе *Вильсонвей*, в доме 18а. К двери подъезда я добрался без приключений, хотя пришлось-таки миновать какого-то *malltshika*, который лежал в канаве, корчился и стонал, весь порезанный, и под фонарем видны были следы крови, будто это сама ночь, *poshustriv*, напоследок расписалась в своих проделках. А еще совсем рядом с домом 18а я видел

пару девчоночьих pizhnih, явно грубо сдернутых в пылу схватки. Короче, вхожу. Стены в коридоре еще при постройке были разрисованы картинами: tsheloveki и kisy при всех своих pritshindalah, очень подробно выписанных, с достоинством трудятся — кто у станка, кто еще как, причем — я повторяю — совершенно безо всякой одежды на их местах очень даже вуриклих телах. Ну и, конечно же, кое-кто из malltshikov, живущих в доме, на славу потрудились над ними, где карандашом, где шариковой ручкой приукрасив и дополнив упомянутые картины подрисованными к ним всякими торчащими shtutshkami, volonnoi и площадными словами, на манер комиксов якобы вырывающимися из ртов этих вполне респектабельно трудящихся нагих vekov и zhenstshin. Я подошел к лифту, но нажимать кнопку, чтобы понять, работает ли он, не потребовалось, потому что лифту кто-то только что дал izriadni toltshok, даже двери выворотил в приступе какой-то поистине недюжинной силы, поэтому мне пришлось все десять этажей топать пешком. Пыхтя и ругаясь, я лез наверх, весьма утомленный физически, хотя голова работала четко. В тот вечер я страшно соскучился по настоящей музыке — может быть, из-за той kisy в баре «Kogova». Перед тем как на въезде в зону сна мне проштемпелюют паспорт и приподнимут полосатый shest, мне хотелось еще успеть как следует ею насладиться.

Своим ключом я отпер дверь квартиры 10—8, в маленькой передней меня встретила тишина, па и ма уже оба десятый сон видели, но перед сном мама оставила мне на столе ужин — пару ломтиков дрянной консервной ветчины и хлеб с маслом, а также стакан доброго старого холодного молока. О-хо-хо, молоко-молочишко, без ножей, без синтетеска и дренкрома! До чего же злокозненным будет всегда теперь казаться мне обычное безобидное молоко! Однако я выпил его и яростно все sozhral! — оказывается, я был куда голоднее, чем самому казалось; из хлебницы достал фруктовый пирог и, отрывая от него куски, принялся запикивать их в свой ненасытный got. Потом я почистил зубы и, цокая языком, чтобы добыть остатки zhratshki из дыр в zubbjah, поплелся в свою комнату, на ходу раздеваясь. Здесь была моя кровать и стереоустановка, гордость и отрада моей zhizni, здесь хранились в шкафу мои диски, на стенах красовались плакаты и флаги, напоминавшие о жизни в исправительной школе, куда я попал одиннадцати лет, — да, блин,—

и на каждом какая-нибудь надпись, какая-нибудь памятная цифирь: «ЮГ-4»; «ГОЛУБАЯ ДИВИЗИЯ ГЛАВНОЙ ИСПРАВШКОЛЫ»; «ОТЛИЧНИКУ УЧЕБЫ».

Портативные динамки моей установки расположены были по всей комнате: на стенах, на потолке, на полу, так что, слушая в постели музыку, я словно витал посреди оркестра. Первое, что мне в ту ночь придумалось, это послушать новый концерт для скрипки с оркестром Джеффри Плаутуса в исполнении Одиссеуса Чурилоса с филармоническим оркестром штата Джорджия; я достал пластинку с полки, где они у меня аккуратно хранились, включил и подождал.

Вот оно, блин, вот где настоящий *grihod*! Блаженство, истинное небесное блаженство. Обнаженный, я лежал поверх одеяла, заложив руки за голову, закрыв глаза, блаженно приоткрыв рот, и слушал, как плывут божественные звуки. Само великолепие в них обретало *plott*, становилось телесным и осязаемым. Золотые струны изливались из тромбонов под кроватью; где-то за головой, трехструйные, искрились пламенные трубы; у двери рокотали ударные, прокатываясь прямо по мне, по всему ну.ру, и снова отдаляясь, треща, как игрушечный гром. О, чудо из чудес! И вот, как птица, вытканная из неземных, тончайших серебристых нитей, или как серебристое вино, льющееся из космической ракеты, вступила, отрицая всякую гравитацию, скрипка соло, сразу возвысившись над всеми другими струнными, которые будто шелковой сетью сплелись над моей кроватью. Потом ворвались флейта с гобоем, ввинтились, словно платиновые черви в сладчайшую изобильную *plott* из золота и серебра. Невероятнейшее наслаждение, блин. Па и ма в своей спальне по соседству уже привыкли и отучились стучать мне в стенку, жалуясь на то, что у них называлось «шум». Я их хорошо вымуштровал. Сейчас они примут снотворное. А может, зная о моем пристрастии к музыке по ночам, они его уже приняли. Слушая, я держал *glazzja* плотно закрытыми, чтобы не *spugnutt* наслаждение, которое было куда слаще всякого там Бога, рая, синтеска и всего прочего,— такие меня при этом посещали видения. Я видел, как *veki* и *kisy*, молодые и старые, валяются на земле, моля о пощаде, а я в ответ лишь смеюсь всем *rotom* и *kurotshu* сапогом их *litsa*. Вдоль стен — *devotshki*, растерзанные и плачущие, а я *zasazhivaju* в одну, в другую, и конечно же, когда музыка в первой части

концерта взмыла к вершине высочайшей башни, я, как был, лежа на спине с закинутыми за голову руками и плотно прикрытыми glazzjami, не выдержал и с криком «а-а-а-ах» выбрызнул из себя наслаждение. Потом прекрасная музыка, подступая все ближе, пошла плавно снижаться. После этого был чудный Моцарт, «Юпитер», и снова разные картины, litsa, которые я терзал и kurotshil, и уже затем надумалось поставить напоследок, на самой границе сна, завершающий диск, что-нибудь мощное, старое и zaoboipoje, и я вынул И. С. Баха, «Бранденбургский концерт» для альты и виолончели. Слушая его с наслаждением теперь совсем другого рода, я вновь увидел то название на листе, которому я сделал gazdryzg нынче вечером, уже, казалось, давным-давно, в коттеджике под названием «ДОМ». Что-то про заводной апельсин. Под звуки И. С. Баха я стал гораздо лучше ponimatt, что это название значит; коричневая, охряная роскошь аккордов старого мастера раскрыла мне глаза на то, что мне бы следовало их обоих toltshoknutt куда серьезней, разорвать их на части и растоптать в пыль на полу их же собственного дома.

4

Наутро я проснулся еле-еле — о-хо-хо, блин, восемь часов уже! — проснулся, чувствуя себя так, будто меня били, колотили и не давали опомниться; glazzja неодолимо слипались, и я решил в школу не ходить. Решил taleppko понежиться в постели — скажем, часик-другой, потом с ленцой одеться, поплеокавшись, быть может, сперва в ванне, поджарить себе тосты, послушать радио или почитать газету в полном своем odi notshestve. А уж потом, если возникнет такое мое желание, после большой перемены можно и в школу наведаться, глянуть, что там prohodiat в великом храме бессмысленного учения. Мне было слышно, как возится, ворчит и шаркает в прихожей рарара, уходя работать на свой химзавод, а потом пода-ла голос мама; очень вежливым тоном, который она усвоила с тех пор, как я стал большой и сильный, она напомнила:

— Уже девятый час, сынок. Ты ведь не хочешь снова опаздывать?

Я ей в ответ:

— Что-то голова побаливает. Поплю tshutok — мо-

жет, пройдет, а после полдника точно пойду, как shtyk.—
Послышался ее вздох и тихий голос:

— Завтрак на плите. Мне самой уже идти надо.

Что верно, то верно, особенно в связи с законом о том, чтобы каждый взрослый здоровый гражданин трудился на благо общества. Мама у меня работала из одном из так называемых госмагов, где она расставляла на полках консервированные супы, овощи и всякий прочий kal. Короче, я слушал, как она звякнула кастрюлей, ставя ее в духовку газовой плиты, потом надевала туфли, снимала с вешалки за дверью пальто, и, снова вздохнув, она сказала: «Все, ухожу, сынок». Но тут я отплыл обратно в страну снов и vudryhsia, надо сказать, отменно, причем снился мне очень странный и явственный сон, почему-то про моего друга Джорджика. Во сне он был гораздо старше, был очень строг, суров, говорил о дисциплине и послушании, требовал, чтобы все подчиненные ему malltshiki беспрекословно повиновались приказам и отдавали честь, как в армии, а я стоял с остальными вместе в одном строю и отвечал «да, сэр» и «нет, сэр», а потом заметил, что у Джорджика на плечах звезды и он вроде как генерал. Потом по его вызову появился balbesina Тём с хлыстом в руке, Тём тоже был какой-то старый и седой, у него даже несколько zubbiyev не хватало (я заметил это, когда он, увидев меня, усмехнулся), и тут Джорджик, мой старый друг Джорджик, сказал, указывая на меня: «У этого века на одежде грязь и kal», и это было правдой. Тогда я закричал: «Не бейте меня, bratsy, пожалуйста, не бейте» и бросился бежать. Я бегал от них как-то кругами, Тём настигал, хохоча во всю глотку и щелкая своим хлыстом, удар которого прожигал меня каждый раз до нутра, и одновременно еще раздавался какой-то звон, словно электрического звонка — ззынь-ззынь-ззынь,— и этот звон тоже отдавался болью.

Потом я внезапно проснулся, сердце в груди бухало, и, конечно же, действительно звонил звонок — дrrrrrrr, это звонили в дверь. Я сделал вид, будто никого нет дома, но этот дrrrrrrr не унимался, а потом сквозь дверь донесся голос: «Давай-давай, вылазь, нечего, я знаю, что ты в кровати». Голос я сразу же узнал. Это был П. Р. Дельтоид (из мусоров, и притом durenn), он был назначен моим «наставником по перевоспитанию» — заезженный такой kashka, у которого таких, как я, было несколько сот. Я закричал «да-да-да», голосом как бы больным, вылез

из кровати и привел себя в порядок. Халатец у меня был — это, блин, vastshel — натурального шелка и такими еще узорами изукрашен наподобие городских пейзажей. Сунул ноги в удобные войлочные тапочки, причесал роскошные кудри и тогда уже впустил П. Р. Дельтоида. Открыл дверь, и он вошел, весь какой-то потрепанный, походка шаркающая, на голове бесформенная shliara, плащ грязный.

— Ах, Алекс, Алекс,— заговорил он.— Кстати, я по дороге встретил твою мать. Она сказала, что у тебя вроде болит что-то. Стало быть, в школу не пошел?

— Ужасная, непереносимая головная боль, koresh, то есть сэр,— сказал я своим самым вежливым тоном.— Думаю, к обеду, может, пройдет.

— А к вечеру так уж просто непременно,— отозвался П. Р. Дельтоид.— Вечер — замечательное время, не правда ли, Алекс? Садись,— сказал он,— садись, садись,— словно он был у себя дома, а я у него в гостях. Сам уселся в старое отцовское кресло-качалку и принялся раскачиваться, словно за этим только и пришел. Я говорю:

— Может, potshifirijem? В смысле, чашечку чаю, сэр?

— Я спешу,— ответил он. И продолжал качаться, по-сверкивая на меня глазами из-под нахмуренных бровей, словно в запасе у него целая вечность.— Я спешу,— повторил этот digenn,— хотя давай.— Я поставил на плиту чайник. Потом говорю:

— Чем я обязан столь редкостному удовольствию? Что-нибудь случилось, сэр?

— Случилось? — каким-то коварным тоном чересчур быстро переспросил он, глядя на меня исподлобья, но продолжая качаться. Потом ему на глаза попалась реклама в газете, лежавшей на столе,— симпатичная молоденькая kisa глядела, усмехаясь и вывесив на всеобщее обозрение свои grudi, символизирующие прелести югославских пляжей. Потом, словно бы rozhrav ее в два приема, он продолжал: — А почему ты думаешь, что непременно что-нибудь случилось? Сотворил что-нибудь или как?

— Да это я так просто, из вежливости,— сказал я. И добавил: — Сэр.

— Гм,— промычал П. Р. Дельтоид.— А я вот из вежливости предупреждаю тебя, Алекс, чтобы ты поостерегся, потому что следующий раз тебе уже не исправительная

школа светит. За решетку попадешь, и вся моя работа насмарку. Если тебе на себя, паршивца, плевать, мог бы хоть обо мне немного подумать, ведь столько сил в тебя вбито! Мне за каждое поражение большую черную отметину ставят (это я тебе по секрету говорю) — за каждого, кто кончит в тюрьге.

— Я ничего такого не сделал, сэр,— ответил я.— У милисентов на меня ничего нет, kogesh, то есть в смысле сэр.

— Ты мне это брось, насчет милисентов,— устало процедил П. Р. Дельтоид, продолжая раскачиваться.— То, что тебя давно не задерживала полиция, еще не значит, как ты сам прекрасно знаешь, что ты никаких гадостей не устроивал. Вчера вот драчка какая-то была, так или нет? С ножами, велосипедными цепями и так далес. Один приятель некоего толстого парня госпитализирован, его подобрала «скорая» около подстанции, весьма и весьма пакустно обработанного ножами, н-да. Поминали тебя. До меня это по обычным каналам дошло. Кое-кого из твоих дружков тоже упоминали. Вообще вчера вечером совершенно довольно много отборных пакостей. Ну, естественно, никто ни о ком ничего толком доказать не может, это как обычно. Но я предупреждаю тебя, Алекс, малыш, как добрый друг тебя предупреждаю, как единственный в этом подлом и гнилом районе человек, который хочет спасти тебя от тебя самого.

— Я ценю вашу заботу, сэр,— сказал я,— честно, очень ценю.

— Ага, ты ценишь, конечно.— На его лице появилось подобие ухмылки.— Смотри у меня, смотри в оба... н-да. Мы знаем больше, чем ты думаешь, Алекс.— Потом он сказал тоном глубочайшего страдания, но все еще продолжая качаться: — И что на вас на всех нашло? Мы эту проблему изучаем, изучаем, уже чуть ли не целый век изучаем, н-да, но ни к чему все это изучение не приводит. У тебя здоровая обстановка в семье, хорошие любящие родители, да и с мозгами вроде бы все в порядке. В тебя что, бес вселился, что ли?

— Ни у кого на меня ничего нет, сэр,— повторил я.— К милисентам я давно не попадал.

— Это меня и беспокоит,— вздохнул П. Р. Дельтоид.— Слишком давно, не к добру это. Сейчас бы как раз самое время. Потому я и предупреждаю тебя, Алекс, чтобы ты держал свой юный миловидный хоботок по-

дальше от всякой мути... н-да. Я достаточно ясно выразился?

— Как ясное незамутненное озеро, сэръ,— сказал я.— Как лазурное небо ясным днем в разгар лета. Вы можете на меня положиться, сэръ.— И я одарил его любезнейшей *zubastoi* улыбкой.

Но когда он встал, чтобы уйти, а я как раз заваривал крепкий чай, я даже усмехнулся себе под нос над тем, какая *glupostt* волнует П. Р. Дельтоида и всю его дельтовидную *ratt*. Ну хорошо, я плохой, я делаю весь этот *toltshoking, krasting britvoi* балуюсь и добрым старым *sunn-vunn*, так что, если меня поймают, мало мне не покажется, блин, ибо, ясное дело, нельзя допускать, чтобы каждый вел себя по ночам, как я. В общем, если меня поймают (сперва три месяца, потом шесть, и наконец, как дружески предупредил П. Р. Дельтоид, несмотря на блаженное малолетство, долгая-долгая *rgopiska* в клетке поганейшего зверинца), ничего, ладно, я им скажу тогда: «Все правильно, начальнички, а все ж таки помилосердствуйте, потому что жить взаперти я просто не способен. Зато в будущем, которое потом когда-нибудь все равно ведь раскроет мне свои снежно-белые лилейные объятия (пока не наткнушь на *pozH* или не заметнется последним судорожным выбрызгом кровь среди искореженного металла и битого стекла на шоссе), в этом прекрасном будущем все мои усилия, все старания будут направлены на одно: только бы больше не *vlipnutt*». И это будет как минимум честно. Но больше всего веселило меня, блин, то усердие, с которым они, грызя ногти на пальцах ног, пытаются докопаться до причины того, почему я такой плохой. Почему люди хорошие, они дознаться не пытаются, а тут такое рвение! Хорошие люди те, которым это нравится, причем я никоим образом не лишаю их этого удовольствия, и точно так же насчет плохих. У тех своя компания, у этих своя. Более того, когда человек плохой, это просто свойство его природы, его личности — моей, твоей, его, каждого в своем *odi notshestve*,— а природу эту сотворил Бог, или *Gog*, или кто угодно в великом акте радостного творения. Неличность не может смириться с тем, что у кого-то эта самая личность плохая, в том смысле, что правительство, судьи и школы не могут позволить нам быть плохими, потому что они не могут позволить нам быть личностями. Да и не вся ли наша современная история, блин, это история борьбы маленьких

храбрых личностей против огромной машины? Я это серьезно, блин, совершенно серьезно. Но то, что я делаю, я делаю потому, что мне нравится это делать.

И вот теперь, улыбчивым зимним утром, я пью крепчайший tshai с молоком, добавляя туда ложку за ложкой сахар (люблю сладенькое), а потом вытаскиваю из духовки завтрак, который моя бедная старушка мама мне сготовила. Она оставила яичницу из одного яйца — всего-навсего, — но я поджарил себе тост и съел яичницу с тостом и джемом, чавкая и причмокивая над газетой, которую заодно читал. Газета была, по обыкновению, полна описаний всевозможного насилия, ограблений банков, забастовок, упоминалось также о том, что футболисты повергли всех в шок, пригрозив отменить матч в следующую субботу, если им не прибавят жалованье — экие ведь противные huligantshiki! Еще там говорилось о новых полетах в космос, увеличении экранов стерео ТВ и о том, что если пришлешь им сколько-то там этикеток от жестянок с супами, то получишь бесплатно пакет мыльных хлопьев — поразительная щедрость, от которой меня разобрал смех. Дальше шла большая статья о современной молодежи (обо мне, значит, и я даже отвесил газете поклон, ухмыляясь, как bezumni); статью написал какой-то умный лысый rarik. Я внимательно ее читал, прихлебывая tshajok, чашку за чашкой, и хрустя ломтиками черного тоста, намазанного джемом и накрытого яичницей. Этот ученый rarik ничего нового не говорил, все как обычно: об отсутствии родительской дисциплины (его термин), нехватке приличных нормальных учителей, которые вышибли бы дурь из неразумных недорослей, заставив их, рыдая, просить прощения. Все это была сплошная tignia, от которой меня разобрал смех, однако приятно было знать, что мы продолжаем быть притчей во языцех, блин. Каждый день в газете было что-нибудь про современную молодежь, но лучшую vestsh написал какой-то старый pop в воротнике наподобие собачьего ошейника, причем писал он, якобы все обдумав, да еще и как человек Божий: ДЬЯВОЛ ПРИХОДИТ ИЗВНЕ, извне он внедряется в наших невинных юношей, а ответственность за это несет мир взрослых — войны, бомбы и всякий прочий kal. Что ж, это нормально. Видимо, он знает, что говорит, этот человек Божий. Стало быть, нас, юных невинных malltshipalltshikov, и винить нельзя. Это хорошо, это правильно.

Нару раз с детской непосредственностью сыто икнув, и принялся вынимать из шкафа свой будничный костюм, предварительно включив радио. Передавали музыку, очень даже приличный струнный квартет Клаудиуса Бёрдмана, vestsh, которую я хорошо знал. Не выдержав, и еще раз усмехнулся по поводу того, что прочитал в одной из таких статей про современную молодежь—насчет того, что эта самая молодежь была бы куда как лучше, если бы ей прививался живой интерес к искусствам. Великая Музыка, говорилось в ней, и Великая Поэзия усмирила бы современную молодежь, сделав ее более цивилизованной. Цивилизуй мои сифилизованные beitsy. Что касается музыки, то она как раз все во мне всегда обостряла, давала мне почувствовать себя равным Богу, готовым метать громы и молнии, терзая kis и vekov, рыдающих в моей — ха-ха-ха — безраздельной власти. А потом, слегка плеснув водой в litso и на руки и одевшись (будничный мой костюм был чисто ученического толка: синенькие брючата и свитер с буквой А, потому что Алекс), я подумал, что наконец-то у меня есть время сходить в магазин пластинок (кстати, не только время: bak в карманах полно), чтобы спросить насчет давно обещанной и давно заказанной пластинки с записью Девятой (она же хоральная) симфонии Бетховена (фирма «Мастерстроук», дирижер Л. Мухайвир). Туда я и отправился.

Днем все не так, как вечером и ночью. Ночь принадлежит мне, моим koresham и всем прочим padtsatym, а всякие старые буржуи в это время прячутся по домам, baldejut под глупый telik, зато днем вылезают, день — время stari kashek, да и ментов днем на улицах куда больше. Я сел на углу в автобус, доехал до центра, а потом чуть вернулся к Тэйлор-плейс, где находился любезный моему утонченному сердцу магазин грампластинок. И-да. Название у него было глуповатое: «Melodija», но дело там знали, работали быстро, и там, как правило, проще всего было доставать новые записи. Войдя, я увидел, что покупателей в магазине почти нет, за исключением двух юненьких kiskok, которые, не переставая лизать мороженое (это зимой-то, в такую холодну, бrrrr!), копались в каталоге новинок поп-музыки — Джонни Бёрнсей, Стас Крох, «Зе Миксерз», «Полежи чуток с Эдиком», Ид Молотов и тому подобный kal. Kiskam было лет по десять, не больше; они, видать, тоже, вроде меня,

решили школу в тот день *zadvinutt*. Самим себе они виделись вполне взрослыми девушками, это было заметно: крутеж *rorami* при виде вашего покорного слуги, поддельные *grudi* и намазанные красным *gubiohi*. Я подошел к стойке, лучезарно улыбнулся старине Энди, который в тот день стоял за прилавком (*obaldenni* был тип, кстати: сам всегда вежливый, всегда поможет, очень хороший *vek*, разве что лысый и дико тощ). Он заговорил первым:

— А! Кажется, знаю, чего ты хочешь. Могу порадовать, получили.— И, отмахивая своими дирижерскими рючищами такт шагам, пошел в подсобку. Две мелкие *kiski* принялись хихикать, как у них в этом возрасте принято, а я окинул их холодным взглядом. Энди мигом вернулся, поигрывая глянцевым белым конвертом с Девятой, а на конверте-то, блин, еще и портрет — хмурое, с яростно сдвинутыми бровями лицо самого Людвигана.

— Вот,— сказал Энди.— Дорожку проверять будем? — Но мне хотелось поскорей унести ее домой, поставить на свой аппарат и в *odi notshestve* слушать, упиваясь каждым звуком. Я вынул *deng* заплатить, и тут одна из *kisk* сказала:

— И кто это к нам пришел? И чем это он обарахлился? — У мелких *kisk* была своя манера *govoritng*.— Кто у тебя в прихвате, папик? «Хевен Севентин» Люк Стерн? «Гоголь-Моголь»? — И обе захихикали, вихляя *rorami*. Тут вдруг мне пришла идея, я прямо что чуть в осадок не выпал от пронзительного предвкушения, да, блин, я аждохнуть не мог секунд десять. Пришел в себя, ощерил свои недавночищенные *zubbja* и говорю:

— Что, сестрички, оттягиваетесь пилить диск на скрипучей телеге? — А я уже заметил, что пластинки, которые они закупили, сплошь был всяческий *padtsaty kal*.— Наверняка же у вас какие-нибудь портативные *fuflovuje* крутилки.— В ответ на это они только горестно выпятили нижние губки.— Дядя щас добрый,— сказал я,— дядя даст вам их послушать *putiom*. Услышите ангельские трубы и дьявольские тромбоны. Вас приглашают.— Я вроде как поклонился. Они опять похихикали, а одна сказала:

— Да-а, а мы е-есть хотим! Сперва хотим где-нибудь покушать!

Вторая жеманно присовокупила:

— Хи, ей бы только *zhgratt*, смотри не лопни!

А я в ответ:

— Дядя *dobberi*, дядя накормит. Куда пойдем?

Тут они вообразили себя светскими дамами, что выглядело довольно-таки жалко, и принялись поминать манерными голосишками названия типа «Ритц», «Бристоль», «Хилтон», а также «Иль Ресторанте Гран-Турко». Это я быстренько пресек, сказав: «Слушаться дядю, пошли!» и привел их в соседнюю пиццерию, где они принялись *otjedatt* свои юные щечки, поглощая спагетти, сосиски, крем-брюле, сушеные бананы и шоколадный мусс, пока меня уже чуть не затошнило от этого зрелища: я-то ведь, блин, позавтракал едва-едва, всего каким-нибудь кусочком ветчины с кетчупом да яичницей. Две эти *kiski* были очень друг на дружку похожи, хотя и не сестры. Одинаковые мысли (вернее, отсутствие таковых), одинаковые волосы — что-то вроде крашеной соломы. Что ж, сегодня им предстоит здорово повзрослеть. Ох, *vezuhal* Пет, ну, конечно, никакой школы сегодня в помине быть не может, а вот учење будет, причем Алекс выступит учителем. Назвались они Марточкой и Сонеточкой, что было, разумеется, чистой *brehnioi*, зато звучало в их детском воображении *diko* элегантно. Я им говорю:

— Ладно, Марточка-Сонеточка, *horosh* питаться. Пошли, крутнем диски. Ноги-ноги-ноги!

Выйдя на холодную улицу, они решили, что автобус — это им не в *kaif*, им нужна *tatshka*, так что пришлось оказать им такую честь, внутренне при этом *diko* потешаясь. Я подозвал такси со стоянки на площади. Шофер, *stari* усатый *kashka* в замызганном костюме, предупредил:

— Только чтоб сиденья не драли. Они у меня новые, голько что обивку менял. — Я развеял его глупые страхи, и покатали мы в сторону дома, причем храбрые *kiski* непрестанно хихикали и шептались. Короче, прибыли, я шел по лестнице впереди, они, пыхтя и похихикивая спешили за мной, потом их обуяла жажда, в комнате я отпер один хитрый ящичек и налил своим десятилетним невестам по изрядной порции виски, хотя и разбавленного должным образом содовой шипучкой. Они сидели на моей кровати (все еще неубранной), болтали ногами и тянули свои коктейли, пока я прокручивал им на своем стерео жалкое их *fuffo*. Крутить на нем такое — это было все равно что хлебать сладковатую кашу детского питания из драгоценных, прекрасной работы золотых кубков. Однако они ахали, *baldeli* и только выдыхали време-

нами «pisets», или «montana», или еще какое-нибудь из иднотских словечек, которые тогда были в моде у этой возрастной группы. Проигрывая для них этот kal, я то и дело напоминал им, чтобы пили, наливал еще, и они, блин, надо сказать, не отказывались. Так что к тому времени, когда их жалкенькие пластиночки прокрутились каждая по два раза (а их всего было две: «Медонос» Айка Ярда и «Ночь за днем и день за ночью», с которой бляели какие-то два однояйцевых евнухоида, чьих имен я не помню), — в общем, к этому моменту kiski мои были уже в состоянии буйного восторга — прыгали и катались по кровати, и я вместе с ними.

Что в тот день у меня с ними было, об этом, блин, так нетрудно догадаться, что описывать не стану. Обе вмиг оказались раздеты и заходились от хохота, находя необычайно забавным вид дяди Алекса, который стоял голый и торчащий со шприцем в руке, как какой-нибудь пагоі доктор, а потом, выбрызнув из шприца тонкую струйку, вколол себе в предплечье хорошенькую дозу вытяжки из мартовского вопля камышового кота. Потом вынул из конверта несравненную Девятую, так что Людвиг ван теперь тоже стал пагоі, и поставил адаптер на начало последней части, которая была сплошное наслаждение. Вот виолончели; заговорили прямо у меня из-под кровати, отзываясь оркестру, а потом вступил человеческий голос, мужской, он призывал к радости, и тут потекла та самая блаженная мелодия, в которой радость сверкала божественной искрой с небес, и наконец во мне проснулся тигр, он прыгнул, и я прыгнул на своих мелких kisk. В этом они уже не нашли ничего забавного, прекратили свои радостные вопли, но пришлось им подчиниться, блин, таким престранным и роковым желаниям Александра Огромного, удесятеренным Девятой и подкожным впрыском, желаниям мощным и tshudesnym, zametshatellnym и неумным. Но так как обе они были очень и очень пьяны, то вряд ли сами много почувствовали.

Когда эта последняя часть докручивалась по второму разу со всеми ее выплесками и выкриками о Радости, Радости, Радости, две моих маленьких kiski уже не играли во взрослых опытных dam. Они вроде как малопомалу otshuhivaliss, начиная pon matt, что с ними маленькими, с ними бедненькими только что проделали. Начали проснуться домой и говорить, что я зверь и тому по-

добное. Вид у них был такой, будто они побывали в настоящем сражении, которое, вообще-то, и в самом деле имело место; они сидели надутые, все в синяках. Что ж, и школу ходить не хотят, но ведь учиться-то надо? Ох я и поучил их! Надевая платица, они уже всюю плакали — *ыа-ыа-ыа*, — пытались тыкать в меня своими крошечными кулачками, тогда как я лежал на кровати перепачканный, голый и выжатый как лимон. Основной *kritsh* издавала Сонеточка: «Зверь! Отвратительное животное! Грязная гадина!» Я велел им собрать *shmotjo* и валить подобру-поздорову, что они и сделали, бормоча, что напустят на меня ментов и всякий прочий *kal* в том же духе. Не успели они спуститься по лестнице, как я уже крепко спал, прямо под звуки сталкивающихся и переплетающихся призывов к Радости, Радости, Радости...

5

Проснулся я, однако, несколько поздногато (на моих часах было около полвосьмого), что, с моей стороны, было, как оказалось, не слишком умно. Дело в том, что в этом *svolothnom* мире все идет в счет. Надо учитывать, что всегда одно цепляется и тянет за собой другое. Так-так-так-так. Проигрыватель уже не пел ни о Радости, ни о том, чтобы обнялись миллионы, а это значило, что какой-то *vek* нажал на «выкл.», и скорее всего то был па или ма — родители уже вернулись с работы, судя по доносящемуся из столовой позвякиванию посуды и причмокиванию, с которым они тянули горячий чай из чашек: усталый обед двух *trudiashtshihsia* после рабочего дня у одного на фабрике, у другой в магазине. Бедные *kashki*. Жалкая старость. Я надел халат и, прикинувшись смиренным *tshadom*, выглянул со словами:

— Привет-привет-привет! Вот, отдохнул хорошенько, и все прошло. Готов теперь вечерок поработать — надо ведь и зарабатывать хоть чуть-чуть! — Дело в том, что, по их сведениям, именно этим я вечерами последнее время занимался. — Ням-ням, мамочка. Хочу ням-ням. — На столе был какой-то *stylyi* пудинг, который она разморозила, подогрела, и в результате он не слишком-то аппетитно выглядел, но ничего не поделаешь. Отец не очень радостно и как-то даже подозрительно посмотрел на меня, но ничего не сказал, зная, что связываться не сле-

дует, а мать чуть озарилась подобием усталой улыбки типа «сыночек, дитяtko мое, кровиночка!». Я зарулил в ванную, наскоро принял душ — я и в самом деле чувствовал себя липким и грязным, — потом вернулся в свою берлогу переодеться в вечернее. Потом, сияющий, причесанный, чистый и блистающий, сел пообедать ломтиком пудинга. Заговорил рарара:

— Пойми меня правильно, сын, я не хочу лезть в твои дела, но хотелось бы знать, где именно ты вечерами работаешь?

— Ну, в общем-то, — с набитым ртом прочавкал я, — по мелочам, на подхвате. То там, то здесь, где придется. — Я бросил на него резкий *jadovityi* взгляд, как бы говоря: не лезь ко мне, и я к тебе не полезу. — Я ведь денег у вас не прошу, правда же? Ни на развлечения, ни на тряпки, верно? Ну так и чего же ты тогда спрашиваешь?

Отец смущенно похмыкал, покашлял и говорит:

— Ты прости меня, сын, но иногда я за тебя беспокоюсь. Сны всякие снятся. Ты, конечно, можешь сколько хочешь смеяться, но, бывает, такое приснится! Вот и вчера тоже видел тебя во сне, и совсем мне тот сон не понравился.

— Да ну? — Мне даже интересно стало, что же он такое про меня увидел. Мне тоже что-то вроде бы снилось, но я никак не мог вспомнить, что именно. — Расскажи.

— Причем так явственно! — начал отец. — Вижу, ты лежишь на мостовой, избитый другими мальчишками. Ну, вроде тех, с которыми ты хороводился, перед тем как последний раз попасть в исправительную школу.

— Да ну? — Внутренне я посмеивался над незадачливым своим рарарой, который верил или думал, что верит, будто я там действительно исправился. И тут я вспомнил свой собственный сон, который мне как раз в то утро приснился, — где был Джорджик, который по-генеральски распоряжался, и Тём со своей беззубой ухмылкой и обжигающим хлыстом. Однако сны, как мне когда-то говорили, сбываются с точностью до наоборот. — Отец, отец, не изволь беспокоиться за единственного своего сына и наследника, — сказал я. — Оставь пустые страхи. Он сможет сам за себя постоять, и с большим успехом.

— И еще,— продолжал отец,— мне виделось, будто ты весь в крови, обессилел и не можешь им сопротивляться.— Вот уж действительно все наоборот; я снова не мог внутренне не усмехнуться, а потом я вынул весь свой deng из карманов и хлопнул его на скатерть.

— Вот, папа; здесь немного, конечно. Это все, что и заработал вчера вечером. Но, может быть, этого хватит, чтобы вы с мамой сходили куда-нибудь, посидели, выпили по рюмочке хорошего виски.

— Спасибо, сын,— ответил он.— Мы редко теперь куда-либо ходим. Да ведь и опасно стало — на улицах сам знаешь, что творится. Всякие малолетние хулиганы и так далее. Все же спасибо. Завтра я куплю на них бутылочку, и мы с мамой посидим дома.— С этими словами он сгреб мои petrudovuje babki и сунул их в карман брюк, а мать пошла на кухню мыть посуду. И я ушел, со всех сторон обласканный улыбками.

Дойдя до нижней лестничной площадки, я, прямо скажем, удивился. Удивился — это даже не то слово. Застыл, можно сказать, с открытым ротом. Меня, понимаете ли, пришли встречать. Стояли на фоне всех этих iskariabannuh стенных росписей, которым полагалось воплощать величие подвига во имя трудовой славы, увековечивать его в виде голых vekov и kis, сурово прикившихся к рычагам индустрии, изрыгая при этом скабрезности, пририсованные к их ротам хулиганистыми мальчишками. У Тёма в руке был тубик черной масляной краски, и он как раз обводил очередное ругательство большим овалом, как всегда одновременно похохотывая — ух-ха-ха-ха. Но когда Пит и Джорджик со мной поздоровались, вовсю щеголяя ощеренными в дружеских улыбках zubbjami, он завопил во всю глотку: «Наконец-то, их величество прибыли, ур-ра!» и сделал что-то не вполне понятное на манер салюта с пришелкиванием каблуками.

— Мы беспокоились,— сказал Джорджик.— Сидим-сидим, пьем tshiertovo молоко с ножами, а потом думаем, вдруг на тебя нападут или еще чего-нибудь, вот и пришли на подмогу. Как, Пит, я правильно излагаю?

— Верно, верно,— ухмыльнулся Пит.

— Иззи-винни-ните,— осторожно проговорил я.— У меня немножко tykva разболелась, пришлось это дело zaspatt. А родители не разбудили меня, когда я им велел. Что ж, мы собрались тем не менее и вместе возьмем то,

что нам предложит старушка notsh... н-да.—Я поймал себя на том, что подхватил это дурацкое лишнее «н-да» у П. Р. Дельтоида, моего наставника по перевоспитанию. Очень странно.

— Насчет tykvу — сочувствую,— сказал Джорджик как-то даже чересчур участливо.— Много думаешь, не иначе. Приказы, дисциплина, то, сё... Но она прошла, ты уверен? Уверен, что тебе не захочется снова пойти прилечь? — И все они эдак подленько zaostsherivaliss.

— Постой,— проговорил я.— Давай-ка проясним обстановку. Этот сарказм, если я правильно понял вашу интонацию, не идет вам, о дружина и братие. Возможно, вы устроили маленький такой sgovoriting за моей спиной, потешились на славу, отпуская шуточки и тому подобный kal. Однако, в качестве вашего друга и предводителя я, видимо, имею все-таки право знать, что происходит, или как? Ну-ка, давай, Тём, выкладывай, что означает эта твоя дурацкая обезьянья ухмылка? — Я это не случайно по Тёму проехался — он как раз стоял с открытым ротом и вид являл совершенно bezumni. Тут внезапно встрял Джорджик:

— Ладно, Тёма больше не задираем, приятель. Это теперь у нас будет такой новый курс.

— Новый курс? — удивился я.— Что еще такое за новый курс? Я смотрю, вы успели основательно все обсудить за моей сонной спиной. Ну-ка, давайте подробнее! — С этими словами я скрестил rukery на груди и поудобнее прислонился к изломанному поручню лестницы, все еще стоя тремя ступеньками выше этих моих так называемых друзей.

— Не обижайся, Алекс,— сказал Пит,— но мы хотим, чтобы и у нас была кое-какая демократия. А не так, чтобы ты все время говорил, что делать и чего не делать. Но ты не обижайся.

Джорджик поддержал его:

— Обиды тут вообще никакой быть не может. Все дело в том, у кого есть идеи, а у кого их нет. Что он нам всю дорогу предлагал? — И Джорджик очень прямо взглянул мне в лицо храбрыми своими glazzjami.— Мелочевку, ерунду всякую, вроде как прошлой ночью. Но мы-то растем!

— Так, дальше,— процедил я, не двинувшись.— Слушаю, слушаю.

— Что ж,— продолжал Джорджик.— Хочешь выслушать до конца — слушай. Мы, понимаешь ли; по задворкам ходим, трясем мелкие лавочки, а в результате мелочью в карманах звякаем. При том что в кафе «Масклмэн» есть такой Билл Англичанин, и вот он говорит, что способен парисоватт нам такой krasting, о котором каждый malltskik только мечтать может. Настоящее дело может оформить — briuliki, — говорил Джорджик, не сводя с меня взгляда холодных глаз.— Это пахнет большими, очень большими деньгами — вот что говорит Билл Англичанин.

— Так,— протянул я небрежно, хотя и diko razdrazh внутри.— С каких это пор ты снюхался с Биллом Англичанином?

— Знаешь,— отвечивал Джорджик,— я ведь, бывает, и сам по себе туда-сюда похаживаю. Ну вот хоть в прошлый shabbat. Могу я иметь какую-то личную zhiznp, нет?

На его личную жизнь мне было natsh hatt, это уж точно.

— А что, интересно, ты делать-то будешь с этими большими-пребольшими babkami, или деньгами, как ты их столь почтительно именуешь? Тебе что, не хватает чего-нибудь? Нужна tatshka — срываешь ее прямо с дерева. Нужен кайф — его тоже lovish. Да или нет? Чего это тебе вдруг так захотелось стать жирным капиталистом?

— А-а,— махнул рукой Джорджик,— ты иногда думаешь и говоришь, как маленький ребенок.— Тут Тём снова заухал филином — «ух-ха-ха-ха!» — Сегодня,— заявил Джорджик,— сделаем взрослый krasting.

Стало быть, сон был все-таки в руку. Джорджик стал генералом, говорит, что делать и чего не делать, а Тём, этот ухмыляющийся безмозглый бульдог, того и гляди вытащит хлыст. Однако я разыграл свою роль как по нотам, очень осторожно разыграл, улыбчивый, со всем согласный:

— Ладно. Tshudnennko. Кто долго ждет своего часа, тот дождется. Я многому научил вас, други мои. Но, может, ты хоть посветишь меня в свои планы, Джорджик?

— Ну,— с хитрецей ухмыльнулся Джорджик,— что ж планы... любимое молоко-плюс — видимо, так, а? Надо сперва взбодриться, всем надо, а тебе особенно: у тебя сегодня трудный день.

— Ты прямо будто мои мысли читаешь! — Я изобразил улыбку. — Как раз хотел предложить наведаться в добрую старую «Korovi». Чудно-чудно-чудно. Ну, веди нас, Джорджик! — И я выдал ему вроде как низкий поклон, улыбаясь, как bezupni, но при этом лихорадочно соображая. Однако, когда мы вышли на улицу, я понял: думает gluri, а imni действует по озарению, как Vog на душу положит. И снова мне помогла прекрасная музыка. Мимо проехала машина, в ней работало радио, до меня донесся всего лишь такт или полтора, но то был Людвиг ван (Скрипичный концерт, заключительная часть), и я сразу понял, что от меня требуется. Хриплым голосом говорю: «Ну, Джорджик, давай!» и выхватываю свою britvu. Джорджик от неожиданности как-то так ухнул, но очень даже быстренько — шшшашсть! — выщелкнул из рукотики клинок pozha, и мы кинулись друг на друга. Старина Тём говорит: «Ну нет, так дело не пойдет», и начал отматывать с талии tsepp, но Пит удержал его, схватив за руку: «Оставь их. Так надо». В результате Джорджик и ваш покорный слуга, как коты, заходили друг возле друга, выжидая мгновенье, когда противник otkrojetsia, причем оба друг друга назубок знали, слишком даже хорошо знали; Джорджик время от времени шасть-шасть сверкающим своим клинком, но все впускаю. То и дело мимо шли люди, видели все это, но не совались — надо полагать, такого рода зрелища им давно примелькались. Потом я сказал себе: «Раз, два, три!» и бросился хак-хак-хак бритвой, — правда, не в лицо и не по glazzjam, а нацеливаясь на руку, в которой у Джорджика был pozh, и он его, блин, все же выронил. Да, блин. Выронил, и pozh дзынь-блям на зимний звонкий тротуар. Я лишь слегка мазнул Джорджика по пальцам britvoi, а он стоит и смотрит, как набухают под фонарем капельки крови.

— А ну! — повернулся я к Тёму (причем теперь начинал я первый, потому что Пит перед этим дал Тёму soviet не разматывать tsepp, и Тём внял ему). — Ну, Тём, теперь с тобой разберемся, ладненько? — Тём, как какой-то большой bezupni зверь, с криком «Гхааааа!» мгновенно размотал опоясывавшую его tsepp, да так ловко, obaldett можно. Тут правильной тактикой для меня было держаться как можно ниже, прыгая по-лягушачьи, чтобы защитить лицо и glazzja, и я так и делал, блин, что беднягу Тёма изрядно изумило — он-то при-

нык хлестать по открытой mordet — хлесь-хлесь-хлесь! Однако он, надо признать, здорово вlepил мне по спине, меня аж до нутра прожгло, но эта боль только побудила меня скорей с ним разделаться. Ну я и мазнул его брит-voй по левой ноге через штанну — штанина тесная, разом на пару дюймов разъехалась, и брызнуло немножко крови, отчего Тём стал вообще как bezumni. И тут, пока он завывал вау-вау-вау собачьим голосом, я провел с ним тот же прием, что и с Джорджиком, вложив все в одно движение — вверх, вбок, вжжик, — и почувствовал, как бритва вошла в мякоть его запястья, отчего он выр-онил змеиную свою tserp и заверещал, как ребенок. Потом попытался всосать всю лишнюю кровь с запястья, одновременно не переставая верещать, но крови было слишком много, и он захлебнулся ею — бупль-бупль, — а кровь хлестанула фонтаном, хотя и ненадолго. Я говорю:

— Ну что, други, вам все ясно? Ты как, Пит?

— А я разве чего говорил? — отозвался Пит. — Я и не говорил ничего! Слушай, как бы Тём до смерти не истек кровью!

— He sdohnet, — сказал я. — Sdohnutt можно только один раз. А Тём sdoh еще до рожденья. Вся эта кровяца сейчас перестанет. — Я знал, что главные кабели у него целы. Вынул свой чистый платок из кармана, чтобы обернуть гикер бедному умирающему Тёму, который вопил и стонал, и кровь действительно вскоре остановилась — да и куда бы она делась-то! Будут теперь знать, кто истинный vozhd и хозяин, бараны tshiorrtovy, подумал я.

Довольно быстро я обоих раненых бойцов успокоил в уюте бара «Дюк-оф-Нью-Йорк», поставив перед ними двойные бренди (купленные на их же babki, поскольку свои я все отдал отцу) и сделав пару примочек из пропитанных водой носовых платков. Старые veshalki, к которым мы в предыдущий вечер отнеслись с такой заботой, снова были тут как тут и наперебой твердили: «Спасибо, ребятки», «Дай Бог вам здоровья, мальчики», прямо удержу на них не было, хотя мы вовсе не собирались вновь расшибаться перед ними в lepioshku. Однако Пит сказал: «Что будем пить, девушки?» и принес им пивка s pritserom, как будто у него денег куры не клюют, и тут уж их совсем зациклило: «Уж как мы вам рады, как рады, мальчики», «Никогда не заложим вас, ребяташки»,

«Вы самые лучшие в мире ребята, вот вы кто!» Наконец я говорю Джорджику:

— Ну что, возвратимся туда, откуда начали, да? Ссоры забыты, все как было, правильно?

— Во-во-во! — сказал Джорджик. Однако старина Тём все еще смотрел несколько ошалело и даже так высказался: «А я ведь достал бы гада, ну, как ее, этой — tseppju, просто мне какой-то vek под локоть попался», — словно он все еще продолжал dratsing, причем даже не со мной, а с каким-то другим противником. Я говорю:

— Ладно, Джорджибой, так что там у тебя на уме-то было?

— Да ну, — отмахнулся Джорджик, — не сегодня. В эту poish, видимо, все же не надо.

— Ты большой сильный tshelovek, — сказал я, — так же, как и все мы. Мы ведь не дети, правда, Джорджибой? А посему скажи мне, не томи, что ты надумал в глубине души своей?

— Эх, по glazzjam бы гада tseppju, — бормотал Тём, а старые sumki все никак не могли уняться со своими благодарностями и благословениями.

— Помнишь, нам один дом попался, — проговорил Джорджик. — Еще два фонаря там у ворот. Название у него какое-то дурацкое, не припомнить.

— Какое дурацкое название?

— Да что-то там, то ли «Усадьба», то ли «Засадьба», — какая-то tshiush. Там живет одна старая ptitsa со своими кошками, и у ней полный дом старинного дорогого добра.

— Например?

— Ну, золото, серебро, а может даже и briuliki. Это мне Билл Англичанин сказал.

— Ropi, — сказал я. — Я вас ropi. — Я действительно понял, что за дом имелся в виду: в Олдтауне, сразу за парком Rovedy. Что ж, настоящий предводитель умеет выбрать момент, когда пойти на уступку, сделать широкий жест, чтобы умаслить своих подчиненных. — Очень хорошо, Джорджик, — сказал я. — Идея хорошая, и мы ее примем. Давай-ка сразу туда и отправимся.

Вслед нам одна из babushek прошептала: «Мы никому не скажем, ребята. Будет считаться, что вы всю дорогу здесь сидели». А я ей в ответ:

— Молодцы, девчонки. Через пару минут вернем-

ся, поставим вам еще выпить,— и с этими словами повел друзей вон из бара, на улицу, навстречу своей судьбе.

6

Когда идешь от бара «Дюк-оф-Нью-Йорк» к востоку, сперва попадаются всяческие конторы, потом старая развалюха *biblio*, потом большой парк, названный парком *Pobedy* в честь Победы в какой-то незапамятной военной кампании, а после попадаешь в район старой застройки, который называется Олдтаун. Некоторые старинные дома там действительно попадаются очень даже ничего, бблин, и люди, которые живут там, тоже по большей части старые — тощие, гавкающие по-полковничьи *kashki* с палками, старые *veshalki* вдовы да глухие старые девы, которые прожили век среди своих кошек и никому за всю жизнь ни разу не дали к себе прикоснуться. Там действительно могли сохраниться кое-какие *vestshitsy*, за которые можно выручить хороший *deng* у иностранных туристов,— всякие картины, камешки и прочий доисторический *kal*. В общем, подобралась мы по-тихому к этому дому, над воротами которого была надпись: «Усадьба», а по обеим сторонам на железных стеблях горели шарообразные фонари, стоявшие как часовые, причем внутри дома свет притушен, еле светит, да и то в одной лишь комнате на первом этаже, и мы, держась в тени, подобралась к окошку ближе, чтобы взглянуть, кто там и что. Окно было с решеткой, будто это не дом, а тюрьма какая-то, но сквозь нее было очень даже здорово видно, что там происходит.

А происходило там то, что старая *ptitsa*, вся седая и с маленьким морщинистым личиком, разливала из бутылки по блюдцам молоко, а потом ставила их на пол, где, видимо, кишмя кишели мяукающие *koty* и *koshki*. Нам их тоже было видно, правда не всех, только двух-трех толстых *skotiny*, которые вспрыгивали на стол, разевая вопящие рты: вя-вя-вя-вя! Еще было видно, что эта *sumka* разговаривает с ними, вроде как строго их за что-то отчитывает. На стенах висело множество старых картин и старые очень замысловатого вида часы, кроме того стояли вазы и безделушки, на вид старые и дорогие. Джорджик зашептал мне на ухо:

— *Baldiozhno pripodnimemsia*, скажи? У Билла Англичанина губа не дура.

А Пит в другое ухо:

— Как влезем-то?

Теперь дело за мной, и соображать надо быстро, пока Джорджик сам не начал объяснять, как влезть.

— Перво-наперво,— зашептал я,— попробуем обычную тактику — типа свободный вход. Я напускаю на себя вид *rai-malltshika* и этак вежливенько говорю, что один приятель у меня упал на улице в обморок. Когда она откроет, Джорджик притворится, будто еле жив. Потом просим стакан воды или вызвать по телефону доктора. Дальше и вовсе просто.

— Вдруг не откроет? — усомнился Джорджик. А я говорю:

— Попробуем, что мы теряем? — На это он передернул плечом и скривил *got*. А я скомандовал Питу и Тёму: — Вы стойте по обе стороны двери. Понятно? — Они согласно закивали в темноте: ясно-ясно-ясно. — Начали,— сказал я Джорджику и пошел прямо ко входной двери. Там была кнопка звонка, я нажал, и из коридора донеслось «дрррррр-дррррррр». После этого все в доме замерло, вроде как обратилось в слух, словно и *babushka*, и все ее *koshki* при звуках этого *дрр-дрр* одновременно навострили уши и насторожились. Тогда я позвонил чуть настойчивей, и тут послышалось шарканье ног — шлеп-шлеп, шлеп-шлеп,— бабушка в тапках шла по коридору, причем мне вдруг пришло в голову, что она идет, а под мышками у нее с каждого боку по коту. Потом раздался ее очень такой неожиданно басовитый голос:

— Прочь! Уходите, или я стреляю.— Джорджик это как услышал, чуть не прыснул. А я говорю, причем несчастным таким, просительным голосом:

— Мадам, прошу вас, пожалуйста, помогите! Мой друг очень болен!

— Уходите,— повторила она.— Знаю я ваши подлые штучки: я вам открою, а вы заставите меня купить то, что мне не нужно. Уходите, говорю вам.— Надо же, и ведь встречается же такая поразительная наивность! — Уходите,— снова заладила она,— а то я напущу на вас своих кошек! — Видать, спятила от своей *zhizni* в *odi potshestve*. Тут я глянул вверх и заметил, что повыше двери есть застекленное окно, так что куда быстрее будет, если туда вскарабкаться и влезть через него. Иначе этот спор будет идти всю *potsh*. И тогда я сказал:

— Хорошо, мадам. Если вы не хотите помочь нам, я поведу моего больного друга куда-нибудь в другое место.— Тут я мигнул друзьям, чтобы они отошли по-тихому, и только я один топал и громко декламировал: — Ничего, друг мой, мы обязательно найдем доброго самаритянина где-нибудь в другом месте. Эту пожилую леди, конечно же, нельзя винить за ее подозрительность, тем более что по ночам разгуливает множество негодяев и подонков. Нет, ее винить нельзя! — Потом мы немного постояли в темноте, подождали, и я прошептал: — Пошли, возвращаемся к двери. Я взберусь Тёму на плечи. Открою то окошко и влезу, блин. Потом заткну старую ptitsu и впущу вас. Запросто! — Мне было важно показать, вроде как кто среди нас главный, кто подает идеи.— Вон там,— показал я,— видите? Карнизик над дверью засекли? Как раз будет упор для ноги.

Все поглядели, восхитились, видимо, моей находчивостью и закивали в темноте, зашептали: «Да, да, да, правильно».

На цыпочках обратно к двери. Тём был у нас самым рослым и сильным, поэтому Пит с Джорджиком вскинули меня на его крутые мужские плечи. Благодаря очередной duratskoj передаче всемирного ТВ, а главное благодаря тому, что из-за нехватки полиции люди боялись potshi, за все это время на улице не появилось ни души. Взобравшись на Тёма, я убедился, что карнизик над дверью как раз годится, чтобы на него встать. Подтянулся, уцепился коленом, и готово дело. Окно, как я и ожидал, было заперто, но я вынул бритву, легонько стукнул костяной рукояткой, стекло и треснуло. Снизу доносилось озабоченное сопенье моих друзей. Вынув кусок стекла, я просунул руку, отпер окно, и рама как миленькая поехала вверх. Я осторожно, будто опускаясь в горячую ванну, полез внутрь. А эти, как бараны, стоят, смотрят снизу, аж рты, блин, пооткрывали.

Я оказался в темноте, ошестинившейся со всех сторон углами каких-то шкафов, кроватей, тяжелых табуреток, книг в коробах и книг россыпью. На ощупь я стал пробираться к двери, из-под которой сквозь маленькую щелочку виднелся свет. Дверь сделала «скриинииииип», а дальше был пыльный коридор и опять всякие двери. Этакie хоромы пропадают — в том смысле, что столько комнат и всего для одной старой veshalki с ее koshkami, пусть даже у kotov и koshek разные спальни и отдельная

столовая, где их по-королевски кормят сметаной и рыбьими головами. Снизу уже доносился голос ptitsy, которая повторяла: «Да. Да. Да. Верно. Верно...», но это она, видимо, разговаривала со своим мяукающим выводком, громко домогающимся добавки молока. Тут я заметил ступеньки, ведущие в холл нижнего этажа, и решил показать этим безмозглым balbesam, что я один стою их всех вместе взятых. Я все проверну сам, odi pokі. Сделаю gasterzats старой ptitse, передущу, если понадобится, всю ее kotovasiju и, набрав полные rukery всего, что покажется полезным, aida в темпе джаза обратно, поливать золотым и серебряным дождем терпеливо ожидающих меня приятелей. Тогда уж они как следует узнают, кто настоящий vozhd.

Тихонько, мягко ступая, пошел вниз, любуясь по дороге на giazni картины, изображающие старинную жизнь: длинноволосые devotshki в платьях с высокими воротниками; картинки вроде как из деревенской zhizni с деревьями и лошадьми, бородатый святой vek, весь пагоі, висящий на кресте. В доме стояла жуткая вопп от кошек, от кошачьей рыбы и от стариной пыли, которая здесь пахла совсем по-другому, нежели в блочных многоквартирных. И вот я уже внизу, вижу свет из той комнаты, где babusia разливала молоко по блюдцам для своей кошачьей братии. Более того, я уже видел множество огромных перекормленных skotin, которые бродили туда и сюда, шевеля хвостами и вроде как притираясь к дверным косякам. На большом деревянном сундуке в темном холле я заметил красивую маленькую статую, сиявшую в отблесках света из комнаты, и я решил ее skrasst и оставить потом для себя — симпатичная такая молодая devotshka, стоящая на одной ноге раскинув руки, а главное — сразу видно, сделана из серебра. Так что она была уже у меня в руках, когда я входил в освещенную комнату со словами: «Привет-привет-привет. Давненько не виделись. Наши краткие переговоры сквозь замочную скважину, пожалуй, нельзя сказать чтобы так уж удались, не правда ли? Нет-нет, спорить не будем, я сказал, не будем спорить, старая ты поганая voniutshka». От яркого света в комнате, где была старуха, я даже сморгнул. Там кишмя кишели koty и koshki, катались по ковру, в воздухе летала шерсть, причем эти жирные stervy были всевозможного вида и расцветки — черные и белые, полосатые и рыжие, чуть ли даже не в

клеточку и всех возрастов: от крошечных котят, которые гонялись и играли друг с другом, до взрослых кошек и еле держащихся на ногах, но зато чрезвычайно зловредных старых кошатин. Их хозяйка, эта старая ptits, взглянула на меня в упор, по-мужски, и говорит:

— Как ты сюда забрался? А ну, не подходи, подлый звереныш, или мне придется тебя ударить!

При виде ее клюки, зажатой в испещренной венами старческой gable, меня, понятное дело, разобрал smeh, а она как ни в чем не бывало трясет ею, угрожает. Ну, я усмехнулся — блесь-блесь zubbjami — и подбираюсь к ней ближе, не забывая по дороге ее ubaltyvatt, а тут еще вижу вдруг на буфете очень симпатиченькую вещицу, прекраснейшую вещицу, shtuku, которую malltshik вроде меня, понимающий и любящий музыку, может только надеяться увидеть воочию, потому что это была голова и плечи самого Людвиг вана — то, что у них называется «бюст»; сделана она была из камня, с каменными длинными волосами, слепыми glazzjami и длинным развевающимся шарфом.

— Ба,— вырвалось у меня,— как здорово, и все это мне! — Как зачарованный на нее уставясь, я шагнул, уже и руку даже к ней протянул, но не заметил на полу блюдца с молоком, vliaralsia в него и вроде как оступился.— Оп-па,— проговорил я, пытаюсь удержать равновесие, однако старая sumka с необычайным для ее возраста проворством успела-таки коварно подобраться и принялась — хрясь! хрясь! — лупить меня по голове палкой. В результате вдруг оказалось, что я стою на четвереньках и, пытаюсь подняться, повторяю: «О, блин! О, блин! О, блин!» А она опять — хрясь! хрясь! хрясь! — да еще приговаривает: «Клоп ты поганый, трущобное ты отродье, не смей к нормальным людям в дома врываться!» Вся эта igga в хрясь-хрясь не больно-то мне понравилась, я схватил мелькнувший передо мной конец клюки, и тут уже оступилась staguha, схватилась, пытаюсь удержаться, за край стола, но скатерть поехала, кувшин с молоком и молочная бутылка на ней сперва заплескали, а потом — бенц! бенц! — на пол, разбрызгивая белое во все стороны, и старуха тоже рухнула на пол с воплем: «Будь ты проклят, мальчишка, ты еще получишь свое!» Все koshki в панике запрыгали, заматались в кошачьем своем испуге и, не разобравшись, в чем дело, принялись наскакивать друг на друга, разда-

вая злые toltshoki налево и направо — яуууууууууу! вяуууууууу! мяуууууууу! Я встал на ноги, а эта злобная старая погань ерзала в сбившемся набок парике по полу, пытаюсь подняться, и я сделал ей маленький toltshok в morder, что ей не очень-то понравилось — она взвыла оёёооооой, и прямо видно было, как в том месте, куда пришлась моя нога, ее веснушчатое, испещренное прожилками litso лиловеет-шмиловеет.

Лягнув ее, я чуть отпрянул и, видимо, наступил на хвост одной из дерущихся вопящих кошатин, потому что услышал gromki мяв и мою ногу оплело что-то меховое и состоящее сплошь из когтей и зубов; в результате я запрыгал на одной ноге, тряся другой и тщетно пытаюсь освободиться, при этом в одной руке я держал серебряную статуэтку, а другой силился через старуху дотянуться до мнлого моему сердцу Людвига вана, хмуро взиравшего на меня каменными глазами. Тут я наступил на другое блюдце, полное отменнейшего молока, и чуть снова не полетел, — да-да, все это и впрямь может показаться забавным, особенно если это не с тобой, если тебе об этом приходится только слuhatt. В это время старая vedma, потянувшись через tshehardu дерущихся кошек, схватила меня за ногу (все еще со своим «оёёооооой»), а у меня равновесие-то уже было нарушено, я и хряпнулся на этот раз со всего маху об пол в молочные лужи, на дерущихся кошек, а рядом еще эта старая veddma, потянувшись через tshehardu дерущихся morder, и вопит: «Бейте его, жука навозного, лупите, царапайте!», имея в виду, что приказ должны исполнять кошки, и действительно, несколько кошек, словно послушавшись старую veddmu, бросились на меня и начали царапаться, как bezumni. Ну, тут я и сам стал как bezumni, блин, начал их koloshmatitt, а бабка как заорет: «Жук навозный, не тронь моих котятков», да как вцепится мне в litso! Тут и я в kritsh: «Ах ты, старая svolotshi!», взмахнул серебряной статуэткой, да и приложил ей хорошенький toltshok по tykve, отчего она наконец-то прочно успокоилась.

Встав с пола, среди кошачьего визга и воя, что же я слышу? А слышу я отдаленный звук полицейской сирены, и тут до меня доходит, что старая svolotsh разговаривала тогда вовсе не с кошками, а с милисентами по телефону: будучи, видимо, подозрительной от природы, она сразу к нему кинулась после того, как я позвонил в

zvopok, якобы обратившись за помощью. Услышав этот пугающий шум ментовозки, я бросился к двери, где мне пришлось изрядно повозиться, прежде чем я отпер все замки, цепочки, засовы и прочий охранительный kal. Ну, открыл наконец и вижу: на пороге стоит Тём, а оба других монах так называемых druga вовсю gvut kogti.

— Атаа! — крикнул я Тёму. — Менты! — А Тём в ответ:

— Нет уж, ты останься, поговоришь с ними, ух-ха-ха-ха!

Глядь, в руке у него tsepp, он ею размахнулся да как полоснет — жжжжжжах! — меня ею по glazzjam, одно слово артист, я только и успел, что зажмурить вовремя веки. Я завопил, завертелся, пытаюсь хоть что-то vidett сквозь ослепительную боль, а Тём и говорит:

— Мне, знаешь ли, не нравится, как ты себя стал вести, приятель. Не надо было так со мной поступать, ох, не надо было, bratets. — И тут же до меня донеслось буханье его раздолбанных govnodavov: сваливает, гад, со своим «ух-ха-ха-ха» во тьму, а всего секунд семь спустя слышу, подкатил ментовский фургон со своей сиреной, поюшей, как какой-нибудь zvegg bezumni. Я тоже выл без умолку, кинулся куда-то наугад — не туда! — грохнулся головой об стену, потому что глаза у меня были зажмурены, а из-под век текло ручьями — diko больно. В общем, когда пришли менты, я вслепую возился в прихожей. Видеть я их, естественно, не видел, зато почуял вопп этих ubliudkov — то есть это сперва, а потом я ощутил их остервенелую хватку, когда тебе заламывают руку назад и волокут. Еще я услышал голос одного из ментов, который донесся из комнаты, той самой, полной kotov и koshek: «Досталось ей крепко, но пока дышит», и все время бил по ушам diki кошачий мяв.

— Какое приятное знакомство! — услышал я другой ментовский голос, и меня с размаху зашвырнули в машину. — Коротышка Алекс собственной персоной!

Я выкрикнул в ответ:

— Я ничего не вижу, я ослеп, Бога вам в душу matt, ridery грязные!

— Не выражаться, не выражаться, — донесся голос вроде как с усмешкой, и мне кто-то сунул toltshok кастетом в got.

Я за свое:

— Ах вы погань, выродки, вам все равно не жить! Где остальные? Где эти вонючие предатели? Меня один из них, из этих выродков *griaznyh*, полоснул *tseppju* по *glazzjam*. Поймайте их, пока они не сбежали окончательно. Это все они затеяли, братцы, поверьте! Я не хотел, меня заставили! Я не виновен, вас покарает Бог!

К этому времени менты потешались надо мной уже всей *kodloi*, грубо запинав меня в угол фургона, а я все продолжал выкрикивать что-то насчет моих так называемых друзей, пока до меня вдруг не *doshlo*, что это совершенно без толку, потому что они скорее всего уже сидят в уюте бара «Дюк-оф-Нью-Йорк», поят вонючих старых *veshalok* чем ни попадя от пива до лучшего виски, а те знай повторяют: «Спасибо, мальчики, благослови вас Господь, милые. Вы здесь сидели все время, это как Бог свят! Ни на минуточку никуда не отлучались, ей-ей!»

А мы в это время под вой сирены мчались к полицейскому участку, причем меня, стиснутого меж двух ментов, попеременно то пинали, то били в *podder* эти развеселившиеся *kozly*. Через некоторое время я обнаружил, что способен слегка разлепить веки и сквозь слезы смутно видеть, как пронесется мимо дымный город, и все его огни сливаются, будто липнут друг к другу. Несмотря на резь в глазах, я уже видел двух хохочущих ментов по бокам, видел шофера с тонкой шеей, а рядом с ним быкоподобного *vugodka* — того, который с таким сарказмом сказал: «Ну, коротышка Алекс, теперь нам предстоит чудесный вечерок, ты чуешь?» Я говорю:

— Откуда вы знаете, как меня зовут, паршивые вонючие *kozly*? Чтоб вам всем провалиться, сгореть к *tshiorovoi* матери, *vurodki*, *pidery griaznyje*.— Они все над этим похохотали, а потом один из ментов стал крутить мне *yno*. Толстый, который рядом с водителем, отвечает:

— Дак ведь коротышку Алекса с его дружками кто же не знает! Довольно большую известность приобрел наш юный коротышка Алекс!

— Это те, другие! — продолжал я *kritshing*.— Джорджик, Пит и Тём. Они и не друзья мне вовсе, эти *zagrantsy*.

— Что ж,— произнес толстый,— теперь у тебя целый вечер впереди, все сможешь рассказать и про лихие вылазки этих юных джентльменов, и про то, как они сбивали с пути истинного бедного невинного коротышку

Алекса.— В это время послышался звук другой сирены, но проехавшая мимо машина шла в обратном направлении.

— Это за ним, за этими *zasrantsami*, что ли? — спросил я.— Ваши *kozly* их уже сцапали?

— Это,— сказал тот, с бычьей шеей,— «скорая помощь». А вызвали ее к твоей жертве, отвратный ты, подлый негодяй.

— Это все они,— *vskrilshival* я, преодолевая резь в *glazzjah*.— Они пьют сейчас в баре «Дюк-оф-Нью-Йорк». Заберите их, черт бы вас взял, *pidery* вонючие! — Тут снова раздался смех, и мне еще раз слегка сунули *toltsbok* в *got*, о, блин, бедный мой раскровененный *got*! Вскоре мы подъехали к ментовской, пинками и ударами мне помогли выбраться из машины, на ступеньках участка вновь ждал меня изрядный *toltsbok*, и я понял, что ничего похожего на справедливость, на честную игру от этих *podlyh gadov*, *tshiort* бы побрал их, не дожدهшься.

7

Меня втащили волоком в ярко освещенную свежепобеленную *kontogu*, в которой стояла жуткая *voпп*, как бы от смеси блевотины с пивом, хлоркой и уборной, а исходила она из зарешеченных камер по соседству. Было слышно, как некоторые из *reppnyh* орут, ругаются в своих камерах, некоторые пьют, причем мне показалось, будто я разобрал слова одного из них:

Будем вместе мы, моя милая,
Хоть ушла ты далеко.

Однако тут же раздалась голоса ментов, призывающих всех заткнуться, раздался даже тот ни с чем не сравнимый звук, когда кому-то делают *strashni toltsbok*, после чего избитый взвыл: «Ааааааааоооооо», и его голос был похож на *vskritsh* пьяной старой *ptitsy*, а не мужчины. В *kontore* со мной было четверо ментов, они шумно прихлебывали *tshai*, большой чайник с которым стоял посреди стола, и все они чавкали и громко рыгали, поднося ко рту свои огромные мерзкие кружки. Чаю они мне не предложили. А предложили мне всего лишь старое загаженное зеркало, чтоб поглядеться, и я действительно был уже не тот симпатичный юный

ваш повествователь, а просто zhutt что такое: распухший рот, красные glazzja, да и нос тоже слегка покалеченный. Они от души веселились, видя мой испуг, а один говорит: «Такой только в пьяном кошмаре приснится!» Потом пришел главный мент, сверкая звездами на погонах, дескать, вот какой я великий-превеликий, увидел меня и сказал: «Гм». Тут все началось по-серьезному. Я говорю:

— Вы не дождетесь от меня ни одного slova, пока я не увижу своего адвоката. Законы я знаю, vyrodki поганые.— Конечно же, это вызвало у всех громкий smeh, а мент со звездами сказал:

— Отлично, отлично, ребята, начнем с того, чтоб показать ему, что мы, во-первых, тоже законы знаем, а во-вторых, что знание законов это еще не все.— У него был голос светского джентльмена, говорил он с этакой утомленной ленцой и при этом кивнул и дружески улыбнулся тому, похожему на быка толстому ubliudku. Толстый снял китель, так что стало еще виднее его пивное брюхо, вразвалку подошел ко мне, и когда он открыл got в зловещей усмешке, я почувствовал вопп чая с молоком, который он только что пил. Для мента он был не слишком-то хорошо выбрит, на рубашке под мышками виднелись разводя застарелого пота, а когда подошел еще ближе, от него пахло чем-то вроде серы из ушей. Потом он сжал в кулак вонючую свою красную ручищу и сунул его мне в rodduh — ннзость какая! — а все остальные менты, кроме главного, хохотали в свое удовольствие, тогда как главный продолжал только утомленно и скучающе ухмыляться. Меня отбросило к свежепобеленной стене, так что весь мел с нее я собрал на одежду, пытаюсь, несмотря на боль, перевести duh, и тут нестерпимо подступило желание выблевать из себя клейкий пудинг, которого я наелся дома перед выходом. Но таких vestshei я не терпел: как это? иаблевать по всему полу? Ну нет; и я сдержался. Потом вижу, этот жирный молотила обернулся к своим ментовским друзьям, чтобы еще раз хорошенько порадоваться с ними вместе; я мигом размахнулся правой ногой и, пока ему не успели крикнуть, предупредить, треснул его со всех сил по голени. Ах, как он завизжал, как запрыгал!

Но зато после этого они отвели душу, устроили мие piatyi ugol, швыряя от одного к другому, как какой-нибудь изношенный и дырявый мяч, блин, били меня

по beitsam, по morder, били в живот, пинали, и в конце концов пришлось все-таки мне блевануть на пол, помню, я даже, как совсем уже bezumni, говорил им: «Простите, братцы, я был не прав, я был очень не прав, простите, простите, простите». Но мне дали обрывки старой gazety и заставили вытирать, потом заставили посыпать опилками. А после чуть ли не дружески предложили сесть и поговорить спокойно и ro-tihomu. Потом посмотреть на меня зашел П. Р. Дельтоид, спустился из своего кабинета, который был у него здесь же, в этом же здании. Он выглядел усталым, griaznym, приблизился ко мне и говорит:

— А, достукался, Алекс! Н-да. Впрочем, я так и думал. Ах ты Боже мой! — Тут он повернулся к ментам со словами: — Привет, инспектор. Привет, сержант. Привет, привет всем. Что ж, моя веревочка на этом рвется, н-да. Ах ты Боже ж мой, что за вид у парня, что за вид! Поглядите, на кого он похож!

— Насилие порождает насилие,— сказал главный мент тоном святоши.— Он оказывал сопротивление аресту.

— Рвется моя веревочка, н-да,— вновь посетовал П. Р. Дельтоид. Глянул на меня своими холодными glazzjami так, словно я стал вещью, не был уже избитым, окровавленным и очень усталым tshelovekom.— Похоже, завтра мне придется присутствовать на суде.

— Это не я, kogesh, то есть сэр,— проговорил я со слезой в голосе.— Замолвите там за меня словечко, сэр, пожалуйста, я не такой плохой! Меня обманом завлекли мои дружки, сэр.

— Соловьем поет, прямо разливается,— с усмешкой проговорил главный мент.— И песня такая жалостная, того и гляди все растаем.

— Я скажу свое слово,— ледяным тоном пообещал П. Р. Дельтоид.— Завтра буду там, не волнуйся.

— Если хотите ему пару раз врезать, нас не стесняйтесь,— сказал главный мент.— Его подержат. Надо же как вас опять подвели!

И тут П. Р. Дельтоид сделал то, чего я никак не ожидал от такого человека, как он, от человека, которому положено превращать всяких plohishei вроде меня в pai-malltshikov, особенно при том, что вокруг было полно ментов. Он подошел чуть ближе и плюнул. Да-да, плюнул. Плюнул мне прямо в litso, а потом вытер свой

обслуживаемый got тыльной стороной ладони. А я принялся тереть, тереть, вытирать оплеванное litso кровавым платком, на разные лады повторяя: «Благодарю вас, сэр, спасибо вам большое, сэр, вы очень добры ко мне, сэр, спасибо». После этого П. Р. Дельтоид вышел, не сказав больше ни слова.

Теперь мусора принялись составлять протокол моего допроса, чтобы я его потом подписал, а я подумал, ну и пусть, будь оно все проклято, если эти выродки стоят на стороне Добра, тогда я с удовольствием займу противоположную позицию.

— Ладно,— сказал я им,— ubliudki griaznyje, pidery vonючие. Пишите, пишите все до конца. Я не собираюсь больше ползать тут на briuhe, мерзкие вы гады. Откуда хотите, чтобы я начал, поганые животные? С того момента, когда меня последний раз выпустили из исправительной школы? Хорошо же, начнем оттуда.— И я как пошел, как пошел им выдавать — выкладывал и выкладывал, а стенографист, тихий человечек с испуганным litsom, совсем не похожий на мента, исписывал страницу за страницей. Я выдавал им по полной программе: избиения, krasting, dratsing, делишки с добрым старым supn-vupn, все в kutshu вплоть до последней vestshi с участием богатой старой ptitsy и ее вопящих kotov и koshek. И уж я постарался, чтобы мои так называемые друзья были замазаны, что называется, po ushi. Когда я закончил, стенографист, казалось, вот-вот свалится в обморок, бедный kashka. Главный мент участливо сказал ему:

— Ну, молодец, сынок, отдохни теперь, попей чайку, потом зажми покрепче нос и перепечатай всю эту грязь и мерзость в трех экземплярах. Потом дадим их нашему симпатичному юному другу на подпись. А тебе,— повернулся он в мою сторону,— сейчас покажут твои апартаменты с водопроводом и всеми удобствами. Ну, взяли,— это он уже обращался к двоим самым здоровущим ментам, причем голос у него стал опять утомленным.— Уберите его.

Меня опять скрутили, поволокли, награждая по дороге пинками и затрещинами, и вбросили в камеру к десяти или двенадцати другим pleppут, многие из которых были пьяны. Были среди них действительно uzhasnyje, звероподобные существа — один с полностью сгнившим носом и ртом, отверстым, как пустая черная дыра, дру-

гой валялся на полу и храпел, а изо рта у него непрестанно сочилась какая-то слизь, третий весь свой kal откладывал себе в shtanu. Тут же оказались двое, видимо, голубых, которым я вроде как приглянулся, один прыгнул на меня сзади, и пришлось устроить ужасный dratsing — действительно ужасный, потому что от наившего исходила zhutkaja voyn, как бы смесь гнилого болота с дешевой парфюмерией, такая гадкая, что мне вновь захотелось блевануть, только желудок теперь у меня уже пуст был, блин. Потом руки распускать стал другой голубой, и между ними разгорелась крикливая свара по поводу того, кому из них достанется моя plott. Поднялся ужасный шум, явились двое ментов с дубинками, слегка обработали ими голубых, и те затихли, спокойно уселись, глядя в пространство, причем по litsu одного из них — кап-кап-кап — стекала каплями кровь. В камере были нары, но мест на них не оказалось. Я залез на верхний ярус (ярусов было четыре) и нашел там храпящего пьяного kashku, заброшенного туда, по всей вероятности, ментами. Короче, скинул я его обратно вниз (он был не очень тяжелый), и он рухнул на какого-то другого толстого пьяницу, лежавшего на полу; в результате оба проснулись, подняли kritsh и затеяли бессильную и жалкую толкотню друг с другом. А я улегся на воюющие нары и, несмотря на боль во всем теле, забылся тяжелым сном. Однако это получился вроде как и не сон, а какой-то переход в другой, лучший мир. И в этом другом, лучшем мире, блин, я оказался вроде как на широкой поляне среди цветов и деревьев, и там же был вроде как козел с человеческим litsom, играющий вроде как на флейте. И тут, как солнце, восстал сам Людвиг ван с litsom громовержца, с длинными волосами и развевающимся шарфом, и я услышал Девятую, заключительную ее часть, только слова в ней слегка смешались и переменились, причем как-то так сами собой, как, впрочем, и положено во сне:

Выше огненных созвездий,
Брат, верши жестокий пир,
Всех убей, кто слаб и сир,
Всем по mordet — вот возмездье!
В зад пинай voniutshi мир!

Но музыка была та, это я твердо знал, проснувшись через две, а может, через десять минут, а может, через двадцать часов, или дней, или лет — часы у меня давно

отняли. Внизу, словно за десятки миль от меня, стоял мент, он тыкал меня длинной палкой с острием на конце и говорил:

— Проснись, сынок. Проснись, красавчик. Проснись, теперь начнутся настоящие неприятности.

— Кто? Что? Почему? Куда? Что такое? — Внутри у меня звучала мелодия «Оды к радости» из Девятой, звучала чисто и мощно. Мент продолжал:

— Спускайся, узнаешь. Тебе тут хорошенькие новосточки подоспели, сынок.

Я кое-как слез, весь затекший, с ломотой в костях и совершенно сонный, так что пока мент, от которого діко несло сыром и луком, выпихивал меня из загаженной храпящей камеры и гнал по коридорам, внутри у меня все звучала и звучала сверкающая музыка: «Радость, пламя неземное...» Потом мы вошли в какую-то чистенькую контору с машинками и цветами на столах, и там сидел за начальственным столом главный мент, который хмуро смотрел на мое заспанное *litso* леденящим взором. Я говорю:

— Ну-ну-ну-ну. Что так соскучился по мне, а, *koresh*? Какого *figa* в этот час, среди тишайшей *potshi*?

— Даю тебе десять секунд,— сказал он,— чтобы ты убрал с физиономии эту идиотскую ухмылку. Потом выслушаешь.

— Чего-чего? — со смешком проговорил я.— Тебе все мало? Меня избили до полусмерти, плюнули мне в *hagi*, заставили признаться в стольких преступлениях, что не успевали записывать, а потом бросили, среди каких-то *bezumtsev* и *voniutshih piderov* в *griaznoi* камере! У тебя что, новая пытка для меня припасена, ты, выродок!

— Ты сам ее себе припас,— серьезно проговорил он.— Клянусь, мне не хотелось бы, чтобы ты от нее спятил.

И тут, прежде даже чем он объяснил мне, я понял, в чем дело. Старая *ptitsa*, разводившая у себя дома целыми выводками *kotov* и *koshek*, преставилась в одной из городских больниц, отошла в лучший мир. Я *toltshek-pul* ее чуть сильнее, чем надо. Что ж, значит,— все. Мне вспомнились ее *koty* и *koshki*, подумалось, как они, небось, мяукают теперь, молока просят, а им *fig* — во всяком случае от старой хозяйки они больше его не получают. Так что — все. Ну, натворил делов. А ведь мне еще только пятнадцать.

Часть вторая

1

— Ну, что же теперь, а?

Ладно, поехали, начинаю самую жалостную, даже трагическую часть своей истории, о братья мои и други единственные, которая разворачивалась в гостюрьме номер 84-ф. Вряд ли вам так уж захотелось бы слушать полностью *uzhasni* и *rogani* рассказ о том, какой был у отца припадок, как он бился о стену, богохульствуя и покрывая *gukegu* ссадинами и синяками, о том, как у матери перекосило *got* от плача *oooooой-ooooooой-oooooой*, когда она подняла *kritsh* о единственном сыне, родной кровинчке, который так всем изгадил *zhizni*. Потом был суд нижней инстанции, проходивший в старом мрачном здании магистрата, где говорились всякие жесткие слова о вашем друге и скромном повествователе,— это было уже потом, после всех злобных поношений, побоев и плевков, которыми его наградили П. Р. Дельтонд с ментами, будь они все прокляты. Потом его держали в грязной камере среди *voniutshih* извращенцев и *prestupnikov*. Потом суд более высокой инстанции, уже с адвокатами и присяжными, и, надо сказать, там тоже говорились всякие пакости, причем весьма торжественным тоном, а потом — «Виновен!», и после слов «четырнадцать лет» *kritsh* моей мамы «уууууууууууууууууууууууууууу», блин. И вот я сижу, два года уже сижу с тех, пор, как меня пинками, под лязганье запоров впихнули в гостюрьму 84-ф, одетого по последней арестантской моде, то есть в комбинезон цвета *kala*, да еще и с пришитыми над тикалкой на грудь и на спину номерами, так что как ни повернись, перед вами номер 6655321, а вовсе не Алекс, ваш юный друг.

— Ну, что же теперь, а?

Ничего облагораживающего в том, чтобы сидеть два года в *griaznoi* клетке человеческого зверинца, конечно же, не было, а были одни побои, *toltshoki* со стороны зверюг надзирателей, и было знакомство с миром вонючих злобных заключенных, среди которых оказалось полно настоящих извращенцев, готовых в любой момент наложить лапу на соблазнительного юного мальчика вроде вашего покорного слуги. И была необходимость работать в мастерских, делать спичечные коробки и ходить,

ходить, ходить по двору вроде как для разминки, а по вечерам иногда какой-то старый век, с виду как бы учитель, читал лекции о жуках или о Млечном Пути, а еще, бывало, на тему «Загадки и чудеса снежинок» — это вообще smeh, потому что сразу вспоминался тот раз, когда мы сделали toltshok, kashke, вышедшему из публичной biblio зимней potshju, в те времена, когда мои koshesha еще не стали предателями, а я был счастлив и свободен. Об этих своих бывших друзьях я здесь услышал всего один раз, когда навестить меня пришли па и ма и рассказали мне, что Джорджика уже нет. Да, погиб, блин. Мертв, как собачий kal на дороге. Джорджик привел остальных двоих в дом к какому-то очень богатому веку, они ему сделали toltshok, zagasili и попинали еще на полу, и Джорджик начал делать gazdruzg занавесям и подушкам, а старина Тём стал бить какие-то очень дорогие безделушки — статуи и тому подобное, а этот избитый богач взъярился, как bezumni, и бросился на них с тяжелым железным прутом. Razdragh придал ему какую-то нечеловеческую силу, Тём и Пит выскочили в окно, а Джорджик споткнулся о ковер, и хозяин грохнул его этой кошмарной железной по tykve, тут и конец пришел хитрюге Джорджику. Старого убийцу оправдали: мол, самооборона, что было совершенно правильно и справедливо. Вообще, то, что Джорджик убит, хотя и спустя год с лишним, после того как сдал меня ментам, по мне, было правильно, нормально и даже вроде как промысел Божий.

— Ну, что же теперь, а?

Дело было в боковой часовне воскресным утром; тюремный свищ наставлял нас в Законе Божнем. Моей обязанностью было управляться со стареньким проигрывателем, ставить торжественную музыку перед и после, а также в середине службы, когда полагается петь гимны. Я был во внутреннем приделе боковой часовни (всего их в гостюрье 84-ф было четыре), неподалеку от того места, где стояли надзиратели и вертухай с их винтовками и подлейшими синешекими otjetymi hariami, и мне хорошо было видно слушавших Закон Божий зеков, сидевших внизу в своих комбинезонах цвета kala; от них подымалась особая какая-то грязная вопп, причем не то чтобы они были действительно немытые, не в том дело, это была особая необычайно гадкая вопп, которая исходит только от преступников, блин, — вроде как пыльный

такой, тусклый запах безнадежности. И я подумал, что от меня, видимо, тоже такой запах, поскольку я уже настоящий зек, хотя и очень еще молодой. Так что мне, понятное дело, очень важно было как можно скорее покинуть этот вонючий giazni зверинец. Впрочем, как вы поймете, если вам не надоест читать, вскоре я его и впрямь покинул.

— Ну, что же теперь, а? — спросил тюремный свищ в третий раз. — Либо пойдет карусель тюрьма-свобода-тюрьма-свобода, причем для большинства из вас в основном тюрьма и лишь чуть-чуть свободы, либо вы прислушаетесь к Священному писанию и поймете, что нераскаявшихся грешников ждут кары еще и в том, грядущем мире после всех мытарств этого. Сборище отпетых идиотов, вот вы кто (большинство, конечно), продающих первородство за жалкую миску холодной похлебки. Возбуждение, связанное с кражей, с насилием, влечение к легкой жизни — стоит ли эта игра свеч, когда у вас есть веские доказательства — да, да, неопровержимые свидетельства того, что ад существует? Я знаю, знаю, друзья мои, на меня снисходили озарения, и в видениях я познал, что существует место мрачнее любой тюрьмы, жарче любого пламени земного огня, и там души нераскаявшихся преступных грешников вроде вас... и нечего мне тут хихикать, что за смешки, будь вы неладны, прекратить смех!.. Да, вроде вас, говорю, вопят от бесконечной непереносимой боли, задыхаясь от запаха нечистот, давясь раскаленными экскрементами, при этом кожа их гниет и отпадает, а во чреве бушует огонь, пожирающий лопающиеся кишки. Да, да, да, я знаю!

В этом месте, блин, какой-то зек в заднем ряду сделал губами пыр-дыр-дыр-дыр, и тут же налетели звери надзиратели, кинулись туда, откуда им послышался этот шум, раздавая направо и налево toltshoki и зуботычины. Они схватили какого-то бледного дрожащего зека, тощего, маленького и довольно старого, выволокли его, хотя он и кричал им, не переставая: «Это не я, это он, он, смотрите!», но им было все равно. Его жестоко избили и, воющего, вопящего, выволокли из часовни.

— Теперь, — сказал тюремный свищ, — внемлите Слову Господа нашего. — Затем он взял в руки толстую книгу, перелистнул страницы, плюя все время для этого на пальцы — тьфу-тьфу-тьфу. То был огромный дородный буйвол, очень красный litsom, но он испытывал ко мне

слабость, потому что я был молод и очень интересовался его Книгой. Считалось, что для дальнейшего моего образования мне можно читать эту книгу и даже слушать тюремный проигрыватель, пока читаю. Блин. И это было, в общем, неплохо. Меня запирали и давали слушать духовную музыку И. С. Баха и Г. Ф. Генделя, пока я читал про всех этих древних аидов, которые друг друга убивали, напивались своего еврейского вина и вместо жен тащили в постель их горничных — довольно забавное чтиво. Только оно и помогало мне продержаться, блин. В последних главах этой книги я не очень-то коралсия — там все больше шла душеспасительная говорильня, а про войны и всякие там sunn-vunn почти ничего не было. Но однажды свищ сказал мне: «Ах, номер 6655321, пора бы тебе о Страстях Господних подумать. Сосредоточься на них, мой мальчик». При этом от него пахло богатым духом хорошего виски, и он удалился в свою камотки, чтобы выпить еще. Ну, прочитал я про бичевание, про надевание тернового венца, потом еще про крест и всякий прочий kal, и тут до меня дошло, что в этом ведь что-то есть. Проигрыватель играл чудесную музыку Баха, и я, закрыв glazzja, воображал, как я принимаю удастие и даже сам команду бичеванием, делаю весь toltshoking и вбиваю гвозди, одетый в тогу по последней римской моде. Так что пребывание в гостюрье 84-ф проходило для меня не совсем впустую, даже сам комендант был доволен, когда ему сказали, что я пристрастился к религии, и вот тут-то для меня забрезжила надежда.

В то воскресное утро свищ читал из книги про tshe-lovekov, которые слушали Slovo и не кинулись тут же очертя голову исполнять его,— будто бы они подобны тому, кто строил свой дом на песке, а тут как раз дождь хлесь-хлесь, гром бабах! и дом развалился. Однако я подумал, что это только очень темный век будет строить свой дом на песке, а кроме того, еще и все соседи-приятели должны быть полными подонками, если не подскажут ему, какой он темный, раз затевает такое строительство. Потом свищ сказал: «Эй, вы там, заканчиваем. Споем сейчас гимн номер 435 из тюремного сборника». Раздался хлоп-тресь-шварк-хлесь-хлесь — это зеки раскрывали, роняли и перелистывали, плюя на пальцы, свои giazni маленькие книжки гимнов, а зверюги вертухан покрикивали: «А ну, не разговаривать, мерзавцы.

Эй, номер 920537, я тебя вижу!» У меня, естественно, пластинка уже была поставлена, и я сразу врубил орган, взрепевший бууууууу-бу-бууууууу. Зеки начали петь, и вот уж это было на самом деле ужасно.

Чтобы чай окреп в стакане,
Не спеши его студить.
Так и мы другими станем
На свободу выходить.

Они выли и горланили эти glupі слова под непрестанные понукания свища: «Громче, будь вы неладны, всем петь как следует!», перемежающиеся рывканьем надзирателей: «Смотри у меня, номер 774922!» или «Ща вот подойду, получишь у меня, дерьмо!» Наконец пение кончилось, свищ сказал: «Да пребудет с вами Святая Троица, да совершит она ваше исправление, аминь», и скрипучая телега тюремного проигрывателя заиграла Симфонию № 2 Адриана Швайгзельбера, премильный фрагментик, отобранный вашим скромным повествователем, блин. Что за bydło, думал я о заключенных, наблюдая со своей позиции у тюремного проигрывателя за тем, как они бредут, шаркают, чего-то там мычат и блеют, как животные, а в меня тычут grіaznūmі пальцами: «Эй ты, музыкант hіepov!» — потому что, по их мнению, я просто zhutt как высоко вознесся. Когда последний зск, пообезьяньи ссутулясь и свесив руки, вышел вон, удостоившись напоследок громкого подзатыльника от надзирателя, и проигрыватель у меня уже был выключен, подошел, попыхивая tsygarkoі, свищ, все еще в богослужебной одежде, белой и украшенной кружевами, как у devtshonki. Подошел и говорит:

— Спасибо, ты меня, как всегда, не подвел, малыш 6655321. Что новенького сегодня расскажешь?

Тут дело в том, что наш свищ, как я уже знал, собирался очень высоко подняться в среде тюремного клира и хотел заработать наилучшие рекомендации от коменданта. Поэтому старался как можно чаще сообщать о всяких там подлых, черных замыслах арестантов, а информацию, всякий такой kal, он вознамерился получать от меня. Обычно я все врал, но иногда говорил и правду, к примеру в тот раз, когда в нашей камере узнали (услышали, как кто-то с кем-то перестукивался по трубам: тук, тук, тукитук, тукитукитукитук, тук, тук), что верзила Гарриман планирует побег. Он собирался, когда пойдет выносить помои, tolshoknutt надзирателя и бе-

жать, переодевшись в его мундир. Потом еще был случай, когда зеки договорились за обедом все вместе выбросить вон мерзкую zhratshku, которой нас кормили, а я узнал об этом и рассказал. Свищ передал дальше и заработал вроде как благодарность от коменданта за Общественную Жилку и Чуткое Ухо. На сей раз я ему ска- зал совершеннейшую tshush:

— Вы знаете, сэр, тут по трубам стучали, будто в од- ну из камер пятого яруса каким-то необычным спосо- бом передали пакет кокаина и он оттуда поползет по всей тюрьме.— Я все это на ходу придумал, как и мно- гие из своих сообщений, однако тюремный свищ diko об- радованно сказал:

— Молодец, молодец. Передам это Самому.— (Это он так называл коменданта.) А я говорю:

— Сэр, я ведь на славу постарался, правда же? — Причем, общаясь с начальством, я всегда стронл из себя джентльмена, говорил таким вежливым и приятным то- ном.— Делаю все, что могу, верно?

— Думаю,— проговорил свищ,— что в целом это верно, 6655321. Ты действительно помогаешь мне и, по- моему, выказываешь искреннее желание исправиться. Если так пойдет и дальше, ты без труда заработаешь се- бе уменьшение срока.

— Я вот о чем, сэр,— продолжал я.— Как насчет но- вой методы, о которой все только и твердят? Как насчет того вроде как лечения, пройдя которое можно чуть ли не завтра выйти из тюрьмы, причем с гарантией, что больше туда не попадешь в жизни?

— А-а,— каким-то тусклым голосом протянул он.— Где ты об этом услышал? Кто вам такие вещи рассказы- вает?

— Да так, идут всякие толки, сэр. Может, надзирате- ли между собой разговаривали, а кто-то случайно услы- шал. А потом еще кто-то в мастерской нашел кусок га- зеты, и там тоже об этом говорилось. Как насчет того, чтобы вы устроили мне это дело, сэр, если, конечно, мне позволено просить об этом.

Видели бы вы, как он ломал голову, пыхтя своей tsygarkoi,— никак не мог решить, можно ли и что имен- но можно мне рассказать о той shtuke, про которую я упомянул. Потом говорит:

— Я так понял, что ты имеешь в виду метод Людо- вика.— Голос его все еще оставался тусклым.

— Я не знаю, как это называется, сэр,— настаивал я.— Знаю только, что таким образом можно быстро выйти на свободу с гарантией, что обратно не попадешь.

— Это правда,— проговорил он, глядя на меня изпод напряженно сдвинутых бровей.— Это чистейшая правда, номер 6655321. Хотя эта методика пока еще на стадии экспериментальной доводки. Она проста, но действует весьма крепко.

— Но ведь ее применяют здесь, правда же, сэр? — не унимался я.— Вон в том новом белом здании у южной стены, верно, сэр?

— Пока еще не применяют,— сказал свищ,— во всяком случае в этой тюрьме, номер 6655321. У Самого насчет нее большие сомнения. Должен признаться, что и я его сомнения разделяю. Весь вопрос в том, действительно ли с помощью лечения можно сделать человека добрым. Добро исходит изнутри, номер 6655321. Добро надо избрать. Лишившись возможности выбора, человек перестает быть человеком.

Подобный каз свищ мог извергать часами, он бы еще продолжил, но тут посылались шаги следующей партии зеков — блям-бум, блям-бум спускались они по железным ступеням за своей порцией Религии. Поэтому свищ сказал:

— Вот что. Поболтаем об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас запускай соло на органе.

Пришлось мне опять включать старый проигрыватель, ставить хоральный прелюд «Wachet auf» И. С. Баха, пока в часовню втекал поток грязных вонючих выродков, преступников и извращенцев, которые тащились, как побитые обезьяны, а надзиратели и вертухай пинками и рывканьем подгоняли их. И свищ уже вопрошал: «Ну, что же теперь, а?» И в этот момент начинала звучать музыка.

В то утро у нас было четыре такна Iomtika Тюремной Религии, однако свищ больше ничего не сказал мне про этот самый метод Людовика, в чем бы он ни заключался, блин. Когда я закончил *voznju* с проигрывателем, он лишь кратко поблагодарил меня, а потом меня отвели обратно на шестой ярус, в битком набитую камеру, которая была теперь моим *domom*. Вертухай на сей раз незлой попался, он по пути не бил меня и в камеру не зашвырнул, а просто сказал: «Пришли, сынок, залазь, давай, в свою берлогу». Здесь я пребывал со своими но-

выми koreshami, которые все были закоренелыми prestupnikami, но, слава Богу, не приверженными извращениям плоти. На своей полке лежал Зофар, тощий коричневокожий век, который все время бубнил что-то прокуренным голосом, но слушать его никто не удосуживался. То, что он говорил, звучало примерно так: «Захожу это я в шалман (что бы это ни значило, блин), и как раз того фраера встречаю, что на бану мне затырил. Ну, и что, говорю, да, с кичмана подломил, ну и что? Шас буду коцать!» Он говорил на настоящем воровском жаргоне, но очень старом, который давным-давно отошел. Еще там такой был одноглазый Уолл, он как раз в честь воскресенья занимался отдираньем кусков ногтей на ногах. Еще был Еврей, вечно потный, очень шустрый век; этот лежал на своей полке ничком, как мертвый. Если кому мало, так были еще Джоджон и Доктор. Джоджон был жилистый, очень резкий и злобный, его специальностью были преступления на сексуальной почве, тогда как Доктор сел за то, что притворялся, будто лечит сифилис и гонорею, но вкалывал простую воду, а кроме того, убил двух devotshek, которым обещал избавить их от нежелательного бремени. Компания мерзкая и griaznaja, их общество нравилось мне не больше чем вам сейчас, о други мои и братие, но вскоре моя судьба должна была перемениться.

Кроме того, хотелось бы заострить ваше внимание на том, что эта камера при строительстве была рассчитана на троих, а сидело нас там шестеро, все друг к другу впритирку, среди вони и пота. То же самое творилось в те дни во всех камерах всех тюрем, блин, такое паскудство, tsheloveku даже ноги некуда протянуть! К тому же — вы не поверите! — в то воскресенье к нам vpihnuli еще одного арестанта. Мы к тому времени, получив ужасную нашу zhratshku — вонючее варево с клецками, — лежали каждый на своей полке, мирно покуривали, и тут в этакую толчею vpihnuli еще одного. Это был kashka с костистым, торчащим вперед подбородком, и сразу же он затеял kritsh, мы еще даже и понять ничего не успели. Он тряс прутья решетки и вопил: «Нарушены мои права, черт бы их драл, здесь и так полно, это произвол, вот что это такое!» Но к нему подошел один из вертухаев и сказал, чтобы тот выкручивался, как умеет, — может, кто его на свою полку пустит, а нет, так спать ему на полу. «Кстати, — добавил охранник, — дальше лучше не бу-

дет, а только хуже. Вы же сами такое положение создали, развелось вас как собак нерезаных, ворье паскудное!»

2

В общем, как раз с водворения к нам этого нового зека и началось мое освобождение из Гостюрьмы — из-за его скверного и склочного нрава, грязных помыслов и подлых намерений, которые привели к тому, что неприятности начались в тот же день. Он был очень hvastliv, в упор нас не замечал и разговаривал высокомерным тоном. Дал нам понять, что он единственный во всем зоопарке настоящий prestupnik v zakone, он, дескать, сделал то, он сделал это, одним щелчком он десять ментов убил, и всякий тому подобный kal. Ни на кого он этим большого впечатления не произвел, блин. Тогда он стал вязаться ко мне, поскольку я там был самый младший, пытаюсь доказать, что это я, как самый младший, должен zaspatt на полу, а вовсе не он. Однако остальные за меня вступились, заорали: «Оставь его в покое, ты, выродок baratshni», и тогда он затынул старую-престарую песню про то, что его никто не любит. Короче, в ту же ночь я проснулся оттого, что этот ужасный зек и впрямь улегся ко мне на полку, которая и так была diko узкой (она была в нижнем из трех ярусов), мало того, он еще принялся нашептывать мне какие-то griaznuje любовные словечки и гладить, гладить, гладить. Ну, тут я стал совсем bezumni и с ходу выдал ему, хоть я и не различал ничего толком, потому что горел только маленький красный свет на площадке. Но я знал, что это он, вонючий kozlina, а когда начался настоящий переполох и включили свет, я увидел его подлюю hagiц, которая была вся в крови, текущей из губы, рассеченной ударом моего кулака.

Дальше все пошло, как всегда, то есть мои сокамерники проснулись и стали присоединяться к драке, шедшей немного pesugaz из-за полутьмы; от шума проснулся чуть не весь ярус, там и сям слышались kritshi и громыхание жестяными мисками о стену: всем зекам во всех камерах почудилось, будто вот-вот начнется большой бунт. Зажегся свет, набежали, размахивая дубинками, вертухан в своих кепи и рубашках навыпуск. Стали видны наши разгоряченные hagi, мелькающие в воздухе кулаки, стоял kritsh и ругань. Я высказал свою жалобу,

но вертухаи в один голос заявили, что, видимо, это я сам, ваш скромный повествователь, все и затеял, потому что на мне не было ни царапинки, тогда как тот *izhasni* зек обливался кровью из разбитого моим кулаком *gota*. От этого я вконец *obezumel*. Сказал, что ни одной *potshi* не стану *spatt* в этой камере, если тюремная администрация позволяет всякому вонючему *ridegu* приставать ко мне, когда я сплю и не могу постоять за себя. «Жди до утра,— ответили мне.— Или, может, вашему высочеству подавай отдельную комнату с ванной и телевизором? Утром разберемся. А в данный момент, *druzhok*, хватит выступать, и давай-ка преклони *bashku* на соломенный тюфяк, да чтоб никаких тут больше *zavaguih* не затевал. Ты хорошо понял?» С тем они удалились, дав всем напоследок хорошенькую *pakatshku*; вскоре погасили свет, но я сказал, что весь остаток *potshi* проведу сидя, а тому гаду говорю: «Давай, лезь на мою полку, если хочешь. Мне она больше не нравится. Из-за того что такой *kal*, как ты, к ней прикасался, для меня она теперь *опогаиена*». Но тут вмешались сокамерники. Все еще отирая пот после ночной *bitvu*, Еврей сказал:

— Нет уж, знаешь ли, так не пойдет, братец. Нечего всяким паскудникам сдавать позиции.

А новенький говорит:

— Ну ты, жид, заплыви *govnop*,— в том смысле, что заткнись, но так звучало обидней, отчего Еврей тут же изготовился к *toltsoku*. А Доктор говорит:

— Ну-ну, джентльмены, зачем нам неприятности, что за чушь?—причем тоиом этаким светски-небрежным. Однако новенький продолжал нарываться. Явно видел себя *zhutt* каким крутым громилой, которому при шестерых других сокамерниках спать на полу прямо-таки *zaradlo*, а лезть на милостиво предложенную койку обидно. В своей издевательской манере он прицепился и к Доктору:

— Аааааа, ты неприяаааатностей не хочешь, пууууусик!

Но тут Джоджон, жилистый, резкий и злобный, сказал:

— Если уж не выходит поспать, займемся образованием. Нашему новому другу хочется, чтобы мы преподали ему урок.— Несмотря на специальность насильника, речь у него была неплохая, он говорил веско и точно. Новый зек презрительно осклабился:

— У-тю-тю-тю-тю, как страшно! — И вот с этого все началось всерьез, причем как-то так по-тихому, никто даже голоса не повысил. Сперва новенький попытался было пискнуть, но Уолл заткнул ему рот, а Еврей держал его прижатым к прутьям решетки, чтобы его было видней в красноватом отсвете лампочки на площадке, и он лишь едва постанывал — оо, оо, оо. Был он не Бог весть каким крепышом, отбивался слабенько; видимо, для того он и *shumel*, для того и хвастался, чтобы возместить свою слабость. Зато я, увидев в красной полутьме красную кровь, почувствовал в *kishkañ* прилив знакомого радостного предвкушения.

— Мне, мне его оставьте, — говорю. — Дайте-ка, братцы, я его поучу.

Еврей поддержал меня:

— Пгавильно, пгавильно, гебята. Вгежь ему, Алекс.— И они все отступили в темноту, предоставив мне свободу действий. Я измолотил его всего кулаками, обработал ногами (на них у меня были башмаки, хотя и без шнурков), а потом швырнул его — хрясь-хрясь-хрясь — головой об пол. Еще разок я ему хорошенько приложил сапогом по тулке, он всхрапнул, вроде как засыпая, а Доктор сказал:

— Ладно, по-моему, хватит, урок запомнится.— Он сощурился, пытаясь разглядеть распростертого на полу избитого *veka*.— Пусть ему сон приснится, как он отныне будет паинькой.

Мы все устало расплзлись по своим полкам. А во сне, блин, мне приснилось, будто я сижу в каком-то огромном оркестре, где кроме меня еще сотни и сотни исполнителей, а дирижер вроде как нечто среднее между Людвигом ваном и Г. Ф. Генделем — то есть он и глухой, и слепой, и ему вообще на весь остальной мир *plevatt*. Я сидел в группе духовых, но играл на каком-то таком розоватом фаготе, который был частью моего тела и рос из середины живота, причем только это я в него дуну, тут же — ха-ха-ха: щекотно, прямо не могу, до чего щекотно, и от этого Людвиг ван Г. Ф. весь стал *zhutko gazdrazh*, как *bezumni*. Подошел ко мне вплотную да как закричит мне в ухо, и я, весь в поту, проснулся. Разбудил меня, конечно же, совсем другой шум — это заверещал тюремный звонок — ззззынь-ззззынь-ззззынь! Утро, зима, *glazzja* слипаются, будто там сплошной *kal*, разлепил их, и сразу безжалостно резанул врубленный

на всю тюрьму электрический свет. Вниз глянул, смотрю, новенький лежит на полу в кровище, синий, и до сих пор не пришел в себя. Тут я вспомнил ночные дела и себе под нос *uhmyllnulsia*.

Однако спустившись с полки и тронув его босой ногой, я ощутил ею нечто твердое и холодное, и тогда я подошел к полке Доктора и стал его трясти, потому что вставал Доктор всегда *diko* тяжело. Но на сей раз он скоренько соскочил с полки, так же как и остальные, кроме Уолла, который спал, как *tshushka*.

— Эк-кое невезенье,— сказал Доктор.— Видимо, сердце не выдержало.— Потом добавил, переводя взгляд с одного из нас на другого: — Зря вы его так. И кто только догадался! — Но Джоджон тут же *okrysilsia*:

— Вот еще, Док. Ты ведь и сам дубасил его за милую душу.

Ко мне повернулся Еврей и говорит:

— Я так скажу: наш Алекс чегесчуг голяч. Тот последний удаг был очень нехогош.

Тут уже и я взъелся:

— А кто начал-то, кто начал-то, а? Я немножко, в самом конце добавил, скажешь, нет? — И пальцем на Джорджона: — Это его, его была идея.— Тут Уолл всхрипнул громче обычного, и я сказал: — Разбудите же этого вонючего *yugodka*. Это же он ему *rastt* затыкал, пока Еврей держал у решетки.— А Доктор в ответ:

— Никто не отрицает, все к нему по чуть-чуть приложились — чисто символически, надо ведь учить уму-разуму,— но совершенно очевидно, мой дорогой мальчик, что это именно ты со свойственной юности горячностью и, я бы сказал, неумением соразмерить силу, взял да и замочил беднягу. Жаль, жаль, жаль.

— Предатели! — возмутился я.— Лжецы и предатели! — Вижу, опять, точь-в-точь как два года назад мои так называемые друзья того и гляди сдадут меня со всеми *rotrohami* ментам. Никому, блин, ну никому на белом свете нельзя верить! Джоджон пошел разбудил Уолла, и тот сразу же с готовностью подтвердил, что это я, ваш скромный повествователь, совершил весь этот *gazdgyzg* и насилие. Когда пришли сперва вертухай, потом начальник охраны, а потом и сам комендант, все мои как бы товарищи по камере, перекрикивая друг друга, бросились наперебой рассказывать, что и как я делал,

чтобы убивать этого никчемного извращенца, чей окровавленный труп мешком валялся на полу.

Странный был день, блин. Мертвую plott утащили, после чего во всей тюрьме всех заперли по камерам до особого распоряжения; zhratshku не выдавали, не разносили даже tshai. По площадкам ярусов расхаживали вертухаи и надзиратели, то и дело покрикивая: «Молчать!» или «Заткни хлебало!», едва только им послышится, что где-то в какой-то камере раздался шепот. Потом около одиннадцати утра движение как-то так напряженно стихло, и в камеру извне начала проникать вроде как вопп страха. А потом мимо нас торопливо прошли комендант, начальник охраны и какой-то очень важного вида tshelovek; при этом они спорили между собой, как bezumni. Похоже, что они дошли до самого конца яруса, потом стало слышно, что они возвращаются, на этот раз медленнее, и уже выделялся голос коменданта, толстенького, вечно потного белобрысенького человечка, который в основном говорил: «Да, сэр!» и «Ну что тут делаешь, сэр?» и все в таком духе. Потом вся компашка остановилась у нашей камеры, и начальник охраны отпер дверь. Кто среди них главный, было видно сразу: высоченный такой голубоглазый diadia в таком роскошном костюме, блин, каких я в жизни не видывал: солидном и в то же время модном до невозможности. Нас, бедных зеков, он словно в упор не видел, а говорил поставленным, интеллигентным голосом: «Правительство не может больше мириться с совершенно устаревшей, ненаучной пенитенциарной системой. Собирать преступников вместе и смотреть, что получится! Вместо наказания мы создаем полигоны для отработки криминальных методик. Кроме того, все тюрьмы нам скоро понадобятся для политических преступников». Я не очень-то, блин, ропі, но, опять-таки, он ведь не ко мне и обращался. Потом говорит: «А обычный преступный элемент, даже самый отпетый (это он меня, блин, валил в одну кучу, с настоящими prestupnikami и предателями к тому же), лучше всего реформировать на чисто медицинском уровне. Убрать криминальные рефлексy, и дело с концом. За год полная перековка. Наказание для них ничто, сами видите. Им это их так называемое наказание даже нравится. Вот, начинают уже и здесь убивать друг друга». И он обратил жесткий взгляд голубых глаз на меня. А я — храбро так — и говорю:

— При полном к вам уважении, сэръ, я категорически возражаю. Я не обычный преступник, к тому же не отпетый. Другие, может, здесь и есть отпетые, но не я.— При этих моих словах начальник охраны весь стал лиловый, да как закричит:

— А ну, сволочь, заткни свое пакостное хлебало! Не знаешь, что ли, перед кем стоишь?

— Да ладно, ладно,— отмахнулся от него важный век. Потом обернулся к коменданту и сказал: — Вот его первым в это дело и запустим. Молод, смел, порочен. Бродский с ним завтра займется, а ваше дело сидеть и смотреть, как работает Бродский. Не волнуйтесь, получится, Порочный молодой бандюга изменится так, что вы его не узнаете.

Вот эти-то жесткие слова, блин, как раз и оказались вроде как началом моего освобождения.

3

Тем же вечером вечно дерущиеся зверюги надзиратели вежливо и любезно препроводили меня в самое сердце тюрьмы, священнейшее и заветнейшее место — кабинет коменданта. Комендант нехотя глянул на меня и сказал:

— Ты, видимо, не знаешь, кто это приходил утром, а, номер 6655321? — И, не ожидая от меня ответа, продолжал: — Это был ни больше ни меньше как министр внутренних дел, новый министр; что называется, новая метла. В общем, какие-то у них там странные новые идеи в последнее время появились, а я — что ж... мне приказали, я выполнил, хотя, между нами говоря, не одобряю. Самым решительным образом не одобряю. Сказано было: око за око. Если кто-то тебя ударит, ты ведь дашь сдачи, так или нет? Почему же тогда Государство, которому от вас, бандитов и хулиганов, так жестоко достается, не должно с соответствующей жестокостью расправляться с вами? А они вот говорят: не должно. У них теперь такая позиция, чтобы плохих в хороших превращать. Что мне лично кажется грубейшей несправедливостью. Так, нет?

Чтобы не показаться невежливым и упрямым, пришлось сказать: «Да, сэръ!», и тут же начальник охраны, стоявший за креслом коменданта, вновь налился краской, и в kritsh:

— Заткни поганое хайло, сволочь!

— Ладно, ладно,— устало поморщился комендант.— Тебя, номер 6655321, приказано исправить. Завтра пойдешь к этому Бродскому. Якобы через две-три недели тебя можно будет снять с господоульствия. Через две-три недели выйдешь за ворота, и ступай на все четыре стороны уже без всякого номера на груди. Думаю,— тут он слегка как бы хрюкнул,— такая перспектива тебя радует?

Я ничего не сказал, и снова рявкнул начальник охраны:

— Отвечай, грязная свинья, когда комендант тебя спрашивает!

— Да-да, конечно, сэр,— ответил я.— Большое спасибо, сэр. Я все время старался исправиться, правда, сэр. Я благодарен всем, кто заметил это.

— Ох, не за что,— со вздохом качнул головой комендант.— Это не награда. Далеко не награда. Вот, подпиши бумагу. Здесь говорится, что ты просишь, чтобы остаток срока тебе заменили на то, что тут обозначается как — странное, однако, название! — исправительное лечение. Подпишешь?

— Конечно, обязательно подпишу, сэр,— сказал я.— И большое вам спасибо.— Сразу же мне выдали чернильный карандаш, и я подписал свою фамилию, сделав еще в конце красивый росчерк.

Комендант откинулся в кресле.

— Ха-арошо. Ну, собственно, вот и все, наверное. Опять ожил начальник охраны.

— С ним хочет поговорить тюремный священник, сэр.

Меня вывели вон и повели по коридорам к боковой часовне, причем на этот раз один из вертухаев все время норовил *toitshoknutt* меня то по затылку, то по спине, однако делал это неуверенно, а может, просто ленился. В общем, прошли через зал часовни, поднялись к *kontore* свища, впихнули меня внутрь. Свищ сидел за столом, распространяя вокруг себя сильную мужскую *voipn* крепких *tsygarok* и хорошего виски. Посидел-посидел и говорит:

— Ну, номер 6655321, садись.— И вертухаям: — Подождите в коридоре, ладно? — Они вышли. Тогда он очень серьезно и доверительно заговорил со мной: — слушай, я хочу, чтобы ты понял одно, малыш: от меня это не исходит никоим образом. Если бы мой протест имел

смысл, я бы протестовал, но протестовать смысла нет. Тут дело не только в том, что это бы мне испортило карьеру, но и в том, что мой слабый голос ничего не значит по сравнению с громовым рыком из неких высших политических сфер. Я достаточно ясно выражаюсь? — Мне было как раз ничего не ясно, но я кивнул, дескать, да, да.— Затрагиваются очень трудные этические проблемы,— продолжал он.— Тебя, номер 6655321, собираются превратить в хорошего мальчика. Больше никогда у тебя не возникнет желания совершить акт насилия или нарушить каким бы то ни было образом порядок в Государстве. Я надеюсь, ты понял, о чем речь. Я надеюсь, ты идешь на это, абсолютно ясно все сознавая.

Я отвечаю:

— Ну, ведь приятно же быть хорошим, сэр.— А сам внутри смеюсь-потешаюсь, блин. А он говорит:

— Может быть, и вовсе не так уж приятно быть хорошим, малыш 6655321. Может быть, просто ужасно быть хорошим. И, говоря это тебе, я понимаю, каким это звучит противоречием. Я знаю, у меня от этого будет много бессонных ночей. Что нужно Господу? Нужно ли ему добро или выбор добра? Быть может, человек, выбравший зло, в чем-то лучше человека доброго, но доброго не по своему выбору? Это глубокие и трудные вопросы, малыш 6655321. Но тебе я хочу сказать сейчас лишь одно: если в будущем настанет такой час, когда ты вспомнишь этот день, вспомнишь меня, нижайшего и скромнейшего из прислужников Божиих, молю тебя, не думай плохо обо мне в сердце своем, не думай, будто я каким-либо образом связан с тем, что должно с тобой случиться. И, кстати, раз уж речь зашла о молениях, я с грустью понимаю, что и молиться за тебя бессмысленно. Ты уходишь в пространства, где молитва не имеет силы. Ужасная, ужасная штука, если вдуматься. Правда, в некотором смысле, избрав путь, лишаящий тебя возможности этического выбора, ты определенным образом и в самом деле совершаешь выбор. Так что мне об этом еще думать и думать. В общем, номер 6655321, я еще буду думать, и да поможет нам всем Господь! — И тут он заплакал. Впрочем, я не обратил на это большого внимания, блин, я про себя только потешался, потому что видел: свищ *zdogovo prilozhilsia* к бутылке виски; вот и опять он вынул из ящика стола бутылку и принялся наливать себе изрядную порцию в *giazni* захватанный ста-

кан. Osushil его и говорит: — Может, все к лучшему, кто знает. Пути Господни неисповедимы, — и запел громким, хорошо поставленным голосом псалом. Затем дверь отворилась, вошли вертухан, чтобы ottastshitt меня обратно в вонючую камеру, но старый свищ, не прерываясь, продолжал петь свой псалом.

В общем, на следующее утро пришло время прощаться с Гостиурьмой, и мне было даже слегка грустновато, как это всегда бывает, когда покидаешь место, к которому кое-как все ж таки привык. Но путь мой оказался не далек, блин. Пинками и затрещинами меня погнали к новому белому зданию на другой стороне двора, в который нас выводили на прогулки. Здание было новехонькое, в нем стоял клейкий такой запах новостройки, от которого даже мурашки бежали по коже. Я стоял в diko огромном пустом вестибюле, привыкая к новым запахам — к ним мой pos очень даже чуток. Пахло вроде как больницей, а человек, которому вертухан меня передал, был в белом халате — значит, видимо, врач. Он за меня расписался, а один из зверюг вертухаев, которые привели меня, и говорит:

— Вы за ним смотрите, сэр. Он как был мерзавцем и громилой, так и опять им станет, а то, что все время к тюремному капеллану подлизывался да Библию читал, так это притворство! — Но новый tshelovek с красивыми голубыми glazzjami, которые вроде как смеялись, когда он говорил, ответил ему:

— Нет, нет, трудностей у нас не предвидится. Мы ведь будем друзьями, не правда ли? — И он одарил меня такой лучезарной улыбкой, в которой участвовали не только его glazzja, но и красиво очерченный got, блеснувший белизной zubbjev, — такой улыбкой, что я вроде как сразу ему поверил. Между тем он передал меня другому человеку в халате — видимо, рангом пониже, хотя и этот был очень вежлив, и меня ввели в чудненькую чистенькую комнатку с занавесками, настольной лампой, кроватью — надо же, это все мне, мне одному! При этом ваш скромный повествователь diko про себя потешался, решив что все-таки он большой vezuntshik. Мне велели снять ужасную тюремную робу и дали замечательный пижамный костюм, блин, бледно-зеленый и даже сшитый по последней моде. Кроме того, дали чудесный теплый халат и мягкие тапочки, чтобы не ходить bosikom, так что я подумал: «Ну, Алекс, ну, парень, ну, бывший

номер 6655321, четко ты vprisalsia, безошибочно. Здесь прямо не жизнь, а сказка!»

После того как мне дали большую tshashku настоящего хорошего кофе и несколько старых газет и журналов, чтобы мне не скучно было завтракать, пришел первый век в белом халате — тот, который за меня вроде как расписался, и говорит:

— Ба, вот вы где! — Что, в общем-то, было довольно глупо, но почему-то глупо не прозвучало — настолько этот век был приветлив. — Меня зовут, — сказал он, — доктор Браном. Я ассистент доктора Бродского. С вашего разрешения, я бы хотел провести небольшой осмотр — так, на всякий случай, — и вынул из правого кармана старенький стетоскоп. — Надо ведь убедиться, что вы в форме, не правда ли? Надо, а как же! — А я, лежа с задранной на груди пижамой, пока он выслушивал и выстукивал, спрашиваю:

— А что именно, сэр, вы собираетесь со мной здесь делать?

— Ну, — проговорил доктор Браном, прикладывая к моей спине холодный стетоскоп, — в принципе ничего особенного. Просто покажем вам кое-какие фильмы.

— Фильмы? — удивился я. Я не мог поверить собственным usham, бллин, и вы понимаете почему. — Вы имеете в виду, — еще раз переспросил я, — что я буду вроде как в кино ходить?

— Это особые фильмы, — уточнил доктор Браном. — Очень специфические. Первый сеанс будет сегодня после обеда. Да, — произнес он, выпрямляясь, — похоже, вы вполне здоровы и в хорошей форме. Разве что немного потеряли в весе. Из-за тюремной пищи. Можете застегнуть пижаму. После каждой еды один укольчик в руку. Не повредит. — Я почувствовал прилив благодарности к симпатичному доктору Браному. Спрашиваю:

— Это что будет, сэр, витамины?

— Что-то вроде, — dushevno и дружески улыбаясь, сказал он. — Один укольчик каждый раз после еды. — С этими словами он вышел. А я лежал на кровати, радуясь такой райской zhizni, и читал оставленные мне журналы — «Уорлдспорт», «Снни» (журнал для любителей кино) и «Гоул». Потом я откинулся на подушку, прикрыл glazzja и стал думать о том, до чего же здорово будет

выйти на свободу, и как днем я стану ходить на какую-нибудь непыльную работенку (из школьного-то возраста я уж немного вырос), а там, глядишь, новая shaika подберется для ночных вылазок, и первое наше delo будет изловить старину Тёма с Питом, если до них еще не добрались менты. На этот раз буду smotrett в оба, чтоб не попасться. Мне ведь дают такой шанс — мне, который совершил убийство и все прочее, — так что просто даже нечестно было бы: на меня столько сил потратили filmy, от которых я стану pai-malltshikom, показывали, и после этого взять и снова попасться! Внутренне я diko потешался над наивностью всех этих spetsov, а когда мне принесли завтрак, да еще и на подносе, вообще чуть голову напрочь не othohotal. Как раз тот самый vek, который провожал меня в палату из вестибюля, его мне и принес, да еще говорит:

— А вы тут, я смотрю, хорошо устроились, это приятно.

Zhratshka, которая была на подносе, оказалась добротной и аппетитной — два-три lomtika горячего ростбифа с картофельным пюре и овощами, мороженое и горячий tshai в красивой tshashke. Прилагалась даже одна tsygarka и коробок с одной спичкой в нем. Так что, похоже, zhiznn мне улыбалась, блин. Затем, примерно через полчаса, когда я, полусонный, лежал на кровати, вошла медсестра, очень даже симпатичная kisa с большими grudiami (их я не лицезрел уже два года), при ней был поднос со шприцем. Я говорю:

— А, витамины, что ли? — и подмигнул ей, но она не обратила внимания. Сразу же вколола мне иглу в левую руку, и — пшшш — в мышцу пошел витамин. После этого она удалилась — клик-клак, клик-клак туфельками на высоких каблучках. Потом появился тот санитар в белом халате, катя перед собой кресло на колесах. Эта деталь меня слегка удивила. Я говорю:

— Слышь, kogesh, это еще зачем? Я и сам дойду, если куда itti надо. — Но он не согласился.

— Лучше, — говорит, — я вас отвезу. — И впрямь, блин, спустив ноги с кровати, я обнаружил, что меня слегка пошатывает. Неужто действительно сказывается тюремный pedokomt, о котором говорил доктор Браном? Ничего, витамины после каждой еды быстренько поставят меня tortshkom. Тут и сомневаться нечего.

Помещение, куда меня привезли, было вроде кинозала, но такого, каких я прежде не видывал. Одна стена была, как водится, скрыта серебристым экраном, в стене напротив виднелись квадратные отверстия для луча проектора, и по всему помещению — стереодинамики. При этом у правой стены стоял пульт с какими-то маленькими шкалами и циферблатами, а посреди пола, обращенное к экрану, стояло что-то вроде зубоучебного кресла, все опутанное всевозможными проводами, и мне пришлось на него переползать при поддержке еще одного санитар в белом халате. Потом я заметил, что пониже отверстий для проекторов в стене вроде как окошко с матовым стеклом; мне показалось, что за ним движутся чьи-то тени, и я даже услышал, как кто-то там поперхнулся kashl-kashl-kashl. Но потом я уже ничего не замечал, всецело поглощенный тем, до чего я слаб, — обстоятельство, которое я приписал внезапному переходу от скудной тюремной zhratshki к хорошей и калорийной, да еще и к витаминным уколам.

— Отлично, — сказал санитар, привезший меня в кресле. — Я тебя покидаю. Начнут, как только придет доктор Бродский. Надеюсь, тебе понравится. — По правде говоря, блин, в тот вечер мне вовсе не хотелось смотреть фильм. Как-то настроения не было. Куда больше удовольствия доставила бы мне небольшая такая spiatshka на кровати в тишине, спокойствии и odi potshestve. Какой-то я был вялый.

Потом пошли vestshi и вовсе необычайные: один из medbrattjev пристегнул мне голову ремнем к подголовнику, напевая при этом себе под нос какой-то популярный эстрадный kal.

— Это еще зачем? — говорю. Санитар прервал на секунду свое пение и ответил мне, что это затем, чтобы зафиксировать мне голову и заставить смотреть на экран.

— Послушайте, — удивился я. — Я ведь и сам хочу смотреть на экран. Для этого меня сюда притащили, так почему бы мне не посмотреть? — На это второй medbrat (всего их было трое, причем еще была одна kisa, сидевшая у приборного пульта) только усмехнулся. И пояснил:

— Как знать. Ох, ничего заранее не скажешь! Ты уж поверь нам, приятель. Так будет лучше. — И тут обнару-

жилось, что они и руки, и ноги мне пристегивают к специальным захватам кресла. Это мне показалось слегка bezumni, но я не стал препятствовать им в том, что они делали. Если через две недели я буду свободным как ветер malltshipalltshikom, то до той поры я готов стерпеть многое, блин. Одна vestsh мне, правда, здорово не понравилась — это когда мне защемили кожу лба какими-то зажимами, чтобы у меня верхние веки поднялись и не опускались, как бы я ни старался. Попытавшись усмехнуться, я сказал:

— Ничего себе, obaldennjye, vidatt, вы мне фильмы показывать собираетесь, если так настаиваете, чтобы я смотрел их.— На что один из санитаров с улыбкой ответил:

— Obaldennjye? Что ж, ты, брат, прав. Увидишь — обалдеешь, это точно! — И надел мне на голову вроде как шлем со множеством бегущих от него проводочков, а к животу и к тнкалке присобачил какие-то присоски, и тоже с проводами. Хлопнула дверь, и вошел, видимо, кто-то очень важный, судя по тому, как замерли его подчиненные в белых халатах. Тут я впервые увидел доктора Бродского. Он был маленького роста, толстенький, с густой шапкой курчавых волос, в толстых очках, сидевших на носу типа kartoshka. Костюм его, распространявший слабый запах операционной, был, однако, shikarni и diko модный. Рядом с Бродским стоял и доктор Браном с улыбкой от уха до уха — видимо, он так старался меня ободрить.

— Все готово? — спросил доктор Бродский одышливым голосом. Какие-то люди отозвались, рапортуя готовность,— сперва в отдалении, потом поближе, а потом послышалось тихое жужжанье, что-то включили, значит. Но вот гаснет свет, и ваш покорный слуга, скромный ваш повествователь, сидит испуганный и odi pokі, не в силах ни шевельнуться, ни закрыть glazzja. Наконец под громкий, бьющий по usham и по нервам треск атмосферных по-мех, начался фильм. На экране возникло изображение, не предваренное ни названием, ни указанием на изготовившую фильм киностудию. Появилась улица, самая обыкновенная, каких сотни в любом городе, время ночное, горят фонари. Снято вроде как профессионально — никаких мельканий, никаких приставших к оптике шерстинок и грязи, которые порой то и дело скачут по экрану на домашнем просмотре у дворового кинолюбителя-порнографиста. Музыка нарастает, diko зловеще. Затем

на улице появляется кашка, очень stari, а на него наскваивают двое модно одетых мальчиков (с моих времен мода несколько изменилась: до сих пор еще носили узкие штаны, но галстуки бабочкой уже отошли, теперь в ходу были галстуки типа seliodka), и эти мальчишки начинают с ним shustritt. Слышатся его vskritshi и стоны, очень натуральные, и различается даже пыхтенье и хаканье мальчиков, которые его бьют. Мальчишки делают из этого века настоящую котлету — трах, трах, трах его кулаками, одежду на нем gazdryzg, gazdryzg, а потом, обнаженного его еще sarogoi, sarogoi (он лежит уже весь в крови и грязи, сваленный в придорожную канаву), после чего, конечно же, malltshiki скоренько gvut kogti. Потом крупным планом tykva этого избитого века; красиво струится красная кровь. Забавно, но почему-то в реальности все цвета вроде как не такие яркие и настоящие, как на экране.

Но все время, пока я смотрел, все более и более явственным становилось у меня ощущение недомогания, которое я списывал на тюремный pedokom и на то, что мой желудок не вполне готов еще к здешней сытной zhratshke и витаминам. Однако я пытался от этого отвлечься, сосредоточив свое внимание на следующем фильме, который начался сразу же за первым без всякого перерыва. В этот раз на экране сразу появилась молоденькая kisa, с которой проделывали добрый старый supn-vupn — сперва один мальчик, потом другой, потом третий и четвертый, причем из динамиков несся ее истошный kritsh пополам с печальной и трагической музыкой. Все было очень и очень реалистично, хотя, если как следует вдуматься, то диву дашься, как могут люди соглашаться, чтобы с ними такое проделывали на съемках, более того, даже вообразить трудно, чтобы киностудии типа «Гуд» или «Госфильм» могли такое снимать и не вмешиваться в происходящее. Так что скорее всего это был очень искусный монтаж или комбинированные съемки или как там у них подобные vestshi называются. Но сделано было очень реалистично. Так что, когда очередь дошла до шестого или седьмого malltshika, который, ухмыляясь и похохатывая, zasadil, и devotshka зашла от kritsha, вторя zhutkoj музыке на звуковой дорожке, меня начало подташнивать. По всему телу пошли боли, временами я чувствовал, что вот-вот меня вытошнит, и подступила тоска, блин, оттого что меня привязали и я не

могу шевельнуться в кресле. Когда эта часть фильма подошла к концу, от пульта управления до меня донесся голос доктора Бродского: «Реакция на уровне двенадцати с половиной? Что ж, это обнадеживает».

Потом без перехода пошел следующий lomtík фильма; на этот раз показывали просто человеческое litso, очень вроде как бледное, которое удерживали неподвижным и делали с ним всякие пакостные vestshi. Меня слегка прошиб пот, в kishkah все болело, ужасно мучила жажда, в голове стучало — бух-бух-бух, и хотелось только одного: не видеть, не видеть этого, иначе стошнит. Но я не мог закрыть глаза, и даже скосив зрачки в сторону, я не мог отвести их с линии огня этого фильма. Так что, хочешь не хочешь, я видел все — все, что делалось с этим лицом, и слышал кошмарные исходящие от него kritshi. Я говорил себе, что это не может быть взаправду, но муки мои не уменьшались. Меня всего корчили спазмы, но стошнить почему-то не удавалось, и я смотрел, как сперва бритвой вырезали глаз, потом полоснули по щеке, потом — вжик-вжик-вжик по всему лицу, и красная кровь брызнула на линзу объектива. Потом плоскогубцами по одному выдергивали зубы, и такой пошел kritsh, такие потоки крови, что это просто невысказуемо. Потом послышался довольный голос доктора Бродского: «Замечательно, великолепно!»

Следующий lomtík фильма посвящался тому, как старую женщину, хозяйку лавки, под громкий смех пинает ногами kodla парней, которые потом громят и поджигают лавку. Показано, как бедная старая ptitsa, вопя и стелая, пытается ползком выбраться из пламени, но malltshiki сломали ей ногу, и она не может двинуться с места. В результате ее охватывает режущее пламя, ее искаженное страданием, умоляющее litso проглядывает сквозь огонь и исчезает, после чего доносится самый громкий, кошмарный и душераздирающий kritsh, какой только может вырваться из человеческой глотки. Теперь я уже определенно должен был blevanutt, и я закричал:

— Меня тошнит! Пожалуйста, дайте мне стошнить! Ради Бога, принесите мне что-нибудь, во что стошнить!

Но доктор Бродский в ответ:

— Это только твое воображение. Тебе не о чем беспокоиться. Следующий фильм, поехали.— Должно быть, это была какая-то шутка, потому что следом из темноты донесся вроде как смех. После чего меня заставили

смотреть отвратительнейшую ленту о японских пытках. Речь шла о войне 1939—1945 годов, и там солдат прибывали к столбам гвоздями, разводили под ними костры, отрезали им beitsy, а одному отрубили голову мечом, и, пока голова с живыми glazzjami и gotom еще катилась, он продолжал бежать, извергая из шеи фонтан крови, а потом упал, и все это под громкий смех японцев. Резь в животе, головная боль и жажда мучили меня невыносимо, причем все это как бы наваливалось на меня с экрана. Я закричал:

— Остановите! Пожалуйста, остановите фильм! Я не могу больше.— И голос доктора Бродского:

— Остановить? Как ты сказал, остановить? Ну что ты, мы еще только начали.— И он с остальными вместе громко рассмеялся.

5

Я не хочу описывать, блин, остальные ужасные vestshi, которые меня заставили посмотреть в тот вечер. Все эти головастые доктора Бродские и Браномы и все прочие в белых халатах — вы помните, там ведь была еще и devotshka, которая крутила ручки на приборном пульте,— все они, по-моему, куда гаже и отвратнее любого из prestupnikov в Гостюрье. Ну в самом деле: я ведь даже и помыслить не мог бы, чтобы кому-то пришлось в голову делать такие фильмы, которые меня заставляли смотреть привязанным к креслу, да еще с насильно открытыми glazzjami. Все, что я мог делать, это поднимать kritsh, чтобы выключили, выключили, отчасти перекрывая этим шум драк, резни и музыку, которая это сопровождала. Можете себе представить мое облегчение, когда, просмотрев последний отрывок, услышал я голос доктора Бродского, который со скучающим зевком произнес: «Ну, пожалуй, для первого дня довольно, как вы считаете, доктор Браном?» Выключили свет, а мою голову все еще распирало буханье словно бы какой-то огромной машины, производящий боль, во рту был kal и сухость, и такое чувство, будто я сейчас vubliuju всю zhratshku, которая съедена мной, блин, с тех пор как я был младенцем.

— Ладно,— сказал доктор Бродский,— пусть отправляется обратно в постель.— Затем он вроде как потрепал меня по плечу и говорит: — Неплохо, неплохо. Очень мно-

гообещающее начало.— И, во весь год ослабившись, поплелся вон; доктор Браном пошел следом, однако перед уходом одарил меня дружелюбной и участливой улыбкой, словно он со всем происходящим не имеет ничего общего, а втянут в это силком, так же как я.

В общем, отвязали они меня от кресла, освободили кожу над глазами, чтобы я мог открывать и закрывать их, и я их закрыл — о, блиии, какая боль и буханье было у меня в голове! — а потом меня перевалили в кресло-каталку и повезли в палату, причем medbrat, который меня вез, все время бубнил себе под нос какой-то эстрадный ка!, так что я не выдержал и говорю: «Заткнись, ты!» — но он только усмехнулся и ответил: «Брось, ерунда, парень»,— и запел еще громче. Ну, положили меня в постель, я чувствовал себя боллнут и разбитым, но спать не мог, однако вскоре почувствовал, что скоро вроде как почувствую, что скоро почувствую себя вроде как чуть лучше, а потом мне принесли чашку свежего горячего tshaja с молоком и с сахаром, и когда я его выпил, пришло ощущение, что этот ужасный кошмар вроде как отошел в прошлое и кончился. А затем пришел улыбчивый и доброжелательный доктор Браном. Он говорит:

— Ну, по моим расчетам вам уже должно стать лучше. Правильно?

— Сэр...— преодолевая слабость, отозвался я. Как-то я не вполне ропі, что он имел в виду, говоря о расчетах, потому что когда ты болеп и начинаешь чувствовать себя лучше, это твое личное дело, и никакие расчеты тут ни при чем. Он сел, весь такой діко располагающий и дружелюбный, на край кровати и сказал:

— Доктор Бродский вами доволен. У вас очень положительная реакция. Завтра, разумеется, будет два сеанса, утренний и вечерний, так что могу себе представить, какой вы будете к концу дня измотанный. Но нам надо жать на все педали, чтобы вас вылечить.— А я говорю:

— Вы к тому, чтобы мне снова?.. Чтобы я снова смотрел на?.. О нет,— простонал я.— Это ужасно!

— Разумеется, ужасно,— улыбнулся доктор Браном.— Насилие— ужасающая штука. Этому-то вы у нас и учитесь. Ваше тело этому учится.

— Но я все же не понимаю,— проговорил я.— Не понимаю, почему мне так плохо от этого. Раньше мне

никогда от этого плохо не делалось. Раньше было как раз наоборот. Я в смысле, что когда я делал это или смотрел на это, я чувствовал себя как раз хорошо. Не понимаю, что такое... почему... какого figa...

— Жизнь — удивительная штука,— сказал Браном тоном святоши.— Процессы жизни, устройство человеческого организма — кому дано полностью постигнуть эти чудеса? Доктор Бродский, конечно же, выдающийся человек. С вами происходит то, что и должно происходить с каждым нормальным, здоровым человеческим существом, наблюдающим действие сил зла, работу разрушительного начала. Вас делают нормальным, вас делают здоровым.

— Во-первых, мне этого не нужно,— сказал я.— Во-вторых, я вообще не понимаю. Я чувствую себя совершенно больным от того, что вы со мной делаете.

— Разве вы сейчас плохо себя чувствуете? — спросил он со своей дружелюбной улыбкой от uha до uha.— Вы пьете чай, отдыхаете, спокойно беседуете с другом — вам сейчас может быть только хорошо!

Слушая его, я осторожненько попробовал вновь ощутить боль и тошноту в голове и во всем теле, но нет, блин, действительно я чувствовал себя хорошо и даже проголодался.

— Не могу взять в толк,— сказал я.— Вы, видимо, специально что-то делаете, чтобы мне было так скверно.— И я в раздумье нахмурился.

— Вам только что было плохо,— сказал он,— потому что вы выздоравливаете. Когда человек здоров, он отзывается на зло чувством страха и дурноты. Вы выздоравливаете, вот и все. Завтра к этому времени вы будете еще здоровее.— Затем он похлопал меня по коленке и вышел, а я задумался, силясь разгадать эту головоломку. Похоже было, что провода и всякие прочие штуки, которые они цепляли к моему телу, заставляли меня чувствовать себя больным, и все это сплошной подвох. Я все еще силился найти разгадку и подумывал уже о том, не лучше ли будет завтра вообще воспротивиться их попыткам привязать меня к креслу и затеять с ними настоящий dratsing — есть же у меня все-таки какие-то права! — когда ко мне вошел еще один человек. Это был улыбчивый stari kashka, который назвался представителем комиссии по социальной интеграции бывших заключенных; он принес с собой множество бумажек и бланков.

— Куда,— обратился он ко мне,— вы пойдете, когда окажетесь на свободе?

Я, по правде говоря, как-то даже не думал о таких вещах, и вообще до меня только теперь начало доходить, что очень скоро я буду свободен как вольный ветер, и тут же я осознал, что это произойдет только в том случае, если я буду идти у них на поводу и не стану затевать dratsing, kritshing, не буду ни от чего отказываться и так далее. Я говорю:

— Ну, домой пойду. Назад к своим predkam.

— К вашим — кому? — Он не очень-то vjezzhal в жаргон padtsatyh, поэтому я пояснил:

— В свой родной дом, к родителям.

— Понятно,— отозвался он.— А когда у вас в последний раз с ними было свидание?

— С месяц назад,— сказал я,— или что-то около. Нам отменили потом все свидания из-за того, что какому-то prestupniku удалось протащить в зону durg, которую ему передала его kisa. Этакую подлянку сыграли — чтобы безвинных людей всех из-за одного наказывали! Поэтому я их уже около месяца не видел.

— Понятно,— сказал kashka.— А ваши родители информированы о том, что вас перевели сюда и скоро освободят? — Слово-то какое: освободят,— спятить можно! Я говорю:

— Нет.— И добавил: — Будет им приятный такой сюрприз, а что? Вдруг вхожу в дверь и говорю: «Вот и я, явился не запылится, снова на свободе!» Очень даже neslabo.

— Ладно,— сказал представитель комиссии,— этот вопрос отпал. Раз у вас есть где жить, пускай. Теперь остается проблема работы, верно? — И он показал мне длинный перечень всяких мест, куда я мог устроиться на работу, но я подумал — вот еще, это дело потерпнт. Сперва надо устроить себе небольшой отпуск. А потом всегда можно будет пуститься в krasting и запросто набить полные карманы deng, единственное только, что теперь мне надо будет работать очень осмотрительно и действовать в odi notshestve; никаким так называемым друзьям я уже не верил. Поэтому я предложил ему с этим делом подождать и обсудить как-нибудь потом. «Хорошо-хорошо-хорошо», — сразу же согласился он и поднялся уходить. И тут выяснилось, что он какой-то

слегка с приветом, потому что в дверях он хихикинул и говорит:

— А ты не хочешь мне напоследок двинуть в рыло?

Я даже решил, что скорей всего ослышался, и говорю:

— Чего?

— Не хочешь ли ты, — снова хихикнул он, — напоследок вроде как дать мне в морду?

Я озадаченно нахмурился и сказал:

— Зачем?

— Ну, — усмехнулся он, — просто чтобы посмотреть, как ты выдравливаешь. — И с этими словами он нагнулся, подставляя мне *hagi*, жирную и расплывшуюся в ухмылке. Я сжал кулак и с размаху двинул, но он проворно отстранился, все еще ухмыляясь, так что мой кулак пронзил пустой воздух. Все это показалось мне очень непонятным, и я нахмурился, а он удалился, хохоча во всю глотку. И тут, блин, я снова почувствовал тошноту, точь-в-точь как после сеанса, хотя и ненадолго, всего на пару минут. Потом тошнота исчезла, и когда мне принесли обед, оказалось, что аппетит мой не пострадал, и я готов наброситься на жареную курицу. Однако странно — с чего это вдруг *stari kashke* захотелось получить *toltshok* в *litso*? И, опять-таки, странно, с чего мне потом стало дурно?

А самое странное случилось, когда я в ту ночь заснул, блин. Мне приснился кошмар, причем, как вы, вероятно, догадываетесь, на тему одного из фильмов, которые я смотрел перед этим. Кошмарный сон это ведь, в общем-то, тоже всего лишь фильм, который крутится у тебя в голове, только это такой фильм, в который можно войти и стать его персонажем. Это со мной и произошло. Мой кошмар напоминал один из фрагментов, которые мне показывали под конец сеанса, там хохочущие *maltshiki* резвились с молоденькой *kiso*, которая обливалась кровью и *kritshala*, а вся ее одежда была *vrazd-guzg*. Я был среди тех, кто с ней *shustril*, — одетый по последней моде *padtsatyh*, я хохотал и был вроде как за главаря. А потом, в разгар *dratsinga*, меня словно бы парализовало, я почувствовал ужасную дурноту, и все остальные *maltshiki* принялись надо мной громко потешаться. А потом я дрался с ними и, силясь проснуться, плавал в лужах собственной крови, чуть не утонул в ней, и очутился опять в палате, в своей постели. Меня затошнило, я вылез из кровати и на дрожащих ногах ринулся

к двери, потому что туалет был в конце коридора. — И — вот те раз, блин! — дверь была заперта. Я оглянулся и, словно впервые, увидел на окне решетку. Так что, доставая из прикроватной тумбочки какую-то миску, я уже понимал, что деваться некуда. Хуже того, я даже не смел забыться сном. Вскоре я обнаружил, что до рвоты все-таки не дойдет, но для того, чтобы лечь в кровать и вновь заснуть, я уже был слишком *ruglyi*. Однако все равно потом я вдруг заснул, как провалился, и снов больше не видел.

6

— Остановите! остановите! остановите! — кричал я как заведенный. — Выключите, *svototshi griaznuje*, я не могу больше! — То был следующий день, блин, и я вовсю старался, как утром, так и после обеда, играть по их правилам, во всем потакать им и, пока на экране мелькают всякие ужасы, сидеть на этом пыточном кресле как *rai-malltshik* со вздернутыми веками и привязанными к захватам кресла руками и ногами, лишенный возможности шевельнуться. На этот раз меня заставляли смотреть *vestsh*, которая прежде не показывалась бы мне чересчур неприятной — всего-навсего *krasting*: трое или четверо *malltshikov* обчищают лавку, набивая карманы *bavkami* и одновременно пиная вопящую старую *ptitsu*, причем довольно-таки лениво, только чтобы пустить красную *jushku*. Однако буханье и какие-то взрывы — трах-тах-тах-тах в голове, дурнота и ужасная раздражающая сухость во рту были еще хуже, чем вчера. — Хватит, ну хватит же! Так нечестно, вы, *kozly voniutshije!* — кричал я, пытаюсь выпутаться из захватов, но это было невозможно, кресло ко мне как приклеилось.

— Первый класс! — воскликнул доктор Бродский. — Ты у нас прямо молодец. Еще отрывочек, и заканчиваем.

На экране опять возникли картины старинной войны 1939—1945 годов, пленка — вся царапанная, драная и полустершаяся — была заснята немцами. Начиналась она немецким орлом и нацистским флагом с изломанным крестом, который так любят рисовать *malltshiki* в школах, а потом появились кичливые и надменные немецкие офицеры, они шли по улицам, от которых, кроме пыли, бомбовых воронок и развалин, ничего не осталось. Потом показали, как людей ставят к стенке и расстреливают,

а офицеры подают команды, а еще показали ужасные pagije тела, брошенные в канаву — одни ребра и белые костлявые ноги. Потом пошли кадры, где людей куда-то тащат, а они кричат, но на звуковой дорожке их криков не было, блин, была одна музыка, а людей тащили и по дороге избивали. Тут я сквозь боль и дурноту заметил, что это была за музыка, пробивающаяся сквозь треск и взвизгивание старой пленки: это был Людвиг ван, последняя часть Пятой симфонии, и я закричал как bezumni:

— Стоп! — кричал я. — Прекратите, подлые griaзпуje kozly! Это грех, вот что это такое, это самый последний грех, вы, ублюдки! — Остановить они, конечно, не остановили, тем более что пленки оставалось всего минуты на две — как кого-то там избили в кровь, опять дала залп очередная зондеркоманда, потом нацистский флаг и конец. Однако, когда зажегся свет, передо мной стояли оба — и доктор Бродский, и доктор Браном. Бродский спросил:

— Ну-ка, насчет греха подробнее, а?

— Грех, — сказал я сквозь ужасную дурноту, — грех использовать таким образом Людвигу вана. Он никому зла не сделал. Бетховен просто писал музыку. — И тут меня по-настоящему стошнило, так что им пришлось принести тазик, сделанный вроде как в форме почки

— Музыку, — задумчиво произнес доктор Бродский. — Так ты, стало быть, музыку любишь. Я-то сам в ней ничего не смыслю. Что ж, это удобный эмоциональный стимулянт, и вот тут-то уж я дока. Ну-ну. Что скажете, Браном?

— Ничего не поделаешь, — отозвался доктор Браном. — Каждый убивает то, что любит, как сказал один поэт, сидевший в тюрьме. В этом есть некий элемент наказания. Комендант будет доволен.

— Пить, — простонал я. — Ради Бога!

— Отвяжите его, — приказал доктор Бродский. — И дайте ему графин со льдом. — Санитары принялись за работу, и вскоре я поглощал воду галлон за галлоном — о, как это было божественно! Доктор Бродский говорит:

— Похоже, вы достаточно развитой молодой человек. Да и вкус у вас кое-какой имеется. Вам сейчас показали очередной фрагмент о насилии. Насилие и воровство, воровство как аспект насилия. — Я не отвечал

ни слова, блин, меня все еще тошнило, хотя уже и слегка поменьше. Но день был просто ужасный.— Ну так вот,— продолжил доктор Бродский,— как вы думаете, что с вами происходит? Скажите, что, по-вашему, мы тут с вами делаем?

— Вы делаете меня больным, я становлюсь больным, когда смотрю эти ваши извращенские фильмы. Но на самом деле это не из-за фильмов. Хотя, когда вы останавливаете фильм, я перестаю чувствовать себя больным.

— Правильно,— сказал доктор Бродский.— Ассоциативный метод, древнейший в мире способ обучения. А на самом деле из-за чего все это?

— Из-за *griaznyh kozlinyh vestshei*, которые происходят у меня в *tykve* и в *kishkah*,— ответил я.— Вот из-за чего.

— Эк ведь загнул,— покачал головой доктор Бродский, улыбаясь одними губами.— Язык племени мумба-юмба. Вам что-нибудь известно о происхождении этого наречия, а, Браном?

— Да так,— пожал плечами доктор Браном, который уже не строил из себя моего закадычного друга.— Видимо, кое-какие остатки старинного рифмующегося арго. Некоторые слова цыганские... Н-да. Но большинство корней славянской природы. Привнесены посредством пропаганды. Подсознательное внедрение.

— Ладненько, ладненько,— потирая ладони, проговорил доктор Бродский, вроде как в раздумье и совершенно больше мной не интересуясь.— Да, так вот,— спохватился он,— провода тут ни при чем. То, что к тебе прикрепляют, служит для другого. Просто мы измеряем с их помощью твои реакции. Что остается, ну?

И тут я сразу понял — конечно же, что я за глупый shut, как я раньше-то не догадался, что были ведь еще и уколы в *tuker*!

— А! — вскричал я.— А, все понял! Вонючий *ka!*, подлые трюкачи! Предатели, *pidegu* заразные, больше у вас это не пройдет!

— Я рад, что вы заявили протест,— сказал доктор Бродский.— Теперь у нас по этому поводу полная ясность. Но мы ведь можем вводить в ваш организм вакцину Людовика и другими путями. Через пищу, например. Но подкожные инъекции лучше всего. И не надо против этого бороться, я вас умоляю. Толку от вашего сопротивления не будет. Вы все равно нас не пересилите.

— Грязные *vygodki*, — со всхлипом проговорил я. Потом более жестко: — Я не возражаю, пускай будет насилие и всякий прочий *kal*. С этим я уже смирился. Но насчет музыки это нечестно. Нечестно, чтобы я становился больным, когда слушаю чудесного Людвига вана, Г. Ф. Генделя или еще кого-нибудь. Так делать могут только злобные *svolotshi*, я никогда вас не прошу за это, *kozly!*

Оба постояли с видом слегка вроде как задумчивым. Наконец доктор Бродский сказал:

— Разграничение всегда непростое дело. Мир един, жизнь едина. В самом святом и приятном присутствует и некоторая доля насилия — в любовном акте, например; да и в музыке, если уж на то пошло. Нельзя упускать шанс, *парень*. Выбор ты сделал сам.

Я не понял этой его тирады, но сказал так:

— Вам нет необходимости углублять курс моего лечения, *сэр*. — Тут я исхитрился и прибавил к своему тону еще толику смирения. — Вы доказали мне, что всякий там *dratsing*, *toltshoking*, убийства и тому подобное — вещи нехорошие, очень и очень нехорошие. Я усвоил этот урок, *сэр*. Я вижу сейчас то, чего никогда не видел прежде. Я излечился, слава Богу. — И с этими словами я как бы молитвенно воздел *glazzja* к потолку. Однако оба моих мучителя печально покачали головами, а доктор Бродский сказал:

— Пока вы еще не излечены. Многие еще предстоит сделать. Только тогда, когда ваше тело начнет реагировать мгновенно и действию на всякое насилие как на змею, причем без какой бы то ни было нашей поддержки, без медикаментозной стимуляции, только тогда...

А я говорю:

— Но, *сэр*, *господа*, у меня ведь и соображение какое-то имеется! Насилие — это зло, потому что оно против общества, потому что каждый *vek* на земле имеет право на *zhiznn*, право на счастье, на то, чтобы его не били, и не издевались, и не сажали на *pozhl*. Я многому научился, ну правда же, *ей-Богу!* — Но доктор Бродский долго от души над этим смеялся, показывая белые *zubbja*, а потом говорит: «Ересь эпохи разума» или что-то в этом духе, столь же мудреное.

— Я понимаю, — продолжил он, — что такое добро, и одобряю его, но делаю при этом зло. Нет-нет, мой

мальчик, это уж ты предоставь нам. Но ты не унывай. Скоро все кончится. Теперь уже меньше чем через две недели ты будешь свободным человеком.— И он потрепал меня по плечу.

Меньше чем через две недели. О други мои, о братие, это же целая вечность! Это все равно что время от начала мира до его конца. По сравнению с этими двумя неделями отсидеть в Гостюрьме четырнадцать лет от звонка до звонка было бы сущей чепухой. И каждый день одно и то же. Впрочем, через три или четыре дня после того разговора с Бродским и Браномом, когда вошла kisa со шприцем, я сказал:

— Вот уж на fig,— и toltshoknul ee по руке, так что шприц — дзынь-блям — упал на пол. Это я сделал специально, чтобы поглядеть, что они предпримут. А предприняли они то, что ко мне явились четверо или пятеро здоровенных ambalov в белых халатах, они свалили меня на кровать и, смеясь мне в litso, надавали затрещин, а kisa-медсестричка со словами «Вы гадкий, злой хулиган, поняли?» вонзила мне в руку другой шприц и нарочно, чтобы сделать мне больно, изо всех сил нажала на поршень, вгоняя мне под кожу раствор. И опять, обессиленного, меня ввезли на каталке в этот адский кинозал.

Каждый день, блин, показывали примерно одно и то же, сплошные пинки, toltshoki и кровь, кровь красными ручьями, стекающая с lits и tel, забрызгивая объектив камеры. Все те же ухмыляющиеся или хохочущие malltshiki, одетые по последней принятой у padtsatyh моде, хихикающие японские мастера заплочных дел либо нацистские штурмовики или зондеркоманды. И с каждым днем жесточайшая жажда, желание умереть от нее и от боли — головной, зубной, всевозможной — становились все сильнее и сильнее. Пока однажды утром я не попытался победить мучителей тем, что — трах, трах, трах — стал колотиться головой о стену, чтобы упасть без сознания, но результатом была лишь дурнота оттого, что это тоже было насилием, очень похожим на насилие из фильмов; я обессилел, дал сделать себе укол, и меня снова, как и прежде, отвезли в зал.

А потом наступило утро, когда, проснувшись и поедая на завтрак яйца, поджаренную булку с джемом и горячий чай с молоком, я подумал: «Должно быть,

уже немного осталось. Уж теперь-то срок, наверное, совсем близок. Я уже настрадался так, что больше страдать просто не способен». Я ждал и ждал, бллин, когда придет та kisa со шприцем, но она так и не пришла. Вместо нее явился санитар в белом и сказал:

— Сегодня, старина, тебе разрешается идти самому.

— Идти? — спросил я. — Куда?

— Да все туда же, — ответил он. — Ну да, не надо смотреть так удивленно. Пойдешь сам смотреть фильмы, в моем сопровождении, конечно. Тебя больше не будут возить в каталке.

— Но, — продолжал недоумевать я, — как же на счет утреннего укола? — Потому что я действительно удивился, бллин, ведь они так неукоснительно всегда следили за тем, чтобы пичкать меня этой вакциной Людовика, как они ее называли. — Неужто мне больше не будут всаживать в бедную мою исколотую руку эту проклятую тошнотную жидкость?

— С этим покончено, — усмехнулся санитар. — Отныне и присно и во веки веков. Аминь. Будешь теперь обходиться без уколов, парень. Сам будешь пешком ходить в камеру ужасов. Но привязывать и насильно заставлять смотреть тебя все равно будут. Пошли, пошли, тигренок.

Пришлось мне надеть халат и tuffli и topatt по коридору в этот их кинематограф.

На сей раз, бллин, не только тошнота одолевала меня, но и удивление. Опять понеслись все те же драки, насилие, раздробленные черепа, опять растерзанные kisy сочились кровью, умоляя о пощаде — что называется, жестокость и грязь в частной жизни. Все те же концлагеря, евреи и серые улицы завоеванных городов, полные танков и солдат в форме, люди, падающие под убийственным автоматным огнем, — так сказать, общественная сторона того же самого. Теперь я не мог списать свое чувство дурноты и жажды, чувство выжженности изнутри ни на что, кроме фильмов, которые меня вынуждали смотреть (веки вздернуты, руки-ноги привязаны к захватам кресла, но никаких проводов, ничего уже не прицеплено ни к голове, ни к телу). Так что же, как не фильмы, которые я смотрю, производит на меня это действие? Правда, не исключено, конечно же, и такое, бллин, что эта жидкость Людовика, действуя на ма-

нер прививки, циркулирует у меня в крови и отныне всегда, во веки веков будет заставлять меня заболеть каждый раз, когда я вижу насилие и жестокость. От такой мысли я разинул рот и зарыдал — ууууу-хууу-хуууу, — отчего слезы вроде как застлали вид на то, чем мне полагалось во что бы то ни стало любоваться, застлали его благостными каплями бегучего серебра. Но эти *svolotshi* в белом проворно подоспели с платками и принялись вытирать мне слезы, приговаривая: «Ну, ну, разнюнися, вакса-плакса!» И снова все чисто у меня перед глазами — немцы подталкивают причитающих и плачущих евреев — *vekov, zhenstshin, malltshikov* и *devotshek* — в камеры, где им всем конец от ядовитого газа. «Уууу-хууу-хууууу!» — снова, не удержавшись, завыл я, и снова ко мне подскочили вытереть слезы, проворно, чтобы я не упустил ни одной детали из того, что мне показывали. То был ужасный и отвратительный день, о други мои и братие.

Вечером после обеда, состоявшего из тушеной баранины, фруктового пирога и мороженого, я лежал в своей палате *odi pokі* и про себя думал: «Будь оно все проклято, последний шанс — это только выбраться отсюда немедленно». Впрочем, оружия нет как нет. Держать при себе бритву мне не разрешалось, каждый день меня брил толстый лысый *vek*, который приходил ко мне перед завтраком, но при этом каждый раз присутствовали два выродка в белых халатах, чтобы я не выкидывал фокусов и был послушным и сговорчивым *malltshikom*. Ногти на руках мне коротко подстригали и заравнивали пилкой, чтобы я не мог царапаться. Но быстрота реакции у меня еще осталась, хотя меня и измотали, ослабили, билин, до состояния бледной тени того, каким я был когда-то на свободе. И вот слезаю я с кровати, подхожу к запертой двери и начинаю *dubasitt* ее кулаками, одновременно поднимая *kritsh*: «Помогите, ну помогите же, мне плохо! Пожалуйста! Ну я умру так! Помогите!» Прямо горло надсадил, пока докричался. Потом слышу: шаги по коридору и вроде как недовольное ворчание; я узнал голос санитаря, который приносил мне *zhratshku* и провожал к моему ежедневному мучению. Он бормотал:

— Что такое? В чем дело? Что ты там такое задумал?

— О, я умираю, — простонал я. — Ужасная боль в боку. Аппендицит, не иначе. Ооооооо!

— Сам ты хуже всякого аппендицита,— проворча санитар, и тут — о радости! — слышу звяканье ключей. Если это очередная шутка, приятель, я приведу людей и мы будем лупцевать тебя весь вечер.— Он отпер замок, и надо мной пронеслось сладостное дуновение предчувствия свободы. Он распахнул дверь, а я стоял за открывшейся створкой и при свете коридорной лампочки видел, как он остановился и озадченно озирается. Тогда я замахнулся двумя руками сразу, чтобы свалить его сокрушительным ударом по шее, но тут, клянусь, едва вроде как представил себе: вот он лежит на полу, стонет или вообще *vugibilsia*, и только это у меня приятно: щекоталло в животе, как сразу же волной подкатила горлу тошнота и ужасный страх, словно я вот-вот умру. Еле доковыляв, я рухнул на койку — блах, блах, блах, — а санитар, который был не в белом, а в обыкновенно домашнем халате, понял, что было у меня на уме, и говорит:

— Что ж, и этот урок на пользу, не правда ли? Будь живи, век учись, как говорится. А ну, дружочек, вставай с кровати и ударь меня. Ну да, ударь, конечно серьезно. Врежь мне хорошенько в челюсть. Позари надо, ну, ей-Богу же! — Но я только и мог, что лежать хныкать — ууууу-хууу-хууууу! — Подонок, — прошептал санитар.— Дерьмо.— Он взял меня за шиворот пижамной куртки и приподнял, причем я обвис в его руке, безвольно и расслабленно; и тут он размахнулся и правой рукой вlepил мне полновесный *toltsbok* в *litso*.— Это, пояснил он,— за то, что поднял меня с постели, пакосты мелкая.— После этого он вытер руки одна о другую — шись-шись — и вышел вон. *Klutsh-klutsh* — щелкнул замок.

Скорей заснуть — скорей, чтобы отделаться от недстойного и гадостного чувства, будто получить удар лучше, чем ударить самому. Если бы санитар не ушел, я бы еще, чего доброго, подставил другую щеку!

7

Я не поверил своим *usham*. Казалось, меня держат этом поганом *meste* целую вечность и будут держать еще столько же. Однако вечность целиком уместилась в две недели, и наконец мне сказали, что эти две недели кочаютя: «Завтра, дружок, на выход», — да еще больше

пальцем этак, словно показывая, где этот самый выход располагается. А потом и санитар, который *toltshoknul* меня, но продолжал носить мне на подносе *zhratshku* и провожать на ежедневную пытку, подтвердил:

— Последний тяжелый день тебе остался. Вроде как выпускной экзамен,— и гаденко при этом *zauhmylialsia*.

В то утро я ожидал, что меня, как обычно, в пижаме и тапочках поведут в этот их кинозал. Но нет. В то утро мне вернули мою рубашку, нижнее *belljo*, боевой костюм и *govnodavu*, причем все вычищенное, выстиранное и наглаженное. Мне отдали даже опасную бритву, которой я всю жизнь пользовался во дни веселых выступлений. Так что, одеваясь, я только озадаченно хмурился, но *pedonosok* в белом лишь ухмылялся, ничего не объясняя, блин.

Меня вполне вежливо проводили туда же, куда всегда, но там кое-что изменилось. Киноэкран задернули занавесом, а под отверстиями для проекторов никаких матовых стекол уже не было — их, видимо, подняли или раздвинули в стороны, как дверцы шкафа. Там, где когда-то были только звуки — *kashl-kashl-kashl* — и неясные тени, теперь открыто восседала публика, и в этой публике кое-какие *litsa* были мне знакомы. Присутствовал комендант Гостюрьмы, присутствовал капеллан — священник, или свищ, как мы его между собой называли, присутствовал начальник охраны и присутствовал тот самый важный и шикарно одетый *vek*, который оказался министром то ли внутренних, то ли нутряных дел. Остальных я не знал. Там же были и доктор Бродский с доктором Браном, правда, уже не в белых халатах; теперь они были одеты так, как и положено одеваться *inteliyam*, достаточно преуспевающим, чтобы следить за модой. Доктор Браном стоял молча, а стоявший рядом с ним доктор Бродский, обращаясь к собравшимся, что-то им по-ученому втолковывал. Увидев меня в дверях, он произнес:

— А-аа! Теперь прервемся, джентльмены, чтобы познакомиться с самим объектом. Как вы сами можете убедиться, он здоров и прекрасно выглядит. Он выспался, хорошо позавтракал, наркотиков не получал, гипнотическому воздействию не подвергался. Завтра мы уверенно выпустим его в большой мир, и будет он добр, как самаритянин, всегда готовый прийти на помощь словом и делом. Не правда ли, разительное превращение — из отвра-

тительного громилы, которого Государство приговорило к бессмысленному наказанию около двух лет назад и который за два этих года ничуть не изменился. Не изменился, я сказал? Это не совсем так. Тюрма научила его фальшивой улыбке, лицемерным ужимкам, сальной льстивой ухмылочке. Она и другим порокам обучила его, а главное — утвердила в тех, которым он предавался прежде. Но, джентльмены, довольно слов. Дела свидетельствуют вернее. А потому — за дело. Смотрите же!

Я был слегка ошеломлен всем этим *govoritom*, никак не мог взять в толк, каким боком оно касается меня. Потом везде погас свет и зажглись вроде как два прожектора, светивших из проекционных отверстий, причем один из них осветил вашего скромного многострадального повествователя. А в круг, очерченный другим, вступил какой-то здоровенный *dylda*, которого я раньше не видел. У него была жирная усталая *haria* и жиденькие, будто наклеенные волосы на лысеющей голове. На вид ему было что-нибудь лет тридцать, или сорок, или пятьдесят — не важно, одним словом — *stari kashka*. Он двинулся ко мне, и вместе с ним двинулся луч прожектора, пока оба луча не слились в один яркий световой круг. Отвратительно ухмыльнувшись, он сказал мне: «Привет, дерьма кусок. Фуу, да ты, видно, не моешься, судя по запаху!» Потом он, вроде как пританцовывая, отдал мне ногу — левую, потом правую, потом пальцем щелкнул меня по носу, *uzhasno* больно, у меня даже слезы на *glazzja* навернулись, потом крутанул мне *uho*, будто это телефонный диск. Из публики донеслось хихиканье, а пару раз кто-то даже громко хохотнул. У меня ноги, нос и *uho* разболелись, как *bezumni*, и я сказал:

— Зачем ты так делаешь? Я ведь ничего плохого тебе не сделал, *koresh!*

— Я, — отозвался этот *vek*, — это делаю, — (тресь-тресь опять меня по носу), — и вот это делаю, — (снова жгучая боль в скрученном *uho*), — и вот это, — (бац мне опять каблуком на правую ногу), — потому что ненавижу таких гадов, как ты. А если хочешь со мной за это посчитаться, давай, начинай!

Я уже знал, что *britvu* надо выхватить очень быстро, пока не накатила убийственная тошнота, которая превратит радость боя в ощущение близости собственной *uzhasnoi* кончины. Однако едва лишь моя рука нащупала в кармане *britvu*, перед моим внутренним оком про-

цеслась картина того, как этот *merzavets*, захлебываясь кровью, вопит и просит пощады, и сразу за этой картиной нахлынули ужасная тошнота, сухость в горле и боль, так что мне стало ясно: надо *skorennko* менять свое отношение к этой *skotine*, поэтому я похлопал себя по карманам в поисках сигарет или *babok*, но вот ведь, блин,— ни того, ни другого. И я плаксивым таким голосом говорю:

— Я бы угостил тебя сигареткой, *koresh*, да только нету их у меня.

А тот в ответ:

— Ах-ах-ах! Уй-уй-уй! Поплачь, заплачь, сосуночек!—И снова он—тресь-тресь-тресь мне своим поганым черепаховым ногтем по носу, отчего зрители в темном зале, судя по доносящимся звукам, пришли в буйный восторг. А я, уже в полном отчаянии пытаюсь умаслить этого отвратительного и настырного *veka*, со всех сил старался не дать повода к тому, чтобы нахлынули тошнота и боль.

— Пожалуйста, позволь мне что-нибудь для тебя сделать,— взмолился я, роюсь в карманах и не находя там ничего, кроме своей верной бритвы, поэтому я вынул ее и, подав ему, проговорил:— Прошу тебя, возьми, пожалуйста, вот это. Маленький презент. Пожалуйста, возьми себе.— На что он ответил:

— Нечего совать мне свои паршивые взятки. Этим ты меня не проведешь.— И он ударил меня по руке, отчего бритва полетела на пол. А я говорю:

— Прошу тебя, я обязательно должен что-нибудь для тебя сделать. Можно, я почищу тебе ботинки?— И тут, блин,— отрежьте мне *beitsu*, если вру,— я опустился на колени, высунул милю на полторы красный язык и принялся лизать его *griaznuje* вонючие башмаки. А он на это хрясь мне сапогом в гол, правда не слишком больно. В этот миг мне подумалось, что, может быть, тошнота и боль не достигнут меня, если всего лишь обхватить его как следует руками за лодыжки и дернуть, чтобы этот подлый *vygodok* свалился на пол. Так я и поступил, и он, к несказанному своему изумлению, с грохотом рухнул под хохот всех этих *svolotshei*, сидевших в зале. Однако, едва лишь я увидел его на полу, сразу ужас и боль охватили меня с новой силой, и в результате я протянул ему руку, чтобы он поскорее встал. После чего он изготавился врезать мне зубодробительный *toltsbok* в *litso*, но доктор Бродский остановил его:

— Хорошо, спасибо, хватит.— А этот гад вроде как поклонился и танцующей походкой комедианта ушел со сцены, на которой зажегся свет, выставивший меня на всеобщее обозрение в самом пакостном виде: полные слез глаза, перекошенный плаксивый *morger* и т. д. К публике обратился доктор Бродский:

— Наш объект, как видите, парадоксально понуждается к добру своим собственным стремлением совершить зло. Злое намерение сопровождается сильнейшим ощущением физического страдания. Чтобы совладать с этим последним, объекту приходится переходить к противоположному модусу поведения. Вопросы будут?

— Как насчет выбора? — пророкотал глубокий грудной бас. То был знакомый мне голос тюремного свища.— Ведь он лишен выбора, не так ли? Только что нами виденный чудовищный акт самоуничтожения его заставила совершить боязнь боли и прочие своекорыстные соображения. Явно видна была его неискренность. Он перестает быть опасным для окружающих. Но он также перестает быть существом, наделенным способностью нравственного выбора.

— Это все тонкости,— чуть улыбнулся Бродский.— Мотивациями мы не занимаемся, в высокую этику не вдаемся. Нам главное — сократить преступность и...

— И,— подхватил щеголеватый министр,— разгрузить наши отвратительно переполненные тюрьмы.

— Болтай, болтай...— обронил кто-то вполголоса.

Тут разгорелся спор, все заговорили разом, а я стоял, совершенно забытый всеми этими подлыми недоумками, так что пришлось подать голос:

— Э-э-э! А что же со мной? Мне-то теперь как же? Я что теперь, животное какое-нибудь получаюсь, собака? — И от этого все зашумели в мой адрес, полетели всякие раздраженные *слова*. Я опять в *kritsh*, еще громче: — Я что, по-вашему, заводной апельсин? — Не знаю, что побудило меня произнести эти слова, блин, они вроде как сами собой возникли у меня в голове. На минутую другую воцарилось молчание. Потом встал один тощий профессорского вида *kashka* с шеей, похожей на сплетение проводов, передающих энергию от головы к телу, и сказал:

— Тебе не на что жаловаться, мальчик. Ты свой выбор сделал, и все происшедшее лишь следствие этого вы-

бора. Что бы теперь с тобой ни случилось, случится лишь то, что ты сам себе избрал.

И тут же голос тюремного свища:

— О, как трудно в это верится! — Причем комендант тут же бросил на него взгляд, в котором читалось: все, дескать, все твои надежды высоко взлететь на поприще тюремной религии придется тебе похоронить. Шумный спор разгорелся снова, и тюремный свищ кричал наравне со всеми что-то насчет Совершенной Любви, которая Изгоняет Страх и всякий прочий kaI. Тут с улыбкой от уха до уха заговорил доктор Бродский:

— Я рад, джентльмены, что вы затронули тему любви. Сейчас мы увидим на практике то поведение в любви, которое считалось невозвратно исчезнувшим еще со времен средневековья.— Тут свет погасили, и опять зажглись прожекторы, один из которых направили на меня, бедного и истрадавшегося вашего друга и повествователя, а в другой бочком вступила молодая kisa, причем такая, красивее которой — я клянусь — вам в жизни, блин, не приходилось видеть. То есть, во-первых, obaldennuje grudi, выставленные прямо напоказ, потому что платье у нее было с таким низким-низким вырезом. Во-вторых, божественные ноги, а походка такая, что прямо в кишках sverbit, и вдобавок litso красивое и детски невинное. Она подошла ко мне в луче прожектора, свет которого показался мне сиянием Благодати Господней, которую, как и весь прочий kaI, она вроде как несла с собой, и первой промелькнувшей у меня в голове мыслью было, что не худо было бы ее тут же на полу и оформить по доброй старой схеме sunn-vunn, но сразу же откуда ни возьмись нахлынула тошнота, будто какой-то подлый мент из-за угла все подглядывал, подглядывал да вдруг как выскочит и сразу тебе руки за спину. Даже vonn ee чудных духов теперь заставляла меня лишь корчиться, подавляя рвотные позывы в желудке, так что пришлось мне постараться подумать о ней как-нибудь по-другому, пока меня окончательно не раздавила вся эта боль, сухость во рту и ужасающая тошнота. В отчаянии я закричал:

— О красивейшая из красивых devotshek, я бросаю к твоим ногам свое сердце, чтобы ты его всласть потоптала. Если бы у меня была роза, я подарил бы ее тебе. Если бы шел дождь и на земле была сплошная грязь и kaI, я подстелил бы тебе свою одежду, чтобы ты не за-

пачкала изящные ножки.— И вот я говорю все это, а сам чувствую, как дурнота вроде как съезживается, отступает.— Позволь мне,— заходясь в kritiche, продолжал я,— позволь мне поклоняться тебе и быть твоим телохранителем, защищать тебя от этого svolotshnogo мира.— Тут я немного задумался, подыскивая слово, нашел его и, проговорив: — Позволь мне быть твоим верным рыцарем,— вновь пал на колени и стал бить поклоны, чуть не стучаясь лбом об пол.

И вдруг я почувствовал себя shutom каким-то, посмешищем: оказывается, это опять была вроде как игра, потому что вновь загорелся свет, а devotshka улыбнулась и ускакала, поклонившись публике, которая разразилась рукоплесканиями. При этом glazzja у всех этих giaznyh kashek прямо чуть не на лоб вылезли, до того похотливыми взглядами они ее, блин, провожали.

— Вот вам истинный христианин! — воскликнул доктор Бродский.— Он с готовностью подставит другую щеку; он взойдет на Голгофу, лишь бы не распинать других; при одной мысли о том, чтобы убить муху, ему станет тошно до глубины души.— И он говорил правду, блин, потому что, когда он сказал это, я подумал о том, как убивают муху, и сразу почувствовал чуть заметный наплыв тошноты, но тут же справился, оттолкнул и тошноту, и боль тем, что стал думать, как муху кормят кусочками сахара и заботятся о ней, будто это любимый щенок, padla этакая.— Перевоспитан! — восторженно выкрикнул Бродский.— Господи, возрадуются уповающие на тебя!

— Главное,— зычно провозгласил министр внутренних дел,— метод работает!

— Да-а,— протянул тюремный свищ вроде как со вздохом,— ничего не скажешь, работает. Господи, спаси нас всех и помилуй.

Часть третья

1

— Ну, что же теперь, а?

Это уже, блин, я сам себя спрашивал на следующее утро, стоя за воротами белого здания, пристроенного к старой Гостюрье; светало; одет я был, как тогда, вечером два года назад, в руках держал tostshi пакет с не-

многочисленными пожитками и весьма скромной суммой денег, которыми на первое время милостиво снабдило меня тюремное начальство, будь оно неладно.

Остаток предыдущего дня утомил меня несказанно: пришлось давать бесконечные интервью перед телекамерами и вспышками фоторепортеров — блесь, блесь, блесь — вновь и вновь я должен был показывать, как меня корчит от одного упоминания о *mahalovke*, нести постыдную *tshush* и *kal*. Потом я рухнул в постель и чуть ли не в тот же миг, как мне показалось, меня разбудили и сказали, чтобы я выметался, чтобы шел домой, — они, дескать, не хотят больше видеть вашего скромного повествователя, блин. Ну и вот, стою тут ни свет ни заря, перебираю в левом кармане *deng*, позвякиваю ими и недоуменно соображаю:

— Ну, что же теперь, а?

Первым делом я решил пойти куда-нибудь позавтракать — все же с утра маковой росинки во рту не держал, так меня старались поскорей выпихнуть на свободу. Всего чашку *tshaja* и выпил. Гостюрьма располагалась в довольно-таки непотребной части города, однако маленьких рабочих *stolovok* кругом было полно, и вскоре я набрел на одну из них, блин. Там было мерзко, стояла вопп, с потолка свисала единственная лампочка, засиженная мухами до того, что едва светилась; рабочие по дороге на утреннюю смену *gubali* здесь жуткого вида сосиски, с чавканьем запивая их *tshajem* и заглатывая один за другим куски хлеба — хрумп-хрумп-хрумп, — а когда хлеб на столе кончался, требовали еще. Девушка, которая их обслуживала, была страшенькая, но с большими *grudiami*, и некоторые из посетителей то и дело пытались ее с хохотом облапить, она в ответ хихикала, и от одного вида всего этого меня тянуло *blevanutt*. Однако я очень вежливо, джентльменским голосом заказал поджаренного хлеба с джемом и *tshajem*, уселся в темном углу и стал есть и пить.

Пока я питался, в заведение вошел продавец газет, маленький карлик, весь *gaskhristannui*, грязный, преступного вида парень в толстых очках со стальными дужками, одетый в какое-то тряпье цвета заплесневелого смородинового пудинга. Я купил газету, решив для возвращения в колею нормальной *zhizni* сперва узнать, что происходит в мире. Оказавшаяся у меня в руках газета, по всей вероятности, была правительственной, потому

что единственное, чему посвящалась вся первая страница, это чтобы каждый непременно приложил все силы для переизбрания правительства на новый срок во время всеобщих выборов, до которых вроде бы оставалось недели две или три. Хвастливо расписывалось, как много правительство сделало за последний год, насколько возрос экспорт, какие великие у него успехи на международной арене, как улучшилась социальная защищенность и всякий прочий kał. Но больше всего правительство кичилось тем, как ему за последние полгода удалось якобы сделать улицы безопаснее для всех законопослушных жителей, кому приходится ходить по ним вечерами, а достигнуто это было увеличением жалованья полицейским и более строгим отношением полиции к хулиганствующим юнцам, извращенцам и грабителям, и так далее, и тому подобный kał. Это уже некоторым образом заинтересовало вашего скромного повествователя. А на второй странице оказалась мутная фотография, с которой смотрел на меня некто очень и очень знакомый; на проверку оказалось, что это я сам и есть. Смотрел я с нее мрачно и вроде как испуганно, но это единственно из-за вспышек, которыми мне — блесь-блесь-блесь — то и дело слепили глаза. Подпись гласила, что это первый выпускник нового Государственного Института Исправления Преступных Элементов, излеченный от криминальных инстинктов всего за две недели и ставший теперь законобоязненным добрым гражданином, и дальше все такой же kał. Чуть дальше здесь же обнаружилась очень хвастливая статья о методе Людовика, о том, какое мудрое у нас правительство и опять всякий kał. Снова фотография; похоже, и этого человека я знаю: конечно, министр внутренних дел. Он беспардоннейшим образом хвастался, что предвидит наступление эры полной победы над преступностью, когда не надо будет опасаться подлых нападений несовершеннолетних хулиганов, извращенцев, грабителей, и снова kał в том же духе. Зарывав от ярости, я швырнул газету на пол, и она накрыла лужицы расплесканного tshaja, крошки и отвратительные плевки поганых животных, которые посещали эту stolovku.

— Ну, что же теперь, а?

А что теперь? Видимо, домой, блин, пора преподнести сюрприз папае с мамой: сын, дескать, вернулся, снова он в лоне семьи. Потом я лягу на кровать в своем zakutke и, слушая прекрасную музыку, подумаю о том,

что теперь делать со своей zhizniju. За день до того представитель комиссии по социальной интеграции выдал мне длинный перечень mest, куда я мог обратиться в поисках работы, он даже звонил обо мне разным людям, однако у меня, бллин, не было ни малейшего желания прямо сразу начинать vkalyvatt. Сперва следует tshutok отдохнуть, да-да, и спокойно подумать, лежа в кровати под звуки прекрасной музыки.

Так что вперед, автобусом до центра, потом другим автобусом до Кингсли-авеню, а оттуда до нашего квартала рукой подать. Думаю, вы поверите, что сердце у меня от волнения так и стучало — тук-тук, тук-тук, тук-тук! На улицах было пустынно (раннее зимнее утро), и когда я вошел в вестибюль нашего дома, там не было никого, кроме pagih tshelovekov и zhenstshin по стенам, занятых трудовыми подвигами. Что удивило меня, так это чистота — все убрано, подкрашено, не было даже обведенных овалами всяких слов, накарябанных рядом с gotami славными тружеников; не было подрисованных к их фигурам непристойных частей тела — куда только подевались все похабствующие malltshiki с фломастерами. Еще меня удивило, что лифт работал. Едва я нажал кнопку, он загудел и съехал вниз, причем, зайдя в него, я снова удивился, до чего там внутри было чисто.

Я поднялся на десятый этаж, поглядел на ничуть не изменившуюся дверь под номером 10—8, и у меня даже руки задрожали, когда я вынул из кармана маленький ключик, чтобы отпереть ее. Однако я решительно сунул ключ в скважину, повернул, отворил дверь и вошел, встреченный взглядами трех пар удивленных, почти испуганных glazzjev, две из которых принадлежали па и ма, но был с ними и еще один vek, которого я прежде никогда не видел, — большой, толстый muzhik в рубашке и штанах с подтяжками; расположившись как дома, он прихлебывал tshai с молоком и хрусть-хрусть хрустел поджаренным хлебом с яичницей. Этот незнакомец заговорил первым:

— Ты кто такой, приятель? Откуда у тебя ключ взялся? Вон отсюда, пока я тебе morger не искровянил. Выйди и постучись. И говори, что нужно, да побыстрее!

Мама и папа остолбенело застыли — значит, газету еще не прочли, и тут я вспомнил, что газету ведь доставляют уже после того как папа уйдет на работу. Но тут голос подала мать:

— Ой! Убежал, удрал! Что же нам делать? Скорее надо звонить в полицию, ой-ёй-ёй! Ах ты паршивец, гадкий мальчишка, снова ты нас позоришь! — И, провалиться мне на этом самом месте, она как взвояет: — Ууууу-хуу-хуууууу! — Но я принялся объяснять, дескать, хотите, можете позвонить в Гостюрму, проверить, а этот незнакомец сидел и хмурился, глядя на меня так, будто вот-вот двинет меня по *podger* волосатым своим мясистым кулачищем. А я говорю:

— Может быть, сперва ты ответишь, а *koresh*? С каких пор ты здесь появился и за каким *figom*? Мне не нравится тон, которым ты говорил со мной. Смотри у меня! Ну, что скажешь?

Незнакомцу было лет тридцать или сорок — отвратная рабоче-крестьянская *gozha*, причем сидит, *got* разинул и смотрит на меня, не говоря ни слова. Тут заговорил отец:

— Ты нас немножко врасплох застал, сын. Надо было известить заранее. Мы думали, тебе еще пять или шесть лет сидеть. Но ты не думай, — закончил он уже совсем печально, — что мы не рады видеть тебя на свободе.

— А это еще кто такой? — спросил я. — Почему он не отвечает? В чем дело-то *vastshe*?

— Это Джо, — сказала мать. — Квартирант. Мы ему комнату сдаем, понимаешь? — И вновь запрничала: — О Боже, Боже мой!

— Слушай сюда, — сказал этот Джо. — Я про тебя все знаю, парень. Знаю, что ты творил, и знаю, сколько принес горя, как поломал жизнь своим бедным родителям. Вернулся, значит? Будешь опять им кровь портить? Так знай, что это — только через мой труп, потому что они для меня как родные, а я им скорее сын, чем просто жилец.

Раньше я бы на это расхохотался, однако теперь поднявшийся во мне *gazdrazh* вызвал волиу тошноты, тем более что этот *vek* на вид был примерно того же возраста, что и мать с отцом, — и он еще смеет, глядите-ка, этак по-сыновнему приобнимать ее за плечи, мол, защищает, блин!

— А, вот, значит, как! — проговорил я, чувствуя, что сам вот-вот расплачусь. — Ладно, даю тебе пять минут, и чтобы ты сам, твоё *shmottjo* и весь прочий *kal* из моей комнаты выметались! — С тем я прямоком шагнул к две-

ри своей комнаты, пока этот uvalenn не успел остановить меня. Открыл дверь, и у меня сердце прямо чуть на пол не вывалилось, потому что это была уже совсем не моя комната. Вместо развешанных по стенам флагов он всюду поналеплял фотографии боксеров — и поодиночке, и даже целыми командами, где они стоят и сидят с нагло скрещенными на груди руками, а перед ними серебряный щит с гербом. Потом вижу — еще кое-чего не хватает. Ни проигрывателя, ни стеллажа для дисков, а еще исчезла коробочка, где я хранил свои сокровища — бутылки с выпивкой и diggju и два сверкающих чистотой шприца. — Ах ты гад voniutshi, ну ты и поработал! — вскричал я. — Куда ты дел мои личные вещи, svolotsh поганая? — Это я обращался к Джо, но ответил мне отец: — Все твои вещи, сын, забрала полиция. Теперь такой закон насчет компенсации жертвам.

Очень трудно было бороться с подступающей дурнотой, голова болела кошмарно, во рту пересохло, я схватил со стола бутылку с молоком и присосался, на что Джо неодобрительно заметил:

— Свинские у тебя манеры, знаешь ли.

А я говорю:

— Но она же умерла. Какая еще ей компенсация?

— Остались ее кошки, сын, — грустно проговорил отец. — Чтобы за ними было кому присматривать, пока не оглашено завещание, пришлось нанимать специального человека. В общем, полиция распродала твои вещи — одежду и все прочее, чтобы оплатить уход за кошками. Таков закон, сын. Ты, правда, никогда особым уважением к законам не отличался.

Я так и сел, а тут еще этот Джо вякает:

— Разрешение надо спрашивать, прежде чем сесть, свинья невоспитанная!

Ну, я ему сразу в ответ:

— Заткни свое жирное hlevalo, боров! — А сам уже еле жив. Решив хоть немного улучшить свое состояние, я после этого стал говорить рассудительно и даже с улыбкой: — Слушай, это все-таки моя комната, разве нет? Это мой дом. Может, вы что-нибудь скажете, па, ма? — Однако они только хмуро на меня поглядывали, у мамы дрожали плечи, ее мокрое от слез litso морщилось, а отец сказал:

— Это надо как следует обдумать, сын. Мы не можем просто так взять и выкинуть Джо на улицу, верно

ведь? Я в смысле, что у Джо здесь работа, контракт на два года, и мы с ним договор заключили, верно, Джо? В смысле, мы думали, тебе еще долго сидеть в тюрьме, а комната пропадает.— Он явно стыдился собственных слов, это бросалось в глаза. Поэтому я улыбнулся, чуть-чуть вроде как кивнул и говорю:

— Все понял. Привыкли жить в мире, да еще и с прикормкой. Такие, значит, дела. А родной сын вам вроде как ненужная помеха.— И тут, хоть ешьте меня, хоть режьте мне beitsy, но поверьте, блин: от жалости к себе я прямо вроде как расплакался. А отец говорит:

— В общем, видишь ли, сын, Джо заплатил нам за месяц вперед. Я в смысле, что как бы мы ни решили насчет будущего, мы не можем сказать Джо, чтобы он прямо сейчас съехал, правда, Джо?— А этот Джо в ответ:

— К тому же мне ведь надо и о вас заботиться, ведь вы мне как родные. Хорошо ли будет, справедливо ли, если я уйду, бросив вас на милость этого юноши, этого чудовища, которое никогда не было вам настоящим сыном? Вот он сейчас хнычет, но это только условия его лицемерия. Пусть идет и ищет себе комнату где-нибудь в другом месте. Пусть поймет, насколько пути его неправедны, пусть поймет, что скверный юноша, каким он был всегда, не заслуживает таких чудесных родителей, как вы.

— Ладно,— вставая, сказал я, по-прежнему весь в слезах.— Теперь хоть знаю, на каком я свете. Никто не любит меня, никому я не нужен. Я страдал, страдал, страдал, и все хотят, чтобы я продолжал страдать. Я понял.

— Ты заставлял страдать других,— сказал этот Джо.— Это всего лишь справедливо, чтобы ты как следует пострадал сам. Вот здесь, за этим круглым семейным столом, я целыми вечерами слушал рассказы о твоих подвигах, и это было ужасно. Прямо жить после этого не хотелось, ей-Богу.

— И зачем только,— проговорил я,— меня выпустили! Сидел бы себе в тюрьме и сидел. Все, уйду. Вы больше никогда меня не увидите. Как-нибудь сам проживу, спасибо вам за все. Пусть это ляжет грузом на вашу совесть.

— Не надо так воспринимать это, сын,— сказал отец, а мать, некрасиво перекосив рот, снова взвыла — уууу-хуу-хуууу,— и Джо опять обнял ее за плечи, похлопывая

и приговаривая «ну-ну, ну-ну», как *bezumni*. Я встал и, весь разбитый, еле дотащился до двери — пусть сами, блин, со своей *zhutkoi* виной разбираются.

2

Я шел по улице, не зная, куда и зачем иду, все в том же боевом костюме, на который все оборачивались, ежился от холода (был *zhutko* холодный зимний день), и все, чего я хотел, это уйти от всего этого как можно дальше и по возможности не думать вообще ни о чем. Сел в автобус, доехал до центра, потом пешком к Тэйлор-плейс, а там смотрю — магазин пластинок «*Melodija*», который я так любил посещать когда-то в прошлом, блин, причем он совершенно не изменился, и, войдя, я даже ожидал увидеть там старого знакомого Энди — ну, того лысого и *diko* тощего *veka*, у которого я всегда покупал диски. Но Энди там теперь не было, блин, одни визги и вопли *padtsatyh* (тинэйджеров, стало быть), которые, пританцовывая, слушали свой излюбленный эстрадный *ka!*, да и сам стоявший за прилавком продавец был вряд ли старше них; он все время шелкал костяшками пальцев и хихикал, как *bezumni*. Я подошел, выждал, когда он удостоит меня взглядом, и говорю:

— Я бы хотел послушать пластинку с моцартовской Сороковой.— Почему именно это взбрело мне в голову, даже и не знаю, как-то само собой получилось. Продавец говорит:

— Сороковой — чего?

Я говорю:

— Симфонией. Симфонией номер сорок в соль миноре.

— Хоп-па! — выкрикнул один из пританцовывавших *padtsatyh*, мальчишка, заросший волосами до самых глаз.— Симфонией! Во дает! А семафории тебе не надо?

Во мне уже начинал вскипать *gazdragh*, но я старался справляться с ним, поэтому изо всех сил улыбался — и стоявшему за прилавком *veku*, и приплясывающим шумливым *padtsatym*. Продавец сказал:

— Зайди вон в ту кабину, дружище, шас чего-нибудь подберу.

Я вошел в крошечный *zakut*, где покупателям давали прослушивать пластинки, которые они вознамерились купить, и продавец поставил на проигрыватель диск, но то была не Сороковая Моцарта, а моцартовская «Пра-

га» — он, видимо, взял первую попавшуюся ему на полке пластинку Моцарта, отчего я начал всерьез сердиться, но старался совладать с этим чувством из страха перед тошнотой и болью, однако я совсем забыл то, чего забывать как раз не следовало, и теперь мне от этого было хоть в петлю. Дело в том, что эти svolotshi доктора устроили так, что любая музыка, которая навеивает всякие там чувства, подымала теперь во мне такую же тошноту, что и всякий вид или поползновение к насилию. А все потому, что в фильмах насилие сопровождалось музыкой. Особенно запомнился мне тот izhasni нацистский фильм с заключительной частью бетховенской Пятой. И вот теперь прекрасный Моцарт превращен в сущий ад. Я выскочил из магазина, за спиной, беснуясь, хохотали padtsatyje, а продавец кричал: «Эй! Эй! Эй!» Но я не обращал внимания, шел, как пьяный, по улице и свернул за угол к молочному бару «Когова». Я знал, что мне нужно.

Zavedeniје было по-утреннему почти пусто. Внутри вид непривычный — какие-то красные коровы по всем стенам, а за прилавком vek тоже какой-то незнакомый. Но когда я сказал: «Молоко-плюс, двойное», — этот длинноты, гладко выбритый субъект сразу понял, что требуется. Двойное молоко-плюс я отнес в одну из маленьких кабинок, по всем стенам окаймлявших zavedeniје и отгороженных от основного зала вроде как занавесками, там я сел на бархатный стул и принялся прихлебывать. Когда выпил стакан до дна, почувствовал: действует. На не очень-то аккуратно подметенном полу лежал обрывок серебряной бумажки от пачки с tsygarkami, и у меня glazzja к нему как приклеилась. Этот клочок серебра начал расти, расти, расти и стал таким ярким, таким огненным, что пришлось даже сощурить glazzja. Он перерос собой не только кабинку, где я прохлаждался, но и весь бар «Когова», всю улицу, весь город. Потом он перерос целый мир, блин, заменил собой всю вселенную, стал морем, в котором плавало все, причем не только когда-либо сотворенное, но и существующее в воображении. До моих ушей начали доноситься всякие звуки и слова, которые я сам же и произносил, вроде: «Дорогие лебляблюбледи, дохлопендрики вас промдырляются», и всякий прочий kaI. Потом все это серебро пошло как бы волнами, появились цвета, каких никто никогда не видывал, и вроде как в отдалении показалась скульптурная груп-

вряд ли заходил хоть раз с тех пор, как мне минуло лет шесть от роду; она делилась на два зала: один — чтобы брать книги на дом, другой — чтобы читать их прямо здесь, весь заваленный газетами и журналами и пропахший старичьем — особой такой вопни старости и нищеты. Kashki толклись у стеллажей по всей комнате, сопли, рыгали, разговаривали сами с собой, печально перелистывали газетные страницы либо сидели за столами, притворяясь, будто читают журналы, причем некоторые спали, а кое-кто даже громко храпел. Сперва я вроде как забыл, зачем пришел, а потом меня как стукнуло, что ведь пришел-то я поискать какой-нибудь безболезненный способ сыграть в ящик, и я направился к картошке. Книг оказалось множество, блин, но, по названицам судя, вряд ли хоть одна из них годилась в дело. Одну медицинскую книжку я все же выписал, но когда я раскрыл ее, оказалось, что там полно рисунков и фотографий всяких *uzhasnyh* ран и болезней, и меня опять слегка затошнило. Так что я отложил ее и взял огромный том Библии, решив, что хоть она, может быть, даст мне кое-какое утешение, как бывало в добрые старые времена в Гостюрьме (не такие уж добрые, да и не старые, но теперь мне казалось, что тюремная жизнь была когда-то очень давно), взял и поплелся за стол читать. Однако все, что я там обнаружил, это распри и ругань евреев с евреями да избиения всех до седьмого колена, и мне снова стало тошнехонько. Тут уж я чуть не заплакался, а сидевший напротив меня *kashka* заметил и говорит:

— Что случилось, сынок? В чем дело?

— Жить не хочу,— ответил я.— Надоело, все надоело. Жизнь эта у меня уже во где сидит!

Мой сосед по столу сказал: «Тшшшшшшшш!», не отрываясь от журнала, где он, как *bezupni*, разглядывал какие-то большие геометрические построения. Что-то в нем показалось мне знакомым. А тот, другой *kashka*, и говорит:

— Ну-ну, такой молодой! Зачем же, ведь у тебя еще все впереди!

— Ага,— сказал я горестно.— Впереди, как две фальшивых *sisski*.— Сосед по столу снова сказал: «Тшшшшшшшш!», на сей раз обернувшись, и нас обоих словно током ударило. Я понял, кто это. А он и говорит, да так громко:

— Никогда не забываю очертаний, ей-Богу! Любые очертания запоминаю накрепко. Даже столь мерзкие, как у твоей свинской рожи, гад, ну наконец-то ты мне попался!

Кристаллография, вот оно что. Та самая книга, которую он тогда нес из biblio. Искусственная челюсть — хрусть-хрусть. Пиджак — хрясь — и в клочья. Книжки его все vrazdruzg, и все по кристаллографии. Ну, думаю, пора отсюда в темпе сматываться, бллин. Однако этот kashka был уже на ногах и поднял bezumni kritsh на весь зал, так что все полудохлые kashki со своими газетами и журналами аж встрепенулись.

— Держите его, — кричит, — это тот самый малолетний подонок, который порвал мне книги по кристаллографии, редкие книги, таких теперь днем с огнем не сыщешь! — Экий ведь shum поднял, прямо bezumni. — Подлый трус, типичный малолетний преступник! — кричит. — Он здесь, он среди нас, теперь никуда не денется! С бандой таких же своих приятелей он избивал меня, пинал и топтал ногами. Раздел меня и разломал мою вставную челюсть! Они хохотали, когда я стонал и истекал кровью! Погнали меня домой голого и растерзанного!

Как вы знаете, все было не совсем так. Кое-какую одежду мы ему оставили, он был не совсем pag.

Я кричу в ответ:

— Это же два года назад было! Меня за это наказали уже! Я теперь научился! Сюда поглядите, вот мой портрет в газете!

— Наказали, говоришь? — сказал один, вроде как из отставных военных. — Да таких, как ты, уничтожать надо. Морить, как крыс! Наказали, как же!

— Ну хорошо, хорошо, — все еще пытался урезонить их я. — У всех есть право на собственное мнение. Но я прошу вас меня простить, всех прошу, а мне идти надо. — И я попытался покинуть это pribezhistshe bezumnyh kashek. Аспирин, вот что мне было нужно. Сто таблеток аспирина съешь, и kranty. Продается в любой аптеке. Но любитель кристаллографии закричал:

— Не упускайте ego! Мы ему сейчас покажем «наказали», мерзкая малолетняя скотина! Бейте ego! — И хотите верьте, хотите нет, бллин, двое или трое старых истуканов, каждый этак лет под девяносто, схватили меня трясущимися gukegati, причем меня чуть не выворачивало от болезненной старческой voni, которая исходила

от этих полутрупов. Любитель кристаллографии повалил меня и пытался давать мне маленькие слабые *toltshoki* в *litso*, а я силился высвободиться и смыться, но старческие *rukery* держали меня крепче, чем можно было себе представить. Потом и другие *kashki*, отделяясь мало-помалу от стендов с газетами, заковыляли ко мне, чтобы вашему скромному повествователю не показалось мало. И все кричали что-то вроде: «Убей его, топчи его, по зубам его, по роже!» и прочий *kal*, но меня-то не проведешь, я понимал, в чем дело. Для них это был шанс отыграться за свою старость, отомстить молодости. А другие повторяли: «Бедный старина Джек, он ведь чуть не убил старого Джека, свинья такая!» и тому подобное, словно это было чуть не вчера. Хотя для них-то это вроде как вчера и было. Я оказался посреди волнующегося моря из старых *vonitshih* тел, *kashki* тянулись ко мне слабыми ручонками, норовили зацепить когтем, кричали и пыхтели, а этот мой кристальный *drug* бился впереди всех, выдавая мне *toltshok* за *toltshokom*. А я не осмеливался ничего предпринять, ни единым движением им ответить, блин, потому что мне лучше было, чтобы меня били и терзали, чем снова испытать ужасную тошноту и боль, хотя, конечно же, сам факт происходящего насилия заставлял тошноту выползть откуда-то из-за угла, как бы в раздумье, то ли наброситься на меня в открытую, то ли скрыться обратно.

Тут появился библиотекарь, довольно молодой еще *vek*, и закричал:

— Что тут происходит? Прекратите немедленно! Это читальный зал! — Но никто на него не обращал внимания. Тогда библиотекарь сказал: — Ладно, звоню в полицию. — И тогда я заорал что есть мочи, никогда в жизни я так не орал:

— Да! Да! Да! Сделайте это, защитите меня от этих чокнутых стариков!

Я решил, что библиотекарь, который явно не рвался принять участие в избиении, вызовет меня из когтей этих старых безумцев; он повернулся и ушел в свою конторку или где там у него стоял телефон. Старики к этому моменту уже изрядно выдохлись, и я мог бы левым мизинцем их всех раскидать, но я позволял держать себя, лежал спокойно, с закрытыми глазами, терпел их слабые *toltshoki* в *litso* и слушал одышливые старческие голоса: «Мерзавец, малолетний убийца, хулиган, вор, убить его

мало!» Потом мне достался такой болезненный *toitshok* в нос, что, сказав себе «ну вас к черту», я открыл глаза и стал биться по-настоящему, так что вскоре без особого труда вырвался и кинулся в коридор. Но старичье, чуть не помирая от одышки, кинулось толпой следом, грозя вновь поймать вашего скромного повествователя в свои трясущиеся звериные когти. Меня снова свалили на пол и начали пинать, а потом донеслись голоса помоложе: «Хватит вам, ладно, прекратите», — и я понял, что при- была полиция.

3

Состояние у меня было, блин, полуобморочное, виде- лось все нечетко, но мне сразу показалось, что этих мен- тов я где-то уже видел. Того, что вывел меня, пригово- ривая «ну-ну, ну-ну», за дверь публичной *biblio*, я не знал вовсе, мне только показалось, что для мента он что-то больно уж молод. Зато двое других со спины оказались мне смутно знакомыми. Они с явным удовольствием вклинились в толпу *kashek* и принялись охаживать тех плетками, покрикивая: «А ну, драчуны! А ну, вот, будете знать, как нарушать спокойствие в публичном месте, паршивцы этакие!» Одышливо кашляющих и еле живых *kashek* они загнали обратно в читальный зал и, все еще хохоча и радуясь представившемуся им развлечению, повернулись ко мне. Старший из двоих сказал:

— Так-так-так-так! Неужто коротышка Алекс? Дав- ненько не виделись, *koresh*. Как жизнь?

Я был чуть не в обмороке, форма и *shlem* мешали понять, кто это, но *litso* и голос казались очень знакомы- ми. Тогда я поглядел на второго, и тут уж, когда мне бросилась в глаза его идиотская ухмылка, насчет него сомнений не возникло. Тогда, все больше и больше це- пenea, я вновь оглянулся на того, который так-такал. Им оказался толстяк Биллибой, мой заклятый враг. А другой был, разумеется, Тём, мой бывший друг и тоже в прошлом враг толстого *kozlinu* Биллибоя, а теперь мент в форме, в шлеме и с хлыстом для поддержания порядка. Я сказал:

— Ой, нет!

— Ага, удивился! — И старина Тём разразился сво- им ухающим хохотом, который я так хорошо пом- нил: — Ух-ха-ха-ха!

— Не может быть,— вырвалось у меня.— Этого же не может быть. Я не верю!

— Разуй glazzja! — осклабился Биллибой.— Все без обмана. Ловкость рук и никакого мошенства, kogesh. Обычная работа для ребят, которым пришло время где-то работать. Служим вот в полиции.

— Но вы же еще patsany,— возразил я. Вы слишком молодые. В полицию не берут в нашем возрасте.

— В каком еще таком «нашем»?! — с некоторой обидой проговорил podlyi мент Тём. Я просто ушам не верил, не мог, блин, поверить, да и только.— Время идет, растем,— пояснил он.— А кроме того, ты ведь всегда был среди нас младшим. Вот мы, глядишь, и выросли.

— Бред какой-то! — прошептал я. Тем временем Биллибой, мент Биллибой (в голове не укладывается!), обратился к молодому менту, который держал меня и которого я вроде как раньше не знал:

— Пожалуй,— говорит,— будет лучше, Рекс, если мы отдадим ему кое-какой старый должок. Между нами мальчиками, как говорится. Вести его в участок — только морока лишняя. Ты о нем вряд ли слышал, а я его хорошо знаю, это у него старые заморочки. Нападает на престарелых и беззащитных, ну, и нарвался, наконец. Но мы поговорим с ним от имени Государства.

— О чем вы? — промямлил я, не в силах поверить собственным usham.— Ребята, они же сами на меня напали! Ну скажите, ведь вы не можете быть на их стороне! Ведь это не так, Тём? Там был kashka, с которым мы poshustrili когда-то в прежние времена, и теперь, через столько времени, он решил отомстить мне.

— Лучше поздно, чем никогда,— сказал Тём.— Вообще-то я те времена помню плохо. И, кстати, перестань звать меня «Тём». Зови сержантом.

— Но кое-кого мы все-таки помним,— в тон ему продолжил Биллибой. Он уже не был таким толстяком, как когда-то.— Кое-кого из мальчиков-хулиганчиков, очень лихо управлявшихся с опасной бритвой; к ногтю его, к ногтю! — И они, крепко взявшись, вывели меня на улицу. Там их ждала патрульная машина, а этот самый Рекс оказался шофером. Они забросили меня в фургон, причем я никак не мог отделаться от ощущения, что все это всего лишь шутка, что Тём сейчас стянет с головы полицейский шлем и захохочет — ух-ха-ха-ха! Но он сидел молча. А я, стараясь рассеять закопошившийся во мне strah, говорю:

— Слушай, а как наш Пит поживает, что с Питом? Про Джорджика я слышал, с Джорджиком это очень печально вышло.

— Пит? Пит, говоришь? — отозвался Тём.— Имя вроде знакомое...

Вижу, машина едет прочь от города. Я говорю:

— Куда это мы едем?

Биллибой со своего места рядом с шофером обернулся и говорит:

— Еще не вечер. Съездим за город, погуляем tshutok; зима, конечно, я понимаю, уныло, однако все ж таки природа. Да и то сказать, вряд ли полезно всему городу видеть, как мы старые долги отдаем. К тому же сорить на тротуарах, тем более бросать на них падаль, негоже, ох, негоже! — И он вновь отвернулся.

— Да ну,— сказал я,— что-то я вас совершенно не понимаю. Прежние времена позади. За то, что я тогда делал, меня уже наказали. Меня вылечили!

— Про это нам читали,— сказал Тём.— Старшой нам все прочитал насчет этого. Очень, говорит, хороший способ.

— Вам читали,— повторил за ним я, слегка язвительно.— Ты все такой же темный, сам читать так и не выучился?

— Ну, нет,— проговорил Тём очень спокойно и даже как-то удрученно.— Так говорить не стоит. Не советую, дружище.— И он тут же выдал мне bollshoi toltshok прямо в kliv, так что кровь сразу кап-кап-кап — красная-красная.

— Никогда у меня не было к тебе доверия,— с обидой проговорил я, вытирая нос тыльной стороной ладони.— Всегда я был odi pokі.

— Ну вот, годится,— сказал Биллибой.

Мы были уже за городом, вокруг голые деревья, птички время от времени чирикают, а вдалеке гудит какая-то сельскохозяйственная машина. Зима была в самом разгаре, смеркалось. Вокруг ни людей, ни животных. Только мы четверо.

— Вылазь, Алекс,— приказал Тём.— Немножко надо подрассчитаться.

Все время, пока они со мной возились, шофер сидел за рулем машины, курил tsygarki и почитывал какую-то книжечку. В кабине у него горел свет, чтобы vidett.

На то, что с вашим скромным повествователем делали Биллибой и Тём, он никакого внимания не обращал. Не буду сейчас вдаваться в детали, вспомню только про чирикание птичек в голых ветвях, рокот какой-то там сельхозтехники и звуки нескончаемого пыхтения и ударов. При свете автомобильных фар я видел туман от их дыхания, а в кабине шофер совершенно спокойно переворачивал страницы. Долго они, бблин, меня обрабатывали. Потом Биллибой или Тём, не помню уж который из них, говорит:

— Ладно, хватит, kogesh, по-моему, довольно, как ты думаешь? — И они напоследок каждый по разу врезали мне toltshok в litso, я повалился и остался лежать на прошлогодней траве. Холод стоял zhutki, но я его не чувствовал. Потом они вытерли руки, снова надели кителя и шлемы и сели в машину.

— Когда-нибудь еще встретимся, Алекс,— проронил Биллибой, а Тём разразился своим клоунским смехом. Шофер дочитал страницу, отложил книжку, потом завел мотор, и они уехали в сторону города, причем оба — и бывший мой drug, и бывший враг — на прощанье сделали ручкой. А я остался лежать в полном otrube.

Боль подступила не сразу, навалилась, меня всего скорчило, а тут еще пошел ледяной дождь. Людей поблизости видно не было, не было ни домов, ни даже огонечка. Куда же мне идти, бездомному и почти без deng в карманах? И я от жалости к себе заплакал: ууух-хуухуу. Потом встал и поплелся прочь.

4

Дом, дом, дом — вот все, что мне было нужно, и как раз именно «ДОМ» попался мне на пути, бблин. Я брел сквозь тьму не по-городскому, а просто напрямик, туда, откуда доносился шум сельскохозяйственной машины. Вышел в результате к какому-то поселку, который показался мне смутно знакомым, однако поселки — они все похожи, особенно в темноте. Несколько домиков, пивная, а в самом конце поселка, слегка этак на отшибе — небольшой коттеджик, и на его воротах название: «ДОМ». Под ледяным дождем я вымок до нитки, так что мой боевой костюм уже не выглядел супермодным, теперь я в нем скорей похож был на мокрую курицу, тем более что моя роскошная shevelinga превратилась в нашлепку, буд-

то какой-то kal распластан по голове, а morgder был, надо полагать, изукрашен ссадинами и синяками; трогая языком zubbia, я обнаружил, что некоторые шатаются, Все тело у меня ныло и болело, uzhasno хотелось пить, и я ловил gотом ледяные капли, а в желудке пело и ворчало оттого, что я с утра не ел, да и утром-то поел довольного-таки, блин, условно.

«ДОМ»; что ж, дом так дом — может быть, там и люди найдутся, кто бы помог мне. Я отворил калитку и захлопал под дождем, переходящим в снег, по дорожке, потом тихонько, жалобно постучал в дверь. Никто не отозвался, и я постучал tshutt-tshutt сильнее и дольше, после чего послышались шаги. Дверь отворилась, и мужской голос спросил: «Да, что такое?»

— О,— взмолился я,— пожалуйста, помогите. Меня избили полицейские и оставили умирать на дороге. Пожалуйста, дайте мне чего-нибудь выпить и погреться у огня, сэръ, прошу вас.

Дверь полностью отворилась, за ней был мягкий свет и доносилось тресь-тресь поленьев, горевших в камине. — Входите,— сказал открывший дверь,— кто бы вы ни были. Помогите вам Господь, бедняга, входите, дайте на вас взглянуть.

Я еле переступил порог, причем не очень-то и притворялся, блин, я действительно чувствовал себя хуже некуда. Добрый этот век обхватил меня руками за плечи и помог добрести до комнаты, где горел камин, и уж тут-то я сразу понял, где я и почему надпись «ДОМ» над воротами показалась мне такой знакомой. Я поглядел на хозяина, который тоже смотрел на меня, да так сочувственно, и теперь я его тоже вспомнил. Меня-то он, конечно, не припомнит, потому что в те беззаботные денечки мы с моими так называемыми друзьями на все большие dratsingi, krastingi и прочие всякие выступления ходили в масках. Хозяин был низкорослый очкастый век среднего возраста — лет тридцати, а может, сорока или пятидесяти.

— Сядьте к огню,— сказал он,— а я принесу вам виски и теплой воды. Боже ты мой, надо же, как вас отделали! — И он вновь окинул меня сочувственным взглядом.

— Полицейские,— буркнул я.— Чертовы гады полицейские.

— Еще одна жертва,— проговорил он со вздохом.— Жертва эпохи. Сейчас принесу виски, а потом я должен

немножко промыть вам раны.— И вышел. Я оглядел маленькую уютную комнатку. Почти сплошь книги, камин, пара стульев, а женской руки как-то не заметно. На столе пишущая машинка, множество скомканных бумажек, и мне сразу вспомнилось, что этот век — писатель. «Заводной апельсин» — вот он что писал тогда. Даже забавно, что я это вспомнил. Но выдавать себя не следовало, потому что нынче мне без его помощи и доброты — никуда. Подлые giazpuje выродки в той беленькой больничке сделали меня таким, что теперь мне без доброты и помощи хоть пропадай, они даже так сделали, чтобы я и сам не мог не предлагать другим помощь и доброту, если кому-нибудь таковая понадобится.

— Ну вот, готово,— сказал хозяин, вернувшись. Он дал мне горячее подкрепляющее питье в стакане, и мне стало лучше, потом промыл мне ссадины на litse. Потом говорит:

— Теперь в горячую ванну, я сейчас вам воды напущу, а потом за ужином все расскажете; я приготовлю, пока вы в ванне.

Во, блин, я от такой доброты аж чуть не всплакнул, и он, видимо, заметил в моих glazzjah слезы, потому что сказал: «Ну-ну-ну» и потрепал меня по плечу.

В общем, поднялся я на второй этаж, залез в ванну, а он принес мне пижаму и халат, согретые у огня, и еще пару очень поношенных тапок. Теперь, блин, несмотря на всю ломоту и боль, я определенно чувствовал, что скоро мне будет гораздо лучше. Спустившись, я обнаружил, что на стол уже накрыто: ножи, вилки, хлеб, бутылка соуса «Прима», и вот он уже несет zametshatell-piju яичницу с ломтиками ветчины и сосисок и большие кружки горячего сладкого tshaja с молоком. Я прямо разнежился: тепло, еда, а я оказался zhutko голодным, так что после яичницы я умял lomtik за lomtikom весь хлеб, намазывая его маслом и клубничным джемом из большой банки.

— Здорово! — сказал я.— Как же мне вас отблагодарить?

— Мне кажется, я знаю, кто вы,— сказал он.— Если вы действительно тот, за кого я вас принимаю, то вы, друг мой, попали прямо по адресу. Это ведь ваше фото в сегодняшних газетах? Если так, то вас сюда послало само провидение. Вас пытали в тюрьме, потом выкинули,

и теперь вас взяли мучить полицейские. Бедный мальчик, у меня, на вас глядя, сердце кровью обливается.

От этих слов, блин, я прямо так и онемел, аж челюсть отпала.

— Вы не первый, кто пришел сюда в минуту несчастья,— продолжал он.— Окрестности нашего поселка полиция почему-то избрала любимым местом для своих расправ. Но это просто перст Божий, что и вы, тоже своего рода жертва, пришли сюда. Но, может быть, вы что-то слышали обо мне?

Мне надо было соблюдать осторожность, блин, и я сказал:

— Я слышал про «Заводной апельсин». Я его не читал, но слышал о нем.

— О! — воскликнул он, и его лицо просияло, как медный таз в ясный полдень.— Ну, теперь о себе расскажите.

— Да особенно-то рассказывать мне нечего, сэр,— как бы скромничая, промямлил я.— Так, были кое-какие шалости, ребячество в общем-то, и в результате мои так называемые друзья уговорили меня — или даже скорей заставили — ворваться в дом к одной старой pitise — то есть в смысле леди. Плохого-то я ничего не хотел. К несчастью, когда эта леди вышвыривала меня вон, куда я и сам, по своей воле бы вышел, ее бедное доброе сердце не выдержало, и она вскоре умерла. Меня обвинили в том, что я оказался причиной ее смерти. Ну и посадили в тюрьму, сэр.

— Да-да-да-да, дальше, дальше!

— Там меня выбрал министр нутряных, или внутрен-ных, или каких еще там дел, и на мне стали испытывать этот самый метод Людовика.

— Вот-вот, о нем расскажите,— весь загорелся он и придвинулся ко мне ближе, попав рукавом свитера в перепачканную джемом тарелку, которую я от себя отодвинул. Ну, я ему и рассказал. Все как есть, блин, рассказал. Слушал он очень внимательно, каждое слово ловил — губы враспырку, glazzja сияют, а жир на тарелках уже весь застыл. Когда я закончил, он встал и, убирая посуду, все что-то кивал и хмыкал себе под нос.

— Да я сам уберу, сэр, мне запросто.

— Нет-нет, отдыхай, отдыхай, парень,— отозвался он, так открутив кран, что оттуда рванул кипяток пополам с паром.— Ты, надо полагать, очень грешен, но наказание оказалось совершенно несоизмеренным. Они тебя я

даже не знаю во что превратили. Лишили человеческой сущности. У тебя больше нет свободы выбора. Тебя сделали способным лишь на социально приемлемые действия, сделали машиной, производящей добродетель. И вот еще что ясно видится: маргинальные эффекты. Музыка, половая любовь, литература и искусство — все это теперь для тебя источник не удовольствия, а только лишь боли.

— Это верно, сэр,— сказал я, закуривая одну из предложенных мне этим добрым человеком tsygarok с фильтром.

— Это они вечно так: захапуют столько, что подавятся,— сказал он, рассеянно вытирая тарелку.— Но даже само их намерение уже грех. Человек без свободы выбора — это не человек.

— Вот и свещ мне тоже так говорил, сэр,— подтвердил я.— То есть в смысле тюремный священник.

— А? Что? Ну конечно, разумеется. Он-то понятно, иначе какой же он был бы христианин! Н-да, ну вот что,— сказал он, продолжая тереть ту же тарелку, которую он вытирал уже минут десять,— завтра мы пригласим кое-кого, они придут, на тебя посмотрят. Думаю, тебя можно использовать, мой мальчик. Быть может, с твоей помощью удастся сместить это совершенно зарвавшееся правительство. Превращение нормального молодого человека в заводную игрушку не может рассматриваться как триумф правительства, каким бы оно ни было, если только оно открыто не превозносит свою жестокость.— При этом он все еще вытирал ту же тарелку. Я говорю:

— Сэр, вы вытираете одну и ту же тарелку, сэр. Я с вами согласен, сэр, насчет жестокости. Наше правительство, сэр, похоже, очень жестокое.

— Тьфу ты,— спохватился он, словно впервые увидев в своих руках тарелку, и отложил ее.— Все никак не привыкну,— говорит,— по хозяйству управляться. Раньше этим жена занималась, а я только книжки писал.

— Жена, сэр? Она что, ушла от вас, бросила? — Мне действительно интересно было узнать про его жену, я ее хорошо помнил.

— Да, ушла,— сказал он громко и горестно.— Умерла она, вот ведь какое дело. Ее жестоко избили и изнасиловали. Шок оказался слишком силен. Убили прямо здесь в этом доме.— Его руки, сжимавшие полотенце, дрожали.— В соседней комнате. Нелегко было заставить себя

продолжать тут жить дальше, но она бы сама хотела, чтобы я жил здесь, где все пронизано светлой памятью о ней. Да, да, да. Бедная девочка.

Я вдруг ясно увидел все, что было, блин, той давней potshju, и себя в деле увидел, и сразу накатила тошнота, а tykvi стиснула боль. Хозяин это заметил — еще бы, litso у меня стало белым-бело, вся кровь отхлынула, и это нельзя было не заметить.

— Идите-ка спать,— сочувственно сказал он.— Я вам постелил в вашей комнате. Бедный, бедный мальчик, как много вам пришлось вынести. Жертва эпохи, такая же, как и она. Бедная, бедная, бедная девочка.

5

Ночью я замечательно выспался, блин, вообще без никаких снов, утро выдалось очень ясным и морозным, а снизу доносилась аппетитная вопп завтрака, который жарили на кухне в первом этаже. Как водится, мне не сразу вспомнилось, где я, но вскоре я все сообразил, и пришло ощущение теплоты и защищенности. Однако, полежав еще немного в ожидании, когда меня позовут к завтраку я решил, что надо бы узнать, как зовут этого доброго века, который принял меня и обогрел прямо как мать родная, поэтому я встал и принялся bosikom бродить по комнате в поисках «Заводного апельсина», на котором должно же стоять его imia, если он автор книги! Но в моей комнате ничего, кроме кровати, стула и настольной лампы, не было, поэтому я зашел в комнату хозяина, которая была по соседству, и там первым делом увидел на стенке его жену — огромное увеличенное фото, так что мне опять стало немножко не по себе от воспоминаний. Но тут были и две или три книжных полки, причем на одной из них, как я и ожидал, обнаружилась книжка «Заводного апельсина», на обложке и на корешке которой стояло imia автора — Ф. Александр. Боже праведный,— подумал я,— он тоже Алекс! Я начал ее перелистывать, стоя bosikom и в пижаме и ни капельки не замерзая, потому что весь дом был хорошо прогрет, однако мне долго не удавалось понять, про что книжка. Она была написана каким-то совершенно bezumnym языком, там во множестве попадались ахи, охи и тому подобный kal, и все это вроде как к тому, что людей в наше время превращают в машины, а на самом деле они — то есть и ты,

и я, и он, и все прочие gazdolbai — должны быть естественными и произрастать, как фрукты на деревьях. Ф. Александр, похоже, считал, что мы все плоды того, что он называл мировым древом в мировом саду, который насадил Бог, а цель нашего там пребывания в том, чтобы Бог утолял нами свою жгучую жажду любви или какой-то kal наподобие этого. Вся эта абракадабра мне совсем не понравилась, блин, и я подумал, до чего же на самом-то деле этот Ф. Александр bezupni, хотя, может быть, он и спятил как раз оттого, что у него жена skurutilass. Но тут он позвал меня вниз совершенно здоровым таким нормальным голосом, в котором была и радость, и любовь, и всякий прочий kal, ну и ваш скромный поведователь к нему спустился.

— Долго спите! — сказал он, ковыряя ложечкой яйцо всмятку и одновременно снимая с гриля поджаренный lomtik черного хлеба. — Без малого десять. Я уже не первый час на ногах, поработать успел.

— Новую книжку писали? — поинтересовался я.

— Нет-нет, сейчас — нет, — ответил он. Мы мирно уселись, принявшись хрустеть скорлупой и поджаренным хлебом, запивая завтрак молоком и thsajem из большущих objomistyh кружек. — Звонил тут кое-кому по телефону.

— Я думал, у вас нет телефона, — сказал я, целиком занявшись выковыриванием яйца и совершенно не следя за своими словами.

— Почему это? — спросил он, вдруг насторожившись как какое-то верткое животное, ложечка так и застыла у него в руке. — Почему вы думали, что у меня нет телефона?

— Да нет, — сказал я, — нипочему, просто так. — Сказал, а сам думаю: интересно, блин, много ли он запомнил из начальной стадии той potshi, когда я подошел к двери со старой сказкой про то, что надо позвонить, вызвать врача, а она ответила, что телефона нет. Он очень этак внимательно на меня глянул, но потом опять стал вроде как добрым и дружелюбным и принялся доедать яйца. Пожевал-пожевал и говорит:

— Ну так вот, значит, я позвонил нескольким людям, которых может заинтересовать ваша история. Вы можете стать очень мощным оружием, в том смысле, чтобы наше подлое правительство лишилось всяких шансов на предстоящих выборах. Один из главных козырей прави-

тельства — то, как оно последние несколько месяцев теснит преступность.— Он снова внимательно посмотрел на меня поверх наполовину выеденного яйца, и вновь я подумал: вдруг он знает, какую роль я сыграл в его *zhizni*. Однако он как ни в чем не бывало продолжал: — Брутальных хулиганствующих юнцов стали привлекать для работы в полиции. Вовсю начали разрабатывать антигуманные и разрушающие личность методы перевоспитания.— И пошел чесать, и пошел, да все такие слова научные, блин, и этакий *bezumni* блеск в глазах.— Мы,— говорит,— уже все это видели. В других странах пока что. Но это ж ведь лиха беда начало. И оглянуться не успеем, как получим на свою голову весь аппарат тоталитаризма.— Эх, думаю, его зацепило-то, а сам потихоньку желток выедаю да тостом захрупываю.

— А я-то,— говорю,— тут при чем, сэр?

— Вы? — слегка *tormozniusia* он, все так же *bezumno* блуждая взглядом.— Вы живое свидетельство их дьявольских козней. Народ, обычные простые люди должны знать, они понять должны...— Бросив завтрак, хозяин встал и заходил по кухне от раковины к кладовке, продолжая громко витийствовать: — Разве хотят они, чтобы их сыновья становились такими же несчастными жертвами, как вы? Не само ли правительство теперь будет решать, что есть преступление, а что нет, выкачивая жизнь, силу и волю из каждого, кого оно сочтет потенциальным нарушителем своего спокойствия? — Тут он несколько приуспокоился, но к выковыриванию желтка не возвращался.— Я статью написал,— говорит,— сегодня утром, пока вы спали. Через денек-другой выйдет, вкупе с фотографией, где вы избиты и замучены. Вам надо ее подписать, мой мальчик, там полный отчет о том, что с вами сделали.

— Да вам-то с этого,— говорю,— что толку, сэр? Ну, в смысле, кроме *babok*, которые вам за эту вашу статью заплатят? Я к тому, что зачем вам против этого самого правительства так уж упираться, если мне, конечно, позволено спрашивать?

Он ухватился за край стола и, скрипнув прокуренные желтыми *zubbjami*, говорит:

— Кто-то должен бороться! Великие традиции свободы требуют защиты. Я не фанатик. Но когда вижу подлость, я ее стремлюсь уничтожить. Всякие партийные идеи — ерунда. Главное — традиции свободы. Простые

люди расстанутся с ними, не моргнув глазом. За спокойную жизнь готовы продать свободу. Поэтому их надо подкалывать, подкалывать! — и с этими словами, блин, он схватил вилку и ткнул ею — gaz! gaz! — в стену, так что она даже согнулась. Отшвырнул на пол. Вкрадчиво сказал: — Питайся, питайся получше, мой мальчик, бедная ты жертва эпохи! — отчего я с совершенной ясностью понял, что он близок к помешательству. — Ешь, ешь. Вот, мое яйцо тоже съешь.

Однако я не унимался:

— А мне что с этого будет? Меня сделают снова нормальным человеком? Я смогу снова слушать Хоральную симфонию без тошноты и боли? Смогу я снова жить нормальной zhiznju? Со мной-то как?

Он бросил на меня такой взгляд, блин, будто совершенно об этом не думал, будто моя zhizn вообще ерунда, если сравнивать с ней Свободу и всякий прочий kal; в его взгляде сквозило какое-то даже удивление, что я сказал то, что сказал, словно я проявил недопустимый эгоизм, требуя чего-то для себя. Потом говорит:

— А, да. Ну, ты живой свидетель, мой мальчик. Додай завтрак и пойдем, посмотришь, что я написал, — статья пойдет в «Уикли Трампет» под твоим именем.

И-да, блин, а написал он, оказывается, длинную и очень слезливую ragashu; я читал ее вне себя от жалости к бедненькому malltshiku, который рассказывал о своих страданиях и о том, как правительство выкачало из него всю волю к zhizni, а потому, дескать, народ должен не допустить, чтобы им правило такое злонамеренное и подлое руководство, а сам этот бедный страдающий malltshik был, конечно же, не кто иной, как в. с. п., то есть ваш скромный повествователь.

— Очень хорошо, — сказал я. — Просто baldiozh. Вы прямо виртуоз пера, rapik.

В ответ он этак с прищуром глянул на меня и говорит:

— Что-что? — будто он меня не расслышал.

— А, это... — говорю. — Это такой жаргон у nadtsatyh. Все тинэйджеры на этом языке изъясняются.

Потом он пошел на кухню мыть посуду, а я остался, сидя по-прежнему в пижамном одеянии и в тапках и ожидая, что будет в отношении меня предприниматься дальше, потому что у самого у меня планов не было никаких, блин.

Когда от двери донеслось дилинь-дилинь-дилинь-канье звонка, Ф. Александр Великий был все еще на кухне.

— Вот! — воскликнул он, выходя с полотенцем в руках. — Это к нам с тобой. Открываю. — Ну, отворил, впустил; в коридоре послышались дружеские приветствия, всякие там ха-ха-ха, и погода отвратная, и как дела, и тому подобный кал, а потом они вошли в комнату, где был камин, книжка и статья о том, как я настрадался, увидели меня, заахали. Пришедших было трое, и Ф. Алекс назвал мне их имена. Один был З. Долин — одышливый прокуренный толстячок, кругленький, в больших роговых очках, все время перхающий — kashl-kashl-kashl — с окурком tsygarki во рту; он все время сыпал себе на пиджак пепел и тут же смахивал его суетливыми гукерати. Другой был Неразберпоймешь Рубинштейн — высоченный учтивый stari kashka с джентльменским выговором и круглой бородкой. И, наконец, Д. Б. Да-Сильва — быстрые движения и парфюмерная вопп. Все они долго и внимательно меня разглядывали и, казалось, результатами осмотра остались довольны до чрезвычайности. З. Долин сказал:

— Что ж, прекрасно, прекрасно. Этот мальчик может оказаться орудием весьма действенным. Впрочем, не повредило бы, если б он выглядел похуже и поглупее — таким, знаете ли, зомби. Делу пошло бы на пользу. Надо будет что-нибудь в этом направлении предпринять, и непременно!

Тгюр насчет зомби мне не очень-то понравился, и я сказал:

— Что за дела, vastshe! Что вы такое готовите своему mennshomu другу?

Но тут Ф. Александр пробормотал:

— Странно, очень странно, но этот голос мне что-то напоминает. Где-то мы уже встречались, ну точно ведь встречались! — И он, нахмурившись, погрузился в воспоминания, а я решил, что с ним, блин, надо поосторожнее. Д. Б. Да-Сильва говорит:

— Главное — митинги. Первым делом покажем его народу на митинге. Разбитая жизнь — вот тональность. Людей надо взволновать. — И он показал все свои тридцать с лишним zubbjev, очень белых на фоне смуглого, слегка иностранного на вид, litsa.

— Никто, — вновь подал голос я, — не говорит мне, что самому-то мне со всего этого! Меня пытали в тюрьме,

вышвырнули из дому собственные родители, которых совершенно подмял под себя этот их постоялец, потом меня избили старики и чуть не убили менты, ну, и мне-то теперь — как?

На это отозвался Рубинштейн:

— Вот увидишь, парень, Партия не останется неблагодарной. Нет-нет! Когда сделаем дело, ты получишь очень даже соблазнительный сюрпризик. Подожди, сам увидишь.

— Да мне только одно и нужно! — выкрикнул я. — Мне только бы стать вновь нормальным, здоровым, каким я был раньше, — чтобы в *zhizni* была радость, чтоб были настоящие друзья, а не такие, которые называют себя друзьями, а сами в душе предатели. Можете вы это сделать, да или нет? Кто-нибудь может сделать меня снова прежним? Только это мне нужно, и только это я хочу у вас узнать.

— *Kashl-kashl-kashl*. У мученика на алтаре Свободы, — прочистив горло, заговорил З. Долин, — есть определенные обязанности, и вы не должны забывать о них. А мы, в свою очередь, о вас позаботимся. — И он с дурацкой улыбочкой принялся поглаживать мне левую руку, словно я буйно помешанный. Я возмутился:

— Перестаньте обращаться со мной, как с вещью, которую надо пристроить к делу. Я не такой идиот, как вы думаете, глупые *vurodki*. Рядовые *prestupniki* — народ темный, но я-то не рядовой, не какой-нибудь тём недо-развитый. Вы меня слушаете?

— Тём, — задумчиво проговорил Ф. Александр. — Тём. Где-то мне это имя попадалось. Тём.

— А? — обернулся я. — При чем тут Тём? Вы-то что можете знать про Тёма? — и махнул рукой: — О, Господи! — При чем мне очень не понравилась промелькнувшая в его глазах догадка. Я пошел к двери, чтобы подняться наверх, забрать свою одежду и *sliniatt*.

— Неужто такое бывает? — проговорил Ф. Александр, оскалив свои пятнистые *zubbia* и *bezupno* вращая глазами. — Нет-нет, не может быть. Но попадись мне тот гад, Богом клянусь, я разорву его в клочья. Да-да, клянусь, я руки-ноги ему повыдержую!

— Ну-ну, — сказал Д. Б. Да-Сильва, похлопывая его по груди, как *psa*, которого надлежит успокоить. — Все в прошлом. То были совсем другие. Нам надо помочь бед-

ной жертве. Мы должны это сделать во имя Будущего и нашего Дела.

— Пойду соберу shmotki,— сказал я, поднимаясь по лестнице,— в смысле одежду, и все, ухажу v otryv odi pokі. Я к тому, что всем спасибо, но у меня своя zhiznп, а у вас своя.— Еще бы, блин, земля под ногами начинала мне уже zharitt piaki. Но З. Долин сказал:

— Ну нет. Ты теперь наш, мы тебя не отпустим. По-едем вместе. Все будет хорошо, не волнуйся.— С этими словами он подступил ко мне, вроде как чтобы снова схватить за руку. Я было подумал затеять dratsing, однако от одной мысли об этом накатила тошнота, и я чуть в обморок не упал, так что я даже не дернулся. Еще раз глянул в полубезумные глаза Ф. Александра и говорю:

— Как скажете. Я в ваших руках. Но давайте, чтобы сразу и по-быстро, bratsy.— Потому что главным теперь для меня было поскорей выбраться из этого mesta под названием «ДОМ». Мне уже очень и очень вроде как не нравилось выражение глаз Ф. Александра.

— Хорошо,— сказал Рубинштейн.— Одевайтесь, и поехали.

— Тём... Тём... Тём...— бормотал себе под нос Ф. Александр.— Что это за Тём, кто это? — Но я skogepko взбежал по ступенькам и спустя мгновение уже был одет. Потом с тремя этими vekami вышел и сел в машину, причем посадили меня посерединке между Рубинштейном и З. Долином, непрерывно перхающим kashl-kashl-kashl, а Д. Б. Да-Сильва, взявшись за руль, повел машину в город, в один из жилых кварталов, который был не так уже далеко от того, где я когда-то жил с родителями.

— Ну, парень, выходи,— сказал З. Долин, покашливая и при этом не забывая затягиваться tsygarкой, так что ее тлеющий кончик начинал пылать и искриться, как небольшая доменная печь.— Пока разместишься здесь.

Заходим; обычный вестибюль с очередным hudozhestvom, прославляющим Трудовую Доблесть; поднимаемся на лифте, блин, и попадаем в квартирку, один к одному похожую на все прочие во всех новостройках города. Маленькая-маленькая — всего две спальни и одна гостиная, она же столовая и кабинет, и на обеденном столе куча книг, бумаг, какие-то чернила, бутылочки и прочий kal.

— Твой новый дом,— повел рукой Д. Б. Да-Сильва.— Располагайся. Еда в холодильнике. Пижама в шкафу. Покой и отдых для смятенного ума.

— Чего? — переспросил я, не совсем vjehav.

— Ничего, ничего,— успокоил меня Рубинштейн своим старческим голосом.— Мы тебя покидаем. Дела. Зайдем попозже. Будь как дома.

— Да, вот что, kashl-kashl-kashl,— одышливо проговорил З. Долин.— Ты понял, видимо, что шевельнулось в измученной памяти нашего добрейшего Ф. Александра? Ты случаем, не... то есть, я хочу сказать, это не ты?.. Ты понимаешь, что я имею в виду. Смелей, мы больше никому не скажем.

— Я понес свое наказание,— поморщился я.— Бог свидетель, я сполна за все расплатился. И не только за себя расплатился, но и за этих svolotshei, которые называли себя моими друзьями.— Прилив ненависти вызвал во мне тошноту.— Пойду прилягу,— сказал я.— О, какой кошмар!

— Кошмар,— подтвердил Д. Б. Да-Сильва, улыбаясь во все свои тридцать zubbev.— Это уж точно.

В общем, блин, они ушли. Удалились по своим делам, посвященным, как я себе это представлял, тому, чтобы делать политику и всякий прочий ka!, а я лежал на кровати в odi potshestve и полной тишине. В кровать я повалился, едва скинув govnodavu и приспустив галстук, лежал и совершенно не мог себе представить, что у меня теперь будет за zhiznn. В голове проносились всякие разные картины, вспоминались люди, которых я встречал в школе и в тюрьме, ситуации, в которых приходилось оказываться, и все складывалось так, что никому на всем bollshom белом свете нельзя верить.

Проснувшись, я услышал за стеной музыку, довольно громкую, причем как раз она-то меня и разбудила. Это была симфония, которую я очень неплохо знал, но много лет не slushal, Третья симфония одного датчанина по imeni Отто Скаделиг, shtuka громкая и buglivaja, особенно в первой части, которая как раз и звучала. Секунды две я slushal с интересом и удовольствием, но потом на меня накатила боль и тошнота, и я застонал, взвыл прямо всеми kishkami. Эх ведь, до чего я дошел — это при моей-то любви к хорошей музыке; я сполз с кровати, еле дотащился, подвывая, до стенки и застучал, забился в нее, vskritshivaja: «Прекратите! Прекратите! Выключите!» Но музыка не кончалась, а, наоборот, стала вроде бы даже громче. Я колотил в стену до тех пор, пока кулаки в кровь не сбил, всю кожу с них содрал до мяса, я

кричал, вопил, но музыка не прекращалась. Тогда я решил от нее сбежать, выскочил из спальни, добрался до двери на лестницу, но она оказалась заперта снаружи, и я не смог выбраться. Музыка тем временем становилась все громче и громче, блин, словно мне нарочно устроили такую пытку. Я заткнул ushi пальцами, но тромбоны с литаврами все равно прорывались. Снова я kritshal, просил выключить, молотил в стенку, но толку от этого не было ни на grosh. «Ой-ёй-ёй, что же делать? — причитал я. — Vozhepnka, помоги!» Обезумев от боли и тошноты, я метался по всей квартире, пытаюсь скрыться от этой музыки, выл так, будто мне выпустили kishki, и вдруг на столе, среди наваленных на него книг и бумаг, я увидел, что надо делать, — собственно, то, что я и собирался, еще тогда, в публичной biblio, пока старцы-читатели, а потом Тём с Биллибоем, переодетые мусорами, не помешали мне, а собирался я себя прикончить, отбросить кости, свести счеты с zhizniju в этом поганом и подлом мире. Я увидел одно слово: «СМЕРТЬ», оно было на обложке какой-то брошюры, хотя там имелась в виду всего лишь СМЕРТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ. И, словно самой судьбой мне подкинутый, рядом лежал еще один буклетик с нарисованным на обложке открытым окном, а под ним подпись: «Отвори окно свежему ветру, новым идеям и новой жизни». Я понял это как указание, что разгрести весь этот kal можно, лишь выпрыгнув в окно. Одно мгновенье боли, а после нескончаемый, вечный сон.

Музыка по-прежнему кипела и клокотала всеми своими ударными и духовыми, скрипки и барабаны водопадами изливались сквозь стену. Окно в комнате, где стояла кровать, было приоткрыто. Я подошел к нему, глянул на машины, на автобусы и на людей далеко внизу. Всему этому миру я крикнул: «Прощай, прощай, пусть Бог простит тебе загубленную жизнь!» Потом я влез на подоконник (музыка была теперь от меня слева), закрыл glazzja, щекой ощутил холодное дуновение ветра и тогда прыгнул.

6

Прыгнуть-то я прыгнул, блин, и об тротуар briaknulsia будь здоров как, но в ящик сыграть — это dudki. Если бы я okotshurilsia, меня бы тут не было и я не написал бы то, что вы читаете. Видимо, чтобы убится насмерть, все-та-

ки высоты не хватило. Но я сломал себе спину, переломал руки и ноги и перед тем, как отключиться, бллин, боль чувствовал zhutkuju, а сверху на меня смотрели ошарашанные и испуганные litsa прохожих. И, уже vugubajass, я вдруг осознал, что все, все до единого в этом страшном мире, против меня, что музыку за стеной мне подстроили специально, причем как раз те, кто вроде бы стал как бы моими новыми друзьями, а то, чем все это кончилось, как раз и требовалось для их эгоистической и отвратной политики. Все это пронеслось во мне за одну миллионную долю миллионной доли минуты, после чего я взмыл над всем миром, над небом и над litsami уставившихся на меня сверху прохожих.

Вернувшись к zhizni после долгого черного-черного провала, длившегося, быть может, не один миллион лет, я оказался в белоснежной больничной палате, где пахло, как всегда пахнет в больницах,— дезинфекцией и чопорной тоскливой чистотой. Лучше бы этим всем больничным антисептикам придавали хорошую такую ядреную vonn жареного лука или хотя бы tsvetujotshkov. Мало-помалу я пришел в себя, постепенно все вспомнил, но лежал я весь спеленутый белым и тела своего не чувствовал вовсе — ни боли, ни вообще ничего parrotsh. Голова вся перемотана бинтами, какие-то клейкие нашлепки на litse, rukery тоже там и сям перемотаны, к пальцам привязаны какие-то палки, словно это не пальцы, а цветочные стебли, которым надо помочь вырасти прямыми, ноги тоже на каких-то растяжках — сплошные бинты, проволочные распорки и стержни, а в правую руку около плеча вставлена какая-то штуковина, в которую капает кровь из перевернутой банки. Но чувствовать я ничего не чувствовал, бллин. Рядом с моей койкой сидела медсестра, которая читала книжку, напечатанную очень нечетко, хотя по черточкам перед некоторыми строчками можно было понять, что это рассказ или роман, причем, судя по ее охам и вздохам, речь там шла не иначе как про добрый старый sunn-vunn. Медсестричка была очень даже kliovaja kisa: пухленькие губки, длинные ресницы, а под жестко накрахмаленным форменным платьем вырисовывались вполне приличных размеров grudi. Я и говорю ей:

— Ну, я торчу, малышка! А что, заваливайся рядом, жукувыркаемся!

Однако слова еле выговаривались, got словно окосте-

нел, к тому же, пошевелив в нем языком, я обнаружил, что нескольких zubbev не хватает. А медсестра как вскочит, книгу уронила на пол и говорит:

— Ой, пациент пришел в сознание!

Такая симпатичная kisa могла бы называть меня и попроще, и я хотел ей об этом сказать, но вместо слов у меня получалось только пык да мык. Она вышла, оставила меня в odi notshestve, и, оглядевшись, я увидел, что лежу в небольшой комнатке на одного, не то что когда-то в детстве, когда я, попав в больницу, валялся в огромной палате, где было полно народу — кашляющих полуживых стариков, от одного вида которых хотелось как можно скорей оттуда вырваться. Тогда у меня, блин, была, кажется, вроде как дифтерия.

Похоже, я еще не мог надолго удерживать сознание, потому что почти сразу же вроде как снова заснул, но к тому времени понял уже, что kisa вернулась и привела с собой одетых в белые халаты tshelovekov, которые, загадочно хмыкая, хмуро разглядывали вашего скромного повествователя. И удивительное дело, с ними был старый свнц из Гостюрмы, который, дыша на меня застарелым алкогольным перегаром, сперва причитал: «О сын мой, сын мой», а потом сказал: «Я,— говорит,— оттуда ушел уже. Не смог, никак не смог я примириться с тем, что эти мерзавцы творят, а ведь они и с другими преступниками то же самое делали. Так что я ушел оттуда и рассказываю теперь обо всем этом в своих проповедях, о сын мой во Христе».

Позже я снова проснулся, и кто бы вы думали стоял теперь возле моей кровати? Да все та же троица, те, из чьей квартиры я выпрыгнул,— Д. Б. Да-Сильва, Неразберипоймешь Рубинштейн и З. Долин.

— Друг,— обратился ко мне один из них (я не заметил и не расслышал толком, кто именно),— друг, юный друг наш, ты зажег в народе огонь возмущения. Лишил этих ужасных злодеев последнего шанса на переизбранаие. С ними покончено раз и навсегда. Ты сослужил хорошую службу Свободе.

В ответ я попытался сказать, что, если бы я умер, вам svolotshi, политикины проклятые, это было бы еще выгоднее, подлые вы предатели. Но получалось у меня только пык да мык. Затем один из этой троицы вытащил пачку газетных вырезок, и я увидел себя окровавленного на носилках и даже вроде как вспомнил вспышки света, ко-

гда фотографии это снимали. Одним глазом я читал заголовки, вздрагивавшие в руке века, который держал вырезки: «ЮНАЯ ЖЕРТВА РЕФОРМАТОРОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ», «УБИЙЦЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ», и еще я заметил фотографию tsheloveka, показавшегося мне знакомым, а под ней подпись: «ГНАТЬ В ШЕЮ» — видимо, это был министр нутряных, или нутряных, или каких там еще дел. Но тут медсестричка сказала:

— Его нельзя волновать. Вам нельзя делать ничего такого, что могло бы его расстроить. Пойдемте, я вас выведу.

— В шею, в шею, в шею,— попытался я крикнуть им вслед, но получилось опять только пык да мык. Тем не менее троица политиков удалилась. И я удалился тоже, только не туда, куда они, а во тьму, освещаемую лишь обрывочными видениями, которые непонятно даже, можно ли называть снами, бллин. Типа, например, такого, в котором из моего тела вроде как выливают нечто наподобие грязной воды и заливают туда снова чистую. А потом пошли очень даже приятные и baldiozhnyje сны, где я угоняю чей-то автомобиль, а потом еду в нем по белу свету, и всех по дороге сшибаю и давлю, и слышу, как они издают предсмертные kritshki, а во мне ни боли от этого, ни тошноты. А еще были сны про sunn-vynn с devotshkapi — как я швыряю их наземь и насильно zasazhivaju, а вокруг все стоят, хлопают в ладоши и подбадривают меня, как bezumni. А потом я снова проснулся, и как раз па и ма пришли навестить их больного сына, причем ма прямо ревет белугой. Говорить я к этому времени стал уже лучше, так что смог сказать им:

— Ну-ну-ну-ну, что за дела? Вы почему решили, что я хочу вас vidett?

А папа и говорит, этак пристыженно:

— Мы про тебя в газетах прочли, сын. Там сказано, что с тобой обошлись очень несправедливо. Что правительство довело тебя до самоубийства. В этом ведь и наша вина есть — в какой-то мере. Я только хочу сказать, сын, что наш дом — это твой дом.— Тем временем мама все выла и уу-хуу-хуухала, и вид у нее был прямо оторви да выбрось. Я и говорю:

— А как же насчет вашего нового сына Джо? Ведь он такой правильный, умненький-благоразумненький, небось жалко расставаться-то?

А ма отвечает:

— Ой, Алекс, Алекс, ой-ёй-ёй-ёй! — Так что папе пришлось пояснить:

— Такая, понимаешь ли, скверная с ним произошла штука. Он повздорил с полицейскими, и они его отделили.

— Да ну? — отозвался я. — Правда? Такой прямо добпорядочный tshelovek, подумать только! Это вы меня budd zdogov как озадачили.

— Да он стоял себе, никому зла не делал, — сказал папа. — А полицейский велел ему проходить и не задерживаться. Он, понимаешь ли, на углу стоял, ждал свою девушку. Они его прогонять стали, а он сказал, что имеет право стоять, где хочет, и тогда они на него набросились и отделили его почем зря.

— Ужас, — сказал я. — Просто ужас. И где же теперь этот бедняга?

— Ууу-хуу-хуу, — взвыла мать. — Доо-моой-хуу-хуу-еехал.

— Да, — подтвердил отец. — Он уехал в свой родной город выздоравливать. И работа его перешла кому-то другому.

— Стало быть, — уточнил я, — вы хотите, чтобы я снова поселился дома и чтобы все стало, как прежде?

— Да, сынок, — ответил мой папа. — Прошу тебя, пожалуйста.

— Я подумаю, — отозвался я. — Я хорошенько об этом подумаю.

— Уу-хуу-хуу, — не унималась мать.

— Да заткнись ты, — прикрикнул на нее я, — или я тебе так сейчас выдам, что повод поковыть у тебя найдется куда серьезнее. По зубам как vrezhu! — Говорю, а сам чувствую, блин, что от слов от этих самых мне вроде как легче становится, снова вроде как свежая кровь по жилам zastrujatshila. Я задумался. Получалось, что для того, чтобы мне становилось лучше, я, выходит, должен становиться хуже.

— Не надо так говорить с родной матерью, сын, — сказал мой папа. — Все же ты через нее в этот мир пришел.

— Да уж, — говорю, — тоже мне мир — giaznuj и podlyi. — После чего я плотно закрыл глаза, будто бы мне больно, и сказал: — Теперь уходите. Насчет возвращения я подумаю. Но теперь все должно быть совсем по-другому.

— Конечно, сын,— сказал отец.— Все, как ты скажешь.

— И тогда уж сразу договоримся, кто в доме главный.

— Уу-хуу-хуу,— опять взывала мать.

— Хорошо, сын,— сказал папапа.— Все будет так, как ты захочешь. Только выздоравливай.

Когда они ушли, я полежал, думая о всяких разных *vestshah*, в голове проносились всякие разные картины, а потом пришла *kisa*-медсестричка, и когда она стала расправлять на моей кровати простыни, я спросил ее:

— Давно я здесь валяюсь?

— Что-нибудь неделю или около,— отвечает.

— И что со мной делали?

— Ну,— говорит,— у вас все кости были переломаны, масса ушибов, тяжелое сотрясение мозга и большая потеря крови. Пришлось повозиться, чтобы все это привести в порядок, такое само не заживает, верно?

— А с головой,— говорю,— мне что-нибудь делали? То есть, в смысле, в мозгах у меня не копались?

— Если что с вами и делали,— отвечает,— так только то, что вам на пользу.

А через пару дней ко мне вошли двое моложавых *vekov*, по виду вроде врачей; вошли, сладенько так улыбаясь, и принесли с собой книжку с картинками. Один из них говорит:

— Нам надо, чтобы вы посмотрели эти картинки и сказали нам, что вы о них думаете, ладно?

— Что за дела, *koresha*? — отозвался я.— Какие еще новые *bezumni* идеи решили вы на мне отрабатывать? — На это оба смущенно заусмехались, а потом сели по обеим сторонам кровати и раскрыли книжку. На первой странице была фотография птичьего гнезда с яйцами.

— Ну? — проговорил один из докторов.

— Птичье гнездо,— сказал я.— Полно яиц. Очень мило.

— И что бы вы хотели с ним сделать? — спросил другой.

— Ну,— говорю,— расквасить, естественно. Взять его да и шваркнуть об стену или об камень, а потом поглядеть, как там все яйца в лепешку будут.

— Неплохо, неплохо,— закивали оба и перевернули страницу. Открылась картинка с большой такой птицей,

которая павлин называется, и хвост у него распушен, разноцветный такой, нагдый донельзя.— Ну? — спрашивают.

— Я бы хотел,— говорю,— выдергать у него из хвоста все перья, чтобы он орал, как резаный. А то вон какой наглый, гад.

— Неплохо,— сказали они оба в один голос.— Неплохо, неплохо.— И давай листать страницы дальше. Где были на картинках симпатичные devotshki, я говорил, что хотел бы сделать им добрый старый sunn-vunn, а заодно и romordovatt хорошенько. Попалась картинка, где человеку въехали сапогом в nogdeg и в разные стороны брызжет кровь; я сказал, что хотел бы ему добавить. А еще была картинка, где pagoi друг нашего тюремного свища ташил в гору крест, и я сказал, что пошел бы следом с молотком и гвоздями. И снова: «Неплохо, неплохо». Я говорю:

— К чему все это?

— Глубокая гипюпедия,— отвечает один (или какое-то слово наподобие, точно не помню).— Похоже, вы выздоровели.

— Выздоровел? — возмутился я.— Валяюсь тут плашмя на койке, а вы говорите — выздоровел? Поцелуй меня в яму, вот что, koresh!

— Подождите,— сказал его приятель.— Теперь уже недолго осталось.

Я ждал, бллин, а заодно поправлялся, а заодно уплетал за обе щеки всякие там яйца-шмяйца, тосты-шмоствы, запивая их чаем с молоком, и вот настал день, когда мне сказали, что ко мне пришел очень-очень необыкновенный посетитель.

— Но кто? — допытывался я, пока поправляли белье на постели и причесывали мне grivu — повязку с головы уже сняли, и волосы начали отрастать.

— Увидите, увидите,— вот все, что мне отвечали. И я наконец увидел. В полтретьего дня палату заполонили фотографы и газетчики с блокнотами, карандашами и прочей тигпиоі. Они чуть ли не в трубы трубили, встречая великого и важного века, который должен был посетить вашего скромного повествователя. Он пришел, и, конечно же, это оказался не кто иной, как министр нутряных, или внутреняных, или каких еще там дел; он был одет по последней моде и вовсю поигрывал интонациями своего хорошо поставленного начальственного баса. Шелк, шелк, бац — ожили фотокамеры, как только он подал мне гикег поздороваться. Я говорю:

— Так-так-так-так. Что за дела, koresh, чего pripriog-sia?

Похоже, никто меня толком не ропі, но один говорит:

— Смотри, парень, не забывай, с кем говоришь, это министр!

— В гробу я видал,— чуть ли не гавкнул я ему в ответ,— и тебя, и твоего министра.

— Ну ладно, ладно,— торопливо вклинился внутренней.— Он говорит со мной как друг, верно, сынок?

— Ага, я всем друг,— отвечаю,— кроме тех, кому враг.

— А кому ты враг? —спросил министр, и все газетчики схватились за свои блокноты.— Скажи нам, мой мальчик.

— Моим врагам,— отвечаю,— всем тем, кто плохо себя ведет со мной.

— Что ж,— сказал Минвнудел, присаживаясь на край моей койки.— Мы, то есть все правительство, членом которого я являюсь, хотели бы, чтобы ты считал нас своими друзьями. Да-да, друзьями. Мы ведь помогли тебе, вылечили, правда же? Тебя поместили в лучшую клинику. Мы никогда тебе не желали зла, не то что некоторые другие, кто и желал, и воплощал это желание в реальных действиях. Я думаю, ты знаешь, о ком я говорю.

— Да-да-да-да,— продолжал он.— Есть люди, которые хотели бы использовать тебя, да-да, использовать в своих политических целях. Они были бы счастливы, да, счастливы, если бы ты умер, потому что думают, будто им удалось бы это свалить на правительство. Думаю, ты знаешь, кто эти люди.

— Есть такой человек,— после паузы вновь заговорил МВД,— некий Ф. Александр, сочинитель подрывной литературы, так вот он как раз и жаждал твоей крови. Прямо с ума сходил, до чего ему хотелось всадить тебе нож в спину. Но ты уже можешь не бояться. Мы его изолировали.

— Но мы с ним вроде как rokoreshaliss,— сказал я.— Он был мне как мать родная.

— Видишь ли, он узнал, что ты когда-то нехорошо поступил с ним. Во всяком случае,— сразу поправил сам себя МВД,— он думает, что узнал это. Он вбил себе в голову, что из-за тебя умер один очень близкий и дорогой ему человек.

— Вы это к тому,— проговорил я,— что ему рассказал кто-то?

— Просто он вбил это себе в голову,— сказал МВД.— Он стал опасен. Мы изолировали его для его же собственного блага. Ну и,— добавил он,— для твоего тоже.

— Спасибо,— сказал я.— Большое спасибо.

— Когда тебя выпишут,— продолжал министр,— тебе ни о чем беспокоиться не придется. Мы все предусмотрели. У тебя будет хорошая работа и хорошая зарплата. Потому что ты нам помогаешь.

— Разве? — удивился я.

— Мы ведь всегда помогаем своим друзьям, верно? — Тут он снова взял меня за руку, кто-то крикнул: «Улыбочку!», я, как bezumni, без единой мысли в bashke осклабился, и — щелк, бум, трах — заработали фоторепортеры, снимая меня с Минвнуделом в обнимку.— Молодец,— похвалил меня великий деятель.— Ты хороший парень. Вот, это тебе в подарок.

Подарок — сияющий полированный ящик — тут же внесли в дверь, и я сразу понял, что это такое. Стереустановка. Ее поставили рядом с кроватью, соединили шнуры, и какой-то vek из свиты министра включил ее в розетку.

— Ну, кого поставим? — спросил очкастый diadia, тасуя передо мной целую стопку пластинок в глянцевых роскошных обертках.— Моцарта? Бетховена? Шенберга? Карла Орфа?

— Девятую,— сказал я.— Мою любимую Девятую.

И Девятая зазвучала, блин. Народ на цыпочках, молча стал расходиться, а я лежал с закрытыми глазами и слушал восхитительную музыку. «Ты хороший, хороший парень», — тронув меня за плечо, проговорил министр и вышел. Какой-то vek, оставшийся последним, сказал: «Вот, здесь подпиши». Я открыл glazzja и подписал, а что подписал — без понятия, да и не желал я, блин, ничего ропi matt. После этого меня оставили наедине с великолепием Девятой Людвига вана.

О, какой это был kaif, какой baldiozhl! Когда началось скерцо, мне уже виделось, как я, радостный, легконогий, всю полосую вопящий от ужаса белый свет по mordger своей верной очень-очень опасной britvoi. А впереди была еще медленная часть, а потом еще та, где поет хор. Я действительно выздоровел.

— Ну, что же теперь, а?

Теперь представьте себе меня, вашего скромного повествователя, с тремя kogeshami — Леном, Риком и Бугаем, которого так прозвали за толстую bytshju шею и громкий bytshi kritsh — гыыыыыыы! Сидим, стало быть, в молочном баре «Когова», шевеля mozgoi насчет того, куда бы убить вечер — подлый такой, холодный и сумрачный зимний вечер, хотя и сухой. Вокруг народ в o!rade — tastshatsia от молока плюс велосет, синтемеск, дренкром и всяких прочих shtutshek, от которых идет тихий baldiozh, и ты минут пятнадцать чувствуешь, что сам Господь Бог со всем его святым воинством сидит у тебя в левом ботинке, а сквозь mozg проскакивают искры и фейерверки. Но мы не это пили, мы пили «молоко с ножами», как это у нас называлось, — от него идет tortsh, и хочется fratsing, хочется gasitt кого-нибудь по полной программе, одного всей kodloi, но это я уже объяснял в самом начале.

Каждый из нас четверых был одет по последней моде, что в то время означало пару широченных штанов и просторную, сияющую черным лаком кожаную kurtenp, надетую на рубашку с открытым воротом, под которым намотан шейный платок. Еще в то время было модно брить tukvi, чтобы посередине все было лысо, а volosnia только по бокам. Что же касается обуви, тут ничего нового не наметилось: все те же мощные govnodavy, чтобы пинаться.

— Ну, что же теперь, а?

Я был как бы за главаря в нашей четверке, kogesha видели во мне предводителя, но мне иногда казалось, что Бугай vtihariа подумывает о том, чтобы взять верх, — ведь он такой большой и сильный и у него такой громкий kritsh на тропе войны. Однако все идеи исходили от вашего скромного повествователя, блинн, а кроме того, играло свою роль и то, что я был вроде как знаменитость: все-таки фото в газетах, статьи про меня и всякий прочий kal. К тому же я куда как лучше всех был устроен в смысле работы — служил в национальном архиве грамзаписи, в музыкальном отделе, и в конце каждой недели карманы у меня ломились от babok, да еще и диски имел бесплатно для моего собственного услаждения.

В тот вечер в «Korove» собралось множество vekov, kls, devotshok и malltshikov, которые пили, смеялись и посреди разговора vupadali, раздражаясь чем-нибудь вроде «Горгорская приятуха, когда червяк вдрызг натюльпанит по кабыздохам», а из динамиков стереоустановки несся всякий эстрадный kal типа Неда Ахимоты, который тогда как раз пел «Эх, денек, ух, денек, йе-йе-йе». У бара стояли три devotshki, прикинутые по последней моде padtsatyh: длинные нечесанные ratly, крашенные в белый цвет, накладные grudi, торчащие вперед на полметра, и коротюсенькие юбочки в обтяжку с торчащими из-под них беленькими кружавчиками, на которые все поглядывал Бугай, вновь и вновь повторяя: «Эй вы, пошли к тем лошадам, есть шанс проехаться, ну, хоть троним из нас. Все равно ведь Лену это не нужно. Пускай сидит тут, своему богу молится». А Лен не соглашался: «Nafig-nafig, как же тогда дух товарищества, как же тогда один за всех и все за одного, а, дружище?» Я же, ощутив одновременно dikiyu усталость и вместе с тем щекочущий прилив энергии, сказал:

— Ноги-ноги-ноги!

— Куда? — спросил Рик, у которого litso было как у лягушки.

— Да так, поглядим просто, что там происходит в стране великих возможностей, — ответил я. Но при этом, блин, я ощущал ужасную скуку и какую-то вроде как безнадежность, причем это уже не в первый раз так бывало за последние дни. Я повернулся к ближайшему hapuge — он сидел на бархатном сиденье, которое вкруговую шло вдоль стен zavedeniya, к тому то есть, кто бормотал v otrade, и vrezal ему — хрясь, хрясь, хрясь — в rizo. Но он ничего не почувствовал, блин, и продолжал бормотать свое: «Катится, катится колбасиной псиной балбарбасиной, а может, в дулдырдубиной?» С тем мы и выкатились в зимнюю необъятную potsh.

Пошли сперва по бульвару Марганита, ментов видно не было, поэтому, когда нам встретился stari kashka, который как раз отошел от киоска, где он покупал газету, я сказал Бугаю: «Давай, Бугаек, прояви способности, коли желаешь». Все чаще и чаще в последнее время я только отдавал распоряжения, а потом отходил назад поглядеть, как их выполняют. Ну, Бугай vrezal ему — бац, бац, бац, — другие двое повалили и с хохотом приня-

лись пинать, а потом мы дали ему уползти, стеная и го-
лося, к месту проживания. Бугай говорит:

— Как насчет стаканчика чего-нибудь покрепче для sugreva, а, Алекс? — Потому что мы были уже совсем близко от бара «Дюк-оф-Нью-Йорк». Другие двое закивали, — да, да, — а сами на меня смотрят, дескать, как я к этому отнесусь. Я тоже кивнул, и мы двинулись. Заходим, сидят те же старые ptitsy, или, по-нашему, sumki или babushki, про которых в начале было, и сразу же они завели свое:

— Добрый вечер, ребятки, дай Бог вам здоровья, мальчики, и какие же вы чудные, и какие хорошие, — а сами ждут, когда мы скажем: «Ну, что девушкам заказать?» Бугай позвонил в kolokol, и пришел официант, на ходу вытирая гукеру о griazni фартук.

— Капусту на стол, ребята! — скомандовал Бугай, звякнув вынутой из карманов горстью монет. — Виски для нас и то же самое старым babushkam. Годится?

А я говорю:

— К черту. Пускай на свои пьют. — Не знаю, что на меня накатило, но в последние дни я что-то был не в себе. Какая-то злость вступила в голову, хотелось, чтобы деньги мои оставались при мне, мне их зачем-то вроде как копить приспичило. Бугай удивился:

— Что за дела, kogesh? Что это с нашим Алексом?

— Да ну к черту, — скривился я. — Не знаю. Сам не знаю. С нашим Алексом то, что он не хочет швыряться деньгами, которые с таким трудом заработал, вот и все.

— Заработал? — вскинулся Рик. — Заработал? Да ведь их же не надо зарабатывать, и ты это сам лучше нашего знаешь, старина. Братъ, и все тут, просто вроде как братъ, да и все. — И он громко расхохотался, так что я увидел, что два или три из его zubbjev были порченые.

— Это, — проговорил я, — надо еще подумать. — Однако, видя, как эти babusi прямо аж трясутся в предвкушении бесплатной выпивки, я вроде как пожал плечами, вынул капусту из кармана, где у меня монеты были вперемешку с бумажками, и бросил — deng-deng-hrust-deng — их все на стол.

— Значит, всем виски? — сказал официант. Но я зачем-то возразил:

— Нет, парень, мне только маленькую пива. — На что Лен, озабоченно нахмурившись, отозвался так:

— Ну, ты, блин, vash-tsheee! — И, плюнув на ладонь, потянулся приложить ее к моему лбу — дескать, аж шипит, до чего перегрелся, но я рыкнул на него, как злой pios, чтобы он это дело бросил. — Хорошо, хорошо, не буду, — сказал он. — Все putiom. Все, как скажешь. — А Бугай в это время, открыв got, уставился на фото, которое я случайно вытащил из кармана вместе с деньгами.

— Так-так-так-так, — говорит. — А мы и не знали.

— Дай сюда! — рявкнул я и выхватил у него фотографию. Я и сам не знаю, как она попала ко мне в карман, однако я ее зачем-то собственноручно вырезал ижницами из старой газеты, а изображен на ней был младенец. Младенец чего-то там гулюкал, на губах у него пузырилось toloko, — в общем, вид у него был такой, будто он радуется всем и каждому; он был pag и весь подернут складчатым жирком, потому что это был очень упитанный младенец. Тут начались smeshki, попытки вырвать у меня фотку, так что пришлось снова рявкнуть, выхватить у них этот кусок газеты, после чего я разодрал его на множество мелких обрывков, которые снежинками полетели на пол. Тут подоспело виски, и babushki опять принялись нас благословлять, желать нам здоровья и долголетия, провозглашая нам всяческую хвалу и прочий kal. А одна из них, вся морщинистая и без единого зуба во ввалившемся rti, сказала:

— Не надо рвать деньги, сынок. Если они не нужны тебе, отдай друзьям, — что с ее стороны было очень смело. Но Рик ей ответил:

— Это вовсе не деньги были, babushka. Это была картинка с младенчиком-симпампунчиком.

А я говорю:

— Просто я что-то уставать стал, вот и все. А что младенец — так это сами вы младенцы, вся ваша kodla. Все бы вам хихикать да насмеяться, а если бить людям togder, так только трусливо, когда вам не могут дать сдачи.

— Гляди-ка ты, — отозвался Рик, — а мы-то думали, что как раз ты у нас по этой части и есть главный vozhd и учитель. Ты просто заболел, видать, вот и все, koresh.

Я поглядел на стакан помойного пива, стоявший передо мной на столе, и, чуть не blevanuv, с возгласом «Аааааааах» вылил всю эту пенистую вонючую motshu на пол. Одна из старых ptits даже привстала:

— Сам не пьешь, зачем же продукт портить?

— Слушайте, koresha, — сказал я. — Что-то я сегодня не в духе. Почему, отчего — я и сам не знаю, но ничего не попишешь. На дело нынче пойдете сами, втроем, а я otstiogivajuss. Завтра встретимся там же, в то же время, и надеюсь, что настроение у меня будет получше.

— Надо же! — сказал Бугай. — Жалко, жалко. — Но мне-то видно было, как заблестели его glazzja, потому что нынче ночью он будет у них главным. Власть, власть, всем нужна власть. — А может, отложим на завтра? — неохотно проговорил он. — Ну, в смысле, что на сегодня планировали. Krasting в лавке на Гагарина-стрит. Ты бы там здорово pripodnialsia, koresh.

— Нет, — сказал я. — Ничего не откладывайте. Действуйте сами, по своему усмотрению. А теперь, — вздохнул я, — все, ухожу. — И я поднялся со стула.

— И куда пойдешь? — спросил Рик.

— Пока bez ropiatija, — отвечаю. — Побуду немного odi pokі, подумую, что к чему.

Babushki пораженно провожали меня взглядами — чего, мол, это с ним, угрюмый какой-то весь, совсем не тот шустрый и веселый malltshipalltshik, каким мы его помним. Но я, выдохнув напоследок: «А, к tshiorlul!», распахнул дверь и вышел один на улицу.

Было темно, задувал резкий и острый, как pozh, ветер, людей вокруг почти не было. Только ездили туда-сюда патрульные машины с жестокими мусорами, да на перекрестках там и сям парами стояли, переминаясь от холода с ноги на ногу, совсем молоденькие менты, и в морозном воздухе видны были струйки пара от их дыхания. Думаю, что и впрямь krasting и dratsing на улицах пошел на убыль: больно уж мусора жестоко обходились с теми, кого удастся поймать, зато между ментами и хулиганистыми padtsatymi разыгралась настоящая война, причем менты, похоже, куда ловчей управлялись и с pozhom, и с britvoi, не говоря уж о револьверах. Однако мне это становилось с каждым днем все более и более do lampotshki. У меня внутри словно какое-то размягчение началось, и я не мог понять отчего. Чего-то хотелось, а чего — неясно. Даже музыку, которой я так любил улаждать себя в своей маленькой комнатухе, я теперь слушал такую, над которой раньше бы только смеялся, бллин. Перешел на короткие лирические песенки, так называемые «зонги» — просто голос и фортепьяно, тихне,

вроде как даже тоскливые, не то что раньше, когда я слушал большие оркестры, лежа в кровати и воображая себя среди скрипок, тромбонов и литавр. Что-то во мне происходило, и я силился понять, болезнь ли это какая-нибудь или последствия того, что сделали с моей головой, пытаюсь напрочь свести с ума и повредить мне rassudok.

Так, склонив голову и глубоко сунув руки в карманы, я бродил и бродил по городу, пока наконец не почувствовал, что очень устал и мне позарез нужно подкрепиться хотя бы чашкой tshaja с молоком. Думая про этот tshai, я вдруг вообразил, как я сижу перед большим камином в кресле с чашкой tshaja в руках, причем самое смешное и странное было то, что я виделся себе старым-старым kashkoi, лет этак семидесяти, потому что, глядя на себя как бы со стороны, я видел свои волосы, сплошь седые, к тому же у меня еще вроде как были усы, и тоже седые. В общем, я был старик, сидел у камина, а потом видение исчезло. Но это было очень странно.

Я подошел к одной из кофеен и сквозь длинную-предлинную витрину увидел, блин, толпу зауряднейших простых людишек с терпеливыми невыразительными lit-sami, по которым сразу было видно, что эти tsheloveki не обидят и мухи; они сидели там и негромко переговаривались, прихлебывая свой несчастный tshai или кофе. Я вошел, пробрался к прилавку, взял себе большую чашку горячего tshaja с молоком, потом вернулся к столикам и за один из них уселся. За моим столом сидела вроде как молодая пара, они пили кофе, курили tsygarki с фильтром и очень тихо между собой переговаривались, спокойно друг другу улыбаясь, но я на них внимания не обращал, а только прихлебывал tshai, целиком уйдя в свои видения и мысли о том, что это такое во мне происходит, что меняется и что будет дальше. Однако я заметил, что devotshka, сидевшая с этим vekom, очень даже хорошенькая, причем не из тех, кого хочется сразу швырнуть на пол и взяться за добрый старый sunp-vunn, нет, у нее была действительно изящная фигура, красивое litso, приятная улыбка, белокурые волосы и тому подобный kal. Vek, который был с ней, сидел в шляпе и глядел в сторону от меня, но потом он крутнулся на своем стуле, чтобы посмотреть на большие настенные часы, висевшие в zavedenii, и тут я увидел, кто он, а он увидел, кто я. Это был Пит, один из тех, с кем я был неразлучен во времена, когда само слово «друзья» означало меня, его,

Тёма и Джорджика. Пит выглядел очень постаревшим, хотя ему вряд ли могло быть больше девятнадцати с небольшим; он отрастил себе усики, а одет был в обычный деловой костюм. Я говорю:

— Так-так-так-так, koresh, как делишки? Давненько не videliss.

А он говорит:

— Коротышка Алекс, если я не ошибся?

— Ничуть не ошибся,— отвечаю.— Как много воды-то утекло с тех давних прекрасных денечков. Бедняга Джорджик, я слышал, уже в могиле, а старина Тём ssutshilsia, ментом стал, только мы двое и ostaliss, ты б хоть povedal мне, что у тебя новенького, koresh.

— Как странно он говорит, не правда ли? — проговорила devotshka, вроде как хихикнув.

— Это,— пояснил ей Пит,— мой старый друг. Его зовут Алекс. Разрешн,— обратился он ко мне,— я представлю тебе мою жену.

Я даже got открыл.

— Жену? — выдохнул я.— Как так жену? Быть не может! Для брачных uz ты вроде как чересчур jun, koresh. Да этого просто быть не mozhet!

Девушка, которую Пит представил мне как свою жену (в голове не укладывается), снова хихикнула и говорит Питу:

— Ты что, раньше тоже так разговаривал?

— Ну,— пожал плечами Пит,— мне ведь все-таки скоро двадцать. Вполне уже можно остепениться, что я и сделал два месяца назад. Не забудь, ты ведь был младше нас — из молодых, да ранний.

— Так-так-так.— Я все еще сидел с открытым got.— Пряма никак... perevaritt... не в состоянии, koresh. Пит, и вдруг женился! Так-так-так.

— У нас своя квартирка,— сказал Пит.— Работаю в страховой фирме Госфлота, денег, правда, платят маловато, но со временем все образуется, это точно. А Джорджина...

— Как-как? — проговорил я, все еще ошарашенно разевая got. Жена Пита (жена, блин!) снова хихикнула.

— Джорджина,— повторил Пит.— Она тоже работает. Машинисткой — ну, на машинке печатает. Ничего, кое-как перебиваемся.— А я на него, блин, как уста-

вился, так и глаз не могу отвести. Он вроде как и ростом стал повыше, и даже голос стал взрослый, и вообще.

— Ты бы,— сказал Пит,— зашел к нам как-нибудь, посидели бы. А ты по-прежнему совсем мальчишкой смотришься, несмотря на все твои злоключения. Да-да-да, мы про тебя все читали. Хотя ты ведь и впрямь еще совсем молод.

— Мне восемнадцать,— сказал я.— Только что исполнилось.

— Восемнадцать, говоришь? — Пит поднял брови.— Ого. Так-так-так. Ну, нам пора.— И он бросил на эту свою Джорджину нежный и влюбленный взгляд, взял ее руку в свои, и она тоже на него поглядела так, что прямо — о, блин! — Пока,— бросил мне напоследок Пит,— мы спешим к Грегу на вечеринку.

— К Грегу?

— А, ну конечно! — улыбнулся Пит.— Ты ведь не можешь знать его, естественно. При тебе его еще не было. Ты исчез, и тут появился Грег. Он иногда вечеринки небольшие устраивает. Так, чепуха: коктейли, салонные игры. Но очень мило, очень прилично. Как бы это тебе объяснить — безобидно, что ли.

— Ага,— отозвался я.— Безобидно. Что ж, я это ропі мају. Baldiozhnaja tusovka.— И снова эта самая Джорджина захихикала над моей манерой выражаться. А потом они рука об руку отправились заниматься своими vopnutshimi салонными играми у этого Грега, кто бы он ни был. А я остался в odi notshestve допивать tshai, который уже остывал, остался думать и удивляться.

Наверное, в этом все дело, думал я. Наверное, я просто слишком стар стаивлюсь для той zhizni, блин, которую вел все это время. Восемнадцать — это совсем немало. В восемнадцать лет у Вольфганга Амадеуса уже написаны были концерты, симфонии, оперы, оратории и всякий прочий kal... хотя нет, не kal, а божественная музыка. Потом еще Феликс М. со своей увертюрой «Сон в летнюю ночь». Да и другие. Еще был французский поэт, которого положил на музыку Бенджи Бритт — у того вообще все стихи к пятнадцати годам, блин, уже были написаны. Артур его звали. Стало быть, восемнадцать лет — это не такой уж и молодой возраст. Но мне-то теперь что делать?

Выйдя из кофейни, я долго слонялся по отчаянно холодным зимним улицам, и передо мной возникали все

новые и новые видения, разворачиваясь и сменяя друг друга, будто в газетных комиксах. Вот ваш скромный повествователь возвращается с работы домой, а его там ждет накрытый стол и горячий обед, причем подает его такая *kisa*, вся довольная и радостная и вроде как любящая. Но хорошенько разглядеть ее мне не удавалось, блин, и я не мог представить себе, кто это такая. Однако вдруг возникало очень ясное ощущение, что если я перейду из комнаты, где горит камин и накрыт стол, в соседнюю, то там как раз и обнаружу то, что мне на самом деле нужно, и тут все сошлось воедино — и картинка, вырезанная ножницами из газеты, и случайная встреча с Питом. Потому что в соседней комнате в колыбельке лежал гулюкающий младенец, мой сын. Да, да, да, блин, мой сын. И вот уже я чувствую, как в груди появляется сосущая пустота, и сам же этому ощущению удивляюсь. И вдруг я понял, что со мной, блин, происходит. Я просто вроде как повзрослел.

Да, да, да, вот оно. Юность не вечна, о да. И потом, в юности ты всего лишь вроде как животное, что ли. Нет, даже не животное, а скорее какая-нибудь игрушка, что продаются на каждом углу, — вроде как жестяной человечек с пружиной внутри, которого ключиком снаружи заведешь — др-др-др, и он пошел вроде как сам по себе, блин. Но ходит он только по прямой и на всякие *vestshi* натывается — бац, бац, к тому же если уж он пошел, то остановиться ни за что не может. В юности каждый из нас похож на такую *malennkuju* заводную *shtutshku*.

Сын, сын, мой сын. У меня будет сын, и я объясню ему все это, когда он подрастет и сможет понять меня. Однако только лишь подумав это, я уже знал: никогда он не поймет, да и не захочет он ничего понимать, а делать будет все те же *vestshi*, которые и я делал, — да-да, он, может быть, даже убьет какую-нибудь старую *ptitsu*, окруженную мяукающими *kotami* и *koshkami*, и я не смогу остановить его. А он не сможет остановить своего сына. И так по кругу до самого конца света — по кругу, по кругу, по кругу, будто какой-то огромный великан, какой-нибудь Бог или *Gospodd* (спасибо бару «Корова») все крутит и крутит в огромных своих ручищах *vonitshi* *griaznyi* апельсин.

Но ведь еще найти надо такую *kisu*, блин, которая бы стала матерью моему сыну! Я решил, что займусь

этим с завтрашнего утра. Вот и чудесно: новый азарт, есть чем заняться. А к стати и рубеж, ворота в новую, неведомую полосу zhizni.

Как я все время спрашивал? «Что же теперь?» Стало быть, вот что, блин, причем на этом я и закончу свой рассказ. Вы побывали всюду, куда швыряло коротышку Алекса, страдали вместе с ним, видели кое-кого из самых griaznyh vygodkov на Vozhjet белом свете, и все были против вашего друга Алекса. А причина тому одна-единственная, и состоит она в том, что я был jup. Но теперь, после всех событий, я не jup, o нет, блин, уже не jup больше! Алекс стал большой, блин, вырос наш Алекс.

Туда, куда я теперь пойду, блин, я пойду odi pokі, вам туда со мной нельзя. Наступит завтра, расцветут tsvetujotshki, еще раз повернется гадкая voniutshaja земля, опять взойдет луна и звезды, а ваш старый друг Алекс отправится искать себе пару и всякий прочий kal. Все-таки сволочной этот мир, griazni, podli и voniutshi, блин. Так что попрощайтесь со своим junym drugom. А всем остальным в этой истории сотворим салют, сыграю им на губах самую красноречивую в мире музыку: пыр-дыр-дыр-дыр. И пусть они целуют меня в jamu. Но ты, о мой сочувственный читатель, вспоминай иногда коротышку Алекса, каким ты его запомнил. Аминь. И всякий прочий kal.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Энтони Бёрджесс — один из самых известных писателей современной Англии. Всемирная слава пришла к нему в начале семидесятых годов, когда американский режиссер Стэнли Кубрик снял фильм по его роману «Заводной апельсин».

В романе и фильме было выведено юное чудовище — преступник и садист Алекс, одержимый жадой насилия и тягой... к красоте.

О книге Энтони Бёрджесса и фильме Стэнли Кубрика в годы застоя без конца писала наша пресса, хотя ни одной вещи писателя не было опубликовано на русском языке. Теперь, когда вся советская пресса пестрит сообщениями о вандализме, одичании, разгуле немотивированной преступности среди молодежи нашей страны, пророческий роман Энтони Бёрджесса потрясает и заставляет задуматься о многих морально-этических проблемах, от которых зависит наше с вами будущее.

Необходимо сказать и о крайне оригинальном языке романа — смеси английского с русским; персонажи в романе называют его «языком надцатых», то есть тинейджеров — тех, кому от тринадцати до девятнадцати. Русские слова автор записывает латиницей, никак не выделяя их среди английских, и смысла их читателю не поясняет, заставляя догадываться по контексту, причем не везде догадаться просто, тем более что русские слова подчас искажены, а иногда употребляются не по назначению. «Когда вы англизируете русские слова, — поясняет Энтони Бёрджесс, — это звучит странно и придает речи персонажей иронический эффект. Это был чисто музыкальный выбор, без какого бы то ни было политического подтекста».

Можно, однако, предположить, что такой подтекст все же есть. В других, имеющих явную политическую окраску, романах («Трепет намерення», «Клубничка для медведей») действие происходит на территории СССР, в частности в Ленинграде. Кстати, без малого тридцать лет назад Бёрджесс побывал в Ленинграде, и ему там не очень понравилось. В тексте «Заводного апельсина» возникают Парк Победы, магазин «Мелодия» и т. д. А вот что говорят о жаргоне персонажи романа:

«— Эх ведь загнил, — покачал головой доктор Бродский, улыбаясь одними губами. — Язык племени мумба-юмба. Вам что-нибудь известно о происхождении этого наречия, а, Браном?»

— Да, так, — пожал плечами доктор Браном, который уже не строил из себя моего закадычного друга. — Видимо, кое-какие остатки старинного рифмующегося аргю. Некоторые слова цыганские...

Н-да. Но большинство корней славянской природы. Привнесены посредством пропаганды. Подсознательное внедрение».

При переводе исключена любая возможность «зеркальной» замены русскоязычного «жаргона» словами, заимствованными, например, из английского (или какого-либо другого) языка. Поэтому переводчик вынужден прибегнуть к достаточно условному приему, выделяя в русском тексте слова, относящиеся к русскоязычному жаргону персонажей, латиницей, чтобы, во-первых, продемонстрировать их непосредственную перенесенность из текста оригинала, а во-вторых, заставить читателя слегка поломать над ними голову. Латиница нужна еще и для того, чтобы эти «жаргонные» слова как можно резче отличались от тех же слов, но встречающихся в обычной, не жаргонной речи (в нейтральных описаниях, в речи взрослых персонажей и т. д.). Тем более что лексически полностью отграничить их невозможно, поскольку в основном персонажи в качестве жаргонных используют обычные русские общеупотребимые слова типа «мальчик», «лицо», «чай» и т. д. Это совершенно естественно, так как англоязычным подросткам нет смысла выбирать из всего русского языка какие-либо особые словечки — на жаргон годится любое иностранное слово, и в первую очередь как раз простое и наиболее употребимое.

Сознавая искусственность приема транслитерации, переводчик старался им не злоупотреблять, применяя «русский жаргон» реже, чем это делает автор в тексте оригинала.

В. БОШНЯК

Трепет намерения

Роман

День и ночь — и нам вольно
Делать выбор, но равно
Что бело и что черно.

У. Х. Оден

Худшее, что можно сказать о большинстве наших преступников, от политиков до воров — то, что они недостойны и проклятия.

Т. С. Элиот

Часть первая

1

Положение сейчас следующее. В Венеции, как и было задумано, я присоединился к «гастрономическому круизу», и в данный момент «Полиольбион»^{* 1}, купаясь в лучах летнего адриатического солнца, плывет на юго-восток. В Пулдже все нормально. Д. Р. прибыл три дня назад, я передал ему все дела, после чего мы не просыпали целую ночь, вспоминая былые подвиги. Я в порядке, в отличной форме, если не считать хронического обжорства и сатириза^{*}, но у них, как водится, политика взаимного сдерживания. Вряд ли, мне представится случай потакать своим слабостям во время этого центростремительного путешествия (послезавтра мы уже войдем в Черное море), но у меня плотоядно текут слюнки от одной мысли, что после завершения операции предстоит неделя отдыха и на обратном пути можно будет расслабиться. Стамбул, Корфу, Вильфранш, Ивиса, Саутгемптон. И — конец, свобода! По крайней мере, для меня Насчет бедняги Роупера — не уверен.

¹ Здесь и далее звездочкой отмечены места, поясняемые в комментариях.

Д. Р., как и планировалось, передал мне ампулы с PSTX. Шприц у меня, разумеется, свой. Остальное — дело техники. Считайте, что тень несчастного Роупера уже валяется на соседней койке. Пассажирскому помощнику я сообщил, что предвиденные обстоятельства заставили моего друга, мистера Иннеса, сойти в Мурфатларе, но он сядет на автобус, поезд или паром — его дело — и нагонит нас в Ярылыке. Помощник сказал, что не возражает: само собой разумелось, что мистер Иннес не требует компенсации за пропущенную часть пути (полторы тысячи миль чревоугодия и распутства). Словом, тревожиться не о чем. Для Роупера все готово, включая новый паспорт. Джон Иннес — глава фирмы, выпускающей одобрения. С паспорта уныло взирает все то же задубелое лицо бородача из Метфиза. Да, кем он только не был, мой подставной приятель: сводником из Мдины, страдавшим от сифилиса гениальным математиком, скрывавшимся в Палеокастрице, мудрым и неприметным православным священником по имени Р. Дж. Гайст и даже знаменитым украинским литератором, которого преследовали за болтовню о педерастах в Президиуме Верховного Совета. И вот теперь — Джон Иннес, прикрытие для накрытого Роупера.

Сэр, я прекрасно понимаю, что для правительства Ее Величества возвращение Роупера — вопрос животрепещущий. Все мы помним запросы в палате общин, особенно после ликующего сообщения ТАСС об огромном успехе в разработке нового ракетного топлива и после того, как «Евровидение» показало «Зверя»* на первомайском параде в Москве. Но я совсем не понимаю другого: почему похитить Роупера поручили именно мне, если, конечно, это не объясняется неоспоримым и безграничным доверием, которое я снискал себе (чего уж скромничать!) за пятнадцать лет работы в разведке. Однако Вам, несомненно, должно быть известно, что я все еще питаю теплые чувства к своему бывшему однокласснику, с которым до его побега мы были чуть ли не друзьями, хотя, случалось, подолгу не виделись (война, да и после нее, а потом его женитьба, мое назначение в Пулдж). Последней весточкой, отправленной Роупером на Запад, была адресованная мне открытка весьма загадочного содержания, над которой, не сомневаюсь, наши шифровальщики до сих пор ломают головы: «Без двух минут четыре. Ликуйте, суки. Загрызли мученика».

Дайте-ка о деле Роупера начистоту. Уверен, что «вариант первый» не сработает. Роупер ни за что не согласится вернуться. Что прошло, то прошло — в этом его научное кредо. Он никогда не копается в том, что давно выброшено на свалку. Если уж он еретик, то придерживается той же ереси, что и Вы: верит, что жизнь может стать лучше, а человек благороднее. Не мне, конечно, говорить, что все это чушь собачья. Не мне вообще философствовать — я всего лишь старший исполнитель.

Я понимаю, сэр, почему для Роупера разработано два варианта: сначала использовать все доводы и лишь потом силу. В свободе выбора есть пропагандистская ценность, хотя я-то знаю, какие посулы содержатся в зашитых у меня в подкладку официальных письмах, полученных из первых рук, знаю, как эти первые руки призывно машут. А вернись он, и через месяц-другой — суд. И все же я выполню задание. Для этого превращусь в мистера Себастьяна Джаггера (на сей раз задубелое лицо бородача для моего паспорта, естественно, не понадобилось). Итак, Джаггер, эксперт по пишущим машинкам. Кстати, по такому поводу могли бы окрестить меня Йцук Енгшщзх. Джаггер спустится на берег и в туалете какого-нибудь ресторана быстро превратится в нечто благообразное, покрывающее и до глубины души славянское. Потом, если все пойдет по плану, такси быстро доставит его к месту, где будет в тот вечер находиться Роупер и где он будет отрезан от остальных участников научного съезд'a. Я предстану перед ним прежним, до боли знакомым, воскрешая в памяти Роупера не только отринутый им Запад, но и его самого в прежней, выброшенной на свалку жизни.

Думаете, его можно уговорить? Я даже спрошу иначе: Вы думаете, я приложу все усилия, чтобы его уговорить? Я-то сам (буду откровенен, ведь это мое последнее задание) убежден, что должен убедить Роупера? Все это большая грязная игра, пахнущая геноцидом: ракеты и сверхнадежные системы раннего предупреждения прекрасно вписываются в ее правила. Но, сэр, никто никого не собирается убивать. Идея тотального уничтожения не менее бредовая, чем магическое зеркало или любая средневековая чепуха. Когда-нибудь антропологи, стараясь не выдать своего недоумения, будут рассуждать о луддитских замашках в наших отнюдь не легкомысленных зангряваниях с коллективным само-

убийством. Но я в этой игре всегда честно выполнял свою роль — надежного исполнителя, этакое полиглота, проворного, ловкого, хладнокровного. А с другой стороны, я — пустое место, идеально отлаженный черный ящик. Есть у меня давнишняя мечта, но в ее осуществлении ни одна идеология не поможет. Мне бы уютную квартиру и чтоб в избытке спиртного, проигрыватель и пластинки с полной записью «Кольца»*. Я бы с радостью избавился от остальных своих наклонностей, раз уж они имеют болезненный характер: болезни, мало того что влетают в копеечку, лишают человека самодостаточности. В Мохаммедии, где я выслеживал поставщиков гашиша, был доктор, утверждавший, что простейшая операция избавит меня от обоих недугов, поскольку они в некотором смысле схожи. Самое большое, о чем я мечтаю, — это просторный бревенчатый дом на берегу какого-нибудь северного озера, а вокруг чтоб только хвоя, кислород и хлорофилл, и из тумана пускай доносятся гудки колесных пароходов. Бар на борту «Мяниккё» ломится от экзотических напитков — «Юханнус», «Хухтикуу», «Эдустая», «Крейкка», «Сильмяпари», — и добродушный капитан, у которого водятся деньжата, без конца заказывает выпивку «на всех», раз от разу все больше хмелея. На закуску — тающая во рту соленая рыбка с маринованными огурчиками и подрумяненный ржаной хлеб с ломтиками копченого мяса. Тут же и блондиночки, надув губки, тоскуют в ожидании страстной и безумной любви. Нет, придет время, и я непременно сделаю эту операцию.

Смотрите, как работают мои железы. Это поважнее результатов психологических тестов. И психика и мораль у меня здоровые. В моральном отношении я даже выше Св. Августина, с его «Сделай меня целомудренным, но не спеши»*. Это несерьезно: отсутствует четкий план действий, отрицается свобода воли. Сэр, если бы Вы и в самом деле читали мое послание, Вы бы нахмурились, почуяв связь между Св. Августином (конечно, Кентерберийским, а не Гиппонским* — последний не менее достойный, но уж слишком занудный), Роупером и мною. Св. Августин был покровителем католического колледжа в Брадкастере, где мы с Роупером учились. В моем личном деле Вы можете отыскать название колледжа, но там не найти ни его запахов, ни запахов самого городка. В Брадкастере пахло сырмятнями, пивоварнями, кана-

лами, потом ломовиков, грязью старых щелей, кирпичной пылью, деревянными лавками трамваев, мясным рагу, горячими сочными пирогами, тушеной говядиной, пивом. Сэр, Рупертом Бруком * и Вашей Англией там не пахло. А в колледже стоял католический дух: пахло толстыми черными сутанами, прошлогодним ладаном, святой водой, смрадным дыханием постящихся, вяленой рыбой, муками безбрачия. Колледж был дневным, но при нем имелся дортуар человек на сорок. Там мы с Роупером и жили, ведь приехали мы издалека, с юга — я из Кента, он из Дорсетшира — и прежде чем получить стипендию, сдавали экзамен. Лучшие католические колледжи у нас на севере: английская Реформация пробивалась сюда, наверх, с большим трудом, подобно крови в ногах больного артериосклерозом. Но, конечно, и у Вас есть католический Ливерпуль, этакий второсортный Дублин. Итак, мы оказались среди старокатоликов *, два изгнанника-южанина, два трансплантированных ирландца, два чужака, у которых отцы состояли на консульской службе. Хоть мы и были католиками, но произношением походили на протестантов, и наша манера растягивать гласные коробила ортодоксальные уши окружающих. Волей-неволей нам с Роупером пришлось стать друзьями. Мы выбрали соседние парты и кровати. В отношениях наших не было, конечно, и тени гомосексуальности. Более того, думаю, что тело каждого из нас было другому неприятно, и мы никогда не боролись, как другие приятели. Когда Роупер раздевался перед сном или душем, я ловил себя на том, что пугаюсь белизны его тела, и воображал, будто слышу запах разлагающейся плоти. Но зато с другой — гетеросексуальной — стороны мы себя ничем не ограничивали. Нам, конечно, внушали, что сексуальные отношения вне брака есть смертный грех. Впрочем, как мы понимали, это не распространяется на те нации, которые приняли католицизм до нас и по праву старожилов пользуются определенными привилегиями.

Я про этих чернявых, вроде Кристо Гомеса, Альфа Перейры, Пита Кьюваля и Ослика Камю из пятого младшего класса *. Деньги у них были, так что они платили девочкам (из тех, что крутятся на углу Мерл-стрит и Лондон-роуд) и вели их в наш бывший кабинет рисования, в раздевалку возле крикетного поля (волосатый Хорхе де Тормес был капитаном нашей лучшей коман-

ды) и даже в новую часовню. В конце концов их поймали *in flagrante*¹ и с позором изгнали из колледжа. Какое было Телу Христову видеть в боковом приделе подпрыгивающие задницы? Удивительно, как долго им удавалось скрывать свои проделки, тем более что для ректора, отца Берна, целомудрие воспитанников было предметом особого внимания. Иногда по ночам он обходил дортуар (при этом от него неизменно пахло неразбавленным виски), дабы удостовериться, что под одеялами не скрываются греховные помыслы. Время от времени понски производились с особым усердием, и по их окончании отец Берн обращался к нам из дальнего конца спальни с проповедью о греховности сластолюбия. Как и положено ирландцу, он был прирожденным актером и изливал потоки красноречия, не зажигая света, но подсвечивая лицо карманным фонариком, и казалось, что перед нами парящая над адovým пеклом голова какого-то обезглавленного святого. Однажды он начал так:

— Дети мои, похоть есть проклятье. Вас должно воротить от одного этого слова. Все беды нынешней жизни происходят от дьявольской похоти, от занятия, приличествующего собакам и шлюхам, что на ходящих ходуном лежанках превращают конечности человеческие в дергающиеся машинные поршни, а божественный дар речи — в крики, стоны и сопение. В глазах Господа и Пресвятой Богородицы нет ничего более мерзостного, вот именно: мерзостного! Похоть есть источник всех прочих смертных грехов, от нее происходят плотская гордыня и плотская алчность, неутоленное вожделение порождает гнев, чужие похождения — зависть, желание ввергнуть изнуренную плоть в новые грехи ведет к чревоугодию, а иссушающие сладострастные мечты — к праздности. Лишь освященная супружескими узами, делается она милостью Божьей средством для порождения на свет новых душ, дабы пополнить ими число живущих в Царствии Небесном.

Он остановился, чтобы перевести дух, и тут, пользуясь передышкой, чей-то голос сказал в темноте:

— Маллиган тоже породил новую душу, хотя и не был женат.

Это был Роупер, и сказанное Роупером было правдой. Маллиган и одна местная девица жили как муж и жена,

¹ На месте преступления (*лат.*).

и, хотя его давным-давно выгнали из колледжа, историю эту никто не забыл.

— Кто это сказал? — крикнул отец Бери. — Кто тут разговаривает после того, как потушили свет?

Луч фонарика автоматной очередью прочертил по темным кроватям. Роупер решительно сказал:

— Я, — и, чуть помедлив, добавил, — сэр. Мне просто хотелось разобраться, — сказал он, выхваченный лучом из темноты. — Я не понимаю, как может обряд обратить зло в добро. Это все равно, что сказать, будто дьявол сразу превратится в ангела, стоит только священнику осенить его крестным знаменем. Я этого не понимаю, сэр.

— Встать! — взорвался отец Бери. — Встать сию же секунду!

Луч прыгнул к двери.

— Эй, там, включите свет.

Зашлепали чьи-то ноги, и в глаза ударил резкий желтый свет.

— А теперь на колени, — приказал отец Бери, — и молись, чтобы Господь тебя простил. Кто ты такой, червь, чтобы сомневаться в силе Всемогущего Бога?

— Я ни в чем не сомневался, сэр, — сказал Роупер, все еще не встав с кровати. — Просто меня, несмотря на поздний час, заинтересовало то, о чем вы говорили.

Он так осторожно коснулся ногой пола, словно свесился из лодки, желая проверить, холодная ли вода.

— Встать! — крикнул отец Бери. — На колени и молись.

— О чем, сэр? — спросил Роупер, стоя между нашими двумя кроватями. На нем была мятая, некогда голубая, но сильно полинявшая пижама. — Я должен просить у Бога прощения за то, что он своей безграничной властью сотворил меня любознательным?

Роуперу, как и мне, было тогда лет пятнадцать.

— Нет, — отвечал отец Бери с ирландской непринужденностью, придавая голосу елейную вкрадчивость, — за то, что ты, богохульник, осмелился предположить, что Бог не сможет (*крещендо!*), если захочет, превратить зло в добро! На колени! Молись! (Ф-фу-у.)

— Почему же Он не хочет, сэр? — бесстрашно вопрошал Роупер. Он стоял на коленях, но держал себя так, словно сейчас будет посвящен в рыцари. — Почему мы не

можем получить то, чего все так хотят — мира, в котором царит гармония?

Боже, спаси нас всех вместе с Роупером и его мировой гармонией: у отца Берна начался приступ икоты! Ректор сурово взглянул на Роупера, словно он, а не виски, был причиной его страданий. Затем обвел взглядом всех нас.

— На колени. Все!.. (ик...) Всем (ик...) молиться! Этот дортуар стал (ик...), извиняюсь, вместилищем греха.

Мы все повскакивали с кроватей, лишь один малыш продолжал спать как ни в чем не бывало.

— Разбудите его (ик...). А это у нас кто без (ик...) пижамных штанов? Догадываюсь, чем ты (ик...) занимался.

— Надо, чтобы похлопали по спине, сэр,— участливо сказал Роупер.— Или девять глотков воды, сэр.

— Господь Всемогущий,— начал отец Берн,— ведающий сокровенными помыслами, которые таятся в душах этих (ик...) маленьких...

Почувствовав, что из-за икоты его словам недостает подобающей торжественности, он гаркнул: «Молитесь сами. Начинайте...» — и заикался к выходу. Для нас это явилось своеобразной победой Роупера — не первой и не последней. Добивался он их, главным образом, благодаря исключительной способности к строго научному рассмотрению любого вопроса. Помню, однажды на уроке химии — мы тогда были в пятом классе — наш преподаватель, французский англофил отец Бошан, нудно объяснял, каким образом элементы вступают во взаимодействие, образуя новые соединения. Вдруг Роупер спросил:

— А почему натрий и хлор хотят соединиться при образовании соли?

Класс грэхнул от хохота. Все предвкушали забавное развлечение. Отец Бошан тоже выдавил из себя подобие улыбки и ответил:

— Роупер, что значит «хотят»? Хотеть могут только живые существа.

— Странно,— проговорил Роупер.— Должны же были неживые предметы захотеть стать живыми, иначе бы жизнь на Земле не зародилась. У атомов наверняка есть свобода выбора. Вы и сами говорили про «свободные атомы».

— Свобода выбора? — переспросил отец Бошан.— Ты хочешь сказать, что Бог в этом не участвует?

— Сэр, при чем здесь Бог? — раздраженно воскликнул Роупер. — У нас же урок химии!

Несколько секунд отец Бошан пережевывал эту мысль, но ничего — проглотил. Затем уныло произнес:

— Посмотрим, сможешь ли ты сам ответить на этот вопрос.

Не знаю, когда открыли все эти премудрости, связанные с электровалентностью, но тогда, в конце тридцатых, никто — ни ученики, ни учителя — не разбирался в этом лучше Роупера. Об отце Бошане и говорить нечего: он, похоже, проходил все впервые вместе с нами. Роупер сказал, что у атома натрия только один электрон на внешней оболочке (ни про какие внешние оболочки нам на уроках не рассказывали), а у атома хлора их семь. Устойчивое состояние возникает при восьми электронах, что видно на примере многих веществ. По его словам, два атома соединяются специально для того, чтобы образовалось вещество, на внешней оболочке которого было бы восемь электронов. Затем он добавил:

— Нам говорят о священных числах — три, семь, девять и так далее, — но, похоже, в первую очередь надо говорить о восьмерке. Я хочу сказать, что если уж вы не можете не упоминать о Боге на уроках химии, то должны признать, что восемь — одно из Его любимейших чисел. Возьмем, к примеру, воду, которую Бог сотворил раньше всего прочего, по крайней мере Библия утверждает, что Дух Божий носился над водою. Вода состоит из кислорода, у которого шесть электронов на внешней оболочке, и водорода, у которого всего один электрон, таким образом, для образования воды требуется два атома водорода. Бог наверняка это знал, тем не менее Церковь никогда не признавала «восемь» священным числом, у нас есть Святая Троица, семь смертных грехов, десять заповедей. А число «восемь» нигде не встретишь.

— Но заповедей блаженства как раз восемь*, — сказал отец Бошан и, нервно покусывая губы, стал соображать, следует ли за богохульство отправить Роупера к ректору. В конце концов, он решил оставить Роупера и нас всех в покое и попросил разобраться в этой теме по учебнику. Правый глаз у него непроизвольно подергивался. Случившееся напоминало историю с отцом Берном. Таким образом, разговор ректора с Роупером о месте Бога в химических процессах отодвинулся на год. Состоялся он после того, как мы уже перешли в шестой

класс, и я стал специализироваться в языках, а Роупер, разумеется, в точных науках. Он мне тогда обо всем рассказал в столовой, пока мы уплетали водянистое баранье рагу. Роупер старался говорить тихо — это с его резким голосом, — и пар, поднимавшийся над его тарелкой, слегка шевелил прядь прямых пшеничных волос.

— Он снова привязался ко мне, чтобы я стал на колени, чтобы я молился и тому подобное. А я спросил, в чем же, по его мнению, состоит моя вина.

— И в чем же?

— Да Бошан донес. Мы с ним спорили о всяких физических и химических превращениях и, конечно, добрались до хлеба Причастия. Я спросил, присутствует ли Христос в самих молекулах или появляется там только после выпечки хлеба. И вообще мне надоело, что про одни вещи спрашивать можно, а про другие нельзя. На мессу я больше не пойду.

— И ты сказал об этом Берну?

— Да. Потому-то он и заорал, чтобы я стал на колени. Но ты бы видел, как он взмок!

— Представляю.

— Я сказал, что не понимаю, зачем обращать молитвы к тому, в чье существование я больше не верю. А он сказал, что молитва избавит меня от всех сомнений. Какая чушь!

— Ну зачем же так? Немало умнейших людей, включая людей науки, принадлежали к Церкви.

— Он мне сказал то же самое. Но я настаивал, что двух миров не существует, есть только один. И надо разрешить науке стучаться в любые двери.

— Что он с тобой сделает?

— А что он может сделать? Не исключит же! Во-первых, это не ответ, а во-вторых, он знает, что я, наверное, получу государственную стипендию, которую здесь уже тысячу лет никому не давали. Вот пускай и ломает голову.

Итак, очередная победа Роупера...

— Да и экзамены скоро, — добавил Роупер, — и ему даже не отослать меня в какой-нибудь другой колледж, чтобы мне там промыли мозги. Так-то.

Да, именно так оно и было. Я же по-прежнему пребывал в лоне Церкви. Но Писание я воспринимал механически и, скорее, с эстетической стороны: фундаментальные вопросы меня не интересовали. Я корпел над рим-

скими поэтами, которые славили римских завоевателей, а когда наступал долгий расслабляющий мир, принимались воспевать мужеложство, супружескую неверность и всяческие плотские улады. Помимо этого я читал целомудренных трагиков эпохи Короля-Солнца, хотя меня и раздражало их мазохистское самоограничение. Среди наших преподавателей числился один поляк, не имевший священнического сана. Звали его — по имени создателя славянской азбуки — брат Кирилл. В колледже он появился только три года назад и учить ему было решительно некого, поскольку знал он только славянские языки, по-английски едва говорил, а по-немецки и того хуже. Однажды я увидел, как он читает книгу, автором которой, по его словам, был Пушкин. Мне сразу приглянулись нелепо ошетинившиеся греческие буквы, и судьба моя (хотя об этом, сэр, я, разумеется, не подозревал) была решена. Я с жаром бросился изучать русский и получил разрешение сдавать его на выпускных экзаменах как основной предмет вместо новейшей истории. За это, сэр, новейшая история мне хорошо отомстила.

2

Во время нашего с Роупером разговора о молекулярной структуре Евхаристического Тела Христова я и не подозревал, что мы стоим на пороге «взрослой» жизни. Шел тридцать девятый год. Нам было уже почти по восемнадцать. На утренних собраниях отец Берн неоднократно намекал на то, что нацистские преследования евреев не что иное, как Божья кара, обрушившаяся на народ, который отверг Божественный Свет, кара в коричневых рубашках со свастикой. «Они же распяли нашего возлюбленного Спасителя!» (Сидевший рядом со мной Роупер тихо произнес: «А я думал, его распяли римляне».)

— На них,— распаялся отец Берн,— лежит печать первородного греха, они погрязли в блуде и стяжательстве. Их закон не запрещает ростовщичества и прелюбодейства.

И так далее. Отец Берн был высоким, стройным, с шеей даже более длинной, чем требовалось по росту, однако сейчас он необычайно правдоподобно изображал пузатого, короткошеего Шейлока, брызгал слюной, шепелявил и потирал руки. Вот он в сердцах плюнул и крикнул: «Ви, паршивые христиане! Вам таки не дела-

ют обрезания!» Он обожал лицедействовать. Лучшей ролью отца Берна был Яков I Шотландский, и он с упоением потчевал нас ею на уроках истории (что бы в тот момент ни проходили), громко причитая, сморкаясь и вещая на якобы шотландском диалекте*. Однако и Шейлок был неплох. «Ми таки с вами со всеми расправимся, паршивие христиане. Ой-вэй, деньжат моих ви не получите».

Мы с Роупером считали для себя унижительным смеяться во время этих представлений. Мы-то понимали, что нацисты уничтожают не только евреев, но и католиков. Что такое зло, мы узнавали теперь из газет, а не из религиозных трактатов, стоявших на отдельных стеллажах в нашей библиотеке. Мы не могли поверить тому, что слышали о концлагерях. Кровавое месиво, распоротые штыками гениталии! Сэр, говорите что угодно, но мы не больно отличаемся от тех, кого ненавидим. Хотел бы кто-нибудь из нас, перекрутив пленку обратно, в те времена, когда не было еще газовых камер и кастраций без анестезии, вставить в проектор другую — безгрешную — пленку? Ведь на самом деле нам хочется, чтобы подобные ужасы происходили и мы могли бы упиваться своим благородным нежеланием отплатить мерзавцам их же монетой. Мы с Роупером считали, что, чем слушать шепелявое берношейлоковское шельмование евреев, лучше уж от души позабавиться с кем-нибудь в часовне.

— Ну, что ты теперь думаешь о добре и зле? — спросил я однажды Роупера.

— Разумно было бы предположить, — отвечал он, разжевывая кусок тушеной баранины, — что добром называется то, к чему мы стремимся, что бы это ни было. Тут все дело в невежестве и в постепенном просветлении. Зло происходит от невежества.

— Немцы, говорят, не самый невежественный народ в мире.

Сказать ему было нечего. Тем не менее он сказал:

— Есть разные виды невежества. У немцев оно проявилось в политике, и в этом их беда. Возможно, они и не виноваты. Немецкие государства слишком поздно заключили союз или что там они заключили? — У Роупера были весьма туманные представления об истории. — Ну, ты же знаешь, все эти их леса, где в каждом дереве по Богу.

— Ты хочешь сказать, что у немцев атавистическое сознание?

Роупер, разумеется, сам не знал, что хотел сказать. Он давно уже не интересовался ничем, кроме физики, химии и биологии, которые собирался сдавать на выпускных экзаменах. Он одновременно и наполнялся, и опустошался, становился в буквальном смысле неодушевленным, превращаясь из мальчика не в мужчину, а в машину, наделенную совершенно нечеловеческими способностями.

— А что ты скажешь, когда разразится война? — спросил я Роупера. — Думаешь, эти кретины не ведают что творят, и их никак нельзя остановить? Но ведь они и до нас доберутся. Вместе с отравляющими газами и всем прочим.

Только тут до Роупера, похоже, стало доходить, что война коснется и его, и всех нас.

— Да, — сказал Роупер, — я как-то об этом не думал. Черт подери... Плакала, значит, моя стипендия.

Да, никто не сомневался, что Роупер блестяще сдаст экзамены и получит стипендию.

— Вот и подумай, — сказал я. — Подумай о евреях. Об Эйнштейне, Фрейде и им подобным. Ведь нацисты относятся к науке как к международному еврейскому заговору.

— Тем не менее в Германии живут светила мировой науки, — сказал Роупер.

Я поправил:

— Жили. От большинства они теперь избавляются. Потому-то им и не выиграть войну. Но поймут они это не скоро.

В тот год выдалось чудесное лето. С десятью фунтами в карманах, голосуя на дорогах, мы с Роупером проехали по Бельгии, Люксембургу, Голландии и Франции. Целый месяц мы питались сыром, дешевым вином, каламбурами типа «Чемберлен — j'aime Berlin»¹ * и разговорами о войне, которые затевали, греясь на солнышке. Однажды мы устроились на ночь в спальных мешках возле линии Мажино и чувствовали себя в полной безопасности. В Англию мы вернулись за три дня до начала войны. Выскочив из едва не прихлопнувшей нас европейской мышеловки, мы узнали, что результаты эк-

¹ Я люблю Берлин (фр.).

заменов уже известны. У меня они были хорошими, у Роупера же — просто великолепными. Ходили разговоры, что меня пошлют в Лондон в Институт славянских исследований, а Роуперу следовало подождать, пока ему оформят стипендию. Между тем нас обоих тянуло в то единственное место, где все ощущалось родным, — в колледж.

У отца Берна появился теперь новый номер — «страдающая Ирландия». Родом он был из Корка и даже намекал, что во время беспорядков «черно-пегие»* изнасиловали его сестру. «Англичане — поджигатели войны, — надрывался он на утреннем собрании. О поправших веру немцах он почему-то не упоминал, — да-да, они снова объявили войну и снова опираются на еврейские миллионы. (Молниеносный шарж: «Всемирная еврейская плутократия»). Война будет страшной. На Европу набросятся — если уже не набросились — миллионы обезумевших мародеров в погонах. Опять на многострадальную ирландскую землю хлынут орды тупых дикарей, у которых на уме только мерзостное совокупление, да хранят нас от этого греха Всемогущий Господь и Пресвятая Богородица». Весьма скоро он добрался и до Роджера Кейсмента*, после чего объявил, что все стипендии временно отменяются. Целое утро мы изнывали от скуки в нашей библиотеке. Наконец я предложил:

— Надо напиться.

— Напиться? А можно?

— Мне, например, даже нужно. Не бойся, мы теперь вольные пташки.

Пиво в барах было тогда по пять пенсов за пинту. Мы обошли «Кларендон», «Джордж», «Кадди», «Кингз хед», «Адмирал Вернон». В Брадкастере пахло хаки и дизельным топливом. К этому добавлялся сладостный аромат надежды: ночи сулили «мерзостные совокупления». Казалось, девушки на улицах только и делают, что кокетничают, и что губы у них стали ярче, а грудь больше. А может, отец Берн в чем-то и прав? После шестой кружки я стал воображать, будто идет первая мировая война, я получил короткий отпуск и, щеголяя офицерской формой, шествую по перрону лондонского вокзала «Виктория». Я пахну вражеской кровью, и девушек это сводит с ума. «Милашки, чего я только не навидался в окопах». — «Ой, расскажите, расскажите!»

— Пошли добровольцами,— сказал я Роуперу.— Мы же любим нашу чудесную страну.

— Чем уж она такая чудесная? — Роупер качнулся.— Что она дала лично тебе или мне?

— Свободу. Не может быть плохой страна, позволяющая ублюдкам вроде отца Берна измываться над ней каждое утро. Подумай об этом. И выбирай: Англия или всем осточертевший отец Берн.

— Я, между прочим, собирался в Оксфорд.

— Забудь об этом. И надолго. Рано или поздно нас все равно призовут. Какой смысл ждать? Давай запишемся добровольцами.

Но в тот же вечер мы записаться не успели, потому что Роупера развезло. Реакция его желудка на пиво шла вразрез с английскими традициями. В переулке возле «Адмирала Вернона» у него начались рвотные позывы, и бедняга, поступаясь рационалистическими убеждениями, взывал о помощи к Иисусу, Марии и Иосифу. Я съязвил в том смысле, что, оказывается, его материализм на внутренние органы не распространяется, но Роуперу было не до меня, он стонал: «О Боже, Боже, Боже... О, кровотокащее Сердце Христово...» На следующий день на Роупере не было лица, но он заявил, что согласен идти со мной в грязную лавчонку, где размещался вербовочный центр. Вероятно, отрыжка, терзавшая его с похмелья, создавала ощущение внутренней пустоты, которую он и решил восполнить чувством сопричастности судьбе своего поколения. То же можно было сказать и обо мне.

— А как же родители? — спросил Роупер.— Надо им сообщить.

Я сказал что-то вроде:

— Радуйся: одной заботой меньше. Пошлем им телеграмму — и все.

Нас встретил сержант, мучившийся страшным насморком. Я записался в Королевские войска связи. Роупер же никак не мог сделать выбор.

— Я не хочу убивать,— сказал он.

— И не надо,— прогнусавил сержант.— Для вашего брата есть бедицина.

Он хотел сказать «медицина». Медицинская Служба Королевских Сухопутных Войск. МСКСВ. Моментально Станешь Классным Смелым Воякой. Роупер не задумываясь примкнул к этой братии.

Вспоминаю те дни, и кажется странным, что в Британской армии тогда еще не проводили специальных занятий с новобранцами, если не считать тех, на которых втолковывали разницу между курком и прицелом. За все время службы Роупера в армии никому и в голову не приходило, что парня можно использовать для разработки самых смертоносных видов оружия. Между прочим, то что я свободно говорил по-русски, по-французски и довольно неплохо по-польски, тоже никого не интересовало. Когда же в июле сорокового года сформировали Королевскую разведывательную службу и я захотел туда перевестись, то встретил большие трудности. Произношение офицеров разведки красноречиво свидетельствовало, что французскому они обучались не в частных школах, а в государственных. Англичане вообще относятся с подозрением к знанию иностранных языков, оно ассоциируется у них со шпионами, импресарио, официантами и еврейскими беженцами; джентльмену знать языки не пристало. Только после того как Советский Союз стал одним из наших союзников, я признался, что знаю русский. Но прошло еще немало времени, пока моему знанию русского нашлось применение. Меня назначили младшим переводчиком в рамках программы англо-американской помощи России. Для моего возраста звучало это довольно солидно, но на самом деле мне пришлось заниматься поставками спортивного инвентаря для советских военных моряков. Однажды меня чуть было не повысили: я должен был наблюдать, чтобы в каждую банку американской тушенки клали лавровый лист, поскольку русские находили американскую свинину слишком пресной, но я убедил начальство, что подобная ручная операция существенно замедлит поставки, и мое повышение не состоялось. Однако вернемся к Роуперу.

Первое письмо от него пришло из Олдершота. Он писал, что неподалеку от их казармы упала бомба и что он теперь чаще, чем раньше, думает о смерти. Скорее даже о всех Четырех Важнейших Вещах, о Которых Следует Помнить Католику: о Смерти, о Страшном Суде, об Аде и о Царствии Небесном. Он писал, что еще задолго до выпускных экзаменов благополучно выбросил из головы всю эту чепуху, но сегодня его мучает вопрос: действительно ли все эти посмертные штучки существуют для тех, кто в них верит? Он писал, что в религиозном отношении оказался в довольно двусмысленной ситуа-

ции. Новобранцев, прибывавших в учебную воинскую часть, сразу делили: «Католики — сюда, протестанты — туда, прочие — посередке». Он собирался объявить себя агностиком, но это сулило крупные неприятности, поэтому («особо не задумываясь, как и положено в армии») пришлось назваться католиком. Но, получив чин сержанта, он обнаружил, что стал не просто командиром, а командиром-католиком. Роупер должен был сопровождать солдат на воскресные мессы. Тамошний священник, славный, открытый человек (англичанин, а не ирландец!), просил Роупера повлиять на солдат, чтобы они почаще причащались. Между тем после взрыва бомбы возле казармы — а было это почти в самом начале его армейской службы — Роупера стали уверять, что слово «католик» в его документах обладает силой заклęcia. Соседи-офицеры говорили: «Ты у нас католик. Когда эти суки снова начнут бомбить, надо будет держаться к тебе поближе». Роупер писал: «Похоже, в народе живет суеверное убеждение, что, если кого смерть и обходит стороной, так это католика. Отголосок чувства вины за Реформацию. Простые люди как бы говорят: у нас к старой религии претензий не было. Она нам даже нравилась. Это все ублюдки-богатеи, Генрихи VIII там разные, они нам запретили верить».

Бедняга Роупер не имел возможности заниматься наукой (хотя быстро овладел всеми премудростями своей новой профессии, за что вскоре получил повышение) и, оказавшись наедине со своими мыслями и сомнениями, стал ощущать опустошенность. «Я хотел бы обрести единственно истинную веру, какой бы она ни оказалась. Бессмысленно вести эту войну, если мы сами не знаем, какую дорогу выбрать. И дело не в том, что наш путь плох, а немецкий — еще хуже. Тут все сложнее. Война не должна быть против чего-то, она должна быть за. Подобно крестовому походу, она должна нести веру. Но какую?»

Дальше — больше, и Роупер — Боже праведный! — увлекся поэзией. «Однако, — писал он, — современная поэзия мне совершенно чужда. Я человек науки и потому привык, чтобы каждое слово имело одно и только одно значение. Вот почему меня влекут поэты типа Вордсворта *, которые говорят именно то, что хотят сказать, хотя, конечно, не со всем, ими сказанным, я согласен. По крайней мере, Вордсворт придумал для себя собст-

венную религию и с научной точки зрения сделал это корректно. Ведь природа есть нечто реально существующее: нас окружают деревья, реки, горы. Когда я думаю об Англии, которую бомбят эти нацистские ублюдки, то просто физически ощущаю ее страдания, и не только потому, что гибнут люди и города; нет, вместе с ними гибнут деревья, леса, поля, и их муки мне ближе, чем терзания распятого Христа. Тебе не кажется, что я для себя тоже придумал нечто вроде религии? И, надеюсь, ты не станешь утверждать, что она иррациональна».

Дорога, по которой Роупер двигался от сухого рационализма к сентиментальности, неминуемо должна была привести его к сердечным увлечениям. В сорок третьем году он писал мне из Чешема, где проходил курс военной гигиены, что встречается с девушкой по имени Этель. «Она белокурая, стройная, длинными ногтями не шеголяет: вообще она очень цельная натура. Этель работает в кафе на Хай-стрит. Поздновато я лишился невинности, правда? Мы с ней уходим в поле, где все и происходит; очень здорово, хотя особой страсти я не испытываю. Чувства вины тоже никакого. Как ты думаешь, это плохо, что я не испытываю вины? С католицизмом я окончательно порвал, и Англия после этого стала мне еще ближе, я имею в виду ее душу, ее существо. Мне открылась ее величественная непорочность. Англии не по пути ни с католичеством, ни с пуританством — она их стряхнет и не заметит. В нацистской Германии тоже есть непорочность, но другого рода: там она недобрая, и потому немцы даже не замечают своей звериной жестокости. Интересно, хоть кому-нибудь стыдно за эту войну? Лежа с Этель в поле, я стараюсь придать остроту ощущениям (впрочем, пока без особого успеха), воображая, что совершаю адюльтер (разумеется, Этель не замужем) или кровосмешение. В каком-то смысле это, конечно, кровосмешение, ведь предполагается, что все мы братья и сестры, живущие большой дружной семьей и направляющие свою сексуальную ненависть (в основе всякой ненависти лежит секс) против общего врага».

Но по-настоящему серьезное письмо Роупер послал из уже капитулировавшей Германии. «Я никогда больше не притронусь к мясу, — писал Роупер. — Никогда в жизни. В лагере мясо было повсюду, оно лежало штабелями и кое-где еще шевелилось. Человеческое мясо. Наверняка сладковатое (ведь каждый кусок — на косточке!), в

нем копошились черви, сверху кружили мухи. Воняло, как на громадной сыроварне. Мы там оказались первыми и, с трудом сдерживая тошноту, сразу начали распылять свой патентованный антисептик «Марк IV». Раньше, когда мне встречалось слово «некрополь», я думал, что это поэтический термин для описания мертвого ночного города, где запертые дома кажутся покинутыми своими обитателями. Теперь я увидел, что такое настоящий некрополь. Сколько же в нем мертвых и умирающих горожан! Никогда не думал, что можно столько мертвецов собрать в одно место и уложить так аккуратно, кое-где прокладывая живыми. Я шел по чистеньким (made in Germany) улицам, по обе стороны были навалены горы трупов высотой с дом; я опрыскивал их антисептиком, но разве может запах раковин и унитазов перебить трупную вонь?»

Как видите, сэр, Роупер, точнее, сержант Роупер оказался в одной из первых групп дезинфекторов, приступивших к работе после капитуляции Германии. В том письме и в трех за ним последовавших (страдания Роупера выплескивались на бумагу настоящим потоком) он рассказывал, как его рвало, как преследовал дикий страх, что полумертвые набросятся на своих мертвых соседей по куче и вопьются зубами в разлагающийся протеин. Он писал о ночных кошмарах, с которыми знаком каждый, кто побывал в лагере смерти, кто застывал там от ужаса, in rigty¹ — то ли не в силах постичь увиденное, то ли собираясь блевать. Да, все мы застывали с отвисшей челюстью, не находя слов для того, что видели и вдыхали. Мы не желали верить своим глазам, ведь, поверив в то, что цивилизованная нация способна на такое, надо было бы пересмотреть усвоенные с детства взгляды на цивилизацию, прогресс, облагораживающее влияние искусства, науки и философии (а кто станет отрицать величие немецкой нации?). Я оказался там единственным переводчиком для небольшой группы, состоявшей из русских и американцев (местонахождение лагеря я заставил себя забыть), но, как и следовало предположить, ни английские, ни русские слова там не понадобились.

Станным образом, под влиянием писем Роупера я видел его в своих ночных кошмарах чаще, чем себя самого. Он живо вставал предо мной с исписанных стра-

¹ Разинув рот (лат.).

ниц — бледный, упитанный, глядящий сквозь очки респиратора (эти очки в железной оправе делают человека похожим на слабоумного ребенка), с выбивающимися сзади из-под стальной каски пшеничными космами. Во сне я видел, как он вместо меня стонет от боли, извергая маховые колеса часов, извивающихся змей, готические тома, слышал его тонущие в рыданиях немецкие речевые обороты, в которых все время повторялись слова *Staupen* (удивление), *Sittlichkeit* (нравственность) и *Schicksal* (судьба). В своих собственных кошмарах Роупер видел, как его заставляют вечером (восхитительный закат, последние птичьи трели) идти сквозь лес трупов, продирается сквозь изгородь из посиневших тел и принуждают (это снилось всем нам) к некрографии, то есть поеданию трупов. Роупер видел себя также британским Иисусом, Джонбулем Христом, распятым на «Юнион Джеке»*. И никак не мог понять, чем было это распятие: наказанием, искуплением или удостоверенном личности. Немудрено: помимо книг по физике и химии, а также нескольких поэтических сборников, Роупер почти ничего не читал. Тем не менее в его письмах присутствовало чувство вины. Ведь эти зверства вершились представителями того же самого рода человеческого, к которому принадлежал и он. «Мы должны были этому помешать,— писал Роупер.— Мы все виновны».

«Не будь идиотом,— отвечал я Роуперу.— Виноваты немцы, и только немцы. Разумеется, многие из них не признают своей вины, потому что не поверят в те ужасы, которые творились их именем. Надо им все показать. Кстати, начать можешь с немецких баб». Этим я и занимался. Все они как будто только и ждали наказания, мечтая искупить глубоко — ох, и глубоко же! — засевшую вину или как там у них это называется? Сами они, конечно, так не думали, считая это обыкновенным флиртом, естественным для женщины любой побежденной страны. Но неосознанные генетические законы требовали экзогамного оплодотворения*, звали чужое семя и сливались с высоконравственной тягой к наказанию. Впрочем, постойте — разве это не различные проявления единой сущности? Разве семя яростное и карающее не животворнее лениво сочащегося на розовую простыню супружеского ложа? Разве смешанные браки не размывают национальные признаки и, следовательно, чувство национальной вины? Впрочем, низкорослым бременским жен-

щинам я этих вопросов не задавал. Я вонзался в них безо всяких признаков мягкотелости. Я набрасывался на них, выпуская когти и все остальное, и в то же время я смутно ощущал, что их убитые или ушедшие мужчины сумели отомстить мне, сделав меня таким же, как они сами: жестоким, похотливым, сошедшим со страниц готического бестиария. Нет, все-таки жизнь—это манихейское месиво! *

3

В Эльмсхорне бедняга Роупер нашел свою даму сердца. Точнее, дама сердца нашла его сама. И вышла за него замуж. Ей требовалось спокойствие семейной жизни, чтобы преподать урок, диаметрально противоположный тому, на который тратил себя я. В Германии мы с Роупером ни разу не встретились, хотя оба служили в британской зоне, и прошло несколько лет их семейной жизни и ее интенсивных поучений, прежде чем я сумел (уже в Англии и после того, как мы оба переоделись в штатское) удовлетворить свои не слишком сильные мазохистские наклонности (за которыми на самом деле скрывались совсем другие) и посетить тающую от матримониального блаженства Еһерааг¹ (ох уж мне эти немецкие словечки!).

Сэр, я прекрасно помню ту встречу. Знакомя нас, Роупер все перепутал: «Это Бригитта»,— произнес он смущенно. Спыхватившись, что начал не с того, он еще сильнее смутился: «Darf ich vorstellen²— мой старинный друг Денис Хильер». Роупера так и не отпустили из армии раньше, чем предписывалось законом, несмотря на стипендию, которая его дожидалась в Манчестерском университете (все-таки не в Оксфорде!), и на то, что Роупер мог бы внести очевидный вклад в процесс грандиозного технологического обновления, на пороге которого, как нам говорили, стояла страна. Сейчас Роупер учился на третьем курсе. Все двенадцать месяцев, что они были помолвлены, Бригитта ждала его с кольцом на пальце в Эльмсхорне, а он, перебиваясь на армейском довольствии, подыскивал квартиру в своем мрачном городке, причем этот Stadt, если приглядеться, во многом сохранил догитлеровский облик: богатые, уважающие музыку евреи, ресторанчики, полупьяные бургеры, бур-

¹ Супружеская пара (нем.).

² Позволь представить тебе (нем.).

жуазная основательность. Конечно, в наши дни, когда жители бывших колоний рвутся поселиться на родине своих недавних угнетателей, город уже совсем не тот. Сегодня он больше напоминает Сингапур (правда, без тамошней суеты). Кажется, воспоминания о Германии нахлынули на меня в тот момент, когда я увидел Бригитту, ее почти до неприличия белокурые волосы и громадную грудь. Она была умопомрачительно сексуальна и к тому же значительно моложе Роупера (нам было по двадцать восемь, а ей на вид не больше двадцати). Бригитта ухитрилась заставить всю квартиру тевтонским хламом, и на глаза попадались то резные узоры настенных часов, то хитроумные игрушки для определения влажности воздуха, то набор пивных кружек с лепными изображениями одетых в кожаные бриджи охотников в окружении натужно смеющихся подружек в широких сборчатых платьях с плотно облегающим лифом. На буфете лежал альт, на котором играл еще ее покойный отец, и Роупер, по-видимому, ни разу не встречавший подобного инструмента в Англии, называл его Bratsche¹ и с гордостью сообщил, что Бригитта чудесно играет — не классику, конечно, а старинные немецкие песни. В заставленной, пропитанной Бригиттой гостиной одна лишь вещь напоминала о Роупере. Это было висевшее на стене родословное древо в картиной рамке.

— Я и не подозревал, — сказал я, рассматривая картинку, — что ты такой э-э... Rassenstolz². Так можно сказать?

Бригитта, которая все время смотрела на меня слегка отчужденно, поправила:

— Не расой, а родословной.

Не могу сказать, что этим уточнением она добавила себе шарма в моих глазах.

— У родового древа Бригитты тоже глубокие корни, — сказал Роупер. — Нацисты делали в каком-то смысле доброе дело: в поисках еврейской крови они докапывались до самых далеких предков.

— Ну, здесь-то еврейской кровью не пахнет, — сказал я, глядя на пращуров Роупера. — Немного французской и ирландской и, конечно же, ланкаширская. — (Маршан, О'Шонесси, Бамбер.) — И все доживали до седых во-

¹ Альт (нем.).

² Гордящийся своей расой (нем.).

лос.— (1785—1862, 1830—1912, 1920—? Последним был наш Эдвин Роупер.)

— Чистая, здоровая кровь,—самодовольно ухмыльнулся Роупер.

— У меня тоже нет ни капли еврейской крови,—вызывающе произнесла Бригитта.

— Да уж конечно,—сказал я с улыбкой.— А вот, я вижу, Роупер, умерший совсем молодым.— (Я имел в виду Эдварда Роупера, 1530—1558, жившего в эпоху Тюдоров.) — Впрочем, продолжительность жизни была тогда не слишком большой.

— Его казнили,—сказал Роупер.— Погиб за веру. Эту историю раскопал мой дедушка. Выйдя на пенсию, он принялся изучать нашу генеалогию. Вот он — Джон Эдвин Роупер. Умер в восемьдесят три года.

— Одна из первых жертв Елизаветы? Значит, в вашей семье был мученик веры?

— И большой дурак,—усмехнулся Роупер.— Надо было сидеть и помалкивать.

— Например, как немцы, да?

— Мой отец погиб на фронте,—сказала Бригитта и удалилась на кухню. Пока она возилась с ужином, я поздравил Роупера с милой, умной и красивой женой.

— Конечно, она у меня умная,—радостно подтвердил Роупер (словно были сомнения относительно других ее качеств!).— Как она говорит по-английски! А что Бригитта вынесла во время войны! Отец у нее погиб одним из первых. В Польше, в тридцать девятом. Но я не слышал от нее ни слова упрека — ни ко мне лично, ни к Британин.

— Британия не воевала в Польше.

— Не важно, мы являлись союзниками. Это была наша общая война. И на каждом из союзников лежит доля вины.

— Слушай,—сказал я резко,— что-то я не понимаю. Ты хочешь сказать, что твоя жена-немка милостиво прощает нас за Гитлера, нацизм и прочие ужасы? Включая развязанную ими войну?

— Но Гитлер не начинал войну,—отчеканил Роупер,— это мы ее объявили.

— Да, но иначе он сожрал бы весь мир. Черт побери, ты, похоже, забыл, за что воевал шесть лет.

— Между прочим, я не воевал,—педантично уточнил Роупер,— а помогал спасать человеческие жизни.

— Жизни союзников,— сказал я.— И тем самым участвовал в войне.

— Как бы то ни было, я не жалею. Иначе я бы не встретил ее, Бригитту.— Лицо у него приняло такое выражение, будто он слушает Бетховена.

Слова Роупера меня сильно заделали, однако я не решился ничего сказать, потому что в этот момент Бригитта внесла в комнату ужин или, возможно, то, с чего предполагала его начать. Она принялась выставлять холодные закуски и скоро накрыла роскошный шведский стол: копченая семга (баночного посола), холодная курица, ветчина в желе (гробовидной формы — тоже из банки), маринованные огурчики, ржаной хлеб, масло (хороший шмат, а не «карточные» кусочки) и четыре сорта сыра. Роупер открыл пиво и собрался наполнить предназначенную мне глиняную кружку.

— Я бы предпочел стакан,— сказал я.— Не привык пить пиво из кружки.

— Из кружки вкуснее,— сказала Бригитта.

— И все-таки я бы хотел из стакана,— сказал я с улыбкой. Роупер дал мне фирменный пивной стакан с позолоченным гербом и названием компании.

— Что же, приступим,— проговорил я, нетерпеливо потирая руки.— Вы, как вижу, неплохо устроились, nicht wahr?¹

В то время по карточкам выдавалось меньше, чем в худшие дни войны. Романтика военного времени осталась в прошлом, а его тяготы все продолжались.

— Продукты из Америки,— сказал Роупер.— От дяди Бригитты. Он каждый месяц присылает нам что-нибудь съестное.

— Дай Бог ему здоровья,— сказал я, кладя семгу на кусок черного ржаного хлеба с толстым слоем масла.

— А вы чем занимаетесь?— тоном строгой гувернантки спросила Бригитта, словно разговаривала с великовозрастным оболтусом, который уклоняется от военной службы.

— Учусь,— ответил я.— Славянские языки и разные сопутствующие штуки. Больше ничего сказать не могу.

— При Министерстве иностранных дел,— улыбаясь, уточнил Роупер. Розовощекий, круглолицый, коротко остриженный, в подчеркнута строгих очках, он походил на немца не меньше чем его жена. Я вспомнил «Немец-

¹ Не правда ли? (нем.).

кий для начинающих». Урок третий — Abendessen¹. Для полноты картины Роупер после еды должен раскурить пенковую трубку.

— Вы имеете отношение к тайной полиции? — спросила Бригитта, что-то аппетитно уплетая (на лбу у нее выступили крошечные капельки пота). — Мой муж скоро станет доктором. (Я не понял связи.)

Роупер объяснил жене, что это только в Германии «доктор» является первым ученым званием, и добавил:

— А что касается тайной полиции, то в Англии, насколько мне известно, ее не существует.

— Могу подтвердить это со всей ответственностью, — сказал я.

— Мой муж, — сказала Бригитта, — занимается науками.

— Ваш муж станет знаменитостью.

В другое время польщенный Роупер покраснел бы, но сейчас он был всецело поглощен едой.

— Значение науки будет расти, — сказал я. — Работа ученых над новыми смертоносными видами оружия — важная часть усилий по мирному восстановлению страны. Ракеты вместо масла.

— По-моему, на столе достаточно масла, — сказала, жуя, но сохраняя каменное лицо, Бригитта. — Я вас совсем не понимаю.

— Я говорю о «железном занавесе». Мы не знаем, что на уме у русских. Мы хотим мира, поэтому должны готовиться к войне. Тридцать восьмой год кое-чему научил.

— Надо было научиться раньше, — сказала Бригитта, приступив к сыру. — Надо было знать раньше.

Роупер добродушно растолковал ей, что я имел в виду.

— Главным неприятелем была Россия, — сказала Бригитта.

— Врагом?

— Ja, ja, Feind. Врагом. — Она впилась зубами в кусок хлеба, словно то была пресуществленная сталинская плоть. — Германия сознавала это. Англия не сознавала это.

— Так вот почему немцы уничтожали евреев.

— Международный Boischewismus, — сказала Бригитта с видимым удовольствием.

¹ Ужин (нем.).

Тут Роупер мобилизовал все свое красноречие и произнес длинную тираду, на всем протяжении которой Бригитта, как и положено учителю, внимательно его слушала, одобрительно кивала, подсказывала и иногда поправляла.

— Мы, британцы,— начал Роупер,— должны признать, что почти во всем виноваты сами. Мы были слепы. Все, чего хотела Германия,— это спасти Европу. Муссолини в свое время хотел того же, но ему никто не помог. Мы не имели реального представления о мощи и намерениях Советского Союза. Теперь мы уже кое-что понимаем, но время упущено. Лишь три человека не питали никаких иллюзий, однако мы вылили на них ушат грязи. Из них остался в живых только один.— И, чтобы у меня не оставалось никаких сомнений, Роупер уточнил: — Испанский генерал Франко.

— Знаю я твоего мерзавца Франко,— огрызнулся я.— Не забывай, что я год прослужил в Гибралтаре. Франко спит и видит, как бы его у нас оттяпать. Что за чушь ты городишь!

— Чушь городите вы,— сказала Бригитта. (Эта девочка быстро усваивала новые обороты!) — Надо слушать, что говорит мой муж.

Роупер распался все сильнее, но я простодушно утешал себя тем, что, окунувшись в свои исследования,— а произойдет это уже скоро,— он позабудет обо всем на свете, включая и бредовые мысли, которыми его пичкает настоящий враг. Тем не менее меня бесило то, что он нес: Англии следует, видите ли, извиниться перед вонючей Германией за причиненные ей страдания. Я терпел, куда мог, но в конце концов взорвался:

— Да как ты можешь оправдывать жестокость, с которой они подавляли любую свободную мысль, любое слово, или то, что гордость немецкой нации — такие люди, как Фрейд или Томас Манн, должны были покинуть страну, иначе бы их растерзали.

— Марагобуматели,— сказала Бригитта.

— Если уж начал войну, то приходится вести ее повсюду,— сказал Роупер.— Война — это уничтожение врагов, а они не обязательно должны быть где-то далеко. Самые коварные враги — дома. Неужели ты думаешь, что кто-то с удовольствием высылал из страны лучшие умы? Просто с ними было невозможно спорить. Их

нельзя было ни в чем убедить. Да и времени на это не хватило.

Я хотел что-то сказать о цели, которая не оправдывает средства, но вдруг мне пришло в голову, что ведь и военнопленные подбрасывали бритвенные лезвия в корм для вражеских свиней и что, хотя нацисты и бомбили Ковентри, но и мы бомбили Дрезден. Что на жестокость мы отвечали жестокостью. Что стрелять в детей и стрелять в Гитлера (который в итоге сам покончил с собой) — не одно и то же. Что история — это нагромождение противоречий. Что фашизм явился неизбежной реакцией на коммунизм. Что, возможно, встречаются евреи, похожие на тех, которых изображал отец Берн. Но тут я очнулся. Кто это мне так промыл мозги? Я взглянул на Бригитту, но в ее глазах читалось только одно — секс. Я стиснул зубы, охваченный безумным желанием: прямо сейчас, на полу, на глазах у Роупера. А вслух я произнес:

— Ты стал похож на отца Берна с его «Англией — поджигательницей войны» и «Евреем, трясущимся над деньгами». Вы прекрасная парочка.

— Я уже не говорю о церкви! — воскликнул Роупер. — С еврейским смирением подставлять другую щеку! Нация от этого хиреет. Ницше прав.

Бригитта одобрительно кивнула.

— Что вы знаете о Ницше? — спросил я. — Уверен, что вы не читали ни одной его строчки.

— Мой отец... — начала Бригитта, а Роупер пробормотал:

— Краткое изложение его философии печатали в «Ридерс дайджест». — Роупер был честным малым.

— ...в школе, — докончила Бригитта.

— О Господи! Чего тебе нужно? — спросил я у Роупера. — Крови, железа, черной магии?

— Нет, ничего, кроме работы. Первым делом я хочу получить ученую степень, а затем сразу приступлю к исследованиям. Нет, — повторил Роупер удрученно (возможно, из-за переедания: он умял полкурницы, увесистый кусок ветчины, перепробовал все четыре вида сыра и при этом не жалел хлеба), — мне не нужно ничего, что может вызвать войну или сделать ее еще более жесткой. Я не хочу отвечать за трупы, за несчастных детей...

— За моего отца, — сказала Бригитта.

— За твоего отца, — согласился Роупер.

Словно тост подняли... Можно было подумать, что вторую мировую войну и начали-то только для того, чтобы уничтожить герра Как-Его-Там.

— Да,— сказал я,— и за моего дядю Джима, и за двух детей, которых поселили в доме у моей тетки Флори (думали, там безопасней, а их в поле бомба накрыла), и за всех несчастных евреев, черт их подери, и за протестовавших против войны интеллектуалов.

— Вы говорите правильно,— сказала Бригитта,— черт подери евреев.

— Такая война не должна повториться,— сказал Роупер.— Великая страна лежит в руинах.

— Ничего, зато есть что пожрать. Прорва датского масла и жирной ветчины. Самые отжравшиеся мордороты в Европе.

— Пожалуйста, не называй соотечественников моей жены мордоротами.

— Мордорот — это что? — спросила Бригитта.— Твой неприятель говорит понятно.

— «Приятель — непонятно», — поправил я.

— Янки и большевики обглаживают кости великого народа,— сказал Роупер.— И французы-поганцы туда же. И британцы.

Внезапно в моем мозгу грянул антифон * двух коров: «Пал, пал Вавилон» * и «Если я забуду тебя, Иерусалим» *. Я сказал:

— Ты всегда мечтал о цельном универсуме¹, но это глупость и тавтология. Запомни: сегодня мирных наук не осталось. Те же ракеты, что летят в космос, могут взрывать вражеские города. Ракетное топливо способно помочь человеку оторваться от земли — или оказаться в ней.

— Откуда ты знаешь про ракетное топливо? — удивился Роупер.— Я же ничего не говорил.

— Догадался. Знаешь, мне лучше уйти.

— Да,— мгновенно откликнулась Бригитта,— лучше уйти.

Я взглянул на нее,— сказать, что ли, пару ласковых? — но ее тело лишало дара речи. Возможно, я уже достаточно наговорил. Возможно, я даже был невежлив: как-никак, в задних зубах у меня застряли кусочки дядюшкиной ветчины. Возможно, я был неблагодарным.

¹ От латинского *universum* (мировое целое).

— Мне до дома добраться целое дело,— сказал я Роуперу.

— Мне казалось, ты живешь в Престоне.

— От Престона до моего городка еще ехать на автобусе, так что надо успеть хотя бы на последний.

— Что ж поделаешь,— уныло произнес Роупер.— Я очень рад, что мы увиделись. Непременно приезжай еще.

Я взглянул на Бригитту: может быть, она подтвердит слова мужа улыбкой, кивком или словом? Нет, Бригитта сидела с каменным лицом. Я сказал:

— Danke schön, grädige Frau. Ich habe sehr gut gegessen¹,— и зачем-то по-идиотски добавил: — Alles, alles über Deutschland².— На ее глаза навернулись гневные слезы. Я вышел, не дожидаясь, пока меня выставят. Трясаясь в автобусе, я представлял себе, как под белой хлопчатобумажной блузкой Бригитты мерно вздымается огромная, будто у Urmutter³, грудь. Вот Роупер расстегивает пуговицу, и я слышу катехизический диалог: «Кто был виновен?» — «Англия... Англия...» (*Дыхание учащается.*) То же самое, но быстрее, еще раз, еще — до тех пор, пока Бригитте не надоедает катехизис. Я представляю себя на месте Роупера. Конечно, сжимая эту восхитительно-упругую, громадную тевтонскую грудь, я тоже, тяжело дыша, начинаю поносить Англию, готов обвинить собственную мать в развязывании войны и перед тем, как войти, приговариваю, что через газовые камеры прошло слишком мало евреев. Но вот все стихает, и я беру свои слова назад — совсем не в посткоитальной апатии: я начинаю ее обвинять, кричу, что она развратная сука. Желанная сука. И все начинается снова.

Сэр, для Роупера это оказалось одним из главных событий в жизни. Я говорю о его посещении лагеря смерти, где он впервые увидел подлинное зло — не сладострастно обсосанное зло из воскресной газетенки, а зло воняющее и осязаемое. Храия верность научному рационализму, он отбросил единственную систему, способную объяснить увиденное, — я говорю о католичестве; оказавшись перед иррациональной пустотой, он погрузился (буквально!) в первую попавшуюся логически непроти-

¹ Большое спасибо, сударыня. Все было очень вкусно (*нем.*).

² Все, все превышает Германию (*нем.*).

³ Праматерь (*нем.*).

воречивую систему обвинений. Было еще одно письмо, о котором я пока не упоминал,— ответ на мое, где я советовал Роуперу приударить за немецкими женщинами.

Роупер писал: «Я пробовал то, о чем ты пишешь. Станным образом это напоминало мне, как мы когда-то ходили на исповедь (верующий скажет, что я богохульствую). Я встретил ее в пивнушке. Она пришла туда с каким-то немцем. Я был слегка пьян и поэтому вел себя развязнее, чем обычно. Спутник, по-видимому, был ее братом. Я несколько раз угостил ее пивом и подарил три пачки сигарет. Короче, не успел я понять, что происходит, как мы уже валялись на каком-то газоне. Был чудесный вечер, она то и дело повторяла: «Mondschein»¹. Идеальная обстановка для того, что зовется «ЛЮБОВЬЮ». Но когда при свете луны показалось ее обнаженное тело, мне вдруг вспомнились другие тела — голых лагерных полутрупов. Да, выглядели они иначе! Я яростно набросился на нее, и, пока мы занимались любовью, ненависть к ней доходила почти до крика. Но ей, похоже, это нравилось. Она кричала: «Wieder, wieder, wieder!»². Мне казалось, что я причиняю ей зло, что я насирую, нет, хуже — развращаю; она же наслаждалась тем, что было, как я думал, ненавистью, а оказалось наслаждением и для меня самого. Я себе противен, я готов убить себя, я сгораю от стыда».

За день до того, как пришло это письмо, я получил от Роупера телеграмму: УНИЧТОЖЬ ПИСЬМО НЕ ЧИТАЯ ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА ВСЕ ОБЪЯСНЮ. Но никаких объяснений не последовало. Вместо этого он пытался искупить грех перед женщиной, которая тогда под луной кричала «Wieder!». Скорее даже перед девушкой, а не женщиной. Ведь Бригитта была еще совсем юной.

4

До следующей нашей встречи с Роупером прошло достаточно много времени — достаточно, чтобы забыть копченую семгу, ветчинный гробик дядюшки Отто и неприветливость его племянницы. Роупер, перевыполнив предсказанное женой, получил настоящую докторскую

¹ Лунный свет (нем.).

² Еще, еще, еще! (нем.)

степень, а не ту, что была у подохшего сукина сына и недоучки Геббельса. Роупер мне позвонил и во время разговора так жарко дышал в трубку, словно перед ним была одна из эрогенных зон Бригитты. Он сказал, что есть срочное дело. Нужна моя помощь, совет. Я догадывался, в чем дело: «Wieder, wieder, wieder». Вот тебе и Mondschein! Я предложил встретиться на следующий вечер в небольшом немецком ресторанчике в Сохо — раз уж он так любит все немецкое. Там доктор Роупер — восходящая звезда среди британских разработчиков дешевого ракетного топлива — совершенно захмелел от игристого рейнвейна и, скуля, стал изливать мне душу. Жена ему изменяет, но он ее тем не менее любит, он дал ей все, на что любая порядочная женщина...

— Скажи толком, что стряслось.

В моем пьяном голосе сквозили нотки удовлетворения. Я это чувствовал, но ничего не мог с собой поделать.

— Я застал его у нас дома, когда пришел однажды вечером, красномордая громила немецкая, без пальто, в расстегнутой рубашке, вся грудь в белесых волосах, расселся с ногами на диване и пьет пиво из банки, я зашел, а он, смотрю, и в ус не дует, ухмыльнулся только. И она ухмыльнулась.

— В ус не дует... Надо было его вздуть хорошенько и вышвырнуть вон.

— Он профессиональный борец.

— Тогда другое дело.— Я представил себе, как Роупер висит на канатах, оплетенный, как в детской игре «в веревочку», похожий на замотанное распятие.—Откуда он взялся?

— Нам пришлось купить дом в довольно мерзком районе, ведь в Лондоне сейчас в приличном месте жилья не найдешь, однако...

— Вы уже давно в Лондоне?

— Конечно.— Он посмотрел на меня так, словно о его переезде в Лондон трубили все газеты.— Словом, были сложности, но Университет мне помог. Уж очень нам надоело жить в квартире; Бригитте хотелось, чтобы дома она, как настоящая Englische Dame¹, поднималась и спускалась по лестнице.

— При чем тут борец?

— Однажды мы зашли в Ислингтоне в пивную и увидели эту сивую гориллу, которая изъяснялась на англий-

¹ Английская дама (нем.).

ском с сильным немецким акцентом. Бригитта сразу заговорила с ним о Heimweh, так у них называется ностальгия. Бедняжка истосковалась по Германии, по немецкому языку, а он к тому же, как выяснилось, родился в тридцати километрах от Эльмсхорна. Так вот мы и встретились. У него тут какой-то контракт на выступление. Жаловался, что ему здесь очень одиноко. На вид — настоящий громила.

— Что ж ты хочешь — борец...

— Видел бы ты его мерзкую рожу! Тем не менее мы отправились к нам ужинать. — Роупер, очевидно, полагал, что людей непривлекательных никуда приглашать не следует. — И ужасно, ну просто непроходимо туп, а на морде — сияющая улыбка.

— Немудрено, после такого-то ужина!

— Нет, у него все время рот до ушей. — Кажется, сарказм и ирония доходили теперь до Роупера не лучше, чем до его жены. — И жрет как лошадь. Бригитта не успевала подкладывать ему хлеб.

— Словом, Бригитте он приглянулся

Роупера затрясло

— Приглянулся! Хорошо сказано! Однажды я пришел с работы поздно вечером, усталый и — сказать себе, что я увидел?

— Скажи.

— Увидел их в постели, — почти выкрикнул Роупер.

Руки у него нервно задергались, он схватил рюмку и опрокинул в себя тряско-искристый рейнвейн. Тяжело вздохнул и громко — привлекая внимание соседей — повторил:

— Да, да, в постели. Все его вонючие мускулы так и ходили — с наслаждением ходили, — а она под ним орала: «Schnell, schnell, schnell!»¹

Одинокий немец-официант бросился было на зов Роупера, но я остановил его жестом и, взглянув на Роупера, протянул:

— Вот тебе на...

— Вот именно на... Даже этот ублюдок понимал, что участвует в чем-то мерзком и против обыкновения не ухмылялся. Схватив одежду, он полуголый выскочил из квартиры. Казалось, он ждал, чтоб я его хорошенько треснул.

¹ Быстро, быстро, быстро! (нем.).

— Вот и надо было,— посоветовал я (надо сказать, не слишком обдуманно).— Что ж, значит, отмучился... Я, кстати, с самого начала был уверен, что из вашего брака ничего не получится.

Роупер облизнул губы. Чувствовалось, что его волнение во многом объясняется чувством стыда.

— Тем не менее получилось,— пробормотал Роупер.— Конечно, я ее не сразу простил... Но, понимаешь, когда я увидел их в постели... Я хочу, чтобы ты меня правильно понял... Это как бы придало нашей семейной жизни совершенно новый характер.

Я его правильно понял. Ужасно, конечно, но жизнь есть жизнь. И семейная тоже.

— Ты хочешь сказать, что, хотя ты пришел домой усталый, вы все-таки...

— Да, и она чувствовала себя виноватой.

— Неужели? Признаться, если бы я застал свою жену...

— Тебе этого не понять.— В пьяном голосе Роупера на мгновение послышались довольные нотки.— Ты не женат.

— Ну, хорошо. Так что все-таки тебя беспокоит?

— Вообще-то это длилось недолго,— пробормотал Роупер.— Пойми, я допоздна работал, недоедал. Консервы вызывали у меня расстройство желудка.

— Консервы были не так уж плохи.

— Да, конечно.

Между тем нам подали Kalbsbraten¹ и Obsttorte². Роупер был в полном отчаянии. Словно собирая силы перед окончательным поражением, он опустошил свои тарелки и машинально принял за мои.

— Оказалось, что я слабак, оказалось, что со мной можно спать только в прямом смысле слова. Оказалось, это я организовал еврейский заговор, в результате которого погибла Германия.

— Она совершенно права. Как-никак, ты был «бриганским союзником».

— Но я осознал свою вину,— безнадежно проговорил Роупер.— Она это знала. Однако спустя некоторое время сивая горилла появилась снова.

— Значит, какой-то перерыв все-таки был?

¹ Жареная телятина (нем.).

² Фруктовый торт (нем.).

— Он ездил бороться на континент. Но теперь вернулся и выступает в лондонских предместьях.

— Он был у вас дома?

— Да, приходил ужинать. Ничего больше. Но я не знаю, что происходит по утрам.

— Так тебе, идиоту, и надо. Простил ее — вот и получай.

— Меня он больше не стесняется. С улыбочкой достает себе пиво из нашего холодильника. Она зовет его Вилли. А на ковер он выходит под именем Вурцель. На афишах написано «Wurzel der Westdeutsche Teufel».

— Значит — любого отутюжит.

— Нет, это значит «Вурцель — западногерманский дьявол».

— Знаю, знаю. Но чем я могу тебе помочь? Не понимаю, в чем заключается моя роль. — И вдруг (непростительно поздно для профессионала) я наострил уши. — Ты когда-нибудь говорил с Бригиттой о своей работе? Она знает, чем ты занимаешься?

— Понятия не имеет.

— И никогда не интересовалась?

Роупер немного подумал.

— Ну, разве что в самых общих чертах. Она вообще не слишком хорошо понимает, чем занимаются ученые. Из-за войны Бригитта не смогла даже закончить школу.

— Ты приносишь какие-нибудь документы домой?

— Видишь ли... — Роупер слегка смутился. — Они у меня заперты, но даже если бы она до них добралась, то ничего бы не поняла.

— Святая наивность. Скажи, у нее есть родственники или друзья в Восточной Германии?

— Насколько мне известно, нет. Послушай, она не шпионка, это совершенно исключено. Поверь мне, причина всего, что происходит, только одна — секс.

Итак, все та же мерзкая похоть. Роупер скривил рот и из него — словно из горгульи * — послышался жалобный стон.

— Я не виноват, что прихожу вечером такой усталый.

— А в воскресенье утром?

— Я поздно просыпаюсь. Бригитта встает на несколько часов раньше.

В его глазах блеснули слезы, и я решил, что надо уходить, пока не появилась злобная толстая хозяйка ресторана. Улыбнувшись про себя, я припомнил проповеди от-

ца Берна в дортуаре. Затем оплатил счет, оставил на столе сдачу и, поддерживая Роупера под левый локоть, вышел из зала.

— Конечно, я могу заняться этим профессионально. Могу установить за ними наблюдение, и, если тебе понадобятся доказательства для бракоразводного процесса...

— Я не хочу развода. Я хочу, чтобы все было, как прежде. Я люблю ее.

Мы шли по Дин-стрит в направлении Шафтсбери-авеню.

— Когда-то,— сказал я,— ты не признавал никаких авторитетов, ты был независим и, подобно людям эпохи Возрождения, стучался во все двери. А теперь хочется опереться на что-нибудь. Точнее, на кого-нибудь.

— Это удел каждого. А тогда я был еще слишком молод и неопытен.

— Почему бы тебе не вернуться в лоно церкви?

— Ты сошел с ума. Человек должен двигаться вперед, а не назад. Писание — это сплошной вздор. Ты, мерзавец, знаешь об этом лучше меня.— Несмотря на свое южное происхождение, мы крепко усвоили брадкастерскую манеру общения.— Небось сам-то забыл уже, когда расплевался с релнгией!

— Не забыл: когда стал работать там, где работаю сейчас. Это всего лишь вопрос благонадежности. В моем досье указано «англиканец». Так безопасней. Ни к чему не обязывает. Никого не оскорбляет. Ты не поверишь, в Департаменте даже проводятся ежегодные религиозные празднества. Как ни крути, но папа все-таки иностранец.

— Врежь ему хорошенько,— воскликнул Роупер, имея в виду, конечно, не папу.— Проучи его. Тебя же учили приемам рукопашного боя, дзюдо и всему такому. Выбей зубы этой сивой свинье.

— На глазах у Бригитты? Не думаю, что после этого она будет испытывать к тебе особую нежность. Если помнишь, она уже при знакомстве назвала меня «неприятелем».

— Тогда подкарауль его одного. Ночью. Где-нибудь на улице или возле его дома.

— Не понимаю, какой урок должна извлечь из этого Бригитта — истинный объект наших стараний. Господи, по-моему, мы снова затеваем войну.

Мы подошли к метро на площади. Пиккадилли. Роупер остановился посреди тротуара и расплакался. В об-

ращенных на него взглядах молодых людей не было обычной в таких случаях презрительной усмешки — скорее, сострадание. Новое поколение — новые понятия о половых приличиях. Для нас же с Роупером ничего не изменилось: все, что касалось пола, по-прежнему оставалось «мерзким». Успокоив Роупера, я взял у него адрес, и бедняга заковылял в метро с таким лицом, словно спускался в ад.

Просьбу Роупера я выполнять не собирался, у меня был собственный план действий. Как Вы помните, сэр, в то время я все еще считался в Департаменте чем-то вроде стажера. Для тренировки мне было позволено — правда, не Вами, а майором Гудриджем — вести наблюдение за Бригиттой Роупер, урожденной Вайдегруд, и этим самым Вурцелем. Меня, кажется, даже похвалили за инициативу. Каждый день после нашей встречи в Сохо я приходил к дому Роупера, который находился неподалеку от Ислингтон-Хай-стрит. Дом был мрачный, закопченный, с немытыми окнами (мойщики окон, должно быть, считали ниже своего достоинства появляться в этом районе). Вдоль улицы угрюмыми часовыми стояли ободранные мусорные баки. На одном конце улицы находился молочный магазин, перед которым выстраивались запотевшие молочные бутылки, на другом конце — лавка, торгующая скабрёзными журнальчиками. Жили здесь преимущественно рабочие, поэтому днем улица была пустынной, если не считать женщин, иногда выходящих в бигуди и шлепанцах за покупками. Вести наблюдение оказалось делом нелегким. Но, к счастью, продолжалось оно недолго — Вурцель появился на третий день. Крепко сбитый, безобразный, самоуверенный, одетый в выдавший виды синий костюм. Он постучался, пошвыстывая, взглянул на небо, не сомневаясь, что его с нетерпением дожидаются. Дверь приоткрылась, но Бригитта не выглянула. Вурцель вошел. Я немного прогулялся — ровно столько, чтобы выкурить бразильскую сигару, затем выплюнул огрызок и постучал в дверь. Потом еще раз. И еще. Босые пятки зашлепали вниз по лестнице. Из прорези для почты послышался голос Бригитты, еще не успевшей переключиться на английский: «Ja? Was ist's?»¹

— Заказная бандероль, миссис, — сказал я по-пролетарски грубовато.

¹ Кто? Что случилось? (нем.).

Дверь чуть приоткрылась, но мне этого было достаточно — я ввалился, преодолевая едва ощутимое сопротивление ее пышной тевтонской груди (но не глядя на нее, не поворачиваясь в ее сторону), и, сопровождаемый криками Бригитты, бросился вверх по лестнице. Сверху послышался ответный крик — удивленный и слегка настороженный. Похоже на переключку в Альпах! По крикам и табачному запаху я сразу определил, где располагалась спальня. Бедный Роупер: лестничная площадка была усыпана скинутыми с полок книгами! Бригитта уже почти дышала мне в затылок. Я влетел в спальню, бросился в дальний угол и лишь после этого повернулся к ним лицом. Стоявшая в дверях Бригитта, которая успела накинуть на себя лишь аляповатый халатик, сразу узнала «неприятеля». Я взглянул на кровать: там валялось обнаженное, как Ной *, огромное тупое животное. Совершенно очевидно, что занимались здесь отнюдь не шпионажем. Но все-таки, кто может поручиться?

— Выметайся отсюда, свинья! — рявкнул я. — Вон! Быстро, пока я не вышвырнул тебя в таком виде на улицу!

Он увидел, что перед ним не муж. Балансируя как на трамплине, он выпрямился во весь рост и — голый до неприличия, с покачивающейся маленькой мошонкой — двинулся по кровати на меня. По-горильи раскинув жирные руки, Вурцель угрожающе зарычал. Видимо, он собирался, добравшись до края кровати, прыгнуть на меня, однако я стоял слишком далеко. И тут ублюдоком поманил меня пальцем, словно мы с ним находились на ковре и вот-вот послышится рев и свист толпы. Мне сразу стало ясно, что все, на что он способен, — это побеждать в купленных схватках, делая эффектные броски через плечо, вертушки, ножницы на голову и подсады голеню. О настоящих бросках он и понятия не имел. Шестерка! Тут тебе не в поддавки играть! Здесь публику за нос не водишь! Я-то уж кое-что понимал в профессиональной борьбе.

Он спрыгнул с кровати — на тумбочке, в свою очередь, подпрыгнули кувшины и кружки Бригитты. Господи, только сейчас я заметил на стене групповую фотографию шестого класса колледжа Св. Августина. Мы с Роупером стоим в обнимку, рядом улыбающийся, позабывший на время о «мерзкой похоти» отец Берн. Между тем Вурцель приближался, с театральной свирепостью скаля гнилые

зубы. Эх, жаль, комната тесновата... Вурцель полагал, что противник уже психологически сломлен, и никак не ожидал моего неожиданного удара головой в диафрагму. Руки у него были широко раскинуты, так что я ему не позавидовал. Он удивленно отпрянул, когда я резко провел с колена захват левой ноги. Вурцель хотел ианести мне удар в затылок, но я был к этому готов. Навалившись всем телом, я опрокинул задыхающегося мясистого противника на спину и, бросившись на него, точно на необъятное меховое ложе, хорошенько придавил негодя в позе выставленного напоказ Марса*. Он попытался высвободиться, но я держал его крепко и к тому же сразу успокоил своим коронным — ребром ладони по горлу: *einmal, zweimal, dreimal*¹. Вообще-то Бригитта должна была бы сейчас колошматить меня по голове туплей или еще чем-нибудь, но я видел, что ее обнаженная ножка неподвижно застыла у двери.

— *Genug?*² — спросил я у Вурцеля.

Он прохрипел нечто, отдаленно напоминавшее «*genug*», но мне казалось, что ответ следует несколько уточнить. Обмякшие, некогда мускулистые руки Вурцеля служили сейчас разве что украшением. Я от души заехал ему в левое ухо. Мерзавец взвыл, но тут же закашлялся. Легким прыжком я вскочил со своей живой, хорошенько продавленной перины, Вурцель тоже поднялся и двинулся на меня, сопровождая наступление кашлем и надсадным «*Scheiss*»³-вариациями. Я схватил с тумбочки маникюрные ножницы Бригитты и — кружась и куражась — стал делать выпады и уколы.

— *Genug?* — спросил я снова.

Вурцель пытался отдышаться в промежутках между приступами кашля. С опаской поглядывая на меня, он сказал:

— Я пошел. Но я хочу возвращать деньги.

А, так мы еще и деньги берем!

— Отдай, — приказал я Бригитте.

Она вытащила из кармана несколько бумажек. Вурцель выхватил их и сплюнул. Я взял с тумбочки еще более действенное оружие — маникюрную пилку с заточенным концом и сказал:

— Минута на одевание и чтоб духу твоего здесь не было.

¹ Раз, еще раз и третий раз (нем.).

² Хватит? (нем.)

³ Дерьмо (нем.).

Я принялся отсчитывать секунды. Вурцель оказался расторопным. Даже ботинки не зашнуровал.

— И если герр доктор еще хоть раз на тебя пожалуется...

Тут я заметил, что глаза Бригитты устремлены не на Вурцеля, а на меня. Она даже не попрощалась с ним, пока я с ворчанием выпроваживал его из комнаты пинками под зад. На лестничной площадке Вурцелю попались на глаза книги Роупера, и он мстительно шаркнул кулаком по верхней полке, отчего еще несколько книг грохнулось на пол.

— Грязная свинья! Недоумок поганый! — Я пнул по здоровущей заднице. — Может, запалим костерок? Чтоб ни одной книги не осталось?

Он, обернувшись, зарычал, и пришлось не мешкая отправить его вниз по неосвещенной лестнице. По пути Вурцель сбил висевшую на стене картинку (крепившуюся не шурупами, а неумело вбитыми гвоздями). Старомодная одноцветная гравюра изображала Зигфрида, который размахивал Нотунгом * и орал нечто героическое. Я рассвирепел. Кто они такие, чтобы считать Вагнера своим? Вагнер мой! Я помог Вурцелю преодолеть оставшиеся ступеньки, после чего позволил ему самостоятельно добраться до наружной двери. Отворив ее, он обернулся и разнул пасть, чтобы напоследок измазать меня в дерьме, но, увидев мой угрожающий жест, выскочил на улицу.

Все это время я оставался в верхней одежде. Поднимаясь по лестнице, я скинул плащ и пиджак, а, переступая порог спальни — на этот раз с новыми (впрочем, не слишком) намерениями, — уже стягивал галстук. Как я и предполагал, обнаженная Бригитта ждала меня в постели. Мгновение спустя я был при ней. Все произошло безо всяких затей, однако основательно и ко взаимному удовлетворению. Снова я вступал в Германию победителем, снова кошмар сменялся земными радостями. Ей не требовалась нежность, она привыкла быть жертвой — матери, Вурцеля, моей. Трижды возобновлял я свое победное шествие. Стало темно, и она заговорила со мной на немецком, языке тьмы. Не приготовить ли мне чаю, не хочу ли я шнапса? Я спросил:

— Ты всегда брала с него деньги? Наверное, я тоже что-нибудь должен?

— Сегодня — нет. Но если ты придешь еще раз...

Затягиваясь поочередно, мы выкурили мою любимую сигару.

— Ты должна развестись, — сказал я. — У нас такие вещи не приняты. Возвращайся в Германию. Там на каждом шагу прекрасные новенькие *Dirnenwohnheime*¹. В Дюссельдорфе. В Штутгарте. Дома тебе понравится. Заработает кучу денег. А беднягу Эдвина оставь в покое.

— Я и сама об этом думала. Но все-таки в Лондоне лучше. И достаточно небольшой квартирке, не нужен мне *Dirnenwohnheim*.

Она мелодраматично поежилась — было темно, но я это почувствовал. В темноте над кроватью мы с Роупером, обнявшись, смотрели в будущее: отец Берн улыбался, лицедействуя на свету, в сумерках, во тьме. Что ж, на месте Бригитты я бы тоже предпочел квартиру с пуделем в тихом, грешном Лондоне какому-нибудь шумному гарнизонному борделю в Германии.

— У тебя есть деньги? — спросил я.

— Да, немного... Но если я разведусь, меня вышлют из страны.

— Попробуй что-нибудь придумать. Но, как бы то ни было, из его жизни ты должна исчезнуть. Роуперу надо продолжать исследования — это очень важно.

Поглаживая правой рукой ее правую грудь (сосок уже начал оживать), я чувствовал себя настоящим другом и патриотом.

— Каждый из нас, — добавил я нравоучительно, — обязан выполнять свой долг.

Сигара потухла, но я не потянулся за спичками. Прежде всего нужно было обезопасить Роупера и британскую науку. Я ощутил в себе прилив великодушия.

— Будем считать это, — сказал я, поворачиваясь к Бригитте, — моим следующим визитом.

5

Имел ли я право давать ей совет, которому она вскоре последовала? Бригитту я больше не видел, хотя при наличии времени и желания прогуляться по Сохо или Ноттинг-хилл без труда мог бы продолжить наблюдение за

¹ Бордели (нем.).

дамочкой, кокетливо прогуливавшей собачонку. Я позвонил Роуперу и рассказал, как намял бока «западногерманскому дьяволу». Тот был в восторге. Он полагал, что если исчезнет этот, как его называла Бригитта, *Nausfreund*¹, то брак еще можно спасти. Они с Бригиттой ни разу не обсуждали, как Вурцель моими стараниями проехал задницей по лестнице — что проехало, то проехало. Бригитта стала терпимее, нежнее (верный признак решимости прислушаться к моему совету), она не стала (тоже верный признак) выдумывать душераздирающих историй о том, как ее изнасиловал ближайший приятель или, если угодно, «неприятель» мужа (смотри: вон огрызок его второпях затушенной сигары!). Однако спустя неделю Роупер появился у меня дома. Я это предвидел. Каждый вечер, слушая «Мейстерзингеров»*, я ожидал его прихода. Звонки раздались как раз в начале третьего акта — звучал монолог Ханса Сакса о сумасшедшем мире: «*Wahn, Wahn...*»².

— Догадываюсь, в чем дело, — сказал я. — Снова занялась тем же, чем занималась еще в Германии?

— Явных доказательств нет. — Роупер шмыгнул носом и так сжал стакан с виски, словно собирался его раздавить. — Бедняжка...

— Бедняжка?

— Сирота... — Ну, начинается! — Жертва войны... Во всем виноваты мы.

— Кто? В чем?

— В неуверенности. В ненадежности. В гибели всего, что она считала своим. Я говорю о Германии. Бригитта совершенно потеряна, сама не знает чего хочет.

— Ой ли! То, что она не хочет тебя — это точно. Да и ублюдка Вурцеля она не слишком хотела. А хочет она заниматься тем делом, к которому чувствует призвание.

— Она хочет быть независимой, — сказал Роупер, — Бригитта не уверена в себе. Она все время говорит, что хочет зарабатывать, но что она может — без профессии, без образования? Мерзкая война!

Мерзкая... Что-то знакомое.

— Роупер, ты просто прелесть. Нет, это невероятно! Бригитта — обыкновенная проститутка. Она хочет этим зарабатывать — и слава Богу! Забудь ты о ней, займись работой. А почувствуешь себя одиноко, заходи ко мне.

¹ Друг дома (нем.).

² Ослепление (нем.).

Отправимся в какую-нибудь забегаловку и хорошенько напьемся.

— Напьемся,— хрипло сказал Роупер.— Пьяные звери, вот мы кто. Поджигатели войны, насильники, пьяные звери. Но,— после большого глотка, который он только что сделал, что прозвучало, как запоздалый тост,— я надеюсь, она еще вернется. Я буду ждать. Она возвратится в слезах, истосковавшись по дому.

— Ты должен развестись. Найми частного детектива. Рано или поздно он ее отыщет. Появятся доказательства. Вас мгновенно разведут.

Роупер отрицательно покачал головой.

— Я не разведусь,— сказал он.— Это будет окончательным предательством. Женщины совсем не такие, как мы. Они нуждаются в защите от могучих разрушительных сил.

Я мрачно кивал. Роупер спутал Бригитту с Девой Марией (которую все мы в колледже называли BVM *, словно она была шпионкой или автомобильной компанией), с Гретхен из гётевского «Фауста». Я сказал: «Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan»¹, но Роупер не узнал цитаты.

Что мне следовало предвидеть, сэр, так это то, что Роупер окажется в огромной пустой яме, где не во что верить и не на что надеяться. Не на что? А как же его работа? В том-то и дело, что, хотя Роупер действительно был поглощен исследованиями, которыми деликатно, но твердо руководил профессор Дакуэрт, какие-то области его мозга так и остались незаполненными. Мозга? Может быть, сердца, души или еще чего-то? Конечно, вину за неверность Бригитты можно возложить на Англию, но — и это существенно — почему тогда не на всю Западную Европу или не на Германию, которая не была для Бригитты таким уж уютным гнездышком? Но одними упреками в адрес иррационального прошлого не проживешь. Нужно нечто позитивное. Иррациональная часть нашего «я» должна быть заполнена чем-то безобидным (жена с вязанием у телевизора), чтобы рациональная часть могла преследовать то, что мы — возможно, по недомыслию — называем высокими жизненными целями. Здесь, по существу, и заключена опасность для ученого, воспитанного в бескомпромиссной, всепоглоща-

¹ «Вечная женственность тянет нас вверх» (нем.— заключительная строка «Фауста»).

ющей вере. К двадцати годам он усваивает скептический рационализм (столь благотворный для вступающего в жизнь) и уже не сомневается в том, что Адам и Ева, пресуществление * и Страшный Суд — пустая болтовня. И, увы, слишком поздно он начинает осознавать, что важны не догматы, а желание и способность воспринимать зло серьезно, стремление его понять. Сверхприрода не терпит сверхпустоты. Вернувшись с курсов, на которые Вы, сэр, отправили меня освежить в памяти сербохорватский, я с радостью обнаружил, что Роупер ведет нормальную, размеренную, приличную жизнь, не отличающуюся от жизни британского среднего класса. Как-то вечером я решил узнать, как у него дела, и, позвонив, сразу определил по голосу Роупера, что в тот день он не отказывал себе в пиве. Из глубины квартиры долетали звуки разумно дозированного веселья. Роупер сказал, что у него небольшая вечеринка. Я должен немедленно приехать и познакомиться с его друзьями. А как поживает Бригитта? Кто? Ах, Бригитта. Понятия не имею.

— Приезжай! — воскликнул Роупер. — Я вступил в лейбористскую партию.

— Ты вступил...

Отбой. Роупер вступил... Вот так нечаянная радость. Страны НАТО снова могут спать спокойно. Кто может быть безопасней Роупера, вступившего в партию, из которой формируется правительство Ее Величества или оппозиция? Все, конец тошнотворным покаяниям, больше не придется, тяжело дыша, клясться, что Бога-нет-раз-Он-не-наказал-Англию, когда, сжимая в каждой руке разгоряченную Бригитту, погружаешь раскаленную ложку в восхитительный кувшин с медом. Я решил поехать. Эркер сверкает, веселье в разгаре. Дверь открыла какая-то брюнетка. Холл хорошо освещен: тонковата, бледновата, одета без выкрутасов — твидовая юбка, желтый джемпер.

— А, вы, наверное...

В холле появился Роупер.

— Приехал наконец!

Его взъерошенные, торчащие во все стороны волосы напоминали шевелюры первых рабочих лидеров. Роупер попросил прощения за запах клея: гостиную со столовой он соединил лишь пару дней назад. А вот и друзья: Бренда Каннинг, позвякивающая дешевым браслетом рыжая хохотушка в отсвечивающих очках; застенчивый Шоу,

работает вместе с Роупером; Питер — нет, извиняюсь — Пол Янгхазбанд, бренчащий на гитаре толстяк, приветливо улыбается; Джереми Кавур, высокий, с трубкой, волосы густые, с проседью, слева пробор. Прочие.

— Это, скорее, не вечеринка, — сказал Роупер, — а рабочее собрание нашей группы.

На столе сыр, хлеб, банка маринованных огурцов и несколько бутылок светлого пива.

— Над чем вы работаете? — спросил я.

— Мы говорили о том, что нам, ученым, следует сообща написать нечто на тему «Социализм и наука». Мы еще не сошлись в названии, правда, Люси? — Люси оказалась впустившей меня брюнеткой, которую он не представил, видимо, полагая, что фактически мы уже знакомы и не нуждаемся в дополнительных формальностях. Эта самая Люси стояла рядом с Роупером и, как мне показалось, слегка прижималась к нему бедром. «Ага, значит, не просто друзья», — подумал я. Посмотрев на Люси внимательнее, я нашел, что она не так уж плоха: широкий рот (благородство), просвет между зубами (чувственность), узкие глаза (проницательность), высокие брови. Изящная, с приятным южно-лондонским выговором. Славная девочка, но куда ей до Праматери, до грубочувственной Бригитты! Дома было прибрано, и впустила меня именно Люси.

— Принести вам пива? — спросила она. — Ничего другого у нас, по-моему, нет.

Я отметил «у нас» и сказал:

— Да, и если можно, в кружке.

Заметив, что Роупер смутился, я воскликнул:

— Какой я болван! Конечно, у тебя не осталось ни одной кружки. Stein¹! Что ж, время собирать камни.

Из угла комнаты тотчас отозвался тщедушный, ученого вида человек с кругами под глазами:

— Не осталось камня на камне! Бедняжка Гертруда...*

Толстяк с гитарой (Питер? Пол?) тотчас выдал дурацкую импровизацию на мотив «собачьего вальса»:

— Einstein, и Weinstein, и Kleinstein, и Schweinstein, и Meinstein, и Deinstein, и Seinstein, и Rheinstein².

¹ Пивная кружка (англ.), камень (нем.).

² Набор бессмысленных, рифмующихся между собой слов, первые части которых переводятся соответственно, как «один», «вино», «маленький», «свинья», «мой», «твой», «его», «Рейн» (нем.).

Роупер посмотрел на меня с довольной улыбкой: какие у него теперь остроумные и образованные друзья! Всем этим молодым ученым было уже за тридцать, но от вечеринки им требовалось не больше, чем школьникам, — легкого пива и пения под гитару. Мне тоже принесли легкого пива. Я поблагодарил Люси. «Винни, а тебе что принести?» — спросила она у Роупера. Ах, значит, все-таки есть выбор? А говорила, что у них только пиво. «Стаканчик лимонада», — сказал Роупер. Хорошо хоть, что потерю Бригитты не заливают спиртным. Или заливает? Может быть, Люси как раз за ним и присматривает? Люси ушла на кухню.

— Она называет тебя Винни? — спросил я у Роупера.

— Это уменьшительное от Эдвин.

— Сказал бы раньше, а то двадцать лет мучаюсь, Эдвином тебя называю!

— Неужели двадцать? Как летит время!

— Ты что-нибудь предпринял для развода?

— Ничего не требуется. Мы живем порознь уже три года. Сейчас бы та история не повторилась. Гераклита читал? Все течет. Дважды в одну и ту же реку не войти. А жаль. Очень жаль. Бедная девочка. — Предвидя надвигающуюся *Weltschmerz*¹, я его перебил:

— А как насчет этой девочки?

— Люси? Люси — моя опора. Настоящий друг, но не больше. Иногда мы вместе ходим в какой-нибудь ресторанчик, но, бывает, она и дома для меня что-нибудь приготовит. Она страшно умная.

— Как я понял, последнее качество совершенно необходимо в кулинарии.

— Делает для нас расчеты на компьютере. Правда, Люси? — улыбаясь, спросил Роупер, беря у нее лимонад. — Подтверди, что на компьютере.

— Да, — сказала Люси.

Видно было, как ей хотелось, чтобы Роупер определил характер их отношений не только как профессиональный.

— Вы член нашей партии? — спросила меня Люси.

— Я, конечно, придерживаюсь прогрессивных взглядов. Не сомневаюсь, что богатых надо хорошенько потрясти. Но вместе с тем я не сомневаюсь в первородном грехе.

— Эх, старина Хильер, — усмехнулся Роупер, — ты по-прежнему веришь в эти байки.

¹ Мировая скорбь (нем.).

— Моя вера не имеет отношения к отцу Берну. Простая жизнь убеждает меня, что люди обычно выбирают худший путь, а не лучший. Теологический термин я использую просто для обозначения тяги к лучшему.

— Все зависит от окружения. От воспитания.

Роупер хотел еще что-то добавить, но Люси ему не позволила.

— Гости хотят петь,— сказала она.— А вообще-то пора приниматься за дело.

Услышав о «деле», Роупер мгновенно стал серьезным и значительным.

— У нас тут небольшое обсуждение,— пояснил он.— Бренда стенографирует основные предложения. Оставайся, вдруг ты сможешь предложить что-нибудь интересное. Все-таки со стороны виднее. Кажется, члены нашей группы все больше становятся похожими друг на друга. Я имею в виду образ мыслей. Только, пожалуйста,— Роупер улыбнулся,— никаких рассуждений о первородном грехе.

Началось обсуждение (совсем как в школе: предельная откровенность, споры о смысле жизни), и я прислушался, не заинтересует ли оно меня профессионально? Но нет, рассуждения о месте науки и технологии в прогрессивном обществе были вне подозрений. Теперь Британии от социализма не отвертеться, какая бы партия ни пришла к власти. Члены группы обсуждали серию статей, в которых разрабатывалось кредо ученого-социалиста. А написать их, по-видимому, поручалось Кавуру (тому, что с трубкой): именно он, поминутно экая в поисках *mot juste*¹ и исправляя грамматические неточности, облакал каждое положение в тяжеловесно-литературную форму.

— Получилось у меня вот что,— сказал он.— Мы провозглашаем, что, э-э, прошлое мертво и мы стоим, э-э, на пороге будущего. Наши идеи носят характер, э-э, планетарный в противовес, э-э, изжившему себя национальному. В конце концов человечество придет к Всемирному Государству и Всемирной Науке. Э-э...

Бренда записывала за ним, позвякивая браслетиком. Люси сидела в одном из двух кресел с плюшевыми накидками. Роупер — рядом, на подлокотнике. Он был счастлив. Он избавился от чувства вины. Он был безопасен,

¹ Нужного слова (фр.).

сэр. Да и какая опасность могла исходить от Роупера, погруженного в гуманистическую, рациональную философию, которой время от времени Британия обязана своим правительством? «Дело» Роупера (если позволительно применить это слово к тому, что они затеяли) во время долгого правления тори ограничилось бы политической болтовней экстремистского толка, которой и суждено было остаться болтовней в стране, не слишком жаждущей Всемирного Государства и Всемирной Науки. Но следует ли осуждать человека за то, что он логически мыслит? Не знаю, в какой степени Люси — девушка, производившая серьезное впечатление, — ему в этом помогла. Я оказался за пределами Англии задолго до Роупера. Что я хочу сказать, сэр (точнее, что бы я сказал, если бы говорил с Вами), — это то, что не следует обвинять человека, идущего по предначертанному ему пути. Если Вы нуждаетесь в логике Роупера, — а Вы нуждаетесь, и нуждаетесь до сих пор, — то придется Вам с этим смириться. Именно потому я не смогу с чистым сердцем убеждать Роупера вернуться, когда, наконец, увижу его послезавтра вечером. От денег он, разумеется, откажется и правильно сделает. Придется применить ампулу и похитить советского гражданина, на время представив его перепившим британским туристом. И сделаю я это за деньги.

Да, я сделаю это за деньги, за свое выходное пособие (подкупить меня сейчас проще простого), в котором, когда выйду в отставку, буду сильно нуждаться. Если бы не отставка, я бы никогда не стал проделывать такие гнусности со своим другом. Но, как я уже написал Вам в другом, настоящем, письме — отправленном, полученном, обдуманном и отвечаемом, — я уйду в отставку именно из-за того, что смертельно устал от подобных гнусностей. Однако пока я еще в игре, и Вы напоследок смогли воспользоваться моей квалификацией.

Квалификацией, которой я беззастенчиво торгану в предпоследний раз перед тем, как навсегда распрощаться со шпионской карьерой. Вы получили мое короткое, четкое донесение об успешной выдаче Мартинуцци. Подготовленная нами шифрограмма, в которой Мартинуцци упоминался в качестве двойного агента, была, как и предполагалось, перехвачена. Оказавшись в Румынии, Мартинуцци, наверное, ожидал похвал, премий и продвижения по службе. Что он получил, нам известно.

Мартинуцци больше нет. И нет больше в Триесте синьоры Мартинуцци и трех ее малышей, хотя это, конечно, к делу не относится. Взрыв парафиновой плиты в маленьком домике Мартинуцци на Виа делла Барриера Веккиа, в результате которого заживо сгорели мать со старшим ребенком и кошка с котятами, был, разумеется, чистой случайностью. Шпион не должен передоверять судьбе заботу о заложниках — так считал тот, кто разрабатывал эту операцию. Я почувствовал тошноту, меня всего вывернуло в канаву. Мерзко было на душе и оттого, что как раз в это время в городе проходили гастроли английских парней с гитарами — они распевали тошнотворные песенки и наполняли здание Оперы инфантильными визгами. Я читал, что они получают около двух миллионов лир в неделю; Мартинуцци был бы счастлив заработать половину этой суммы за год. Согласен, Мартинуцци — враг, и все-таки, кто, по-вашему, мне ближе? Можете спросить у моей доброй «неприятельницы» Бригитты. На то, чтобы пристроить двух оставшихся сиротами вражеских детей (которым, кстати, требовалась сложная пластическая операция), я выложил несколько миллионов лир из собственного кармана. По натуре я игрок, но игра стала слишком грязной, и я из нее выхожу.

Письма этого Вы не получите, потому что я его не написал. Но, если я доставлю Вам Роупера и, несмотря на хранящиеся у меня под подкладкой письменные заверения, Вы сделаете с ним то, чего я опасаюсь, у меня по крайней мере будет что сказать в его защиту.

Сейчас без двух минут четыре. От полдника я воздержусь и постараюсь поменьше есть вечером. Сатириазу я скажу: «Спокойно, сэръ, спокойно». Послезавтра мне необходимо быть в своей лучшей форме, все-таки это мое последнее задание. А теперь надо вздремнуть. Ваш (впрочем, уже не совсем) Д. Х. (729).

Часть вторая

1

Хильер проснулся весь мокрый, если не считать пересохшего рта. Было ужасно душно. Он лежал на койке в старых серых выходных брюках и зеленой рубашке с корот-

кими рукавами. Брюки липли к телу. Рубашка пропиталась потом. Хильер чувствовал его острый запах. Пробудившийся Адам вдыхает эдемские ароматы; падшего Адама, которому недавно перевалило за сорок, встречается благоухание дня: въевшийся в кожу табачный смрад, едва уловимый дух кисло-сладкой мясной подливки; словно астронавт, вышедший в открытый космос и удалившийся (но не слишком!) от своего корабля, Хильер ощущал исходящий из его собственного рта зловонный запах горелого картофеля и сыромятни. Он встал и мрачно сглотнул слюну. Надо было перед сном включить вентилятор. Включил его сейчас, раздеваясь. Прохладный ветерок развеял остатки только что снявшегося кошмара: орущая толпа хлещет его колючими розами, он ковыляет по круто уходящей в горы дороге, обессилевший, хилый. Хильер, хилый — несомненно, сон был навеян его именем. Огромный рупор, который он тащил, ассоциировался с именем его жертвы — Роупер. Как будто не могли сниться другие имена!

В зеркале, стоявшем на туалетном столике, отражалось его обнаженное тело — пока еще стройное и годное к употреблению. Но, казалось, оно вот-вот обмякнет под тяжестью бурного прошлого, запечатлевшего на нем свои следы в виде шрамов и оспин. На левом плече красовалась несмываемая отметина, настоящее тавро. Соскис (который в итоге получил свое и, подыхая, проклинал все на свете) скалил свои гнилые пожелтевшие зубы, наблюдая, как Хильера прижигают раскаленным добела тавром в форме буквы S. «Подпись под не самой сильной моей работой, — прошамкал Соскис. — Резьба по телу. Хотя до неузнаваемости не изрезали». Привязанный к стулу Хильер пытался вложить в букву (изображение которой в зеркале постепенно расплывалось) другой смысл — Sybil, Сивилла, имя его матери. Так лучше Помощник Соскиса сладострастно оттягивал момент прижигания, а Хильер убеждал свое тело: «Будет не больно! Не больно! Не больно!» И снова: «Стремись к этому, — твердил он коже, — зови, желай. Обыкновенная припарка. Полезная». Он не вскрикнул, почувствовав невыносимую, раздражающую S-образную боль, проникавшую до кишок, — сфинктер, слабейший из мускулов, умолял их открыться и извергнуть землю с телом, усеянным зубами. Соскис брезгливо скривился. Хильер тоже. «Я не хотел, — простонал Хильер. — Изви-

няюсь». Они не убрали за Хильером, но дали ему передышку перед окончательным прижиганием. Это и спасло ему жизнь (долгая история: помог человек по фамилии Костюшко). И сейчас он снова видит в зеркале S — перевернутое, выжженное S. Для бывшего разведчика будет неплохим сувениром. Женщины расспрашивали его об этой змейке и — когда в постели наступало затишье — томно поглаживали ее извивы. Соскис, Брейн, Чириков, Тарнхельм, Арцыбашев, еще вчера числившиеся среди его заклятых врагов, станут героями шемящих, полных ностальгии (подобно школьному томику Вергилия с загнутыми страницами) воспоминаний, которым он будет предаваться, выйдя в отставку.

Вещи Хильера были еще не распакованы. Он открыл один из двух своих чемоданов, — тот, что постарее — и изпод бумажных и железных коробок с дешевыми сигарями («Сумована», «Кастанеда», «Уифкар империалес») достал старый цветистый халат. Хильер подумал, что вряд ли кто-нибудь зайдет к нему в каюту, пока он будет принимать душ. Тем не менее «Айкен» с глушителем и коробку передач с ампулами PSTX лучше все-таки спрятать. PSTX считался последней разработкой, и он еще не видел ее в действии. Говорят, что подкожная инъекция немедленно вызывает пьяную эйфорию и сговорчивость. Затем наступает сон, и после пробуждения — никакого похмелья. Он оглядел каюту и остановился на висевшем над тумбочкой шкафчике со спасательным поясом. Сойдет на время. Лучше лишний раз перестраховаться — враг не дремлет. При посадке на корабль его наверняка засекут, на измененную внешность особо полагаются не стоит. Перед тем как пойти в душ, Хильер тщательнее изучил в зеркале плод своих стараний — новое лицо. Слегка набитые щеки выдавали некоторое самодовольство, лицемерно скрываемое его обычной худобой. Седоватые усы и такие же чуть поредевшие волосы, коричневые глаза (так изменили их светло-карий цвет контактные линзы), заостренный нос, презрительно искривленный рот — все это принадлежало уже не ему, Хильеру, а находящемуся сейчас в отпуске Джаггеру, эксперту по пишущим машинкам. Что ж, предпоследний в жизни маскарад. А где то, что он приготовил для Роупера? Когда-то бороды были в моде, а теперь.. — теперь никто не дернет за бороду, не крикнет: «Эй, борода!» Хильер спрятал в шкафчик бороду, «Айкен» и ампулы. Упитанный че-

ловечек в эдуардовском костюме * плотно затягивал спасательный пояс, равнодушно взирая на Хильера-Джаггера с пожелтевшего листка инструкции,— столь же функциональный и обезличенный, как и стоящий перед ним шпион.

Хильер вышел в коридор. Аромат верхней палубы мог убедить любого запершегося в своей каюте первого класса пассажира, что он не зря столько выложил за билет. Никаких тебе запахов бензина или капусты, вместо них — нечто сугубо сухопутное, отдающее лепестками роз. Матово светились витые пластиковые фонари. Хильер запер дверь и, сжимая ключ в кармане халата, направился в душевую. Неожиданно в тишину коридора ворвались раздраженные голоса. Дверь каюты (третьей от его собственной) распахнулась, и из нее попятился кричащий мальчуган. «Детей еще не хватало»,— вздохнул Хильер. Детей он недолюбливал: слишком непоседливы и бесхитростны — попробуй, проверни с ними что-нибудь. К тому же во время путешествий они маются от скуки и путаются под ногами. Мальчику было лет тринадцать — тот еще возраст!

— Очень она мне нужна,— проговорил он обиженно.— Уж нельзя посмотреть, про что там.

Да, выговор не отличается благородством.

— Мал еще,— отвечал девичий голос.— погоди, скажу папе. Иди лучше покидай кольца.

— Да я больше тебя про это знаю. Нужны мне твои кольца!

Небольшого роста крепыш выглядел как типичный взрослый турист в миниатюре: яркая рубашка навыпуск, зауженные коричневые брюки, сандалии, не хватало только фотоаппарата на шее. Хильер отметил, что в зубах он сжимал сигарету, судя по запаху — «Балканское собрание» *. Подойдя ближе (чтобы попасть в душевую, надо было пройти мимо их каюты), он увидел девушку. Одного взгляда хватило, чтобы у него вырвался слабый стон, реакция тела как всегда была мгновенной и непроизвольной: перехватило дыхание, появилась легкая боль в уздечке, в артерии хлынула кровь, возникло смутное ощущение полета. Пшеничные волосы небрежно уложены на голове, носик с горбинкой чуть вздернут, губы, излияния которых так и хочется прервать поцелуем,— хороша! Открытое золотистое платье с высоким разрезом оставляло восхитительные ноги,

руки и шею сладостно-обнаженными. На вид ей было лет восемнадцать. Хильер заскулил, как дремлющий пес.

— К тому же, папу это не волнует. Не говоря уже про нее. Они своим делом заняты. Только одно на уме.

У меня тоже, подумал Хильер. Он увидел, что мальчик требовал от сестры книгу некоего Ральфа Куинтина. Крупный заголовок гласил: «Секс и его садистские проявления». В столь юном возрасте читать подобные вещи! Какие глаза! Голубые глаза Эдема, напоенные первым дождем! Ее огромные глаза смотрели на Хильера, затем, раздраженно сощурившись, она крикнула брату: — Грязный поросенок!

— Между прочим, свиньи вовсе не грязные, — сказал мальчуган. — Это ошибочное мнение. И о «вонючих козлах» тоже.

Она захлопнула дверь. Хильер сказал мальчику:

— Грязь — неизбежный атрибут любого живого существа. Именно поэтому люди принимают душ. Именно поэтому и я сейчас иду в душ. Но, к сожалению, ты мешаешь мне пройти.

Мальчик внимательно посмотрел на Хильера и неторопливо — люди на этом корабле отдыхают! — прижался к стене.

— Вы тут новенький. Только что сели. А мы — с самого отплытия. Мы сели в Саутгемптоне. Обжираловка плавучая, — добавил он доверительно. — Жрут, пока худо не делается. Недаром некоторые сползли на берег в Венеции и покатали домой. Я надеюсь, вам здесь понравится.

— Я тоже.

— Не надо мне было злить сестру. Она помешана на сексе, но это то, что Д. Г. Лоуренс называл «головным сексом». Обожает про это читать. Сигарету хотите?

Из нагрудного кармана рубашки он вытащил сигаретницу и дорогую зажигалку.

— Спасибо, но я предпочитаю сигары.

— Тогда после обеда я угощу вас «Ресервадос». Кстати, для своих в баре есть графинчики в стиле Людовика XIV с потрясающим «Реми Мартеном». Никто не может определить, какого он года.

— Непременно попробую. А теперь — в душ.

— Да, обязательно попробуйте. Надеюсь, мы встретимся во время аперитива.

Из молодых да ранних, подумал Хильер, направляясь в душ. И всё туда же — секс у него на уме. Спокойно, сэр, спокойно. Голубая Адриатика его поддержала — громко загудел проплывавший мимо корабль.

Хильер открыл дверь в душевую и застыл на пороге. Нет, это уже слишком! Белокурая красавица, которую он только что видел, была по крайней мере одета. Здесь же перед ним — словно в противовес — предстала обнаженная жгучая брюнетка. Индианка вытирала свое смуглое тело, полуночным потоком струились к ягодицам распущенные волосы.

— Тысяча извинений,— с трудом проговорил Хильер.— Дверь была...

Она обернулась баннным полотенцем с надписью «Полиолюбион», словно победительница корабельного конкурса красоты. Из них двоих Хильер был смущен гораздо сильнее. Прямой нос и благородные арийские черты составляли контраст с кофейным цветом ее лица.

— Да,— сказала она,— дверь была не заперта. Я часто бываю такой рассеянной.

Особенности ее английского произношения напомнили ему интонации валлийской школьницы. Она невозмутимо наблюдала, как Хильер пятился в коридор. И, кажется, снова не заперла дверь. Хильер зашел в другую душевую. Неплохое начало. Или плохое? Зависит от точки зрения. Перед операцией надо быть предельно собранным, а тут за несколько минут он уже дважды испытал плотский соблазн, увидел оба экстремума континуума*. Хильер, фыркая, принял ледяной душ и, глядя только вперед, высоко нравственно простествовал к себе в каюту.

Дверь оказалась распахнутой, и кто-то, мурлыкая себе под нос, рылся в ящиках тумбочки. В чемоданах уже тоже покопались. Однако на повернувшемся к Хильеру жизнерадостном лице не было и тени смущения.

— Как я понимаю, мистер Джаггер? А где другой джентльмен, мистер Иннес?

— Присоединится позже. В ближайшем порту.

— Это будет Ярылык. Занятое местечко.

Он, снова напевая, передожил несколько рубашек Хильера в выдвижной ящик.

— Наверное, я вам что-то должен,— сказал Хильер.

Открыв шкаф, в котором висел летний пиджак, он полез в карман за кошельком.

— Да, сэр, тут так принято, сами увидите. Называется «подсластить».

Трудно было определить, что у него за выговор: то ли восточно-лондонский, то ли сиднейский, а скорее, оба — интонации моря, двух противоположных его концов. Хильер выкладывал банкноты на его ладонь, пока она, подобно лыжному креплению, не захлопнулась.

— Меня зовут Ричард Рист. Но Ричардом меня называют редко: обычно Риком или Рики.

Рист выглядел лет на тридцать пять. На нем была тельняшка и синие парусиновые штаны. Обветренная кожа пропиталась солью, а морщины и тени на северном лице, казалось, появились в результате долгого травления кислотой. Все свидетельствовало о том, что этот человек не первый год в море. Глаза его были постоянно устремлены куда-то вдаль. Разговаривая, он сильно вытягивал губы, даже во время пауз они не сразу возвращались в нормальное положение, и эта манера только усиливала сходство его шамкающего — без зубов и протезов — рта с рыбьим. Темно-каштановые волосы Риста казались приклеенными к черепу. На ногах были удобные домашние туфли из очень дорогой кожи.

— Что вы обычно пьете, сэр? На корабле есть широкое виски. Только у нас. Называется «Олд морталити». Кстати, сэр, для вас письмо. В Венеции получили, там столько писем было — не поверите. У нас же пассажиры — сплошь бизнесмены, магнаты. Все время должны быть в курсе дела.

Письмо в стандартном служебном конверте было адресовано Себастьяну Джаггеру, эсквайру.

— Вы, наверное, захотите его прочесть, сэр. Давайте, а я пока сбегаю за «Олд морталити».

Напевая, Рист вышел из каюты. Хильера охватили тяжелые предчувствия. Предупреждение об опасности? Изменения в плане? Хильер вскрыл конверт. Как он и предполагал, письмо было закодировано: ZZWM DDHGEM EH IJNZ OJNMU ODWI E XWI OVU ODVP. Послание, однако, не маленькое. Хильер нахмурился. Как его прикажете расшифровывать? Никто не предупредил, что на корабль будет передана шифровка. У него не было с собой ни дешифратора, ни шифроблокнота. Еще раз заглянув в конверт, Хильер увидел крошечную полоску папиросной бумаги, которую он сначала не заметил. На ней было напечатано двестишесть:

Ноябрьская богиня постаралась,
Чтоб Англия на месте не топталась.

И ниже ободряющая приписка: «Привет от всех». Пульс Хильера забился спокойней. Похоже, ничего серьезного. Шутливое послание из Департамента, разумеется, закодированное — других писем он не получал. Какой-нибудь ребус с зашифрованным ключом. Чтобы развлекся на досуге (когда он, наконец, появится).

К приходу Риста, который принес виски со льдом, Хильер уже переоделся в вечернюю сорочку и легкие, черные брюки. Послание лежало в заднем кармане. Может, выдастся время...

— К вечеру здесь переодеваются? — спросил Хильер.

— Еще как! С первого же дня! Хотят убедить себя, что шикарно отдыхают. А женщины! — Вытянув рыбы губы, он безнадежно присвистнул. — Какне вырезы! Надо видеть! Этот народ не признает полумер. Потому я богатых и уважаю. Но не все, конечно, такие щедрые.

С этими словами он почти до краев наполнил рюмку Хильера. Сквозь кубики льда поблескивало золото. На подносе стояло две рюмки, и Хильер кивнул Ристу — наливай. Тот воспринял это как должное и развязно провозгласил: «Ваше здоровьице». Хильер не помнил, когда в последний раз пил такое мягкое виски. Он налил себе еще. Повязывая черный галстук, Хильер уже нетерпеливо предвкушал предстоящий вечер, глубокие вырезы, запах богатства. Рист снова принялся распаковывать чемоданы.

— Между прочим, — сказал он, — пара, которая жила здесь до вас, денег не считала. Не жалуясь. Они сошли в Венеции, чтобы проехать по Восточному побережью. Равенна, Римини, Анкона, Пескара, Бари, Бриндизи, а там — на чью-то яхту. Ничего жизни! Каждый день оплачивали нам с напарником по дюжине пива. Он тоже стюард в первом классе.

— Я почти за честь, — сказал Хильер, — если вы согласитесь...

— Значит, сэр, я в вас не ошибся. Мы с Гарри будем с радостью каждый вечер пить за ваше здоровье. В Венеции отпуск проводили, сэр?

— Нет, приехал по делам, — сказал Хильер. Он был доволен предоставившейся возможностью заранее опро-

бовать свою легенду.— Я разрабатываю новые модели пишущих машинок.

— Неужели? — спросил Рист восхищенным шепотом, словно в жизни не слышал ничего более поразительного.— Ваша работа, наверное, как-то связана с «Оливетти»?

Так, осторожно...

— По крайней мере, в Венеции у меня были другие дела,— сказал Хильер.

— Да, я понимаю. Но надо же какое совпадение: у меня сестра работает секретаршей, и ее однажды тоже подключили к одной из исследовательских групп. Им дали новую машинку, в которой размеры букв были разными, знаете, как при обычной печати. Я в этом слегка разбираюсь, потому что работал в корабельной типографии, правда, не на этом корабле. Например, «т» в два раза шире, чем «п», то же самое с «о» и «і». Но вы-то как профессионал прекрасно понимаете, что ей больше всего не понравилось!

Рист собирался положить пачку платков в выдвижной ящик, но остановился в ожидании ответа Хильера.

— Конечно! Когда буквы разных размеров, то очень неудобно исправлять опечатки. Вы начинаете бояться опечаток. Машинисткам это страшно действует на нервы.

— Вот именно,— подтвердил Рист.— Вы совершенно правы.— Он продемонстрировал Хильеру свои розовые беззубые десны.— Итак, сэръ, чем я могу быть для вас полезен? — Он сказал это так, словно Хильер успешно сдал экзамен,— по сути дела, так и было. Рист задвинул ящик и подошел ближе.— Могу, скажем, заказать для вас место в ресторане.

Хильеру требовалось выбрать между светлым и темным.

— Я тут видел девушку... Впрочем, нет, не надо.

— Если мы думаем об одной и той же, то я вас понимаю. Но братец у нее — настоящая бестия. Зато денег невпроворот. Уолтерс, их папаша,— большой человек в мучном бизнесе. Мне сдается, что его половина — она, кстати, здорово мөложе — не прочь бы от него избавиться. Каждый раз заказывает ему дополнительную порцию. Дети у него от первого брака. Пацан, его зовут Алан, участвовал в телевизионной викторине в Штатах. Думает, что знает все на свете. Лучше от него держаться подальше. Иначе доведет вас!

— Я еще видел какую-то индианку.

— Тут далеко ходить не надо, точно, сэр? Да, на этом деле у нас можно все потерять. Любая готова, только позови. Мужьям своим они уже не интересны. Так что вам и одного вашего коридора хватит,— все, так сказать, под рукой. А индианка, про которую вы говорили, это мисс Деви. Она вроде секретарши у одного заграничного бизнесмена. Теодореску его фамилия. Богатый и здорово шпарит по-английски. Оксфорд небось кончал. По крайней мере, он утверждает, что она секретарша. Вы бы проверили, что ей известно про машинки! — Рист опустил глаза, что-то обдумывая.— Еще надо успеть разложить вещи пассажирского помощника. Но ведь и вашу, какую так не бросишь. Несколько фунтов заставили бы меня шевелиться побыстрее.

Хильер со вздохом протянул пять фунтов и подумал, что, выйдя в отставку, он себе такого уже не позволит.

Рист преданно поглядел ему в глаза.

— Если есть какие-нибудь просьбы, не стесняйтесь — постараюсь исполнить все, что скажете.

2

Направляясь в бар для пассажиров первого класса, Хильер ожидал увидеть там стены, обитые мягким шелком, изысканный полумрак, лишающий предметы тени, сиденья у стойки — со спинкой и подлокотниками, и под ногами пушистый, как снег, ковер. Но увидел он копию «Таверны Фицрой» в Сохо, какой она была до того, как любители современного дизайна там все не перепортили. В лужицах пива валялись размякшие окурки, напоминая открывшиеся бутоны, патлатый тип в сергах барабанил по безнадежно расстроенному пианино, с закопченного потолка свисали обрывки сигаретной фольги, брошенной туда разгоряченными посетителями. Вдоль стойки шли небольшие, затейливо обрамленные матовые оконца, которые поминутно открывались, мешая делать заказы. Стены украшала ученическая мазня. Магнитофонная запись шума Сохо безжалостно заглушала шум Адриатики. Хильер подумал, что в баре пассажиров туристского класса наверняка все наоборот — роскошный интерьер, никаких дизайнерских шалостей. Впрочем, судя по нарядам, среди посетителей не было ни одного маклера, работяги, наркомана или неудавшегося писате-

ля. Одежда соответствовала классу, которым они путешествовали, ткани пушились роскошным ворсом, некоторые мужчины были — по последней американской моде — в золотистых смокингах. В баре стоял тяжелый табачный дух, и Хильер заметил, что пиво они пили подозрительно водянистое. Профессиональное чутье сразу подсказало: пиво здесь разбавляли отнюдь не водой. Кто мог ожидать, что дорогу к стойке придется прокладывать локтями? Но для пассажиров первого класса в этом, по-видимому, состояла своеобразная экзотика. Впрочем, наличными здесь никто не расплачивался и не получал на сдачу горстку мокрой мелочи. И в правдоподобии следует соблюдать меру!

Хильер заказал джин с тоником. Видно было, что одетому в грязные лохмотья бармену не терпится поскорее переодеться. Не прошло и минуты, как к Хильеру опять прицепился этот маленький хлыщ, Алан Уолтерс. Он был в прекрасно скроенном миниатюрном смокинге, в петлице красовался изысканный желтый цветок. Хильер с надеждой подумал, что, может быть, у Алана хватило ума не разбавлять водкой свой томатный сок.

— А я ведь все про вас выяснил, — сказал маленький мистер Уолтерс.

— Поздравляю! — воскликнул Хильер, не на шутку опасаясь, что мальчишка не шутит.

— За тридцать шиллингов Рист мне выложил все, как есть. Насквозь продажный тип. — Произношение его не отличалось ни правильностью, ни изяществом. — Вас зовут Джаггер. Вы занимаетесь пишущими машинками. Расскажите мне про них.

— Нет уж, я сейчас в отпуске, — сказал Хильер.

— Не надо только говорить, что в отпуске люди не любят обсуждать свои дела. Большинство только этим и занимается.

— Сколько тебе лет?

— К делу это не относится, однако я отвечу. Тринадцать.

— Господи, — пробормотал Хильер.

Сидевшие поблизости (толстые мужчины, казавшиеся благодаря портновским стараниям чуть полноватыми, и влекущие, окутанные шелками женщины) взглянули на Хильера с неприязнью и состраданием. Они-то знали, что ему предстоит, и в то же время их злило, что муче-

ния Хельера, в отличие от их собственных, начинаются только сейчас.

— Начнем,— сказал мальчуган.— Кто изобрел печатающую машинку?

— Это было в далеком прошлом,— сказал Хильер,— а меня больше интересует будущее.

— В 1870 году ее изобрели три человека: Скоулз, Глидден и Соул *. Было это в Америке, и вся работа оплачивалась неким Денсмором.

— Только что где-то вычитал,— мрачно произнес Хильер.

— Почему же только что,— возразил Алан.— Я прочел это, когда увлекался огнестрельным оружием. Меня в то время занимала техническая сторона вопроса. Теперь же — практическая.

Сидевшие поблизости рады были бы не обращать внимания на Алана, но это им никак не удавалось. Они слушали с открытыми ртами, зажав в руке бокал.

— Первой наладила серийное производство компания «Ремингтон». Пишущая машинка — это тоже своего рода оружие.

Неожиданно кто-то сказал:

— Конечно, для Чикаго это вполне естественное помещение капитала.

Хильер увидел, что к соседней группе присоединилась мисс Деви. Она была головкружительно хороша в своем багряном сари, по которому были вышиты золотом многорукие боги с высунутыми языками. Нос ее украшало серебряное колечко. Прическа была традиционной: две косы, прямой пробор. Но замечание относительно «помещения капитала» исходило от стоящего рядом с ней мужчины. Судя по всему, это и был ее босс, мистер Теодореску. Тучность придавала ему величие, лицо не казалось заплывшим, наоборот, не будь полным, оно выглядело бы непропорциональным, пухлые щеки и тяжелая челюсть естественно гармонировали с крупным, правильным носом. У него был упрямый подбородок, глаза же казались не смородинами в тесте, а огромными сверкающими светильникам с начищенными до блеска белками. То, что благоухающий фиалками череп был абсолютно голым, в данном случае являлось не недостатком, а достоинством — признаком мудрости и зрелости. На вид Хильер дал бы ему лет пятьдесят. Пальцы Теодореску украшало множество колец, что, однако, не произво-

дило вульгарного впечатления, напротив, его холеные руки казались большими и могучими, а сверкающие камни, которыми они были усыпаны, можно было принять за своеобразный цветочный венок, по праву врученный этим божественным творениям, сильным, искусным и прекрасным. Фигура Теодореску выглядела настолько огромной, что его белый смокинг напоминал грот-марсель. В его высоком бокале плескалась, как показалось Хильеру, чистая водка. Теодореску внушал Хильеру страх. Таким же страхом наполнила его и мисс Деви, представшая перед ним совершенно обнаженной. Кто-то уже был невольным свидетелем купания богини. Актеон? * Его, что ли, боги превратили в оленя, которого загрызли пятьдесят собак? Мальчишка наверняка помнит.

— Но кто действительно был талантливым конструктором,— сказал Алан,— так это Йост. Блестящий механик. Однако от его метода пропитки красителем почти мгновенно отказались. Между прочим,— небрежно бросил Алан,— в чем заключался метод Йоста?

— Когда-то помнил,— сказал Хильер.— Но я уже столько лет варюсь в этом деле! Что-то неминуемо забывается. К тому же меня больше интересует будущее.

Хильер уже это говорил.

— Йост использовал красящую пластину, а не ленту,— ледяным голосом процедил Алан. Хильер поймал на себе несколько косых взглядов.— Я считаю, что вы ничего не смыслите в машинках. Вы — самозванец.

Хильер взорвался:

— Скажи, тебе не надоело молоть языком?

Бог, которого, как полагал Хильер, звали Теодореску, расхохотался, и от раскатов смеха, казалось, затряслась стойка бара. Затем голосом, напоминающим шестнадцатифутовый регистр органа, изрек:

— Извинись перед джентльменом, мальчик. Он не хочет распространяться о своих знаниях, но это еще не означает, что их у него нет. Зачем задавать такие узко-профессиональные вопросы? Спроси его, например, какие машинки используют в Китае.

— Пять тысяч четыреста идеографических печатных литер,— с облегчением выпалил Хильер.— Цилиндр состоит из трех частей. Сорок три клавиши.

— Говорю вам, он понятия не имеет о пишущих машинках,— упрямо повторил Алан.— Зуб даю, что это самозванец. Не удивлюсь, если он окажется шпионом.

Снисходительно поклонившись, словно скрипач в окружении музыкантов своей секции, Хильер расхохотался. Однако ответного смеха не послышалось. Хильер явно перепутал партитуры.

— Где твой отец? — воскликнул Теодореску.— На его месте я бы положил тебя к себе на колени и хорошенько отшлепал. А потом заставил бы извиниться перед джентльменом. Безобразие!

— За отцом далеко ходить не надо,— сказал Алан,— но он и слова не скажет.

За столиком у двери, будто выходявшей на Фицрой-стрит, сидел опухший, болезненного вида человек. Курчавая женщина, выглядевшая значительно моложе мистера Уолтерса, уговаривала его поскорей доедать и заказывать следующее блюдо.

— В таком случае,— сказал мистер Теодореску, тяжело поворачиваясь, словно приводимый в движение бесшумным гидравлическим двигателем,— я готов извиниться вместо тебя.— Он сверкнул на Хильера своими громадными светильниками.— Мы-то его знаем, поверьте. А вы, насколько понимаю, присоединились к нам недавно. В каком-то смысле каждый из нас несет за него ответственность. Уверен, что он искренне раскаивается, мистер...

— Джаггер.

—...мистер Джаггер. Моя фамилия Теодореску, хотя я не румын. А это моя секретарша, мисс Деви.

— Мы, вообще говоря, уже встречались, правда, мне крайне неловко об этом вспоминать. Ситуация вышла весьма деликатной, и я еще раз приношу свои извинения, хотя, в сущности, не виноват.

Да, вины Актеона за Хильером не было.

— Я вечно забываю запереть дверь в душ,— сказала мисс Деви.— В гостиницах у меня всегда отдельный номер. Но, как бы то ни было, мы выше этих дурацких табу.

— Отрадио слышать,— сказал Хильер.

— Литеры, литеры,— пропел вполголоса Теодореску.— Мне всегда хотелось, чтобы документы нашей фирмы печатались особым шрифтом, крупным, может быть, похожим на готический. А можно на одной машинке печатать и по-английски, и по-арабски?

— Сложность заключается в том,— ответил Хильер,— чтобы иметь возможность печатать и слева напра-

во, и справа налево. Сделать это, конечно, можно, но дешевле использовать две машинки.

— Очень любопытно,— проговорил Теодореску, изучая Хильера одним глазом, словно полагая, что и этого вполне достаточно.

Тем временем Алан Уолтерс с надутым видом потягивал у стойки томатный сок, в который, как показалось Хильеру, теперь была щедро добавлена водка.

— Ничего он не знает,— ворчал Алан. Присутствующие единодушно не обращали никакого внимания на маленького наглеца.— Про Йоста и Соула даже не слышал,— бормотал он, глядя в бокал.

Хильеру это очень действовало на нервы. Но Теодореску, который и в прямом и в переносном смысле был выше таких мелочей, мягко сказал Алану:

— А почему не видно твоей очаровательной сестры? Осталась в каюте?

— Тоже прикидывается. Как Джаггер. Помешана на книгах про секс и делает вид, что все знает, а на самом деле ни черта в этом не смыслит. Точь-в-точь как Джаггер.

— Допустим, ты проверил, как мистер Джаггер разбирается в истории пишущих машинок,— проговорил Теодореску учтиво,— но как он разбирается в сексе, ты пока не знаешь,— и, видя, что Алан уже открыл рот, поспешно добавил,— и не узнаешь.

— Джаггер,— бесполоый шпион,— сказал Алан.

Хильер подумал, что он здесь вовсе не для того, чтобы терпеть выходки этого наглого шпингалета. Он наклонился к не слишком чистому левому уху Алана и прошептал:

— Запомни, нахаленок, если еще раз что-нибудь вякнешь, я возьму остроносый ботинок и воткну его тебе в жопу. Причем несколько раз.

— В жопу? — громко переспросил Алан.

Экзотическое для светских ушей слово вызвало осуждающие взгляды.

В этот момент появился стюард в белой куртке с карийном *, настроенным на минорный аккорд. Черты его лица выдавали индийское, точнее даже гоанское происхождение. Словно актер с телестудии, находящейся неподалеку от Сохо, он прошествовал через «Таверну Фицрой», небрежно наигрывая начальные такты партии правой руки из бетховенской «Лунной сонаты».

— Обед,— с удовлетворением констатировал Теодореску.— Очень кстати: я проголодался.

— Но ведь у вас был такой плотный полдник,— сказала мисс Деви.

— Комплекция обязывает.

Хильер вспомнил, что просил для себя место за столиком мисс Деви, что означало и соседство Теодореску. Сейчас выбор казался ему уже не столь удачным. Раньше или позже под весом Теодореску и градом каверзных вопросов Алана (забывшегося сейчас, слава Богу, в дальний конец зала) личина Джаггера — а вместе с ней и Хильер — должна была расколоться. К тому же Хильера печалило, что он собственноручно испортил себе внешность и в таком виде должен предстать перед мисс Деви. Как вам это нравится: «Дурацкие табу»? Так она, кажется, сказала?

3

— Здешняя кухня вам по душе? — спросил Теодореску.

Обеденный зал даже отдаленно не напоминал ресторанчика, располагавшегося, как помнил Хильер, напротив «Таверны Фицрой», — в его меню в голодные послевоенные годы красовался лишь бифштекс из конины с яйцом. В янтарно-пепельном воздухе стояло урчание кондиционера, смешанное с едва ли более громкой, способствующей пищеварению инструментальной музыкой, которая доносилась с галерен над позолоченным входом в зал. Старые, всю жизнь отдавшие родному кораблю музыканты искренне полагали, что от артрита, поразившего их пальцы, Ричард Роджерс * только выигрывал, делаясь благородней и торжественней. Роскошную обстановку дополняли тончайшие камчатные скатерти и стулья, на которых, должно быть, уютно себя чувствовала любая, даже самая массивная задница. Возле столика Теодореску стоял мягко подсвеченный аквариум, фантастические обитатели которого — мохнатые, закованные в броню, светящиеся, усеянные шипами и распушившие огромные хвосты — невесело навещали замки, гроты и бельведеры, то и дело разевая рот и неслышно делаясь впечатлениями с проголодавшимися высшими позвоночными. Кроме Теодореску, мисс Деви и Хильера за столиком никого не было. Но особо обрадовало Хильера то, что семейство Уолтерсов отделял от него часто-

кол упитанных и довольно шумных бизнесменов с супругами. Впрочем, радость его была бы еще больше, если бы мисс Уолтерс не была столь хороша в своем переливающимся бархатном платье-«рубашке». На шее у нее висел медальон на длинной массивной золотой цепочке. Она читала за столом, чего, конечно же, делать не следует, но что ей еще оставалось? Брат сидел надутый, а отец с мачехой были полностью погружены в процесс молчаливого и торжественного поглощения пищи. Время от времени миссис Уолтерс втолковывала своему мрачному и прожорливому супругу, что тому непременно следует отведать что-нибудь еще.

Хильер присоединился к Теодореску, который уже подал медальоны с омарами в винном соусе. Как утверждал шеф-повар, омар сначала вываривался в крепком пряном бульоне из собственного панциря, затем в белом вине, после чего опускался в горящий анисовый ликер. В зале было множество молчаливых официантов, в большинстве своем гоанцы, хотя встречались и англичане (один из них — напарник Риста — подошел к Хильеру и прошептал: «Спасибочки за пиво»). Из кухни не доносилось никакого лязга и грохота, в зале царило величественное спокойствие.

— А теперь давайте закажем розовую кефаль с артишоком, — предложил Теодореску. — Человек, прежде сидевший на вашем месте, не отличался хорошим аппетитом, а меня раздражают люди, которые едят намного меньше, чем я. Впрочем, наестся мне никогда не удается.

Хильер взглянул на проворные пальцы мисс Деви с длинными алыми ногтями. Перед ней было огромное блюдо с мясом в соусе кэрри и множеством разнообразных гарниров. Вряд ли она сумеет управиться с такой порцией до полуночи.

— Я бы предпочел, если вы не возражаете, именно это шампанское, — сказал Теодореску, имея в виду «Боллинже» 1953 года, первую бутылку которого они уже почти допили. — Обычное, безобидное шампанское, однако вино для меня как хлеб: оно должно сопровождать еду, но не должно от нее отвлекать. Поклонение вину — наиболее вульгарная форма язычества.

— Позвольте только, — сказал Хильер, — записать следующую бутылку на мой счет.

— У меня другое предложение: кто съест меньше, тот и будет оплачивать спиртное.

— Тогда уж мне точно придется раскошелиться,— сказал Хильер.

— Боюсь, что маленький нахал просто подорвал вашу веру в себя. За столом поджарый человек — опасный соперник. Не бойтесь толстяка, который, посмеиваясь, набивает свою утробу. Это только показуха. Скажите, вы любите заключать пари?

Хильер почувствовал, как в закупоренном чане начался процесс ферментации, и, словно под давлением Schaumwein¹, выпалил, неожиданно для самого себя:

— Ваши условия?

— Сумма на ваш выбор. «Дуэль желудков» интересует меня сама по себе.— Мисс Деви звонко расхохоталась.— Тысяча фунтов вас устроит?

Хильер прикинул, сможет ли он в случае поражения списать всю сумму на путевые расходы. Впрочем, какая разница? Чек за подписью Джаггера — это просто бумажка.

— По рукам,— сказал Хильер.— Блюда заказываем по очереди. На тарелках не должно оставаться ни крошки.

— Прекрасно. Начинаем, не откладывая.

Они приступили к кефали с артишоком.

— Только не так быстро,— сказал Теодореску.— Торопиться нам некуда. Кстати, о шампанском. В свое время, кажется, в 1918 году — да, ровно через двести лет после того, как игристое вино Отвийе получило свое нынешнее название,— была попытка канонизировать изобретателя шампанского Дома Периньона*. Из этого ничего не вышло, хотя многие, я вам скажу, удаивались канонизации и за меньшие заслуги.

— Намного меньше,— подтвердил Хильер.— Я бы с большим удовольствием искал заступничества святого Периньона, чем святого Павла.

— Вы, значит, верующий?

— Как вам сказать... Пожалуй, уже нет. (Осторожно... осторожно.) Я верю, что у человека есть право на выбор. Я признаю основной догмат христианства — свободу воли.

— Вот и замечательно. Неплохо бы и нам реализовать свое право на выбор...

¹ Шипучее вино (нем.).

Он подозвал официанта, и к ним подошел предупредительный рыжеусый человек. Это был сам старший стюард. Хильер и Теодореску заказали по два блюда. Хильер — филе палтуса «Королева Елизавета» в белом соусе. Теодореску — креветки, запеченные в тесте с соусом «Ньюбург». Хильер — soufflé au foie gras¹ с мадерой. Теодореску — ломтики авокадо с черной икрой и холодным сбитым соусом.

— И еще шампанского,— сказал Теодореску.

Они приступили к еде, а сидящие поблизости пассажиры, слышавшие об условиях состязания, стали с интересом следить за его ходом, забыв о собственных тарелках. Теодореску с похвалой отозвался о черной икре, венчавшей ломтики авокадо, и спросил:

— А где находился ваш католический колледж, мистер Джаггер?

Стараясь не отвлекаться от еды, Хильер небрежно бросил:

— Во Франции.— Что-то он чересчур разговорился, а надо бы сохранить инкогнито.— В Кантенаке, к северу от Бордо. Но вряд ли вы знаете этот городишко.

— Кантенак? Кто же не знает Кантенак или, по крайней мере вино «Шато Бран-Кантенак»!

— Конечно,— сказал Хильер,— но мне показалось, что вина вас не интересуют. Да, барон де Бран прославился еще своим «Мутон-Ротшильдом».

— Однако странное место для воспитания юного англичанина. Наверное, ваш отец был как-то связан с виноградарством?

— Моя мать была француженкой,— солгал Хильер.

— Правда? Какая у нее девичья фамилия? Возможно, я знаю ее родственников.

— Сомневаюсь. Она происходила из ничем не примечательного семейства.

— Но, насколько я понял, техническое образование вы получили в Англии?

— В Германии.

— Где в Германии?

— Предлагаю,— сказал Хильер,— filet mignon à la romana², фигурную лапшу и кабачки.

¹ Суфле из гусиной печени (фр.).

² Филе-миньон по-римски (фр.).

— Прекрасно. (Старший стюард заскрипел карандашом.) И, пожалуй, жареной ягнятины, но чтоб с прослойками жира. И жульен из швейцарского сыра с зеленой фасолью и сельдереем.

— Еще шампанского?

— Я бы предпочел что-нибудь покрепче. В пятьдесят пятом году было прекрасное бордо. Может быть, «Лафит Ротшильд»?

— Лучше не придумаешь!

— А для вас, дорогая?

Мисс Деви так и не доела кэрри, хотя все-таки с большей частью управилась. Она заказала обыкновенное крем-брюле и бокал мадеры. Шампанского ей было достаточно: глаза мисс Деви светились, причем не тлели, как джунгли, а сверкали, как Нью-Дели. Когда Хильер увидел, что в ожидании филе-миньона Теодореску жадно откусил кусок хлеба, ему стало не по себе. Что-то здесь не то, надо не спускать с него глаз. Обеденный зал постепенно пустел, престарелые музыканты удалились, и их место занял эстрадный ансамбль. У сидевших поблизости пассажиров интерес к состязанию заметно поугас, на сытый желудок они воспринимали его как бессмысленное обжорство. Мужчины окутывали себя голубым дымом, потакая очередной слабости — на этот раз роскошным кубинским сигарам. Уолтерсы сидели все там же: девушка читала, Алан посасывал коньяк, миссис Уолтерс курила, мистер Уолтерс куклился.

— Так где в Германии? — спросил Теодореску, разрезая филе. — Я очень неплохо знаю эту страну, да и другие страны тоже — куда меня только не забрасывали дела бизнеса!

Хильер воспринял это как предупреждение.

— Я изучал пишущие машинки после войны. В Вильгельмсхафене.

— Как же, знаю. Некогда крупная военно-морская база, а сегодня заурядный прибрежный центр легкой промышленности. Вы, возможно, встречались с герром Лутвицем из «Олимпии»?

Хильер нахмурился, выигрывая время.

— Нет, герра Лутвица я что-то не припомню.

— Ах да, я перепутал, он же не в «Олимпии» работает.

Подали жареную ягнятину. Она оказалась восхити-

тельной, чего нельзя было сказать об обороте, который принимала беседа.

— А в чем состоит ваш бизнес? — спросил Хильер.

— Чистая купля-продажа, — ответил Теодореску, тяжело пожав плечами. Хильеру показалось (хотя он и не был уверен), что Теодореску уже без особого желания отправил в рот очередную порцию жюльена. — Я ничего не создаю. Трость надломленная * в великом — вашем великом — созидающем мире.

— Фазана, фаршированного пеканами, — заказал Хильер. — Хлебный соус, чипсы к дичи и (о, Господи!) немного брокколи.

— Пожалуй, еще цыпленка с ячменем и соусом «бешамель», только не острым. Грибную икру со шпинатом и печеный картофель с колбасной начинкой.

Хильеру показалось, что Теодореску заказывает с каким-то вызовом. Может быть, он, наконец, подустал? Что там у него над верхней губой — не пот ли?

— Прекрасный выбор, — воскликнул Хильер. — Пить будем то же самое?

— А почему бы нам не попробовать бургуидского? Я бы заказал «Шамбертен» сорок девятого года.

Трапеза становилась все более мрачной.

— Если позволите, — сказала мисс Деви, — я выйду на палубу.

Хильер немедленно приподнялся и сказал:

— Разрешите, я провожу вас, — и, обращаясь к Теодореску, добавил, — я вернусь через минуту.

— Э, нет! — воскликнул Теодореску. — Оставайтесь, пожалуйста. Нет лучшего рвотного, чем океан.

— Вы полагаете, — спросил Хильер, садясь на место, — что я способен на столь бесчестный поступок?

— Я ничего не полагаю.

На пороге комнаты, специально предназначенной для пассажиров, желающих избавиться от рвотных позывов, мисс Деви обернулась и посмотрела на Хильера с печальной улыбкой. Хильер ответил легким поклоном, но приподняться уже не пытался.

— Возобновим борьбу, — хмуро сказал Теодореску.

— Я возражаю против слова «борьба». Это звучит оскорбительно в отношении таких кулинарных шедевров. Лично я ем с наслаждением.

— В таком случае продолжайте наслаждаться и прекратим разговоры.

Хильер предвкушал победу (вкушая при этом довольно безрадостно). Вдруг со стороны столика Уолтерсов послышался грохот, глухой удар, стоны и выкрики Голлова главы семейства покоилась на столе среди фруктовых очистков. Рядом валялись опрокинутые кофейные чашки и молочник. Похоже на сердечный приступ. Стюарды, которые, по мере того как обеденный зал пустел, подбирались поближе к месту состязания, теперь бросились с оставшимися в зале пассажирами к столику Уолтерсов. Происходившее напоминало ожог, внезапно обезобразивший нежную кожу праздника. Хильер и Теодореску виновато посмотрели на свои уже почти пустые тарелки. Один из стюардов кинулся за корабельным врачом.

— Может быть, согласимся на ничью? — предложил Хильер. — Думаю, мы оба были великолепны.

— А, не выдержали! — воскликнул Теодореску. — Сдаетесь?

— Почему же не выдержал? Просто я считаю, что было бы разумнее внять только что сделанному нам страшному предостережению.

Врач в парадном кителе, принятом на торговых судах, громко требовал, чтобы его пропустили к столику.

— Предлагаю продолжать, — сказал Теодореску и подозвал старшего стюарда. — Привезите столик с холодными десертами.

— Сэр, джентльмену очень плохо. Не могли бы вы немного подождать?

— Глупости. Тут вам не госпиталь.

Между тем основания для такого сравнения, несомненно, имелось. В зале появился два санитары с носилками. В то время как жутко хрипящего мистера Уолтерса укладывали на носилки, стюард-гоанец вкатил столик с холодными десертами. Миссис Уолтерс рыдала. Дети куда-то исчезли. Санитары, окруженные толпой, вынесли мистера Уолтерса из зала. Вскоре в нем не осталось ничего, кроме Хильера и Теодореску.

— Шербет «Арлекин»? — предложил Теодореску.

— Шербет «Арлекин», — согласился Хильер.

Они наполнили тарелки друг другу.

— И, если не возражаете против белого вина, «Бланкет де Лиму», — сказал Теодореску.

— С удовольствием.

С кислыми физиономиями они приступили к сладкому. Персиковый мусс с малиновым сиропом. Кольцо со сливками «Шантийи» с фруктовой подливкой. Груши «Элен» в холодном шоколадном соусе. Холодный пудинг «Гран Марнье». Клубничное желе. Засахаренные каштаны.

— Послушайте,— задыхаясь, проговорил Хильер,— мне это перестает нравиться.

— Правда, мистер Джаггер? А что же в таком случае вам нравится?

— У меня во рту пожар.

— Потушите его пирогом с нектаринами.

— Боюсь, меня сейчас вырвет.

— Нет уж, так мы не договаривались. Это против правил.

— Кто это, интересно, установил такие правила?

— Я.

Теодореску наполнил бокал Хильера холодным пенным «Бланкет де Лиму». Отпив, Хильер почувствовал себя лучше. Он заставил себя съесть шоколадно-ромовый десерт со взбитыми сливками и ликером «Калуа». Затем проглотил апельсиновый мармелад по-баварски, пропитанный ликером «Куантро».

— Как насчет яблочного пирога по-нормандски с бокалом кальвадоса? — спросил Теодореску.

Но перед глазами Хильера встала апокалипсическая картина собственных внутренностей: осклизлое мясное хлёбвое, лениво текущие по трубам сливки, ароматные ликеры, готовые в любой момент самовоспламениться, винное внутреннее море, прокисшее и пенящееся. Этого хватило бы на день жителям целого индийского городка. Вот он, Запад, от которого бежал Роупер.

— Сдаюсь,— с трудом проговорил Хильер.— Вы победили.

— С вас тысяча фунтов. Я хотел бы их получить до того, как мы прибудем в Ярылык. Нет, возможно, я покину корабль еще раньше. Так что потрудитесь заплачивать не позже завтрашнего полудня.

— Но Ярылык — это ближайший порт. Вы не сможете покинуть корабль раньше.

— Разве вам не известно о существовании вертолетов? Всё зависит от того, получу ли я одну важную телеграмму.

— Я могу хоть сейчас выписать вам чек.

— Не сомневаюсь, что вы можете выписать чек. Но я хочу получить наличными.

— У меня нет наличных. По крайней мере, в таком количестве.

— В корабельной кассе достаточно денег. Уверен, что у вас имеются дорожные чеки или аккредитивы. Так что извольте заплатить наличными.

Он зажег сигару с такой невозмутимостью, словно съел на обед пару яиц всмятку, и ни крошки больше. Затем уверенной походкой направился к выходу. Хильер бросился на палубу, на бегу стукнувшись о Теодореску. Нет лучшего рвотного, чем океан!

4

— Как самочувствие вашего мужа? — спросил Хильер.

Голос у него был немного виноватым, поскольку Хильер считал, что в сердечном приступе мистера Уолтерса есть доля и его вины: он с видимым удовольствием обжирался, вместо того чтобы (по крайней мере после филе-миньона) встать и произнести античревоугодную проповедь на манер отца Берна. Он-то надеялся заработать тысячу фунтов, которая перед выходом в отставку казалась совсем не лишней. Теперь же придется самому платить эту сумму, и непонятно было, где ее взять. Деньги, хоть и с небольшой отсрочкой, востребованы. Тем не менее профессиональная интуиция подсказывала Хильеру, что, возможно, все еще обойдется. Первым делом следовало побольше разузнать о Теодореску. Для этого он и примостился сейчас здесь, возле открытой танцплощадки, у незамысловатой, но изящной металлической стойки бара, заказав себе шампанское «Кордон блё» со льдом и мятным ликером. Он поджидал мисс Деви. В любом случае — даже если не рассматривать мисс Деви как источник информации — Хильер считал встречу с ней необходимым атрибутом роскошной летней адриатической ночи с дорогостоящим лунным и звездным шоу, поставленным специально для танцующих толстосумов и их дам. Будь его воля, он, возможно, предпочел бы мисс Уолтерс, но не учитывать состояния ее отца просто неприлично.

Между тем миссис Уолтерс была выше подобных сантиментов и, несмотря на то, что муж ее хрипел сейчас в лазарете, опрокидывала одну за другой двойные порции виски с содовой. Хильер наконец-то смог хорошень-

ко рассмотреть миссис Уолтерс, в особенности (проявляя постыдную заинтересованность) высокий разрез ее прямого платья цвета ночной синевы и плечи, укутанные в тонкий прозрачный темно-голубой шарф; волосы не представляли собой ничего особенного, лицо по форме напоминало сердце, глаза — видимо, по причине врожденной хитрости их обладательницы — все время шурились. Он взглянул на уши: мочки практически отсутствовали, впрочем, серьги тоже. Ей можно было дать от силы лет тридцать восемь.

— Сам виноват,— сказала она необычайно густым контральто.— Это уже третий приступ. Сколько раз я его предупреждала, но он твердит свое: «Хочу наслаждаться жизнью». Донаслаждался.

— Если бы жизнь была устроена справедливо, то ее наслаждения доставались бы не обеспеченной старости, а беспечной юности,— глубокомысленно изрек Хильер.

— Смейтесь, что ли! — воскликнула миссис Уолтерс, и Хильер отметил про себя, что собеседница, по-видимому, довольно вульгарна.— Он утверждает, что в детстве ничего, кроме хлеба с джемом, не видал. И чай пил из жестяной кружки. Зато сколько у него хлеба сейчас благодаря всем этим пекарням! А детки его — поверите ли? — ни разу не пробовали хлеба. Он не хочет видеть хлеб у себя дома.

Говоря с Хильером, она все время рассеянно посматривала как бы поверх него, словно поджидая кого-то.

— Но все-таки как он себя чувствует? — снова спросил Хильер.

— Выкарабкается,— равнодушно бросила миссис Уолтерс.— Они его там чем-то колют.

Вдруг она очаровательно зарделась и чуть заметно шевельнула бедрами; к ней направлялся смазливый — словно с обложки модного журнала — мужчина, но Хильер явственно почувствовал, что, несмотря на зеленый смокинг, напомаженные волосы, гигиеническую пудру, одеколон, лосьон после бритья и дезодорирующий аромат, источаемый подмышками, от него пахло кулинарным жиром. И этот вульгарен! Недурная парочка.

Хильер взял коктейль и, не вынимая другой руки из кармана, отошел от стойки. Хорошо еще, что мысль о кулинарном жире не вызвала у него рвоты. Что касается чудовищного обеда, то он уже поделился большей его частью с морем, отыскав для этого укромный уголок воз-

ле спасательных шлюпок. Из утробы изверглось нечто совершенно пресное — перемешанные лакомства уничтожили вкус друг друга. Чувствовал он себя прекрасно, признаков голода пока не было. Добродушно взглянул на танцующих, которые, словно подростки, ритмично трясли головой и крутили бедрами, Хильер с радостью увидел среди них мисс Деви, танцевавшую с кем-то из корабельной прислуги. Отлично. Он пригласит ее на следующую танец. Хильер надеялся, что это будет танец, достойный джентльмена, то есть позволяющий крепко прижать к себе тело партнерши. Современная молодежь, которая могла бы удовлетворять под музыку свои сексуальные потребности, оказалась совершенно нетребовательной. Танцы для них — всего лишь форма самолюбования. Да и ведут они себя, как гермафродиты. Возможно, это первый шаг на долгом эволюционном пути к превращению человека в червя. Хильер представил себе человекообразного червя и брезгливо поежился. Нет уж, пока половые различия не исчезли, надо этим чаще пользоваться! (Сколько раз я его предупреждала, но он твердит свое: «Хочу наслаждаться жизнью».) Миссис Уолтерс со своим красавчиком уже куда-то убежала. Может быть, за спасательные шлюпки? Почему, интересно, они действуют возбуждающе? Наверное, как-то связано с опасностью. Адам и Ева на надувном плоту.

Танцующие прекратили вертеть бедрами и возвратились к столикам. Рядом с мисс кроме ее спутника никого не было. Ну уж от прислуги Хильер как-нибудь избежится. Хильер неторопливо наблюдал, как они медленно потягивают что-то через соломинки. Руководитель ансамбля, по-видимому, изрядно навеселе, провозгласил: «Если бы среди вас были пожилые, то я бы сказал, что следующий танец для них». Здесь все уже оплачено, и лезть тоже. Музыканты заиграли медленный фокстрот.

Мисс Деви охотно приняла приглашение Хильера.

— Мне стыдно за наше дурацкое пари, — сказал Хильер, плавно скользя по танцплощадке. — И не потому, что проиграл — это как раз пустяки, — а из-за того, что в некотором смысле оно было оскорблением для Индии. Ведь это напоминало сцену из какого-нибудь спектакля, к примеру, Брехта: двое европейцев обжираются тоннами лакомств, а на них печальнозирает Индия, размышляя о миллионах голодающих.

Мисс Деви рассмеялась. Хильер почувствовал, как восхитительно выгнулось ее тонкое тело. Как обычно, находясь рядом с женщиной, возбуждавшей в нем желание, Хильер почувствовал голод.

— Миллионы голодающих,— бесстрастно передразнила мисс Деви.— Я думаю, каждый получает то, что хочет. Нарожать столько детей, не умея при этом как следует обрабатывать землю, то же самое, что сказать: «Я хочу голодать».

— Иными словами, вы не испытываете таких чувств, как сострадание или жалость?

Чуть помедлив, мисс Деви ответила:

— По крайней мере, пытаюсь не испытывать. Надо думать о последствиях своих поступков.

— Но случаются и неожиданные. Скажем, в мой дом врывается грабитель и всаживает в меня нож.

— Значит, так на роду написано. Все изначально предопределено. Нельзя противиться воле Бога. Сочувствие жертве означает осуждение палача. Но Бога осуждать нельзя.

— Странно слышать из ваших уст упоминание о Боге.— (Мисс Деви холодно взглянула на Хильера и слегка отстранилась.) — Я хочу сказать, во время роскошного круиза, под звуки медленного фокстрота.

— Почему? Бог объемлет все: и медленный фокстрот, и саксофон, и соленые орешки на стойке бара. Что тут странного? Мир един.

Хильер украдкой вздохнул: роуперовские рассуждения. Правда, Роупер обходился без Бога.

— И весь мир подчинен единому закону? — спросил он.

— Мир не подчиняется законам, он их содержит в себе. В любых своих поступках мы следуем предначертанному свыше.

— Интересно, как относится мистер Теодореску к подобным рассуждениям?

— В принципе, он со мной согласен. Он верит в свободу воли. Человек должен делать то, что хочет. Не следует подавлять свои желания.

«Неплохо», подумал Хильер и сказал:

— А если желаешь не чего-то, а кого-то?

— Необходима гармония желаний. Иногда так и предопределено. Но чаще желание одного осуществляется вопреки желанию другого. Задача того, кто испытывает

желание, возбудить ответное желание. Возможно, это самое божественное деяние, на которое способна душа человека. Человек как бы сам творит свою судьбу.

С теоретической точки зрения, рассуждения мисс Деви мало интересовали Хильера, хотя он, разумеется, вида не подавал. Равно как не желал немедленно предлагать ей себя для их практического воплощения. К чему торопиться, впереди еще вся ночь! Плита включена — пусть цесарка доходит в духовке.

— Не сомневаюсь,— сказал Хильер,— что такую женщину, как вы, много раз желали в надежде встретить ответное желание. И, думаю, во многих странах.

— В одних странах чаще, в других реже. Однако у меня не так много времени на светские развлечения.

— Мистер Теодореску перегружает вас работой?

— Ой, как он отвратительно сфальшивил! — Мисс Деви сделала очаровательную гримасу.— Саксофонист, должно быть, пьян. Что вы спросили? Ах, да, конечно, я очень занята.

У двери в дальнем конце танцплощадки Хильер увидел Риста. Тот, покуривая, наблюдал за танцующими. На Ристе была рубашка и вечерний галстук-бабочка в горошек. Заметив Хильера, он приветливо, но сохраняя достоинство, помахал рукой и разинул рот, чтобы выразить свою беззубую радость.

— Наверное, печатаете? — поинтересовался Хильер.— Я, кстати, сейчас разрабатываю дешевую портативную электрическую машинку. Ее можно носить с собой и подключать к обычной розетке.

— Танцуя со мной под звездами Адриатики, вы считаете необходимым говорить о пишущих машинках?

— Мир един. В нем всё: и Бог, и пишущие машинки, и пьяный саксофонист. А чем занимается мистер Теодореску? Ведь и он — часть этого мира.

— Он называет себя *entrepôt*¹ промышленной информации. Он ее покупает и продает.

— И всегда получает наличными?

Оставив этот вопрос без ответа, мисс Деви сказала:

— Если вы пытаетесь выяснить, связывают ли меня с мистером Теодореску личные отношения, то могу сразу ответить: нет. Если же вы хотите, чтобы я использовала свое личное влияние на мистера Теодореску, с тем

¹ Склад (фр.).

чтобы он простил вам долг, то могу снова сказать: нет. Играть с ним в азартные игры бессмысленно: мистер Теодореску всегда выигрывает.

— А если я, предположим, откажусь платить?

— Это было бы крайне неразумно. С вами может произойти несчастный случай. Мистер Теодореску обладает огромной властью.

— Вы хотите сказать, что он способен на оскорбление действием? В таком случае, я сделаю это первым. Дерусь я, слава Богу, неплохо. Я полагаю, джентльмен обязан принять чек от другого джентльмена. Но мистер Теодореску требует наличными и даже способен подстроить мне несчастный случай. Не думаю, что после этого мистера Теодореску можно назвать джентльменом.

— Не советую говорить такое при нем.

— Я с удовольствием скажу ему это прямо в лицо. Где он? Разлегся, наверное, на койке у себя в номере — небось в люксе.

— Ошибаетесь, мистер Теодореску сейчас в радиорубке. Отправляет какие-то телеграммы. Что бы он ни выпил, что бы ни съел, ему никогда не бывает плохо. Более сильного мужчины я, пожалуй, не встречала.

— Простите,— извинился Хильер перед соседней парой, в которую он едва не врезался, и продолжил, обращаясь к мисс «танцующей Деви»*,— однако он недостаточно силен, чтобы пробудить в вашей душе ответное желание.

— Что-то вы заговорили высоким слогом. Мистера Теодореску интересуют сексуальные отношения иного рода. Он утверждает, что исчерпал возможности женщин.

— Если я вас правильно понял, нашему не по годам смышленому Уолтерсу следует опасаться.

— Мистер Теодореску невероятно разборчив. Разборчив во всем.

— Зато я, хотя и не всеяден, не столь разборчив.

— Что вы хотите сказать? — Не дав ему ответить, она внимательно посмотрела на Хильера своими кошачьими глазами и сказала: — Мне кажется, вы зачем-то стремитесь казаться уродливее, чем есть на самом деле. Я почти уверена, что в действительности вы выглядите совершенно иначе. Что-то здесь не так. Маленький на-

глец утверждал, что вы ничего не смыслите в пишущих машинках. Минуту назад вы довольно неуклюже пытались перевести разговор на машинки, словно желая убедить себя самого, что имеете к ним отношение. Зачем вы здесь? Кто вы?

В ответ Джаггер исполнил импровизацию на мотив арии Мими из первого акта «Богемы»:

— Меня зовут Себастьян Джаггер. Я специалист по пишущим машинкам.

Его импровизация почти естественно вписалась в фокстрот. Пианист, который, похоже, был пьян не меньше, чем лидер ансамбля, выписывал нечто атональное и алеаторическое *, в то время как бас и ударник пытались убедить танцующих, что музыканты по-прежнему исполняют фокстрот.

— У меня заказ от «Оливетти». Сейчас я в отпуске, а потом на некоторое время возвращусь в Англию.

— Я хотела бы разоблачить вас, понять, кто вы на самом деле.

В глазах мисс Деви сверкнула сладостная угроза.

— Мы могли бы разоблачиться вместе,— галантно предложил Хильер.

Музыканты (за исключением пианиста) вдруг прекратили играть. На эстраде появился пышущий здоровьем, несмотря на тучность, седой человек в смокинге с высоким жестким воротником.

— Друзья мои,— провозгласил он профессионально поставленным голосом. Пианист отозвался речитативным аккомпанементом, но на него сразу шикнули. «Друзья» все еще прижимались друг к другу, словно участвовали в языческом празднике любви.— Нас попросили, чтобы мы, если можно, сегодня больше не танцевали. Большинство из вас знает, что один из пассажиров находится сейчас в лазарете. И, разумеется, там слышно, как мы веселимся. Боюсь, что положение его критическое. Думаю, нам следует проявить понимание и участие и закончить сегодняшний вечер в тишине, возможно, даже в медитации. Благодарю за внимание.

Под жидкие аплодисменты он спустился с эстрады. Руководитель ансамбля с воодушевлением поддержал его:

— Эй, ребята, вам все ясно? Быстренько по домам и чтоб по дороге не баловаться!

— Мне кажется,— сказала мисс Деви, левая рука которой по-прежнему покоилась на плече Хильера,— что вы позволяете себе дерзости.

— А мне кажется, что вы придаете слишком большое значение условностям. Вас восхищает разборчивость, вас возмущает дерзость. Что ж, неразборчивый Бог имел дерзость создать меня таким, каков я есть. Так узнайте же на досуге, что у него получилось. Вы, кажется, говорили что-то о разоблачении?

— На сей раз я не забуду запереть дверь в каюту.

— Нисколько в этом не сомневаюсь.

Хильер почувствовал голодную резь в животе. Рука мисс Деви все еще лежала на его плече. Он осторожно опустил ее.

— Серебряное колечко в носу,— Хильер потянул за колечко, и мисс Деви слегка отпрянула,— непременно оставьте. На остальных предметах туалета я не настаиваю, но колечко пусть будет.

Мисс Деви высоко вскинула голову, словно собиралась водрузить на нее кувшин с водой, сделала неопределенный, но, в общем, неодобрительный жест и с арийским достоинством прошествовала сквозь расходившуюся толпу.

Рист по-прежнему стоял у двери. Рядом с ним находился его неизменный напарник, худощавый, смуглый человек средних лет с довольно неприветливой наружностью. Одет он был так же, как и в обеденном зале.

— Ну что, дело движется? — спросил Рист, а его напарник снова сказал: «Спасибочки за пиво»,— и заговорщически посмотрел на Хильера.

— Принесите мне в каюту поесть,— сказал Хильер.

— Это его дело,— напарник кивнул на Риста,— не для красоты же он тут стоит.

— Все разумные желания пассажира должны выполняться по первому требованию,— важно изрек Рист.— Что вы предпочитаете, сэр?

— Ракообразных, если вам известно это слово. Без гарнира, но не забудьте красный перец. И ледяное шампанское.

— Понятно, сэр. Кстати, если еще не выяснили, номер интересующей вас каюты — пятьдесят восемь. Разрази меня гром! — старомодно воскликнул Рист,— живут же люди!

Хотя час был поздним и светильники в коридоре горели вполне накала, Хильер не сомневался, что добраться до заветной каюты незамеченным ему не удастся. Из-за дверей доносился храп такой силы, что трудно было поверить в его естественное происхождение; того и гляди распахнется какая-нибудь дверь, и из отдыхающих от протезов рта или из-под бигуди на Хильера обрушится поток негодования. Словно в подтверждение его опасений в конце коридора показался Рист. «Удачи, сэр», — пожелал он Хильеру, как будто тот находился на крикетном поле и собирался ввести мяч в игру. А вот и маленький мистер Уолтерс в парчовом китайском халате с драконами — вышагивает нервно, как будущий молодой отец возле роженицы, попыхивает «Балканским собранием» в мудштуке «Данхилл». Вспомнив об отце Алана, Хильер участливо спросил, есть ли какие-то новости.

Несмотря на желание Алана казаться взрослым, выглядел он зареванным ребенком.

— Какие могут быть новости? Пожинает то, что посеял. Он же знал, что заработает артериосклероз.

В его ответе Хильеру послышался отзвук жестокой философии мисс Деви.

— Нельзя обвинять человека в том, что у него больные артерии, — сказал Хильер. — Одному везет, другому нет.

— Что станет со мной и Кларой, если он умрет?

— С Кларой?

— Да, с сестрой. О себе-то эта сука, как всегда, позаботится. Отец считает себя самым умным. Я ведь предупредил его, чтоб не женился на ней. Жили мы себе втроем, и все было чудесно. А теперь она все заграбастает. Я-то знаю, как она нас ненавидит. Не представляю, что с нами будет.

В ответ раздался храп.

— Наука сегодня творит чудеса, — пролепетал Хильер. — Увидишь, через пару дней он будет совершенно здоров.

— Что вы в этом понимаете? В чем вы вообще понимаете? Только и умеете, что шпионить по коридорам. Если он умрет, я ее укукошу. Или вы ее укукошите, раз вы шпион, а я вам заплачу.

— Прекрати болтать глупости, — громко сказал Хильер.

За дверью соседней каюты начали шикать. Как Хильер и подозревал, спали далеко не все.

— Мы продолжим наш разговор утром. Уверен, что к утру все образуется. Засияет солнышко, и все забудется, как страшный сон. А теперь марш в кровать.

Алан взглянул на Хильера, который был в халате на голое тело.

— Снова в душ... Второй раз за полдня.— (Слава Богу, в мальчишке еще сохранились остатки невинности!) — Хотя вы и шпион, но очень чистоплотный.

— Слушай, давай покончим с этим раз и навсегда. Я не шпион. Ты понял? Действительно, они существуют, я даже видел пару настоящих шпионов, но я не из их числа. Какой из меня шпион, если ты меня сразу раскусил? Ведь для шпиона главное — это не выглядеть шпионом. Ясно тебе?

— А спорим, что у вас есть пистолет?

— А спорим, что и у тебя есть. У тебя, похоже, все есть.

Алан отрицательно покачал головой.

— Слишком молод, чтобы иметь оружие. Это моя главная беда: что бы мне ни захотелось, всегда оказывается, что я слишком молод. Например, слишком молод, чтобы оспорить завещание.

— И слишком молод, чтобы не спать в такое время. Ступай в кровать. Можешь принять пару таблеток снотворного, не сомневаюсь, что и оно у тебя найдется.

— А вы мне начинаете нравиться. У вас есть дети?

— Нет. Ни детей, ни жены.

— Одинокий волк. Кот, который гуляет сам по себе. Жаль только, что вы со мной юлите, все равно ведь выведу на чистую воду. Все равно разоблачу и узнаю, кто вы на самом деле.

Еще одна мисс Девил

— Ладно, только завтра,— сказал Хильер.— Завтра все будет по-другому. Где твоя каюта?

— Вон та. Заходите, пропустим стаканчик перед сном.

— Спасибо, но у меня неотложные дела.

Хильер согнулся, словно у него внезапно кольнуло в животе.

— Это все обжираловка,— сказал Алан.— Я видел, как вы начинали, и знаю, чем все кончилось. Не доверяйте этому человеку,— прошептал Алан.— Он иностран-

нец, хотя, наверное, считает, что своим шикарным произношением сумел сбить меня с толку. Ладно, идите,— произнес он вдруг официальным тоном и направился к себе в каюту.

Рист тоже куда-то исчез, и Хильер поспешил к каюте пятьдесят восемь. Как он и предвидел, дверь была не заперта. Он постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Мисс Деви — он и это предвидел — сказала:

— Опаздываете.

— Не по своей вине,— сказал Хильер не в силах перевести дыхание: мисс Деви лежала совершенно обнаженная, за исключением, разумеется, серебряного колечка в носу.— Ничего не мог поделать.

Ее распущенные волосы струились до колен. Обворожительное, смуглое, словно хорошо пропеченное тело чуть отсвечивало матовым глянцем; смолянистый курчавый кустик казался дерзкой пародией на ее восхитительные волосы; грудь, несмотря на внушительные размеры, не свисала, а стояла твердо, словно отлитая из какого-то божественного каучука; соски уже набухли. Она протянула руки — два золотых меча — к Хильеру. Он скинул шлепанцы. Халат скользнул на пол.

— Где выключается свет? — спросил он, тяжело дыша.

— Не надо. Я хочу видеть.

Хильер приступил.

— *Agaikkul va* ¹, — прошептала она.

Тамильский? Дравидская группа *. Значит, с юга, не арийка и, возможно, искусству любви обучалась не по грубой «Кама Сутре» *, а по малоизвестному трактату «Рокам» *, название которого врезалось когда-то Хильеру в память по причине непристойных ассоциаций.

За этим последовало нечто утонченно-изысканное, граничащее с агонией, давно забытое. Она воспламенила его нежным «объятием павлина», которое перешло в «мадакадам», «поттн» и «пуданей». Хильер стал терять ощущение времени и, чувствуя, что сейчас взлетит, кивнул самому себе: «Прощай, Хильер». Чей-то голос, режущий, как свет, стал задавать нелепые вопросы, но на каждый из них Хильер мог ответить. День Воздвижения Креста Господня *? 14 сентября. Год публикации «Ипатни» *? 1853. Конверт Малреди *; «Моральная философия» До-

¹ Войди (тамил.).

ни *; «Кеннингтон Оувал» *, разбита в 1845; «Лотта в Веймаре», «Анна на шее», Анна на рельсах; имя привратника претория Понтия Пилата — Картафил *, «Вечный жид». Коронация Елизаветы? Ноябрь 1558. Еще тянуло вниз, еще оставались дела на земле, еще не выполнено было задание, но Хильер взлетал все выше и выше, в запределные сферы, откуда доносился голос. Он увидел тянущиеся к себе губы, они раскрылись, словно собираясь его всосать. «Первая—пятая, пятая — восьмая», — шепнул чей-то беспечный голос, но Хильер криком заглушил его. А губы втягивали все глубже, ласкали все яростней, пока, наконец, из него не брызнул желанный, долгожданный сок. Мапи ¹ — он не забыл, как это называется. Хильер истекал мапи, оно вливалось потоком в сосуд, трепетавший, как живое существо. Потом сосуд запечатали горячим сургучом. Хильер превратился в человека по имени Джонробертджеймсуильям (флейта Бёма * запела над Помпеями, Спалато, Кенвудом, Остерли*) Бидбеллблэр, и ему приказали: «Отдать швартовы!» Но вплыть в эту узкую, сладостную пещеру означает потопить все корабли мира: «Алабаму», Ковчег, «Бигль», «Беллерофон», «Баунти», «Каттн Сарк», «Дредноут», «Индивор», «Эребус», «Фрам», «Гоулден хайнд», «Грейт Гарри», «Грейт истерн», «Марию Селесту», «Мейфлауэр», «Ривендж», «Скидбладнр», «Виктори» *. Но не останется и клочка земли, на который не упадет его семя: из пещеры под землю уходили миллиарды каналов, они просвечивали сквозь толщу, напоминая кровеносную систему человека из учебника анатомии. А мапи все прибывало, и вот уже потоки слились в единый обжигающий океан, и военные корабли, поскрипывая мачтами, приветствовали друг друга. Раскаленная добела тридцатиметровая башня, возвышавшаяся из его чресел, обвалилась, наконец, миллионами кирпичей. Он избавился от гнетущей ноши. «Уриил, Рафаил, Рагуил, Михаил, Сарнил, Гавриил, Иеремиил!» * — провозгласил величественный голос, всемерно слитый, но распадающийся на семь разных голосов. Но — о, чудо! — сосуд вдруг вновь стал наполняться из каких-то неведомых источников.

«Madu, madu!» ², — кричала она. Вот оно, неистовство юга! Она вдруг стала магическим образом разбухать,

¹ Семя (санскр., букв.: перл.).

² Бык! (тамил.).

превращаясь в необъятную Праматерь; громадная грудь уже не умещалась в его руках, но короткие пальцы вдруг тоже стали расти! Соски буравами вгрызались в ладони! Затихавший было костер снова вспыхнул — это жаром полыхнуло из благословенного ада пекла, что располагалось (прав был Данте!) в самом центре земли. Его зажало в расщелине меж громадных холмов. Он двигался медленно, затем все быстрее и вдруг услышал, как заголосили бакланы, олуши, выпи, ибисы, розовые цапли, фламинго, краксы, куропатки, погоныши, лысухи, бухарские голуби, дрофы, ржанки, шилоноска, сорокаи, кроншнепы, нволги, клесты, зяблики, сорокопуть, веретенники, каменки, варакушки. Клеток птиц превратился в клеток крови, каюта взмыла в воздух, но в стратосфере сорвало потолок, и они оказались на воле. Он сидел на ней верхом, держась что есть силы, чтобы не упасть, но слышалась сладкозвучная кантилена, и, когда он уже смирился с тем, что они сейчас пойдут ко дну, она сжалась до прежних размеров, и бушующий, гонимый бурей поток волос наконец угомонился.

Но и это было не все. Начался последний пароксизм, правда, ощущение времени и пространства уже не исчезало, проступила реальность: тавро на левом плече, нежная шелковистость кожи, пот, склеивший два тела. Каждый старался проникнуть в jaghana¹ другого, чтобы внутренности обоих сплелись в единый извивающийся змеинный клубок. Здесь природа должна была бы позволить полное взаимопроникновение, слияние линги и йони *. «А теперь — боль», — сказала она и впилась в спину Хильера ногтями, словно в попытке пригвоздить его к себе. Почувствовав, что он слабеет, она отлепилась: змеинный клубок распутался, змеи заползли обратно, каждая — в свое лоснящееся логово, захлопнувшееся за ней, словно дверь на невидимых петлях. Шлепок по шее Хильера, шлепок по груди — такой, что волосы стали дыбом, — и она перешла к «полумесяцу», затем «тигриный коготь», «павлинья нога», «прыжок зайца», «лист голубого лотоса». Затем, взяв на себя роль мужчины, она заставила Хильера испытать столь острую и сладостную боль в промежности, что он едва не лишился чувств; еще немного, и она пробурит его насквозь. Она села верхом, и он вошел, но казалось, что вошла в него она. Хильеру почудилось, что его вот-вот припод-

¹ Живот (санскр.).

нимут над простыней за горящие, оттянутые соски. В ответ он вонзил собранные в шепотку пальцы в пламя, бушевавшее в темной пещере, и, погружаясь все глубже, вскоре достиг ее предела. С ловкостью гимнаста он вернул ее в исходное положение и, заржав табуном диких лошадей, задрожав, словно тело — все, кроме вонзенного кинжала — превращалось в протоплазму, сделал последний неистовый выпад и стал изливаться огненной лавой. Она ответила воплем пылающего города. Стонущий, выжатый до капли вампирами, Хильер застыл на ней. Закружились галактики, пронзительно вскрикнула и стихла история, тело начало обретать чувствительность, появились знакомые желания. Он вышел из нее, как из моря — по соленому телу катились капли. Хильер потянулся за халатом, но она схватила его раньше и набросила на себя. Улыбнулась, но не нежно, а злобно (он даже удивленно скривился) и крикнула:

— Войдите!

И он вошел — по-прежнему в вечернем костюме, огромный, лысый, улыбающийся; мистер Теодореску.

— О, вот этому знаку я верю, — пробасил орган. — Такое не подделаешь.

Слишком поздно было пытаться скрыть букву «S», пылавшую на влажном обнаженном теле.

— Мистер Хильер! — сняв провозгласил Теодореску. — Я подозревал, что это мистер Хильер. Теперь я в этом уверен.

6

— Да, — сказал Теодореску, — теперь я в этом уверен.

В руке он сжимал трость с грушеобразным набалдашником.

— Конечно, вы, мисс Деви, узнали об этом раньше меня, — продолжил Теодореску. — Знак «S» говорит сам за себя. Работа безжалостных подручных Соскиса. Внешность Хильера пока еще скрыта, но змейка эта снует по всей Европе и показывается только вашим врагам-потрошителям — впрочем, ребята эти, мистер Хильер, получили в детстве прекрасное воспитание — или женщинам со столь многообразными талантами, как у нашей мисс Деви.

— Конечно, глупо было скрывать свое подлинное

имя,— сказал Хильер.— Слушайте, я себя чувствую, как на приеме у врача. Позвольте я что-нибудь надену.

— Нет,— сказал Теодореску.

Халат Хильера был по-прежнему на мисс Деви, к тому же она так и не встала с постели, и он не мог обернуться простыней или одеялом. Хильер уселся на единственный стул, стоявший возле иллюминатора. Слева от него была тумбочка. Внутри, наверное, лежала одежда. Даже сейчас одна лишь мысль, что он может надеть трусики или сари мисс Деви, вызвала физическую реакцию, которую ему пришлось прикрыть ладонями. Между тем в одном из ящичков может быть и пистолет. Он рискнул дернуть ручку одного из них, но тот оказался закрытым.

— Мистер Хильер, лучше будет, если вы останетесь, как говорится, *in pigis naturalibus*¹. Дайте посмотреть, какой же вы есть на самом деле. Боже, Боже, как изувечено ваше тело на полях военных и любовных сражений. Но меня интересует лицо. Под щеками, наверное, парафиновые подкладки; а презрительно опущенные уголки рта это, должно быть, обыкновенные накладные швы. Усы настоящие? Почему так блестят глаза? Ладно, у нас не так много времени на разговор. Итак, начнем.

— Прежде всего,— сказал обнаженный Хильер,— скажите мне, кто вы.

— Я действую под своим настоящим именем,— проговорил Теодореску, прислонившись к шкафу.— Я сохраняю абсолютный нейтралитет, и ни одна страна — ни большая, ни малая — мне не платит. Я собираю информацию и продаю ее тому, кто предложит самую большую — точнее, просто большую — цену. Покупателей, непосредственно связанных со мной, только двое, и обычно мы встречаемся в Лозанне. Они торгуются, исходя из сумм, отпущенных их организациями. Это довольно доходный бизнес и сравнительно безопасный. Иногда я совершаю целевую продажу, не прибегая к торгам. Такие вот дела. Мисс Деви, не могли бы вы одеться? Мы, как подобает джентльменам, отвернемся. Затем сходите, пожалуйста, в радиорубку и отправьте телеграмму. Содержание вы знаете.

— А я — нет,— сказал Хильер.— Но подозреваю, что речь пойдет обо мне?

¹ В натуральном виде (лат.).

Мисс Деви встала, сгребла простыни и одеяло и бросила бело-бурый ком между Теодореску и дверью — так, чтобы Хильер не мог до него дотянуться. Теодореску грациозно посторонился, пропуская мисс Деви к шкафу, где лежала одежда. Она выбрала черные брюки с белым джемпером. Хильер, по причине наготы не причислявший себя к джентльменам, заинтересованно следил за ее действиями. Не снимая халата, она натянула брюки. Затем скинула халат (Хильер тоскливо вздохнул, вспоминая о только что разделенной страсти), швырнула его в валяющуюся на полу кучу и надела свитер. Распущенные волосы остались под свитером, она их вытащила — с долгим электрическим потрескиванием. Хильеру дышалось все тяжелее. Теодореску по-прежнему благовоспитанно устремлял взор в иллюминатор, в адриатическую тьму. Мисс Деви безадресно улыбнулась, надела босоножки и молча вышла. Теодореску грузно опустился на койку.

— Думаю, вы догадываетесь о содержании телеграммы. Если мои осведомители в Триесте не ошиблись, это ваше последнее задание. В чем оно состоит, я не знаю, да и не слишком стремлюсь узнать. Но в Ярылыке вы на берег не сойдете. Мисс Деви сообщит береговым службам, используя доступный их разумению шифр, о вашем пребывании на борту. Так что в порту вас будут ждать. Поверьте, я ничего не хочу на этом заработать, поскольку вы, разумеется, на берег не сойдете. Они будут поджидать мистера Джаггера или любого другого джентльмена, за которого вы попытаетесь себя выдать, но никого, похожего на вас, не обнаружат. Конечно, в поисках предательского клейма они могут счесть необходимым раздеть нескольких пассажиров. Те, кого разденут — а много их не будет, ведь большинство наших *compagnons de voyage*¹ старые и толстые, — даже не станут возражать: по возвращении домой будет что рассказать за бренди и сигарой о приключениях в бесчеловечном полицейском государстве. Предпочтя остаться на борту, вы, конечно, тоже подвергнетесь определенной, хотя и небольшой, опасности. Вам прекрасно известно упорство, с которым эти славные ребята преследуют свою жертву. Некоторые из них, разумеется, в целях углубления международного взаимопонимания, могут подняться на корабль. Ярылык — это кисло-сладкая подлива

¹ Попутчиков (фр.).

ко всему нашему гастрономическому круизу. Для них британские продукты, британское виски и несколько сувениров из судового киоска — достаточная причина, чтобы позволять нашим судам пользоваться их черноморскими портами. Так что, мистер Хильер, вас будут искать и на корабле. Возможно, у них даже будет ордер на арест по сфабрикованному обвинению. И капитан не захочет поднимать лишнего шума.

— Однако вы разговорчивы, — сказал Хильер.

— Ну вот видите! — радостно проговорил Теодореску. — Теперь самое время перейти к главному. Завтра за мной и мисс Деви прилетит вертолет. Мы собираемся поплавать на яхте у острова Закинф. И мы бы очень хотели, чтобы вы разделили нашу компанию.

— Где вы собираетесь остановиться?

— Штаб-квартиры у моей фирмы не имеется. Но мы могли бы прекрасно провести время втроем на моей небольшой вилле возле Амальяса.

— После чего меня, разумеется, продадут.

— Продадут? Продадут?! Будь у меня такое желание, я бы мог продать вас хоть сейчас. Нет, мистер Хильер, я торгую только информацией. И у вас ее должно быть в избытке. Мы сможем не спеша потолковать о том, что вам известно. А затем, получив хорошее вознаграждение, отправитесь куда душе угодно. Что скажете?

— Нет.

— Так я и думал, — сказал Теодореску, вздыхая. — Жаль. Мисс Деви, как вам известно, обучена искусству дарить весьма изощренные наслаждения. Точнее, вам это еще не известно. То, что вы испытали, было только прелюдией. Лично меня женщины не интересуют — предпочитаю свеженьких греческих пастушков, — однако многие из тех, к чьим гедонистическим пристрастиям много рода я отношусь с уважением, уверяли меня в совершенно выдающихся качествах мисс Деви. Подумайте, мистер Хильер. Вы оставляете свою небезопасную шпионскую деятельность. Что вас ждет впереди? Жалкая пенсия и никакого выходного пособия.

— Если я выполню это задание, мне обещано крупное вознаграждение.

— Если, мистер Хильер, если... Вам ведь известно, что вы его не выполните. Скоро у вас не останется сомнений и относительно «если». Я предлагаю вам деньги,

а мисс Деви — себя. Как вы на это смотрите? Уверяю вас, что я вознаграждаю не менее щедро, чем мисс Деви.

— Мне будет легче думать, если вы позволите мне одеться.

— Я рад. Начало положено. Видите, вы уже согласны подумать.

— Нет, ваше предложение я уже обдумал: я никуда не поеду.

— Как угодно, — сказал Теодореску. — Я признаю свободу воли. Я ненавижу принуждение. Разумеется, стимулирование вознаграждением — это нечто совсем другое. Что ж, есть кое-какие вещи, которые я хотел бы узнать немедленно. И я хорошо заплачу. В доказательство своей щедрости начинаю с того, что прощаю вам поражение в «дуэли желудков». — Он рассмеялся. — Можете не платить мне тысячу фунтов.

— Спасибо, — сказал Хильер.

Довольный, словно не он, а Хильер сделал ему одолжение, Теодореску достал из внутреннего кармана сигарочницу, позаботившись, чтобы при этом из-за пазухи выглянули пухлые пачки долларов.

— Стодолларовые купюры, мистер Хильер, «сотенки». Угощайтесь сигарой.

Он раскрыл сигарочницу, в которой оказались толстые «Ромео и Джульетта». Хильер сигару взял — ему до смерти хотелось курить. Теодореску добыл огонь из золотого «Ронсона». Оба затянулись. Дамские ароматы каюты мисс Деви растворились в атмосфере мужского клуба. Теодореску задумчиво спросил:

— Среди прочих наслаждений, которые, как мне кажется, вы испытали с мисс Деви, помните ли вы то восхитительное до боли ощущение, будто острый, как игла, коготь вонзается в самую интимную часть вашего существа?

— Откуда вы знаете?

— Оно было вызвано искусственно: укол замедленного, но чрезвычайно сильного действия. Вам ввели «веллоцет В», разработанный доктором Победоносцевым из Юзова. Примерно через пятнадцать минут вы с предельной откровенностью ответите на любой мой вопрос. Мистер Хильер, пожалуйста, прислушайтесь к моим словам, поверьте мне, а потом уже, если сочтете необходимым, говорите, что я все это выдумал. В отличие от других препаратов такого рода «веллоцет В» не погру-

жает человека в сон, во время которого ему задают вопросы. Напротив, вы сохраните совершенную ясность рассудка, но впадете в столь сильную эйфорию, что сокрытие правды покажется вам недостойным той долгой, нежной дружбы, которая, как вам будет казаться, связывает нас обоих. Мне остается только ждать.

— Сволочь! — воскликнул Хильер и попытался встать со стула, но Теодореску немедленно ударил его тростью по *glans penis*¹.

Хильер попробовал дотянуться до Теодореску, но тот, с наслаждением попыхивая сигарой, ловко парировал нападение тростью. Хильер оставил свои попытки и, постанывая, сгибаясь пополам, пытался превозмочь мучительную боль.

— Я разделяю ваше уважение к свободе воли и потому хотел бы, чтобы вы ответили на мои вопросы добровольно. Первый вопрос оценивается в пять тысяч долларов. Похоже на глупые телевикторины правда? Заметьте, мистер Хильер, что я могу вообще не платить вам. Но я лишил вас возможности получить вознаграждение и считаю своим долгом компенсировать его.

— Ни слова не скажу, сволочь!

— Скажете, скажете, в этом я определенно уверен, но не лучше ли отвечать по собственной воле, отдавая себе отчет в своих действиях, чем выдавать информацию, будучи одурманенным этим дурацким препаратом?

— Какой первый вопрос? — спросил Хильер, думая при этом: «Я не должен отвечать, я не должен отвечать, у меня есть выбор».

— Прежде всего я хочу знать — и, не забудьте, плачу за это пять тысяч долларов — подробности о восточно-германском канале эвакуации агентуры, известном, если не ошибаюсь, как «Карл Отто».

— Не знаю. Я действительно не знаю.

— Понимаю, но попытайтесь все-таки вспомнить, и побыстрее: у меня мало времени, а у вас и того меньше. Второе: за шесть тысяч долларов я хотел бы получить имена членов харьковской террористической организации «Вольрусь».

— О, Господи, ну как же...

— Послушайте, мистер Хильер, я же не говорил, что передам эту информацию Советам. Еще посмотрим,

¹ Головка члена (лат.).

сколько они за нее предложат. И потому вы должны сообщить мне код, по которому я смогу связаться с ними. Насколько я знаю, следует поместить объявление в «Дейли уоркер». Эта единственная британская газета, доступная в Советском Союзе, является прекрасным каналом связи с дерзкими антиправительственными группировками, которые (хотя их действия не опаснее комариного укуса) так тревожат КГБ. Но сомневаюсь, что Советы предложат больше, чем заграничные покровители конспираторов.

Расплывшись в блаженной улыбке, Хильер смотрел на Теодореску — исчезли боль и раздражение из-за того, что он сидит голый; Хильер испытывал прилив сил, возбуждение, уверенность в себе. Он думал о том, какой Теодореску умный и талантливый, как он здорово умеет есть и пить. С ним приятно завалиться куда-нибудь вечером. Какой же он враг? Он сохраняет строгий нейтралитет и искусно делает деньги на всей этой идиотской мышшиной возне, от которой Хильер решил теперь отказаться, поскольку степень идиотизма сделалась невыносимой. Но тут он заподозрил, что это начинает сказываться действие препарата. Надо во что бы то ни стало заставить себя ненавидеть Теодореску. Он встал со стула и, дружески улыбаясь, проговорил:

— Я надеваю халат, и ничто не сумеет мне помешать.

Теодореску тут же наотмашь, хотя и беззлобно, ударил его тростью по голням. Боль кипятком окатила Хильера.

— Сука вонючая,— процедил он сквозь зубы.

Но Хильер был благодарен Теодореску за то, что тот снова превратил себя во врага. Спасибо и на этом! Хильер понимал, что происходит, понимал, что надо топиться.

— Где деньги? — спросил Хильер.— Одиннадцать тысяч долларов.

Теодореску вытащил все свои деньги. Хильер сказал:

— «Карл Отто» начинается в Зальцведеде, с дома номер сорок три по Шлегельштрассе.

— Так, так.

— Я могу назвать только пятерых членов харьковской группы: Н. А. Брусилов, И. Р. Столыпин, Ф. Гучков, отчества не помню.

— Дальше.

— Может быть, лучше записать?

— Все записывается. В верхнюю пуговицу моей ширинки вмонтирован микрофон. Вот здесь, в левом внутреннем кармане, спрятан магнитофон. Только что, когда вы подумали, что я почесал подмышку, я его включил.

— Оставшиеся: Ф. Т. Крыленко и Х. К. Скворода.

— Так, последний — украинец. Прекрасно. Теперь код.

— Элкин.

— Элкин? Гм... Ладно, ну а теперь за двенадцать тысяч долларов я хочу узнать точное — подчеркиваю: точное — местоположение Департамента 9-А в Лондоне.

— Этого я не могу сообщить.

— Обязаны, мистер Хильер. Более того, непременно сообщите. Ждать осталось недолго.

— Не могу. Это будет предательством.

— Отнюдь. Мы живем в мирное время, никакой войны не предвидится. Все это детские игры на всемирном полу. О каком предательстве может идти речь?

В его огромных глазах светилась добрая улыбка. Хильер улыбнулся было в ответ, затем вскочил и ударил Теодореску. Тот тоже поднялся во весь свой исполинский рост и, не вынимая изо рта сигару, мягко взял Хильера за руки и сказал:

— Ну зачем же так, мистер Хильер? Кстати, как вас зовут? Ах, да, вспомнил — Денис. Мы друзья, Денис, друзья. И если вы не скажете сейчас за двенадцать тысяч долларов, то через несколько минут скажете бесплатно.

— Ради Бога, ударьте меня. Ударьте посильней!

— Нет, мой дорогой, никогда, — вкрадчиво сказал Теодореску. — Итак, мой милый Денис, Департамент 9-А. Точное местонахождение.

— Если вы меня ударите, — сказал Хильер, — я вас возненавижу, но если после этого я вам что-то скажу, то сделаю это по своей воле. Вы ведь этого и добиваетесь, верно?

— Стадия «затмения» уже близко, но еще не наступила. Вы будете говорить совершенно добровольно. Взгляните, вот деньги. Двенадцать тысяч долларов. — Он помахал пачкой перед Хильером, у которого уже поплыло в глазах. — Советую поторопиться.

— Район Чизик. Глоуб-стрит. Недалеко от Девоншир-роуд. От дома номер двадцать четыре до молочной на углу. Боже, Боже, прости меня!

— Простит, не волнуйтесь. Сядьте, мой милый Денис. Хорошее имя — Денис. Оно происходит от «Дионис». Сядьте и успокойтесь. Вам, кажется, некуда положить деньги. Наверное, будет лучше, если я отдам их, когда вы оденетесь.

— Нет, сейчас. Они мои, я их заработал!

— И заработаете еще больше.

Хильер выхватил деньги и словно фиговым листком прикрыл ими пылающие гениталии.

— Жаль, что мы с мисс Деви уедем завтра без вас. Но не беспокойтесь, мы вас найдем. Не так уж много мест, где вы сможете поселиться, выйдя в отставку. Впрочем, — задумчиво добавил Теодореску, — вполне вероятно, что вы сами пожелаете разыскать мисс Деви.

Жгучий стыд боролся в Хильере со все усиливающейся эйфорией. Он зажмурил глаза и закусил губу, чтобы не улыбнуться.

— «Веллоцет В» на вас подействовал не слишком сильно, — сказал Теодореску. — Система кровообращения оказалась весьма мощной. Любой другой давно бы уже меня слюнявил и признавался в любви.

— Ненавижу, — с нежной улыбкой проговорил Хильер. — Ненавижу это мерзкое жирное брюхо.

Теодореску отрицательно покачал головой.

— Ненависть появится завтра. Но будет слишком поздно. Вы крепко заснете, и рано пробудиться вам не удастся. Но даже если вы и проснетесь до того, как мы с мисс Деви отбудем на вертолете на один из греческих островов, вы все равно не сумеете причинить мне ни малейшего вреда: все утро я проведу рядом с капитаном на мостике. Более того, вам и нечем это сделать. Я предусмотрительно проник в вашу каюту и забрал оттуда «Айкен» с глушителем. Славная игрушка. Теперь она здесь.

Он достал пистолет из левого кармана. Хильер насунился, но тут же улыбнулся. Он чуть было не сказал, что охотно подарит его Теодореску. Но Теодореску, вероятно, предвосхитив его желание, положил пистолет обратно и похлопал по карману.

— Что касается ампул, которые вы спрятали в таком глупом месте — ведь оно действительно глупое и сразу бросается в глаза, — так вот, ампулы эти можете оставить себе, что бы в них ни содержалось. Наверное, яд, но меня это не интересует. Шприц, находившийся в одном

из ваших чемоданов, я на всякий случай разбил. Никогда не мешает принять меры предосторожности, не правда ли?

— Да, конечно,— добродушно согласился Хильер.— Но как вы проникли в каюту?

— Мой драгоценный друг,— сказал Теодореску, вздыхая,— у помощника капитана имеются дубликаты ключей. Я сказал, что потерял ключ, и он позволил мне подойти к щиту, на котором висят дубликаты.

— Ну, голова! — искренне восхитился Хильер.

За спиной Теодореску приоткрылась дверь, и он, не отрывая глаз от сидевшего у иллюминатора Хильера, сказал:

— Мисс Деви, что-то вы долго.

— Да неужели,— пропищал женским голосом Рист. Он вытянул губы на обернувшегося Теодореску и прощамкал беззубыми деснами:

— Что вы с ним делаете? Не ровен час, околеет еще.

— Отчего же? Ему очень нравится так сидеть, правда, Деннс?

— Конечно, Тео, конечно.

— Если человек маленько перепил,— сказал Рист,— это еще не значит, что над ним можно издеваться. Она выдавала себя за вашу секретаршу. Но теперь-то все понятно!

— Это каюта дамы,— сказал Теодореску,— и вы не имеете права входить без стука. Прошу вас удалиться.

— Ладно, я уйду. Но только с ним. Я вижу, как вы человека отделали своей проклятой деревяшкой, живого места не осталось. И всего делов-то: баба его с другим перекинулась.

— Я буду жаловаться!

— На здоровье.

Тут Рист заметил, что Хильер крепко — руками и ногами — сжимает пачку денег.

— Ах вот оно что... Об этом я не подумал. Никак, он деньги подкинул, чтобы вы позволили себя отлупцевать? — спросил Рист у Хильера.

— Что вы,— честно ответил улыбающийся Хильер.— Деньги он дал совершенно не за это, просто я предоставил...

— Они были под подушкой. Ясно? Под подушкой,— пробасил Теодореску.— Ладно, заберите его.

Он поднял с пола халат и бросил его Хильеру.

— Огромное спасибо, Тео. Это так мило.

— Очень мне нужно ваше разрешение,— сказал Рист Теодореску,— и без него бы забрал. Пошли, дружок,— сказал он, словно обращался не к Хильеру, а к собаке.

Затем, повернувшись к Теодореску, пробормотал:

— Почему под подушкой? Чего-то я не понял.

— Он никому не доверяет,— рявкнул Теодореску.— Повсюду таскает свои деньги.

— Мне он может доверять,— сказал Рист, беря Хильера за руку.— Мы же доверяем, правда?

— Правда.

— Вот и хорошо. А теперь папочка уложит нас в кратку.

Рист вывел его в коридор. Сияющий Хильер засыпал на ходу.

7

Минула махаманвантара*, прежде чем Рист рискнул растолкать Хильера.

— Вставайте, сэр,— твердил Рист.— Если сейчас не позавтракаете, то не успеете проголодаться к ленчу.

Хильер почувствовал запах кофе. Он разлепил веки, но сразу сощурился и сквозь образовавшуюся щелочку стал постепенно привыкать к свету. Он уже знал, что его ждет сухость во рту, головная боль, тяжесть в конечностях, но по какой причине — этого он еще не вспомнил. Вспомнив, Хильер обнаружил, что чувствует себя прекрасно и на удивление бодро. Тело наливалось энергией — она яонадобится очень скоро. Для чего? Он увидел, что одет в свою китайскую пижаму, на нагрудном кармане которой был вышит иероглиф «счастье». На тумбочке лежали деньги. Иностранные деньги. На Хильера сурово взирал бородатый американский президент. Доллары, много долларов. Вспомнил. О Господи!

— О Господи,— простонал Хильер.

— Подкрепитесь — сразу полегчает,— посоветовал Рист.— Держите.

Хильер приподнялся, Рист взбил у него за спиной подушки и вручил поднос. Охлажденный апельсиновый сок, печеная лососина, бекон, почки с пряностями, яичница из двух яиц, подрумяненный хлеб, джем с марочным бренди, кофе.

— Кофе? — спросил Рист.

Он наполнил глубокую — размером с бульонную чашку из двух серебряных кувшинов. Тело Хильера пропитывалось целительным, ароматным теплом. Целительным? Но тело его не нуждалось в исцелении. Кожа мисс Деви была смуглее этого кофе с молоком. Телекамера повернулась к минувшей ночи и представила ему во всех деталях ярко освещенное тело мисс Деви.

— Этот человек... и женщина... они уже улетели?

Рист кивнул.

— Еще как! Над палубой завис стрекочущий вертолет, оттуда спустили лестницу, и они по ней полезли наверх. Я боялся, что под тяжестью этой туши стрекоталка сразу рухнет, но он так легко вместе с багажом взлетел по лестнице, что твой эльф. И помахал всем на прощание. Кстати, он оставил для вас письмо.

Рист протянул дорогой глянцевоый конверт, благодарно адресованный «С. Джаггеру, эсквайру».

— Наши воротилы только рот разинули. Вот это, я понимаю, бизнес: посреди путешествия возникают дела — и тут же прилетает вертолет!

Хильер пробежал глазами письмо: «Любезный друг. Мое предложение остается в силе. Связаться со мной можно по адресу: Стамбул, улица Джумхурнет, 15. Мисс Деви шлет трепетный привет. Будьте осторожны, когда корабль пришвартуется в Ярылыке. Рекомендую спрятаться в личном клозете капитана. Советы были благодарны за предупреждение. Они телеграфировали о своей признательности и посулили вполне приемлемое вознаграждение в швейцарских франках. В отеле «Черное море» проводится научный симпозиум, поэтому меры предосторожности удвоены. Ну что вы за человек! Постарайтесь остаться в живых, от этого будет существенно больше пользы. Любящий вас Р. Теодореску».

— Плохие новости, сэр?

— Ругань, — солгал Хильер.

Он засунул письмо в карман, залпом допил ледяной сок и приступил к лососине.

Примостившийся на койке Рист надулся, показывая, что заслужил более подробную информацию. Хильеру пришлось уважить его любопытство:

— Эти деньги, — начал он вдохновенно, — я у него выиграл. Он обожает пари, и мы поспорили, справлюсь я с мисс Деви или нет.

— Поэтому он и взъерепенился?

— Да. Горячий оказался. Вовремя вы появились! Почему, кстати, вы решили войти?

— Случайно увидал, как эта индийская телка отправляет телеграмму, и очень удивился: я-то считал, что вы ее сейчас натягиваете. Я и подумал, что толстяк вас, видеть, застукал. Подошел к каюте, услышал из-за двери голоса и понял, что так и есть.

— Весьма признателен,— сказал Хильер.— Надеюсь, что двести долларов будут для вас не лишними.

— Спасибо, сэр,— сказал Рист, быстро отправляя в карман три сотни.— Вообще он очень странный тип. Приставал к пацану этому, всезнайке. Норовил его погладить и все такое. Не знаю, добился ли чего-нибудь. Вряд ли, мальчишка-то головастый. Но перед отлетом толстяк вручил ему подарок. Дает и ласково так поглаживает — я сам видел. Маленький сверток, судя по упаковке, купил что-то в корабельном магазине. Но мальчишка его не открыл, по крайней мере при мне. Он совсем расклеился: отец-то его, говорят, готов. Вот-вот концы отдаст.

— А что будущая вдовушка? — спросил Хильер, отправляя в рот пряные почки.

— Хороший вопрос, сэр. Как вспомнит супружника, начинает рыдать в три ручья, а так все лижется со своим испанцем. Говорят, кондитер он, что ли.

— А дочь?

Рист продемонстрировал беззубые десны.

— Знал я, что рано или поздно вы о ней вспомните. Такой, как вы, своего не упустит, тут уж никуда не денешься. Она валяется на койке, читает свои книжонки. Те еще книжечки — сплошной секс. Но за отца переживает, сразу видно. За столиком у них будет, наверное, не слишком весело, но если хотите, я вас туда посажу. Не рубать же в одиночку на старом месте — парочка-то ваша улетучилась.

Рист вытянул губы и жадно взглянул на американского президента.

— Полагаю, еще сто долларов вам тоже пригодятся.

На этот раз Хильер отсчитал деньги сам и опустил пачку в тот же карман, где лежало письмо Теодореску. Позавтракав, Хильер почувствовал, как карман жжет стыдом его сердце. Пора подумать о делах. Часы показывали двадцать минут первого. Рист убрал поднос, и Хильер раскурил сигару.

— Теперь до двух вряд ли проголодаетесь,— сказал Рист.— Отдыхайте, я потом здесь приберу. А пока что ненадолго исчезну.

Рист удалился.

Измена, измена, измена. Предательство и измена. Но у него не было выбора. Точнее, у него не было иного выбора, как сделать этот выбор. Если бы он мог сейчас телеграфировать об опасности! Но ни с «Карлом Отто», ни с «Вольрусью» не связаться. К тому же это подвергло бы их дополнительной опасности. А Департамент 9-А? Хильер представил себе номер в лозаннской гостинице и двух мрачных людей, сидящих за столом друг против друга. Посредине восседает Теодореску, перед ним на столе конверт. Джентльмены, кто сделает первое предложение? Когда же прекратятся торги? Налогоплательщики выжаты, как лимон, миллионы тратятся на устаревшие самолеты, ракеты и боеголовки. Что ж, торгуйтесь, раскошеливайтесь. *Когда же прекратятся торги?* Хильер пощупал в кармане пачку — несколько тысяч долларов. Он был зол на Теодореску. Разве это сумма? Нет, он еще заработает свои премиальные, он доставит Роупера в Англию. Но как? Документы Джаггера уже не помогут. И все другие тоже. Д. Уишарт, инженер-сантехник; Ф. Р. Лайтфут, педнатр; Хит Верити, малоизвестный поэт; Джон Джеймс Поумрой-Бикерстафф, сотрудник фирмы IBM; П. Б. Шелли, Кит Сمارт, Матчлис Оринда — у всех у них слева будет выжжено «S». Оказывается, благодаря этой отметине его знает вся Европа. Теодореску, которого он в первый раз видел, сразу назвал его имя. Выходит, у него, Хильера, известность несколько большая, чем он предполагал. А это означает, что в качестве разведчика его песенка спета. Все, что у него есть, — это информация, да и она быстро устаревает по мере устаревания военных секретов. Может быть, организовать собственный бизнес и конкурировать с Теодореску? Но у Теодореску есть мисс Деви. Облаченное в пижаму тело Хильера сладострастно поежилось. Он перечитал письмо Теодореску. Стамбул, улица Джумхуриет, дом 15. Где-то неподалеку от отеля «Хилтон». Поехать? Но, став пленником тела мисс Деви, он превратится в говорящее приложение к Теодореску.

Он встал с постели, скинул пижаму, подставив тело лучам полуденного солнца, и в который раз посмотрел на свое S-образное украшение. Вдавлено глубоко. Запек-

шаяся кожа светится, как фосфоресцирующая пластмасса. Нет, такое не скрыть никакими косметическими ухищрениями. Он быстро оделся, словно пытаясь поскорее скрыть свою отметину, ополоснулся, побрился, отхлебнул виски с содовой и вышел на палубу. Вокруг простиралась восхитительная голубизна — уже не адриатическая, а ионическая. Вдали, слева по борту, виднелись очертания южной Греции. Кипарисия? Филиатра? Пилос? Завтра корабль уже будет плыть по Эгейскому морю, лавируя среди хаотично разбросанных островков. Затем — сквозь чрево Мраморного моря, сквозь влагалище Дарданелл. Затем Босфор и Понт Эвксинский или, как называют его турки, Караденхиз — Черное море. Не там ли его могила? Хильер поежился на солнце. Черное. Черное. Черное. Море, в котором на глубине ста морских саженей кончается органическая жизнь. Ему хватит и пяти. Вдруг перед его глазами встал дергающийся, икающий Роупер. В чем дело? Что я натворил, что я натворил, о! Иисус, Мария, Иосиф, помогите! Я отказываюсь от всего, что говорил. Я хочу домой. Дом? Сознание Хильера затуманилось, он никак не мог понять смысла этого слова. Оно проплыло перед ним в теплом морском воздухе — четыре пятых русского слова НОМЕР¹. Дом был как-то связан с номером, с цифрой, знание которой, как ему почудилось, поможет вернуться домой. Проклятую цифру необходимо узнать. Но почему это так необходимо? Минувшей ночью у него в мозгу мелькнули какие-то цифры, но он их выбросил из головы, как выбрасывают старые билеты. Небрежность? Нет, просто он стал ни на что не годен.

На палубе полным ходом шло обычное для полуденного отдыха возлияние. Высматривавшие очертания Греции пассажиры сжимали в покрытых старческой пигментацией руках коктейли, джин, вермут «Кампари». Хильер подошел к стойке бара и опрокинул один за другим джин с тоником, водку с томатным соком и двойной «Американо»*. Думай. Думай. Думай. Он представил себе, как притворяется умершим и несколько человек (среди них Рист) благополучно сносят его на берег. Головорезы в униформе вытягиваются по стойке «смирно» и берут под козырек. Приглядевшись, Хильер вдруг увидел, что труп настоящий. Послышались рыдания Роупера: «Подлец! Бросил меня!» Рыдал он от жалости к себе.

¹ НОМЕ (англ.) — дом.

Хильер мрачно размышлял, не завелись ли у него внутри какие-то прожорливые твари: ни малейших следов недавнего завтрака не ощущалось. Хильер вошел в обеденный зал. Магнаты и их дамы были в шортах. Рист уже обо всем договорился. Старший стюард пригласил его за столик Уолтерсов. Дети выглядели бледными, осунувшимися. Миссис Уолтерс следила, чтобы уголки ее рта были все время опущены, и время от времени прикладывала к сухим глазам платок. С очевидным сожалением она попросила официанта убрать почти не тронутый гуляш. Нет, спасибо, она больше ничего не желает. Ну, разве что салат из фруктов, вымоченных в роме и залитых шампанским. Мы обязаны поддерживать в себе силы. Дети искренне не притронулись почти ни к чему. Поразмыслив, миссис Уолтерс заказала еще крепкий кофейный ликер.

— Ну как? — спросил Хильер с таким участием, словно разговор происходил уже на похоронах.

Девушка (Клара? Так ее зовут?) была и в самом деле очаровательна: вздернутый, чуть приплюснутый носик, соблазнительные волосы, круги под карими глазами — следствие бессонницы. Она была в прямом черно-оранжевом платье с диагональными полосами. На коленях лежал небрежно сложенный черный палантин. Она не читала, не ела, лишь крошила вилочкой меренгу. Появление за их столиком Хильера оставило ее совершенно равнодушной. На Алане была «рубашка-газета». Он нехотя доедал свой медовый мусс. На вопрос Хильера отозвалась миссис Уолтерс:

— Говорят, и дня не протянет. Совсем плох. Кома. Но утешением может служить то, что пожил он на славу, имел все, что желал. Надо стараться, чтобы в жизни все было в радость.

С этими словами она накинулась на фрукты в шампанском.

— Что станет со мной и Кларой? — спросил Алан.

— Мы уже говорили на эту тему. Что бывает с детьми, когда умирает их отец? О них заботится мать. Что тут непонятного?

— Ты нам не мать, — огрызнулся Алан. — Тебе на нас ровным счетом наплевать.

— Алан, попридержи язык в присутствии джентльмена.

Хильер подумал, что, наверное, характер у миссис Уолтерс не дай Бог. Ему подали запеченное в лапше телячье филе, жульен из молодой моркови с сельдереем и «Марго» сорок девятого года. Неожиданно девушка воскликнула:

— Всем наплевать! Вам бы только набить утробу, а на остальное — плевать! Я пошла к себе в каюту.

У Хильера замерло сердце, когда она встала — такая юная, грациозная! — и с достоинством вышла из зала. Бедная, бедная девочка! Однако требовалось кое-что уточнить.

— Простите, что касаюсь болезненной темы, но как вы собираетесь разрешать те сложности, которые скоро возникнут?

— О чем вы? — спросила миссис Уолтерс, остановив на полпути ложку с фруктовым салатом.

— Об организации похорон. О панихиде. Следует заранее подумать о транспортировке. О найме самолета, о доставке тела домой.

— В России самолет не наймешь, — сказал Алан. — У них там летают только самолетами государственной авиакомпании. Кажется, она называется «Аэрофлот».

— Я обо всем этом еще не думала, — сказала миссис Уолтерс. Она машинально посмотрела вокруг в поисках мужчины, своего мужчины, но, по-видимому, сразу рассудила, что от одних ждут утешений, от других — утех. — Ужасно неприятная ситуация. Что же нам делать?

— Оберни его в «Юнион Джек» и похорони в море. Для себя я бы выбрал именно такие похороны.

— Мне кажется, что это несколько странный способ, тем более что порт совсем близко, — сказал Хильер. — В подобных случаях следует...

Хильер заметил, что Клара забыла свой черный палантин. Когда она резко встала, он скользнул на пол. Хильер незаметно подтянул его к себе ногой и зажал между шиколоток. Довольно скоро она получит его обратно.

— Что следует делать в подобных случаях? — спросила миссис Уолтерс.

— Сказать пассажирскому помощнику, чтобы велел столяру сколотить гроб. С помощником надо поговорить обязательно: возможно, на корабле имеются готовые

гробы. Во время таких круизов частенько должны случаться инфаркты. Может быть, лучше посоветоваться с судовым доктором? Боюсь, я недостаточно искушен в подобных вопросах.

— Зачем тогда беретесь советовать?

— Мне гадко вас слушать,— сказал Алан. Хильер подумал, что совершенно с ним согласен. Разговор действительно был гадким.— Вы говорите так, словно хотите лишить его малейшей надежды на выздоровление.

— Готовиться надо заранее. Джон Донн *, настоятель собора Святого Павла, заблаговременно заказал себе гроб и иногда даже спал в нем. Разговор о живом как о мертвом иногда помогает вдохнуть в него новые силы. Это как соборование, как напечатанный заранее некролог.

— К чему пустые надежды? — процедила миссис Уолтерс и отхлебнула ликеру.— Я привыкла смотреть в лицо фактам, какими бы печальными они ни были.

— Ты тоже поддерживал гадкий разговор,— сказал Хильер Алану.— Кто говорил про «Юнион Джек»?

— Это совсем другое,— ответил Алан.— Так хоронят героев. Я вспомнил, как хоронили Нельсона *.

— Можете во всем рассчитывать на мою помощь,— сказал Хильер, уписывая спаржу с голландским соусом.— Абсолютно во всем.

Не так-то просто будет сбросить за борт настоящий труп. Понадобится помощь. Рист? Придется сочинить историю, что свинья Теодореску похитил его паспорт, а ему, Хильеру, надо сойти в Ярылыке, чтобы встретиться со специалистом по машинкам, печатающим кириллицей. Меньше чем за тысячу долларов Рист ему не поверит. Дороговато. Можно, конечно, самому попробовать взломать гроб, дотащить его до кормы и столкнуть в море. Человек за бортом! Придется и самому прыгнуть, чтоб хоть было кого спасать. А трупы не всплывают? Может, гири привязать? Хильер представил себе стоны умирающего, и сам не удержался от стога.

Миссис Уолтерс и Алан встали из-за стола.

— Вы собираетесь в лазарет? — спросил Хильер.

Алан ответил утвердительно, а миссис Уолтерс, как выяснилось, направлялась в бар: по ее словам, без двойного коньяка она не в силах выдержать эту нервотрепку.

— Хороший сувенир? — спросил Хильер у Алана.— Я про подарок Теодореску.

— Прекрасный,— ответил Алан.— То, что надо.

После ухода Уолтерсов Хильер съел персиковое желе. Затем бутерброд с ланкаширским сыром. Затем кофе с ликером. Он чувствовал, что необходимо подкрепиться.

Посещение Клары Уолтерс откладывать не стоило, и Хильер отправился к девушке, всем своим видом демонстрируя невинность намерений. Перед тем как постучать в дверь, он прислушался. Изнутри, похоже, доносились всхлипывания. Он постучал — робко, с предупредительностью стюарда — и услышал слегка осипшее «войдите». Девушка едва успела спустить ноги с койки и теперь одной рукой отирала глаза, а другой приглаживала волосы.

— Это всего лишь я,— сказал Хильер.— Принес палантин. Вы обронили его за обедом.

Она подняла на него юные заплаканные глаза и взяла палантин, отрешенно пробормотав слова благодарности.

— И простите, пожалуйста, мою черствость,— продолжил Хильер.— Я имею в виду то, что ел с таким аппетитом. Я был ужасно голоден и ничего не мог с собой поделать.

— Конечно,— сказала она, поглаживая щеку палантином.— Отец же не ваш.

— Сигарету?

Для дам у него всегда был наготове полный портсигар. Мужчинам же приходилось делить с Хильером его крепкие бразильские сигары.

— Я не курю.

— И правильно делаете,— сказал Хильер, пряча портсигар.— Что касается отца, то, как и у всех, был он и у меня. Я знаю, что это такое. Правда, не могу сказать, что меня так уж потрясла его смерть. Мне тогда исполнилось четырнадцать лет. Через месяц после похорон у меня обнаружилась одна интересная болезнь, которая вообще-то не к лицу сыну, оплакивающему отца.

— Правда?

— Да. Я имею в виду сперматорею. Знаете, что это такое?

Появились первые признаки заинтересованности.

— Судя по названию, что-то связанное с сексом,— сказала она без тени смущения.

— Это случалось, когда я спал. Никаких снов я не видел, но ни с того ни сего у меня начиналось семяиз-

вержение. Так было каждую ночь, иногда по пять-шесть раз за ночь. И каждый раз я просыпался. Мне было, конечно, стыдно, но стыд являлся конечным, а не побочным продуктом. Вы не читали про такое в какой-нибудь из ваших книг?

Он подошел ближе, чтобы прочитать названия книг, которыми была забита полка, висевшая над койкой. «Приап». Анализ мужского влечения», «Разновидности оргазма», «Восторги в камере пыток», «Механические усовершенствования процесса соития», «Словарь секса», «Клинические исследования половых извращений», «Знак Содомы», «Юный Эрот». И так далее, и так далее. Боже, Боже! На красотку в одном нижнем белье с обложки книги, лежавшей на столике, облизнулся бы человек и с менее острой формой сатириза, чем у Хильера. Книги эти испуганно клялись в непорочности Клары, словно ангелы-хранители ее постылой девственности. Хильер подсел к девушке.

— При случае поищите в ваших книгах эту болезнь. Да, в половых вопросах вы наверняка гораздо искушеннее меня. Психиатр, к которому я обращался, сказал, что у меня, если не ошибаюсь, бессознательное проявление инстинкта продолжения рода. Он что-то говорил про «мимесис». Я, дескать, играл роль отца, но рассматривал его в качестве архетипа. Словом, я абсолютно ничего не понял.

Клара слушала его, чуть приоткрыв рот, но вдруг плотно сомкнула губы, уголки рта опустились, лицо сделалось хмурым и раздраженным.

— Я тоже в этом ничего не смыслю,— сказала она.— Столько раз пыталась разобраться во всех этих высоких материях, но так и не смогла.

— Есть еще время! Ведь вы так молоды.

— Мне об этом твердят с утра до вечера. Именно об этом мне твердили в Америке. Но Алан, который младше меня, участвовал в знаменитой телевикторине и отвечал на любые вопросы, а я бы не смогла. Мне дали плохое образование.

Хильеру показалось, что, раздраженно качаясь на койке, она старалась придвинуться к нему поближе. Он подумал, что сейчас так естественно было бы ее обнять и сказать что-нибудь утешительное. Она бы охотно всплакнула на плече у мудрого, понимающего мужчины. Однако с книжной полки доносились боевые призы-

вы: «Йони и Линга!», «Секс и смерть среди ацтеков!», и Хильер спросил:

— А что вас привело в Америку?

— Новая мукомольная технология. После смерти мамы отцу посоветовали увезти нас куда-нибудь на время. Но он считал, что грешно отправляться в увеселительное путешествие, когда мама, как он выражался, еще не успела остыть в могиле, поэтому было решено использовать нашу поездку для знакомства с новой мукомольной технологией.

— Она ему понравилась?

— Ему понравилась *она*. Его нынешняя. Он ведь с ней в Америке и познакомился, хотя она не американка, а просто была замужем за американцем из Канзаса. Тот с ней развелся. Отец утверждал, что с ней он не так скучает по Англии.

— И он на ней женился.

— Скорее, она женила его на себе, точнее, вышла замуж за его деньги.

— У вас есть еще родственники, скажем, какие-нибудь дядюшки, тетушки, кузины или что-нибудь в этом роде?

— Вот именно, что только «в этом роде». Тоже мне родственники! Укатали все в Окленд — понятия не имею, где это, — и что-то там делают с каким-то каури, что это такое, я тоже понятия не имею. Окаменелую смолу, что ли, из него добывают.

Почему-то последнее было для нее особенно обидным, Клара готова была разрыдаться, и Хильер все-таки счел своим долгом ласково обнять девушку, но так, как, по его представлениям, сделал бы это школьный наставник.

— Они ее экспортируют, — сказала Клара и в конце концов расплакалась.

Хильер спрашивал себя, что делать дальше. Можно обнять ее и другой рукой, нежно поцеловать в низкий лобик (служивший гарантней против чрезмерной учености, а не свидетельством женского начала), потом — во влажную щечку, в не тронутый помадой уголок рта... Нет. Он представил себе предсмертные хрипы ее отца в лазарете, и ему сделалось мерзко. Нельзя относиться к человеку, словно он не человек, а только что-то «в этом роде». К тому же те, кто только «в этом роде», укатали все в Окленд...

— Окленд находится в Новой Зеландии,— сказал Хильер.— Говорят, там очень хорошо.

Реакция Клэры на его слова выразилась в еще более бурных слезах.

— Я хочу пригласить вас с братом к себе в каюту на чай. Попьем чайку, перекусим — вы же почти ничего не ели, а сейчас уже половина пятого. Хорошо? Я вам что-то расскажу, что-то интересное.

Она подняла на него заплаканные глаза. Он сам на себя удивлялся: дядюшка Хильер зовет малышей попить чаек. А ее очаровательные слезы — их без труда можно было бы использовать, чтобы посвятить ее в самое нежное и утешительное из всех таинств. Нет, он этого не сделает, перед ним не цветущая девушка, а плачущая дочурка.

— Передайте мое предложение Алану, хорошо? Скажите, что я хочу поделиться с вами одним секретом. Мне кажется, что вам можно доверять.

А сам-то он был ли достоин доверия? Книжки считали, что нет: «Благоуханный Сад» * со злобной подозрительностью следил за ним сквозь душистые заросли.

— Так, значит, придете?

Она несколько раз кивнула.

— Сожалею, но мне пора уходить,— сказал Хильер.

Он запечатлел на ее лобике невинный поцелуй; девушка не противилась. Хильер вышел, и книжки, как псы, зарычали ему вдогонку.

Он отправился в лазарет и сказал санитару, что разбил свой шприц.

— Я диабетик,— пояснил Хильер.— Нельзя ли купить у вас другой шприц?

Шприц был подарен Хильеру с очаровательной щедростью — морское братство!

— Как там наш бедняга? — спросил он шепотом.

Хильера заверили, что не произошло никаких изменений. Не исключено, что он еще долго так промучается. Может, дотянет до Ярылыка? Вполне вероятно. Тогда его надо отправить на берег. У русских неплохие больницы. Выходит, сможет выкарабкаться? Кто знает. Хильеру полегчало: хотя бы об одном из фантастических планов можно забыть. Придется импровизировать. Вступим в бой, а там уж подумаем о стратегии. Вернувшись в каюту, он подверг себя болезненной процедуре по возвращению прежней внешности. Оказалось, выраже-

ние лица восстановить труднее, чем его черты: «Джаггер» было, скорее, названием стиля поведения, чем именем человека. Но все-таки псевдоним надо сохранить. На корабле он Джаггер, а Хильер — это для дома. Для дома престарелых, для дома алкоголиков, для дома отставных шпионов. А что касается «дома» *tout court*¹, то еще следовало определить для себя, что же это такое.

8

— У вас изменился цвет глаз,— удивленно сказала Клара.

Она переоделась и предстала теперь перед Хильером в брюках из шотландки и в простой зеленой футболке. Алан был все в той же «рубашке-газете». На Хильера угрюмо смотрел заголовок: «Полиция предупреждает: этот человек способен на убийство».

— Хорошо, что вы отказались от своих седых усов,— похвалил Алан.— Так значительно лучше.

Алан сложил на груди руки, и заголовок исчез. Хильер наполнил чашки. Вам обоим с лимоном? О, у вас изысканный вкус. Сам он предпочел сладкий чай со сливками. Рист обеспечил гастрономическое разнообразие: бутерброды, пирожные, печенье, горячие сухарики, шоколадный рулет и торт с грецкими орехами.

— Бутерброд? — предложил Хильер.— С семгой. С сардинами и помидором. С огурцом.

— Мы не едим хлеба,— ответили они хором.

— Да, мне говорили. Но когда-то ведь надо попробовать. Новые впечатления, *nouveau frisson*². Откусите, не бойтесь.

Но они решили не рисковать и ограничились сладостями.

— Об упадке цивилизации можно судить по ухудшению качества хлеба,— назидательно произнес Хильер.— Английский хлеб есть невозможно. Для состоятельных людей хлеб доставляется самолетом из Франции. Вы не знали? (Нет.) На кораблях хлеб еще ничего, пропеченный, а не моченый, как на суше. Похоже, цивилизация только и сохранилась, что на кораблях, плывущих из ниоткуда в никуда.

— Все равно муку используют нашу,— сказал Алан.

¹ Как такового (фр.).

² Новый трепет (фр.).

— Как он? — спросил Хильер.

— Плывет из ниоткуда в никуда. Никаких изменений. Кстати, — злорадно добавил Алан, — со своим итальяшкой она расплевалась. Теперь учится нырять под руководством другого типа, норвежца вроде бы. Загорелый, мускулистый — то, что надо.

— Она равнодушна к мужчинам?

— Этот у нее с дома. Постоянный. А папа делал вид, что ничего не замечает. Он считает, что надо хоть кому-то доверять. Жена для этой роли подходит.

— А у вас жена есть? — спросила Клара.

— Нет, — опередил его Алан, — ни жены, ни детей. Одинокий волк. Бродит себе по свету, то за одного себя выдаст, то за другого. Теодореску мне о вас все рассказывал.

— Неужели?

— Да, и сказал, что вы бабник. — (Клара встрепенулась.) — Он мне подарил фотоаппарат. Последнюю японскую модель. Называется «мионичи». Посоветовал следовать за вами по пятам и фотографировать, как вы морочите голову женщинам.

— Наверное, завидует. Сам-то он к женщине и подойти не может.

— Не может, — согласился Алан и заерзал на стуле, словно испытывая легкое недомогание. — Или не хочет. Повернувшись к сестре, он вдруг с презрением сказал:

— Вот еще такая же. Книжки про Содом читает. Вместо секса в постели — секс на бумаге.

— Зато безопасно, — сказал Хильер. — Мистер Теодореску говорил еще что-нибудь обо мне?

— Он ужасно торопился. Наклюнулась возможность проглотить какую-то фирму, и он срочно улетел на вертолете. Но мне и не надо ничего говорить: я уверен, что вы шпион.

— Звучит как оскорбление, — сказал Хильер, подливая чаю. — Я предпочитаю слово «разведчик».

— Так, значит, вот вы кто, — сказала Клара.

— Да, вот я кто. А что? — работа не хуже других. Между прочим, для нее требуются лучшие качества: смелость, изобретательность, высокий патриотизм и умение...

— ...залезать под юбку, — добавил Алан.

— Иногда.

— Почему вы решили признаться? — спросила Клара.

— Раньше или позже он бы все равно признался. По крайней мере — мне. Поскольку знал, что я все знаю. Выходит, вы отдаете свою судьбу в наши руки?

— В каком-то смысле, да. Мне нужна помощь. Теодореску сообщил обо мне советским властям, теперь легенда поможет, как мертвому припарки. За кого бы я себя ни выдал, они безошибочно найдут меня по несмываемому пятну на теле.

— Что за пятно? Родинка? — спросила Клара.

— Скорее, уродинка. Клеймо приговоренного к смерти. В свое время мне жестоко прижгли кожу. Эх, сколько у меня было таких приключений, — скромно добавил Хильер и съел бутерброд с огурцом.

— Подождите, — произнес Алан. Он приоткрыл дверь и выглянул в коридор. — Никого, — сказал он, садясь на место. — Что за легкомыслие? Вы уверены, что каюта не прослушивается?

— Да, совершенно уверен, но сейчас не до этого. Мне необходимо сойти в Ярылыке. Следовательно, надо что-то придумать. Ведь меня уже ждут. И к тому же знают, что я знаю, что меня ждут. Меня будут искать среди пассажиров, там не допускают, что я попытаюсь сойти на берег. Знают, что я не дурак, но с другой стороны, знают, что я знаю, что и они не дураки. На корабле мне оставаться опасно, поэтому я сойду на берег.

— Но они тоже это понимают. Получается, что они все время на шаг впереди, — сказал Алан. — Что касается Теодореску, то я ему никогда не доверял. Что-то в нем не то. Хорош кораблик — одни шпионы.

— Ну, не преувеличивай.

— Кстати, есть одна вещь, которую мы до сих пор не выяснили, — сказал Алан. — На кого вы работаете? Откуда мы знаем, что вы наш шпион? А вдруг наши скрываются под видом врагов, которые вам угрожают? Или под видом милиционеров. За кого они себя выдают — не важно.

Он взял предложенное пирожное.

— Может быть, вы пытаетесь сбежать в Россию с секретной информацией и кто-то из наших собирается пробраться на корабль, чтобы убрать вас?

— Слишком сложно. Теоретически все это, конечно, можно раскручивать по спирали, поднимаясь все выше, пока на самом верху противоположности не сольются воедино, однако на практике происходит совсем иное.

В Ярылыке проходит научный симпозиум, в котором участвует один британский ученый — по странному совпадению мы с ним когда-то вместе учились, — и мне поручено доставить его на нашем корабле в Англию. Так что в жизни все проще. Шпионаж здесь ни при чем.

Медленно жуя пирожные, брат с сестрой обдумывали то, что они услышали. Глаза Клары мягко светились, глаза Алана сверкали огнем. Он спросил:

— Чем мы можем помочь?

— Значит, вы мне верите?

Клара решительно кивнула. Алан же нарочито небрежно бросил:

— Верим, верим. Но что мы должны делать?

— Я хочу, чтобы ты, — Хильер строго посмотрел на Алана, — прекратил кричать на каждом углу, что я шпион, — даже если заметишь в моем поведении нечто странное. Если мои действия вызовут у кого-то подозрения, то в твою задачу входит немедленно их рассеять. Я хочу, чтобы вы оба были рядом, когда я попытаюсь сделать то, что должен сделать, а именно сойти на берег. Возможно, вам придется отвлекать внимание. Я еще не знаю, каким способом вы мне сможете помочь. Но уверен, что ты, мой мальчик, способен придумать самые невероятные способы.

— Вы как будто цитируете одну из моих книжек, — нервно хихикнула Клара. — Самые невероятные способы. Там, кажется, речь шла об Аргентине. Удлинитель, насадки с пупырышками и все такое.

— Ты можешь хоть на минуту забыть о сексе! — воскликнул Алан. — Мы же обсуждаем серьезные вещи.

— Совсем забывать о сексе не следует, — сказал Хильер. — Клара, вы очень красивая девушка. — Клара кокетливо улыбнулась. Алан вытянул губы и присвистнул. — Если понадобится, надо это использовать, чтобы отвлечь их внимание каким-нибудь томным взглядом или соблазнительной улыбкой. Не мне вас учить.

— В моих книжках об этом ничего не сказано, — произнесла она хмуро.

— Не сомневаюсь. Там обольщение — пройденный этап.

— Вы будете вооружены? — спросил Алан.

— В этом нет необходимости. К тому же, как ты знаешь, наш общий приятель Теодореску стащил мой пистолет.

— Я не знал.

— Как бы то ни было, в таких делах пистолет — всего лишь талисман. И лучше его не вынимать: обязательно пристрелят — либо после твоего первого выстрела, либо — до.

— Либида *, — откликнулась Клара.

— Не обязательно, — сказал Алан.

Продолжая обдумывать слова Хильбера, они взяли еще по пирожному. Наконец-то проснулся аппетит.

— Хорошо, — сказал Алан, — что еще мы можем сделать?

— Вам поручается так называемый «прощальный привет». Если я не вернусь на корабль, вы должны будете телеграфировать об этом в Лондон.

Он протянул листок бумаги.

Алан нахмурился и шепотом прочел:

— «Литера. Председателю правления». Куцый адресок.

— Не волнуйся, этого достаточно.

— «Контакт разомкнут. Джаггер». Гм. И как это понимать?

— Как мой провал.

— Смерть? — робко спросила Клара. — Это значит, что вас убили?

— Это значит, что я провалился — и ничего больше. Но большего и не требуется. Возможно, они пошлют кого-нибудь мне на помощь. А еще это значит, что мое досье закрывается. Впрочем, я выполняю сейчас свое последнее задание. Поэтому не думаю, что они так уж станут из-за меня убиваться.

— Ну и жизнь, — проговорил Алан так, словно речь шла о его жизни.

— Я сам ее выбрал.

— Зачем? — спросила Клара. — Агенты, разведчики, контрразведчики, секретные виды оружия, мрачные подвалы, промывка мозгов — зачем все это?

— Вы когда-нибудь задумывались над тем, что такое подлинная реальность? Что находится выше феноменов окружающей нас реальности? Что находится даже выше Бога?

— Выше Бога, по определению, нет ничего, — сказал Алан.

— Выше Бога — идея Бога, а в идее Бога заложена идея анти-Бога. Подлинная реальность — это дуализм,

это состязание двух игроков. Мы — мои коллеги и наши коллеги с той стороны — как раз и являемся отражением этого состязания. Впрочем, отражением довольно бледным. Прежде оно было значительно ярче: тогда каждая из сторон олицетворяла собой то, что принято называть добром и злом. Игра была жестче и интереснее, соперник не находился по другую сторону сетки или линии. Его не надо было отличать по форме, цвету кожи, расе, языку или приверженности той или иной историко-географической абстракции. Но поскольку сегодня мы не верим в добро и зло, то остается лишь продолжать эту глупую, бесцельную игру.

— Но вы же не обязаны в ней участвовать, — сказал Алан.

— Кроме нее играть не во что. Мы слишком ничтожны, чтобы нам противостояли силы света или силы тьмы. Более того, во время игры мы время от времени открываем двери злу. Оно незаметно проникает в наш мир. И оказывается, что в нем отсутствует добро, необходимое для противостояния злу. Вот тут-то и становится так мутно на душе, что хочется выйти из игры. Потому-то мое нынешнее задание — последнее.

— Все-таки вы делаете добро, вызволяя британского ученого из России, — сказала Клара.

— Нет, всего лишь исключаю его из игры. Снимаю с шахматной доски фигуру. Сама игра продолжается.

— Я думаю, — внушительно проговорил Алан, предлагая Хильеру сигарету, — что нам троим надо держаться вместе. — Неожиданно для себя Хильер взял сигарету и прикурил от протянутой зажигалки. — Давайте пообедим в отдельном кабинете. Я сейчас схожу и закажу места.

Хильер был удивлен и тронут. Он спросил:

— Не покажется ли это подозрительным?

— Ну и пусть. Пусть думают, будто мы что-то затеваем против нее. Вы утверждаете, что добро и зло больше не существуют, однако она и есть зло.

— Я думал, ее интересы ограничиваются мужчинами. Молодыми мужчинами. Я имею в виду секс.

— Она считает себя богиней секса. Старая потасканная богиня секса.

«Ноябрьская богиня постаралась». Хильер подошел к платяному шкафу и пошарил в заднем кармане висевших в нем брюк.

— Попытайся помочь мне с этим,— сказал он Алану — Расшифруй, что здесь написано. Конечно, это не столь важно, просто шутливое прощальное послание из Департамента. Но все-таки попытайся. Думаю, такие вещи у тебя должны хорошо получаться.

Алан взял сложенный листок — слегка изогнутый от того, что на нем сидели,— и счел это намеком на окончание разговора.

— Пойдем, Клара,— сказал он.— Надеюсь увидеть вас за обедом.

— Спасибо, но боюсь, что сегодня меня не будет. Я заказал обед в каюту. А потом займусь самопричащением.

— Кажется, это имеет отношение к религии,— сказала Клара.

— Имеет,— подтвердил Алан.— Все, что он говорил, имеет отношение к религии.

Часть третья

1

Хрипы хлебного магната становились все слабее, он заплывал все дальше в свое черное море. Ха-а-рх. Ха-а-рх. Невзирая на столь очевидное *tempus mori*¹, пассажиры по-прежнему предавались чревоугодию. «Полиолибон» прошмыгнул между Кикладами. Ха-а-рх. Толстые ломти ветчины, вываренные в курином бульоне с мускатом, обсыпанные толчеными каштанами, миндальными орехами, луковым пюре. На них румяные слойки, политые марсальским соусом. Ха-а-рх. Милос, Санторин. Жареный цыпленок «Нерон» с картофелем по-римски. Сифнос, Парос. Где-то здесь поют nereиды — златоголосые, златоволосые. Говяжье филе с бордоским соусом и трюфелями. Ха-а-рх. У nereид Сикиноса ослиные или козы копыта. Перченный бифштекс в пылающем бренди. Юный Уолтерс ломает голову над шифровкой. ZZWM DDHGEM. Ха-а-рх. Остров Ариадны*. Яблоки «Бальбек». Китнос, Сирос, Тинос, Андрос. EH IJNZ. Паросский бисквит, вино, масло, анисовый ликер Ха-а-рх. Дробленая кукуруза. Мороженое с коньяком и гоголь-моголем. OJNMU ODWI E. Ха-а-рх. Северные Споряды. Раковый суп с шерри.

¹ Помни о смерти (лат.).

OVU ODVP. Ха-а-рх. Телячьи котлеты в сметане. Справа по борту пролив Митилини и за ним — побережье Турции. Ха-а-рх. Мисс Уолтерс, возбужденная предстоящими приключениями, успокаивает себя секс-книжницей. «Полиольбион» осторожно пробрался сквозь Дарданеллы: «Чтобы Англия на». Ха-а-рх с жареным картофелем и можжевельником. «Месте не топталась» с ха-а-рх и кабачками.

Хильер отсиживался в каюте из-за Клары Уолтерс. Не время высасывать мед из этих сот. Он набивал рот хлебом, сыром, пивом; мучил его русскими звуками, добиваясь естественного произношения. Рист даже забеспокоился — может, ему не по себе? Иногда, когда Хильер ел, Рист усаживался рядом и рассказывал, как работал ассенизатором в Канберре, как отбывал безразмерный срок в аделандской тюрьме, каких телок можно встретить на сиднейском пляже. Вот так Рист — соль земли! «Месте не топталась». Ха-а-рх. Мраморное море. Слева по борту — Стамбул; помашем рукой. «Полиольбион» зайдет туда на обратном пути. Босфор. Справа по борту — Бейкоз. Ха-а-рх. В нем все еще теплилась жизнь, в этом чане с булькающими химикалиями. Может быть, дотянет до Стамбула. Оттуда уже не так трудно доставить его в английский крематорий. Корабль уверенно приближался к Крымскому полуострову. Впереди маячила сомнительная ухмылка Ярылыка.

Близилась ночь. Близилась земля. Плисовый небосвод усеян татарскими бриллиантами; воздух нежный и курчавый, как Бородин. Хильеру захотелось поприветствовать приближавшуюся опасность немедленно — в трусах и халате. Его L-образная каюта смотрела прямо на гавань; он видел, как в иллюминаторе над умывальником вырастали портовые сооружения, сам при этом оставаясь невидимым. Хильер пребывал во тьме, в беспросветной тьме. Ужас заключался в том, что у него не было плана. Его ждала неизвестность, толстяков же, хохочущих на палубе, — развлечения. Каждый раз, когда после долгого плавания появляется земля, от нее веет какой-то враждебностью, даже от дома — что бы это слово ни значило. Так больничную тишину пререзает сфорцандо* галдящих посетителей, так вспыхивает резкий электрический свет, когда сгущающийся воскресный сумрак, подсвеченный заволаживающим огнем из каминной пасти, сменяется вечером и пора собираться в церковь. Вдоль набе-

режной неприкрыто светились лампочки, уродливые пакгаузы зияли выбитыми окнами. Где-то залаяла собака — слава Богу, хоть у нее язык международный! Тамерлан с сыновьями в вылинявших робах уставился на английский корабль. Жестокие татарские лица, под мохнатыми усами тлеют папиросы. Под аккомпанемент выкриков приняты швартовы. Хильер услышал, как спустили сходни. Кое-кто из пассажиров приветствовал это событие. Сквозь горы ящиков, тележки, голыши, выбитые стекла, мерцающее на крыше желтое неоновое ЯРЫЛЫК он пытался разглядеть далекие холмы, кипарисы, оливы, виноград, веселые лица — нетленную, девственную жизнь, безыскусные танцы, пестрые народные гулянья. Тяжело дыша, он всматривался вдаль — поверх одетых в гимнастерки и фуражки дымящих солдат, что, подбоченясь, переминаясь с ноги на ногу, маялись у трапа. По обе стороны шоссе, наверное, зажглись уже для иностранцев и менее официальные огни — на дачах и в домах отдыха. Где-то рядом должны быть лодки и спортивные яхты с флагами. Напротив иллюминатора прогуливались двое воезных. Может, эти не такие тертые, как в Москве? Может, здесь что-нибудь напутали с телеграммой Теодореску или не придали ей большого значения? Двое были обыкновенными милиционерами, которых ничего не интересовало, разве что виски в корабельном баре, шариковая ручка, фотоаппарат или сувенирная кукла в старинном шелковом платице. Не волнуйтесь, сбавьте свою рублевую требуху, свои рублевые отруби британским туристам.

Мимо иллюминатора прошли трое весело тараторящих пограничников — на этот раз славяне, а не татары. По громкоговорителю уже объявили, что все пассажиры, желающие сойти на берег, должны захватить паспорта и собраться в баре нижней палубы. Всех подозрительных небось будут раздевать в специальной каюте? Затем набитый битком автобус домчит их до гостиницы «Крым», где туристам предложат крымских устриц, семгу, осетрину, шашлык, спелый инжир и сладкое, как спелый инжир, вино. Хильер вздрогнул: дверь неожиданно приоткрылась, и в каюту проник свет из коридора.

— Сидите в темноте, — сказал юный Алан.

«Балканское собрание» служило лучшей визитной карточкой. Хильер задернул шторы иллюминатора, и Ярылык исчез.

— Можешь зажечь свет,— сказал Хильер.

Алан шеголял добротным синим эспланадно-променадным костюмом и бабочкой в горошек. И тут Хильера осенило, почему он медлил и не одевался: Ярылык даст ему униформу!

— Я нашел ключ к шифру,— сказал Алан.

— Сейчас не до него. Где твоя сестра?

— Она уже почти готова. Через несколько минут будет здесь. Так вот, насчет шифра. Ноябрьская богиня — это Елизавета I. Она взошла на трон в ноябре тысяча пятьсот пятьдесят восьмого года.

— Тысяча пятьсот пятьдесят восьмого?

Тут была какая-то связь с Роупером. Фамильное древо на стене в его манчестерской квартире. Предок, убитый за веру совсем молодым. 1558. Жертва Елизаветы.

— Кажется, я понимаю. Двоичный код, да?

— Да, если вы подразумеваете под этим, что разные буквы закодированы разными способами. Согласно одному, первая буква на самом деле пятая. Согласно другому, пятая буква — восьмая. Так что все оказалось просто. Но я не успел расшифровать до конца. Вас там называют другим именем. Из чего следует сделать вывод, что настоящее ваше имя не Джаггер. Шифровка начинается словами «ДОРОГОЙ ХИЛЬЕ». На английское имя непохоже. Вы действительно были с нами откровенны? — недоверчиво спросил Алан.

— Наверное, опечатка. Они имели в виду «Хильер».

— Дальше я почти ничего не успел. Но и так видно, что они там все время извиняются. И о чем-то очень сожалеют.

— Наверное, о размере моего выходного пособия. Ладно, дочитаю на досуге. Как бы то ни было, спасибо. Из тебя бы вышел неплохой разведчик.

В дверь постучали, и вошла Клара. Выглядела она восхитительно. Хильер подумал, что правильно делает, уходя в отставку, даже если придется перебиваться хлебом, водой и русским языком. Но почему? Этого он еще до конца не понимал. На Кларе было вечернее парчовое платье с серебряными блестками и пелериной, тройное ожерелье из жемчужин в бриллиантовой оправе и серебряные лайковые туфельки. Из-за запаха «взрослых» духов, ударивших в ноздри Хильеру, рот его наполнился слюной. Хильер ощутил нестерпимое желание. Проклятая работа! Проклятая смерть!

— Как он? — спросил Хильер.

— Без изменений.

— А эта сука, — злобно сказал Алан, — собирается на берег со своим накачаным скандинавским кобелем. Чтoб они сдохли оба.

— Алан, что за выражения! — укоризненно сказала Клара.

Она недовольно покачала головой и села на койку рядом с Хильером. Из-под платья выглянули колени, и Хильер почувствовал (стараясь, правда, не показать виду), что еще немного и он за себя не ручается.

— К делу, — торопливо проговорил Хильер. — Мне нужна форма, советская милицейская форма, нужна немедленно. Следовательно, милиционера надо заманить в эту каюту...

Из коридора донесся возмущенный крик:

— Донага раздевают! Оружие, видите ли, ищут! Пусть подавятся своим портом. Лучше я на корабле останусь. Чертовы русские!

Дверь в каюту с грохотом захлопнули. Так, значит, предсказания Теодореску сбываются. Мерзавец, но не глуп.

— Заманить? — спросил Алан. — Каким образом?

— Есть два способа. Если не сработает один, попробуешь другой. И так, мой мальчик, ты со своим японским аппаратом выходишь на палубу...

— Японским? — удивленно переспросил Алан.

— Конечно, ты же говорил, что Теодореску подарил тебе фотоаппарат. И пусть он будет без футляра...

В дверь постучали. Клара приложила палец к губам.

— Войдите! — отважно воскликнул Хильер.

Он встретит пулю, высоко подняв голову — он умел проигрывать. Дверь приоткрылась, и в каюту просунулась голова Риста, а за ней и все остальное. По тому, как он вырядился, сразу было видно, что Рист собирается на берег, и, хотя галстук воспитанника Харроу* (разумеется, имитация) совершенно не гармонировал с добротным даже по лондонским меркам серым костюмом, при таких деснах подобные мелочи отступают на второй план.

— Еще не оделись? По-прежнему хандрим?

Увидев на койке Клару, Рист бросил на нее плутоватый взгляд — вылитый Лепорелло*.

— Извиняюсь за вторжение, но между прочим вами интересовались два каких-то типа в баре.

— Русские?

— Да, но вроде ничего. Веселые такие, шуточки отпускают и довольно прилично болтают по-английски. Они что-то говорили про пишущие машинки.

— И спрашивали про Джаггера?

— У них это звучало скорее как «Яггер». Случайно слышал, когда пришел ставить штамп в паспорте. Но я им ничего не сказал, пообещал только посмотреть, не сошли ли вы уже на берег.

— Как видите, еще не успел. Но им скажите, что меня нет.

— На берег еще никто не спускался. Они заводят наших в каюту, и их там осматривает доктор. Боятся инфекции. Основательные ребята эти русские. Наркотики небось тоже ищут, потому что даже в жопу заглядывают. Простите, мисс. Тысяча извинений. Я совершенно искренне прошу прощения за свою грубость. Зарапортовался. Приношу свои искренние...

— Вы слышали о промышленном шпионаже? Русские в этом деле доки. Подсыпят мне в рюмку какой-нибудь дури и выудят из меня все секреты. Передайте им,— сказал Хильер, воодушевляясь,— что я покинул корабль вместе с неким мистером Теодореску. Вы же видели вертолет. И все видели. Так им и скажите.

Рист трижды многозначительно потер большим пальцем об указательный.

— Понял,— вздохнул Хильер и достал из тумбочки стодолларовую банкноту.— Только не подведите меня.

— Вас, сэр? Да как можно, мы же с вами приятели! И еще раз тысяча извинений, мисс. Меня иногда заносит.

— А что это за осмотр? — спросил Алан.

— Проверяют, нет ли какой заразы,— важно ответил Рист.— У нас в армии то же самое было, когда из увольнительной возвращался.

— Значит, они всех осматривают? — спросил Хильер.

— В том-то и штука, что не всех. Выбирают как-то. Меня не тронули: и так видно, что чистый.

Он встал в позу и подмигнул. Затем помахал на прощание стодолларовой бумажкой и танцующей походкой вышел в коридор.

— Так что вы говорили о фотоаппарате? — спросил Алан.

— Найди какого-нибудь стоящего на отшибе милиционера и предложи ему аппарат за пять рублей. Конечно, это идиотизм, но тем лучше. Покажи ему пять пальцев и скажи гуд! Он наверняка не устоит перед таким искушением. И обязательно добавь, что у тебя в каюте остался футляр от него и ты отдашь его просто так.

— Как я скажу, я же не знаю русского?

— Я начинаю в тебе разочаровываться: нет, действительно... А жестами ты объяснить не можешь? Он поймет, не волнуйся. Веди его прямо сюда. Пойдет как миленький. Эти своего не упустят. К тому же подростка он ни в чем не заподозрит. В каюте же вместо футляра окажусь я.

— А если ничего не выйдет?

— Тогда мы приступаем к выполнению плана номер два. Вернее, к нему приступает Клара.

— Что от нее требуется?

— Ты предложишь фотоаппарат, Клара предложит себя.

Оба испуганно притихли, превратившись в тех, кем на самом деле и были: в детей. Брат с сестрой смотрели на Хильера круглыми от ужаса глазами.

— Понарошку,— поспешил успокоить их Хильер.— Это всего лишь игра. Маленькая хитрость. Не бойтесь, ничего не случится. Я спрячусь вот здесь, в платяном шкафу.

Однако они по-прежнему испуганно и с укоризной взирали на него, и Хильер поспешил добавить:

— Но я уверен, что с фотоаппаратом все пройдет гладко.

— Что я должна делать? — спросила Клара.

— Неужели вас надо учить? Мне казалось, вы интересуетесь сексом. Требуется лишь многозначительная улыбка и один-два недвусмысленных взгляда,— чтобы, так сказать, соблазнить, этого вполне достаточно. Не противьтесь своей природе, и все получится само собой.

Хильер неуклюже продемонстрировал, что следует делать, но смеха не последовало.

— Хорошо,— уныло произнес Алан.— Я приступаю к плану номер один.

— Желаю успеха.

Алан понуро вышел из каюты.

— Кажется, мои слова его слегка покоробили,— сказал Хильер девушке.— Наш герой оказался не таким уж бравым.

Хильеру хотелось сесть на койку рядом с Кларой, но он нашел в себе силы удержаться от этого и, опустившись на стул, закинул ногу на ногу. Покачивая волосатой ногой, выглянувшей из-под халата, Хильер вспоминал о том, как некоторые женщины уверяли его, что их возбуждают мужские колени. Но Клара смотрела не на колени, а на Хильера.

— У Алана нет фотоаппарата,— сказала она

— Как это?

— И никогда не было. Он не интересуется фотографией.

— Но ему же подарили фотоаппарат. Он сам говорил.

— Да. Не знаю, зачем он врал. Если бы ему подарили фотоаппарат, он бы мне его показал. Ручаюсь, что он не стал бы его прятать. А подарок этого человека спрятал.

— Господи, почему же он ничего не сказал. Мы должны быть совершенно откровенны друг с другом.

Последние слова Хильера тронули Клару, ей вспомнились не пособия по технике секса, а брошюра «Что такое настоящая любовь?», Хильеру снова захотелось подсесть к ней поближе.

— Зачем вам это? — спросила Клара.— Такая мерзость: убийства, слежка, похищения. И не только взрослых — сколько похищают детей!

— А вы бы хотели иметь много детей?

— К чему такие вопросы? Они бы имели смысл, не будь вы замешаны во всех этих глупостях. У нас было бы восхитительное путешествие.

— Оно еще будет. Как только я выполню задание. Обещаю. Мы будем вместе читать ваши секс-книжки, а по утрам пить крепкий бульон. Или, скажем, вместе выкинем все секс-книжки за борт.

— Вы надо мной смеетесь.

— Нисколько,— сказал Хильер, нисколько не смеясь.— Я смертельно серьезен.

И сразу мелькнуло: серьезно смертелен; состояние серьезное — смертельное; прогноз безнадежный. Он хотел жить. To live. Смена гласной в последнем слове. Вместо

тонкой — широкая. To love¹. Кажется, минула вечность, с тех пор как Рист рассказывал о своей сестре-машинистке.

— Я думаю,— проговорил Хильер смертельно серьезно,— что это любовь.

Любой мужчина, произнеся последнее слово (конечно, если это не делается «по срочным показаниям»), неизбежно испытывает смущение. Жуликоватое слово. Однако у женщин, особенно у девушек, реакция на него иная. Клара зарделась и опустила глаза на ковровую дорожку. Хильеру самому хотелось понять, что же он имел в виду. Он предлагал (до сих пор не верилось!) любовь единственно подлинную: кровосмесительную.

— Да, любовь,— сказал Хильер и, словно в подтверждение серьезности своих намерений, прикрыл коленку и торжественно застыл на стуле.

— Как вам не совестно? — сказала Клара.— Не предлагайте мне такие вещи. Мы же совсем не знаем друг друга.

— В ваших книжках толкуют совсем не об этом. Скажи я «оральное возбуждение», вы бы меня сразу поняли. Но я сказал «любовь». Любовь.

— Но у нас такая разница в возрасте. Вы мне, наверное, в отцы годитесь.

— Гожусь. И отец вам скоро понадобится. Но я говорю о другом. О любви.

— Так, значит, я должна буду — как это? — соблазнить его и попытаться заманить в свою каюту,— пробормотала она, не поднимая глаз.— Такой предлог более — как это? — благовидный. А что дальше? Об этом вы подумали? Я понимаю, ваше дело стукнуть его по голове и завладеть мундиром. А потом что? Противный старый мужлан в каюте юной девушки...

— Заманите молодого.

Он ее любил. Любил.

— А потом будет вот что: после того как вы уйдете в его мундире, я начну кричать, и когда кто-нибудь прибежит, скажу, что он сам разделся — для чего и так ясно,— но я, усыпив его бдительность, огрела... Чем я его огрела?

— Самой тяжелой из ваших книг.

¹ To live — жить (англ.). To love — любить (англ.).

— Нет, серьезно.— Она нетерпеливо притопнула.— Чем вы его ударите?

— Его собственным пистолетом.

— Ой! — (Авансцена обваливается. Убийца прыгает в зрительный зал.) — Я не подумала, что у него будет пистолет.

— Тут вам не добродушные деревенские полисмены. Но стукну я несильно, только чтобы суметь ввести PSTX. Это вызовет реакцию, напоминающую сильное опьянение. Если от удара он потеряет сознание, то тем лучше — даже укола не почувствует. Придет в себя мертвецки пьяным, раздетым, и тут вы разуетесь и ударите его каблучком — обязательно сделайте это, — а потом...

— Потом я вышвырну его одежду в иллюминатор, что только усугубит его положение. И пистолет тоже выброшу.

Ей не терпелось поскорее начать операцию по совращению незнакомца.

— Вы красивая, соблазнительная, умная, смелая девушка, — изрек Хильер. — Я люблю вас. Где бы я ни был — в тюрьме, в лагере или в соляном карьере. — Я буду любить вас. Я буду любить вас даже тогда, когда в меня вопьются пули.

Слова его были нелепы. Нелепы, как сама любовь.

— Нет, вы вернетесь. Вы вернетесь, правда?

Ответить Хильер не успел, поскольку дверь открылась и на пороге появился Алан. Вид у него был весьма унылый.

— Ничего не вышло, — промямлил он. — Фотоаппаратом никто не заинтересовался. Я предлагал ручку «Паркер», но оказалось, что и она никому не нужна. Не нашлось покупателей ни на мои рубашки, ни даже на смокинг.

— Сомневаюсь, что русские мальчишки носят смокинги.

— Я старался, как мог! — с обидой воскликнул Алан. — Просто я никогда такими вещами не занимался. Простите.

— Ничего, — ласково сказал Хильер. — Но теперь, надеюсь, ты понял, что в жизни еще есть чему поучиться. Что же, придется за дело взяться нам с Кларой.

— Я собираюсь на берег, — сказал Алан. — К пирсу уже подогнули большой туристский автобус. — Он замолчал, ожидая так и не последовавших советов проявлять

осторожность.— Я буду осторожен,— проговорил он не слишком уверенно.

— Акт второй! — провозгласил Хильер.— Смена декораций. Сцена прежняя. Я выброшу ваши секс-книжки в иллюминатор. Не то кто-нибудь впоследствии станет утверждать, будто вы были с ним заодно.

2

Вот и пришло время, когда Хильер мог выказать нежность к продолжению Клары — ее каюте. Но прежде он показал язык ее книжкам, собрал их в кучу и вывалил во тьму, простиравшуюся за правым бортом. Неграмотное море приняло их с безразличием нацистских костров. Затем он начал на цыпочках кружить по каюте, поглощая лицо и руки Кларинной массажной щеткой (ключиче мужские поцелуи, но приходится обходиться ими), вдыхая благоухание ее кремов, румян и чересчур «взрослых» духов. Он попытался задуматься лежавшими на стуле чулками цвета вороненой стали и в то же время ловил губами чуть влажноватые ступни. Девятый размер. Он застыл в нерешительности: то ли зарыться лицом в ее белье, лежавшее в выдвижном ящике, то ли набрать воды в видневшуюся под кроватью туфельку (четвертый размер) и сделать из нее глоток. Но война требует хладнокровия. Любовь должна на время превратиться из трепета пальца на спусковом крючке в призыв военного плаката. Пора в шкаф.

Он втиснулся между ее платьями. Будучи проявлениями ее внешнего, публичного «я», они не возбуждали его в той же мере, как то, что прикасалось к ее коже, нежило, увлажняло и наполняло ароматами. И тем не менее он целовал кромки ее невидимых платьев и — нисколько тому не удивляясь — молился ей, богине, представавшей миру в этих многочисленных изменчивых обличьях, а не дьяволице мисс Деви, похотью истерзавшей его нервы и оставившей их обвисшими и алчущими — терзали их до состояния святости — более возвышенных раздражителей. Дверца шкафа была закрыта неплотно, и сквозь бесконечно малую — прямо-таки в математическом смысле! — щель он видел точно такую же койку, как ту, на которой выстрадал упительные дравидские наслаждения. На ней он вообразил сидящую в позе лотоса многорукую мисс Деви и вознес благода-

рения очищающему пламени, сквозь которое лежал его путь к Божественному видению. Но он постарался, чтобы мисс Деви исчезла до того, как, обретя человеческое естество, она зовуще уляжется на покрывало.

Время шло, и Хильер думал о том, имел ли он право вовлекать солнцеподобную Клару в это — пускай притворное — распутство. Между тем никакие ухищрения многоопытной соблазнительницы не волнуют кровь так, как очевидная неискушенность неумело выдающей себя за таковую. Тот, кого она приведет, — несомненно мерзавец и заслуживает своей участи. Хильер размышлял о любви, о том, догадываются ли женщины, как мучаются обожающие их мужчины. Трубадуры и альфонсы залапали все слова, низвели физическую любовь до животного соития. Овладевая телом любимой, ощущаешь себя в борделе. Половой акт не превращается в возвышенное таинство, подобно пресуществлению хлеба во время причастия. Вы можете за завтраком набить рот хлебом и, плюясь крошками, рассуждать о проповеди, однако незадолго до того, отнюдь не для утоления голода, вы клали в рот пресную облатку и бормотали: «Господь Бог мой...» И вы верили, что вас слышат. А в любви вы завтракаете и причащаетесь одновременно и не способны — даже в момент Откровения — воскликнуть: «Госпожа Богиня моя!» А если и воскликнете, то твердо зная, что услышать вас некому.

Зажатый между благоухающими платьями, Хильер почувствовал, что у него немеет тело. Он приоткрыл дверь и собрался было размять конечности, как вдруг из коридора послышались приближающиеся шаги. Он снова втиснулся в набитый шкаф (рот набит хлебом) и буквально услышал, как застучало — не в ногу с шагами — сердце. Дверь отворилась и: Господь Бог мой! — как она чертовски ловко все проделала! Перед Хильером предстала угрюмая милицейская форма, матово поблескивающая кобура, сапоги и — дробящееся на десятки частей, как в глазке стробоскопа, ее усыпанное серебряными блестками платье. Сколько еще это терпеть? Надо, чтобы он снял ремень с кобурой, но сумеет ли она заставить его расстегнуть пряжку сейчас, пока грубые милицейские лапы не начали ее тискать? Изображение дробилось, но звук был отчетливым: хрипкое «Razdyevaussyu... gazdyevaussyu...». Хильер чуть приоткрыл дверцу, — то, что он увидел, было уже чересчур: разрываемое на плече

платье, славянское насилие над Западом, толстая красная шея, поросшая грубой щетиной, фин. («Черт подери, выбрала кого надо!» — отметил он про себя, глядя на знаки отличия; точное звание он припомнить не мог, но не сомневался, что оно выше лейтенанта. Тупая морда предстала в профиль, и при виде нескольких рядов орденских ленточек Хильер почувствовал презрение к тому, кто так отклонился от своих служебных обязанностей; в то же время он был рад, что русский оказался нормальным человеком, способным на подобные отклонения, но тут же с ненавистью заметил, как тот похотливо — вполне по-человечьи — оскалил покрытые камнем и золотом зубы и заурчал, предвкушая невыносимую для Хильера профанацию.) Растрепанная, будто после ночи насильного блуда, она взглянула поверх нависшего над ней плеча на спасительный шкаф. Хильер на мгновение выглянул и выразительно кивнул на кобуру. Клара сразу начала стаскивать с русского китель; тот осклабился, пробормотал «Да, уа *dolzhen gazdyet'sya*», встал с Клары, сбросил ремень на пол и принялся неуклюже расстегивать пуговицы. Взглянув на девушку, он снова приказал: «*Razdyevaysya... gazdyevaysya...*» «Этот глагол ей следует запомнить», — мелькнуло в голове у скрючившегося в шкафу Хильера. Русский, оставшись в рубашке, полез на Клару, по-борцовски растопырив пальцы, и Хильер решил, что время пришло.

«*Nu ka, svinyah, vstavay*», — сказал он, направляя на него пистолет (мощный милицейский «Tigr», одна из последних моделей) и снимая его с тугого предохранителя. Все как тогда, с *Westdeutsche Teufel*, хотя язык на этот раз более приятный. Русский медленно поднялся, у него, кажется, даже мелькнула мысль попробовать защититься Klarой. Но Хильер, сделав шаг в сторону, гаркнул, чтобы «вонючий кобель» уткнулся «харей и пузом» в «shkaf». Тот, мрачно ворча и сплевывая, повиновался, однако в его довольно красивых карих глазах угадывалось некоторое удовлетворение: все-таки поймали его не где-нибудь, а в дамском будуаре (символ буржуазности не хуже виски или джаза). «Больно не будет», — ласково произнес Хильер по-русски и врезал рукояткой пистолета по коротко остриженному затылку. К его удивлению, это не возымело никаких последствий. Хильер ударил сильнее. Русский попытался обнять шкаф и под мелодичный аккомпанемент, извлекае-

мый восемью ногтями из его боковых панелей, медленно осел.

Хильер повернулся к Кларе. Его душило негодование, к которому примешивалось мерзостное возбуждение: все плечо и часть правой груди были обнажены. Клара уже успела оправиться от испуга.

— Милая,— выдохнул Хильер.— Я куплю вам новое платье. Обещаю.

— Вы его слабо ударили,— сказала Клара.— Смотрите.

Лежавший ничком русский уперся рукой в пол и, постанывая, попытался приподняться. Хильер снова ударил, на этот раз почти что ласково, и удовлетворенно вздохнувшая жертва затихла.

— Надеюсь, вы еще не раз увидите, как я одеваюсь,— сказал Хильер.— Причем в свою одежду. Помогите, пожалуйста, натянуть сапоги. Великоваты, но ничего.

Хильер поднял брюки. В них обнаружили залатанные кальсоны, вызвавшие в нем прилив сострадания. Хильер, пыхтя, натянул на себя униформу.

— Как я смотрюсь?

— Умоляю, будьте осторожны.

— Так, теперь ремень. Где фуражка? А, прямо возле двери повесил. Чувствовал себя как дома.

Брюки оказались широковатыми, но под кителем это будет незаметно.

— Я бы что-нибудь подложил,— сказал Хельер.

Он засунул под китель банное полотенце Клары.

— Вот так.

Он достал из кармашка халата наполненный шприц, пустил в воздух тонкую струйку и вонзил иглу глубоко в предплечье своей жертвы. По волосатой руке заструился тоненький ручеек. И вдруг, к их общему изумлению, русский пришел в себя. Произошло это внезапно, как после поцелуя феи. Он очнулся совершенно пьяным, захлопал глазами, облизнул губы и расплылся в улыбке. Хильер удивленно вслушивался в монолог раскрепощенного русского подсознания: «Батя в кровати мамаша пригелась замело все говорю самовар-то пустой Юрке в рыло заехали Лукерья в рев слезы мерзнут дай холодного свекольника». Он с умилением посмотрел на Хильера и попробовал приподняться. И тут Хильера осенило.

— Где каюта миссис Уолтерс? — спросил он у Клары.

— Рядом. У нас три каюты подряд.

— А хрыч Николаев как хряснет школа длины реки не знаю.

— Проверьте, пожалуйста, не заперта ли она. Если да, возьмите у помощника запасной ключ. Только, прошу вас, — побыстрее.

Клара сняла с крючка у двери короткую меховую накидку. Она не могла показаться на людях в разорванном платье. «Я люблю ее», — подумал Хильер.

— Салгир самая длинная река в Крыму, но короткая. Южные склоны горы очень плодородные.

Он повторил: «Ochin plodogodnyie». Затем снова попытался встать. Хильер его беззлобно осадил.

— За сараем летом Наташка юбку задрала живот здоровый показывает я не покажу она показывает я не покажу.

«Теперь бы показал», — подумал Хильер.

— Она показывает я не покажу она показывает и я покажу.

Наконец-то.

— Хрыч Николаев обратно по морде заехал бате няябедничал батя по заднице отстегал.

Эх, крымское детство — все по морде да по морде. В каюту влетела запыхавшаяся Клара.

— Я взяла ключ в конце коридора, там, где кипятят чай. Сама открыла. Правильно?

— Умничка. Умная, восхитительная девочка.

Одним движением Хильер поставил улыбающееся, бормочущее существо на ноги.

— Обопрись на меня, дружище. Сейчас пойдем баиньки. Тебе надо проспать.

— В ее кровати?

— А что? Для нее это будет неплохим сюрпризом.

Бормотание перешло в песню:

— Напали на козлика серые волки...

Наверное, песня родилась на севере Крыма, — в южной части, где нет степей, вряд ли могли происходить подобные ужасы. Крым — вязаные шлемы*, Флоренс Найтингейл*. В коридоре никого не было. Без особого труда они плюхнули его на койку миссис Уолтерс.

— Мое сердце словно ситко, в нем не держится любовь...

Хильер сразу почувствовал: в каюте миссис Уолтерс все дышало сексом. *V puom ne derzhitsya lyubov.* Вскоре пение сменилось зычным храпом.

— Я должен идти,— сказал Хильер.

Она подняла на него глаза. На этот раз человек в униформе был необычайно нежен.

3

Разница между хлебом причастия и тем, что предлагает пекарь, оказалась ощутимой. Подобно хлебу, по карманам мундира были расставаны борода и паспорт Иннеса, ампулы, шприц (на иглу надет защитный колпачок), доллары, полученные от Теодореску, рубли, купленные на черном рынке в Пулдже, принадлежавшие милиционеру пачка «Беломора» и удостоверение (С. Р. Полоцкий, тридцати девяти лет, уроженец Керчи, женат, ублюдок). На бедре рычал поставленный на предохранитель «Tigr». Хильер сошел по скрипучему трапу, весело перебросился несколькими словами со стоящим внизу молоденьким милиционером («Все в порядке, сынок. У них там до хрена пива и несколько отпадных баб. Ну что, ничего подозрительного? Я так и думал, надули нас с этой телеграммой. Ладно, понаблюдай еще маленько».) и, шутливо пихнув удивленного парня в грудь, направился к пандусу, спускавшемуся к маленькому морскому вокзалу. Набережная, к счастью, была погружена во тьму, которую с упорством дебила пытались развеять несколько исправных фонарей. В здании оказалось светлее, но в пустом таможенном зале царил полумрак. Буфетчица наливала пиво грузчикам-татарам, в сувенирном киоске томилась продавщица. У выхода скучали, покуривая, несколько милиционеров. Увидев Хильера, они вытянулись, чтобы отдать ему честь, но он приветливо помахал им рукой и, напевая, прошел мимо. Песня была из репертуара Полоцкого — о сереньком козлике; там, где Хильер забывал слова, он вставлял «ла-ла-ла». Один из милиционеров крикнул ему вслед: «Никого не нашли, товарищ капитан?», и Хильер пропел через плечо: «Nikogoоо, ложная тревога». Он спустился по лестнице. Во дворе валялись тюки и ящики. Неподалеку стояло несколько грузчиков. Ночь была восхитительной. Пахло клубникой. С «большой земли» тянуло прохладой: напоминание о Кремле, для которого этот маленький

южный небный язычок с его теплом и апельсинами — всего лишь субтропические проказы.

У входа на территорию порта было непозволительно темно для места, где производится паспортный контроль. Будь Хильер тем, за кого себя выдавал, он бы навел тут порядок: попробуй разбери в такой темени, что за фотография наклеена в предъявляемой пародии на паспорт. Солдат с винтовкой, одетый в поношенную гимнастерку (реликт крымских баталий?), увидел Хильера и вытянулся по стойке «смирно». В караульном помещении двое резались в карты, один из играющих что-то ворчал по поводу неудачной масти. Игра была довольно бесхитростной: видимо, покер товарищам не потянуть. Третий что-то сыпал в чайник с кипятком. Хильер прошествовал мимо. Он подумал, что где-то поблизости должна быть милицмейская машина, но, с наслаждением вдыхая воздух пустынной улицы, уводившей в сторону от доков, решил, что в такую погоду пройтись пешком — одно удовольствие. В темных садах, тянувшихся по обеим сторонам улицы, проглядывали кипарисы, розы и бугенвиллеи. Он взглянул направо и увидел на скамейке в саду робко обнявшуюся парочку. На сердце потеплело. В глубине сада кто-то энергично прочищал горло. Вдалеке залаяла собака, и ее немедленно поддержали. Все это, да и сам воздух, напоенный лимонным ароматом (или он это себе только виушил?), доказывало, что, несмотря на ужасающие различия в языках и системах, жизнь по существу везде одинакова. Хильеру требовалось найти гостиницу «Черное море». Он мысленно поблагодарил Теодореску, проболтавшего о возможном местопребывании Роупера. Милиционер, конечно, должен знать, где находятся гостиницы. Но, может, его командировали издалека? Вообще-то, чем дальше те края, откуда прислан милиционер, тем большим уважением он пользуется. Хильер уверенно шагал вперед. Вдыхая чистый, знакомый с автомобильными выхлопами воздух, он думал об убегающих на север плодородных долинах, о возвышающихся за ними холмах. Но в этот момент Хильер увидел в конце улицы движущиеся огоньки, услышал троллейбусное клацканье и какой-то лязг. Ясно: трамвай. Хильер любил трамваи. Автомашин не было, весь транспорт двигался по предписанным ему маршрутам. Благословенная страна! — пьяный может валяться на проезжей части без риска быть раздавленным. Хильер дошел

до перекрестка, и перед ним открылся красивый, вполне европейский бульвар. Деревья, тихо шелестевшие на ветру, он для себя определил как шелковицы. Хотя было еще не поздно, бульвар выглядел безлюдно, лишь кое-где встречались кучки праздных легко, по-летнему одетых подростков. Несомненно, где-то должна быть эспланада, протянувшаяся вдоль мерцающего огнями моря. Там на витой железной эстраде оркестр, наверное, играет музыку Хачатуряна для Государственного цирка, а толпящийся вокруг народ пьет государственное пиво. Он остановился, раздумывая, в какую сторону двинуться.

Хильер свернул налево и увидел работающий, но безлюдный магазин «Сувениры». В тускло освещенной витрине стояли матрешки, деревянные медведи, дешевые грубые бусы, эмалированные чешские броши. Были там и фарфоровые пивные кружки; Хильер нахмурился, ему почудилось, будто он уже видел нечто подобное, хотя, кажется, не на советской территории. На каждой кружке красовалось грубое женское лицо: сморщенные в старческой улыбке нос и подбородок, собранные в пучок черные волосы, злобные ухмылки. Где же, черт побери, он их видел? Вспомнил: на каком-то итальянском курорте, славящемся слабительными свойствами тамошней минеральной воды (сульфат магния? семиводный гидрат?); горьковатую влагу с улыбочкой наливали в такие же кружки, правда, с них смотрело лицо помоложе, по красивее, поитальяннее. Да и надпись была *Io sono Beatrice chi ti faccio andare*¹. Грубоватый каламбур. У Данте она ведет его к звездной славе, и Чистилище — одна из ступеней в восхождении, а не конечная цель. Он чувствовал, что тут есть какая-то связь с ним, Хильером, но какая? — этого он понять не мог.

И вдруг стало ясно: Клара! Воплощение чистоты. Вдохнувшая в него веру после стольких лет безверия, заставившая вспомнить о бессмертной душе. Но не могла же она быть единственным оправданием того, что его грешное тело продирается сквозь чистилище последнего задания, входит в огненную пасть и покидает ее, отягощенное священной ношей? Этого недостаточно: *domina, non sum dignus**. Сколько чужих лобковых волосков всех цветов — от меда Балтики до смолы Востока — запуталось в его собственных! Сколько зубов (включая

¹ Я Беатриче, та, что шлет тебя * (ит.).

вставные) терзали его тело! Хрюкая от удовольствия, он обжирался, опивался. Ложь, предательства — на что он только не шел для достижения своих сомнительных целей! Покачивая головой, Хильер вспомнил свое неправедное прошлое. Ему хотелось поднатужиться и извергнуть багаж прежнего «я» (заляпанные кровью и пивом дешевые чемоданы, полные барахла, завернутого в старые газеты) в мусорный бак, — звонок по телефону, и карглазый, бородатый мусорщик подкатит к порогу его дома; от чаевых он с улыбкой откажется («Это моя работа, сэр»). Хильер, поскрипывая, обретал себя.

Он обернулся и оглядел улицу. Из закрытого заведения, именуемого «Ателье», прихрамывая, вышел мужчина в грязной рубашке с расстегнутым воротом и брюках цвета хаки. Еще не старое лицо покрывали морщины. В восточном направлении прогрохал почти совершенно пустой трамвай. Хильер спросил:

— Prostitute, tovarishch, gde tut Chornoye more?

— Издеваетесь? Тут куда ни кинь — Черное море.

Он широко раскинул руки, словно выпуская море из своей груди.

— Я имел в виду, — рассмеялся Хильер, — гостиницу «Черное море».

Незнакомец, от которого потягивало плодово-ягодным, уставился на Хильера.

— В чем дело? Я в эти игры не играю. Раз вы не знаете, где находится главная гостиница, значит, вы не милиционер. Самозванец, вот вы кто!

Продавщица из «Сувениров» стояла у дверей и внимательно прислушивалась. Хильера раздражало раздражение.

— Tovarishch, вы мараете честь мундира! — взорвался Хильер. — На это есть статья!

— На все есть статья! Нет только на кагэбэшников, выдающих себя за милиционеров. Еще что придумаете? Так вы меня с ходу и расколоти. Не на того напали!

Он перешел на крик. Высокий светловолосый парень и его маленькая чернявенькая подружка остановились поглазеть на скандал. Девушку это очень забавляло.

— Откуда приехали? Небось из Москвы! Говорю тебе нездешний!

— Ишь надрался, — сказал Хильер. — Несет черт знает что!

Он подумал, что с таким лучше не связываться, и поспешно зашагал в западном направлении; там еще догорали последние лучи заката. Сапоги были сильно велики, и немудрено, что Хильер споткнулся о кусок асфальта. Непонятно откуда взявшаяся сопливая девчонка весело захихикала. А в спину неслось:

— Может, и надрался, но когда мне дело шьют, я соображаю. Мне скрывать нечего. Вон, смотрите,— обратился он к собравшимся зевакам,— гостиница ему нужна, как же! Преспокойненько пошел в другую сторону!

Хильер быстро миновал пустую, пахнущую рыбой столовую, закрытый государственный мясной магазин, сберкассу, напоминавшую тюрьму для денег.

— Ищут, кого бы сцапать! Я хочу, чтобы меня оставили в покое!

Я тоже, подумал Хильер. Свернув в темную улочку, круто поднимающуюся вверх, он понял, что заблудился. В поисках поворота направо он тяжело поднимался по разбитой мостовой. Вдоль улицы стояли обшарпанные домишки, в одном из которых сквозь распахнутое окно можно было наблюдать телевизионную стихомифию* изображения и звука. Остальные дома выглядели совершенно безжизненными, возможно, их обитатели прогуливались сейчас по бульвару. Вот и поворот направо. Хильер свернул в переулок и двинулся по размокшим пачкам из-под сигарет, по склизким очисткам и огрызкам. Он храбро шлепал на восток, откуда доносились визги кошачьей свары. Хильер подумал, что вот-вот должна взойти луна, первая четверть. Слева запахло свежескошенным сеном, где-то неподалеку уже начинались деревни. Поравнявшись с одним из домов, он услышал доносившуюся из глубины двора перебранку. Муж довольно громко настаивал на том, что его жена «*kobula*» и «*suka*». Он свернул вправо, и вскоре улица, окаймленная миниатюрными розовыми палисадничками, вывела его к уже знакомому бульвару. Свежий ветерок по-прежнему шелестел в тутовых кронах. Он подошел к вывеске «*Ostanovka Tramvaya*», под которой маялись три *tovarishch'a*.

— А-а,— послышался знакомый голос,— выследил все-таки! Вот ведь прилип. Как шпион все равно! И милицией не пригрозишь: сам ментом прикинулся. Это тот самый,— обратился он к стоящей рядом обнявшейся парочке,— *samozvanyets*. Думает обдурить меня своей

ментовской формой. Выкуси! Ну и что с того, что я работаю в «Черном море»? — спросил он Хильера. — Сперва с начальством нашим разберитесь, а потом уж цепляйте кухонных сошек вроде меня. Нас там секут — дай Боже! Но я даже, если б и мог чего стянуть, все равно б не стал. Стану я мараться! Постыдились бы подозревать меня!

Иша сочувствия, Хильер взглянул на разннувшую рты парочку и пожал плечами (как он потом заметил, рты были разинуты от того, что парочка жевала американскую резинку). Наконец, прогромыхал сыплющий искрами одноэтажный трамвай.

— А теперь небось заявите, что не знаете, сколько платит за проезд? — сказал усевшийся напротив Хильера новый знакомец. — Давайте спрашивайте.

— Да, я не знаю, сколько стоит билет.

— Что я говорил! — торжествуяще воскликнул тот, обращаясь к пяти другим пассажирам. — Билет стоит три копейки, и вы это прекрасно знаете.

Кондукторша отвергла попытку Хильера заплатить за проезд. Ага, значит, милиция ездит бесплатно. Кондукторша напоминала румяный пудинг, облаченный в криво сидящую униформу.

— Вот-вот, — сказал повар. — Для власти одни законы, для простых — другие. Москва. — Он усмехнулся. — Когда ж они оставят нас в покое?

Хильер поглубже вдохнул и гаркнул:

— Заткнись!

К его удивлению, тот действительно заткнулся, лишь изредка что-то ворчливо приговаривая себе под нос.

— Тоже в «Черное море»? — спросил Хильер гораздо миролюбивее. — Попутчики, значит.

— Все, больше ни слова, — сказал повар. — И так наболтал лишнего.

Достав из кармана измятый «Советский спорт», он принялся хмуро изучать большую фотографию прыгуна в высоту.

Хильер глянул в окно. Трамвай свернул с бульвара на узкую улочку и покатил мимо украшенных лепниной аккуратных домиков с палисадниками, в которых цвели бугенвиллен. В свете одного из уличных фонарей отчетливо различались их лилово-красные листья. Снова этот благословенный, лежащий вне политики мир. Трамвай повернул влево, а справа перед Хильером открылось

мерцающее огоньками море. Вместо широкой набережной вдоль моря тянулись дома отдыха (везде одни и те же унылые цвета) с огороженными пляжами. В одном из них были танцы: звучала старомодная музыка, труба и саксофон в унисон выводили уже почти забытое «Для тебя это флирт, для меня — любовь». Неужели в России понимают разницу?

Трамвай остановился.

Повар засунул газету в карман и сказал:

— Приехали. Будто сами не знаете.

Он пропустил Хильера, вынуждая его сойти первым.

Возвышавшаяся слева гостиница находилась в стороне от пляжа, но сквозь богатый, хотя и пребывавший в плачевном состоянии парк к морю вела извилистая тропинка. Название гостиницы освещалось прожектором. Строение это было выдержано в добром викторианском стиле и — за исключением разве полосатых навесов от солнца — вполне бы подошло для Блэкпула. Хильер с тревогой поглядел на помпезно-декоративный вход, возле которого прохаживались несколько головорезов в штатском. Наверное, в другое время их бы здесь не было, а сейчас удивляться не приходится: научный симпозиум — крупное событие, государственное дело. Несмотря на то, что в порту никого не обнаружили, комитетчики все равно не зевают. А тут еще этот ублюдок за спиной:

— Вот это я понимаю гэбэшники. Настоящие. Любого насквозь видят. Таких ни один *szamozvanycs* не проведет.

Терпение Хильера лопнуло. Он повернулся и, схватив повара за ворот грязной рубашки, отволол его в боковую аллею, обсаженную кипарисами, мнртами и бегониями.

— Видишь этот пистолет? — спросил Хильер. — Думаешь, для красоты болтается? У меня так и чешутся руки всадить в тебя пулю. Не люблю, когда поганые ничтожества вроде тебя путаются под ногами и мешают важному государственному делу.

— Я во всем признаюсь! — затараторил повар. — Всего-то взял два блока. А шеф-повар их загребает обеими руками.

— Английские или американские?

— *Lakki Stralyk*. Клянусь — два блока, ни пачкой больше.

— Ладно, марш на кухню. Через служебный вход. И учти, еще одно слово — и я тебя продырявлю.

— А директор, между прочим, занимается часами. Швейцарскими. Если хотите, я вам целый список фамилий представлю.

— Потом, а сейчас ступай на кухню.— Хильер подтолкнул его рукояткой пистолета.— Я никому сообщать не буду. Но если ты еще хоть раз что-нибудь пикнешь про самозванца...

— Опять все, как при Сталине,— хлюпая носом, запричитал повар.— Угрожают, запугивают... То ли дело при Никите было...

4

Nichtozhestvo, полный нуль, точнее — худой: наверняка ведь разболтает все на своей кухне или судомойке, а любое сказанное там слово через минуту становится известно Direktsyy. Мол, какой-то мент вынюхивает, кто скупает фирменные сигареты. Может, его и резина интересует. Громила в неказистом костюме (правый карман пиджака оттянут) смерил Хильера не слишком уважительным взглядом и, ворочая челюстями, спросил:

— Какие новости? Так никто и не появился?

Из гостиницы доносились крики и звяканье бокалов: за тебя! за меня! за советскую науку!

— Ложная тревога,— сказал Хильер.

Подошел еще один громила, на вид прибалт. Он уставился на Хильера, словно никак не мог — а собственно, так и было — понять, кто это такой. Хильер сказал:

— Есть тут один англичанин, доктор Роупер...

— Да, Doctor Roper, Anglichanin. Что, неприятности?

— Да нет, какие могут быть неприятности? — Хильер предложил комитетчику «Беломор». Потом закурил сам. Он безумно истосковался по настоящему табаку, по своим зловонным бразильским сигарам. Слава Богу, что прихватил с собой парочку. Беседуя с Роупером, он будет попыхивать своими! — Все нормально. Просто необходимо кое-что уточнить в его документах. Обычные формальности.

— Formalnosti, formalnosti...

Громила пожал плечами, раз такое дело, можно и пропустить. Второй спросил:

— Iz Moskvy?

— Из Москвы.

— Странно, говор какой-то немосковский.

И не ярылыкский. Ни за что не угадаешь.

— Да англичанин я,— сказал Хильер.— Просто порусски хорошо болтаю.

Шутка пришлась по вкусу. Они рассмеялись, не вынимая изо рта *parigosi*, и помахали ему на прощанье.

Безвкусно обставленный холл выглядел довольно убого. Входящего с молчаливым равнодушием приветствовали две безносые, ноздреватые (ноябрьский дождь?) мраморные богини, лишённые даже намека на величие. На ковре зияли большие проплешины, а кое-где и просто дыры. Самая заметная была у входа в мужской *tualet*. У лифта с табличкой «*Ne работayet*» топтался, пожевывая бороду, старик в ливрее. Стоять на посту — больше от него ничего не требовалось. Обеденный зал был переполнен. «Советские ученые», — догадался Хильер. Радостные, раскрасневшиеся, довольные, что симпозиум проводится на курорте. Столики — на четверых и на шестерых — украшали флажки союзных республик, но, разумеется, все тут уже давно перемешалось, никто и знать не хотел о каких-то там различиях, кроме разве что ярко выраженных этнических. Шурясь от табачного дыма, Хильер разглядывал бумажные флажки Советских Социалистических Республик (Украинской, Азербайджанской, Грузинской, Узбекской, Казахской, Таджикской, Киргизской, Туркменской) и яркие знамена (несколько) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Время поджимало. Кухонное ничтожество, наверное, уже делает свое худое дело. Где Роупер? Хильер прочесал взглядом галдящее, тостующее славянско-литовско-молдавско-армянско-кетско-узбекско-чувашско-чеченское скопище в поисках англосаксонского лица. Неудобство состояло в том, что никто не сидел на месте. Появление милиционера не возымело никакого эффекта, ученые продолжали возлияние (пиво, советское шампанское, грузинский мускат, водка, коньяк в стограммовых бутылочках), всем своим видом выражая взаимное расположение: сплетя руки и крепко обнявшись, они пили на брудершафт и потрепывали друг друга по щекам. Некоторые ученые, из тех, что постарше — с бородкой, окаймлявшей влажные губы и немногочисленные зубы (если таковые вообще имелись), — с отрешенными улыбками склонялись над свои-

ми рюмками. Куда же, черт возьми, подевался Роупер? Мимо пробежал с мокрым подносом нагловатый молодой официант в белой куртке. Надо лбом у него завивался жесткий черный кок.

— Gdye Doctor Rorug? — спросил у него Хильер.

— Kto?

— Anglichanin.

Официант с улыбочкой кивнул в дальний конец зала. Там виднелась стеклянная дверь, которая, по-видимому, вела в сад.

— Vlyuoyot, — весело уточнил официант.

Что ж, похоже на Роупера. Хильер направился к двери.

В гирлянде, натянутой между кипарисами, многие лампочки не горели. Могли бы и получше подготовиться к научному симпозиуму. Но и на том спасибо, иначе было бы совсем темно, луна ведь еще не взошла. Хильер стал шептать по сторонам: «Роупер, Роупер...» Из глубины донеслось специфически российское: ик, ик, ик... Он был где-то, куда не доставал свет из окна. Хильер щелкнул зажигалкой: пока суд да дело, можно выкурить, наконец, свою — крепкую, бразильскую. Лучше, много лучше. «Роупер...» Из темноты показался человек с фонариком. Очередной комитетчик. Хильер затушил сигару. Скользя лучом по милицейской форме, человек удовлетворенно хмыкнул и осветил бесформенную массу, икавшую на каменной садовой скамейке.

— А-а, говорящий по-русски англичанин, — со смехом проговорил комитетчик. — Вот вам еще один англичанин, не сумевший избавиться от акцента.

— Оставьте нас, — сказал Хильер. — Мне надо с ним поговорить.

Услышав это, бедняга Роупер совсем расклеился.

— Иисус, Мария, Иосиф, — зашептал он по-английски слова молитвы.

— Amn, — сказал русский по-русски. — Если надо поговорить, идите лучше вон в тот домик, у нас там массажный кабинет. Подождите, я включу свет. Принести вам крепкий кофе?

— Буду очень признателен, — сказал Хильер, удивляясь, как все легко получилось.

.. — Ик, ик, — вступил Роупер.

В конце тропинки, из роз и миртов, сверкнул яркий,

как во время допроса, свет. Хильер взял Роупера под руку.

— Kto eto? — с сильным акцентом выдавил Роупер.

— Militsia. Proverka documentov.

— Господи! — Роупер перешел на английский. — Я вышел безо всякой задней мысли. Я не могу хлестать, как они. Я не хотел никого обидеть.

— Chego? — не понял комитетчик.

— Nichego. Сучье долбанное, nichego! Снова, кажется, начинается.

Роупер отрыгнул, но nichego не вышло.

— Думаю, тут нужен не кофе, а уксус, — сказал гэбэшник.

Теперь, когда он стоял у освещенного окна, стало видно, что в лице его не было ничего гэбэшного, напротив — в нем проступало что-то лакейски-угодливое.

— Лучше все-таки кофе, — сказал Хильер. — Благодарю за работу. Но торопиться не надо. Минут, скажем, через десять.

— Ик, ик, ик.

С того момента, как они вышли на свет, Хильер старательно отворачивался от Роупера.

— Ладно, через десять минут буду, — сказал, оставляя их, комитетчик.

— Ну, как себя чувствуешь, Роупер?

Хильер повернулся к нему лицом. Его поразило, насколько Роупер постарел. Слежавшиеся волосы кое-где тронула седина, правый глаз слегка подергивался. Роуперу хватило одного взгляда, чтобы избавиться от икоты.

— Ну и дела, — сказал он. — Как раз на днях вспоминал о тебе.

Покачиваясь, он двинулся к одной из четырех стоявших в комнате армейских коек, на которых, как предположил Хильер, отдыхающим делали массаж после пляжного волейбола. Роупер лег и закрыл глаза. Затем, с силой опершись на изголовье, вскочил и заморгал.

— Ножки койки чуть не вырвало, — сказал он. — Слава Богу, хоть она удержалась. Я вспоминал наши экзамены. Канонический перевод «Книги Иова». Вспомнил, как ты сказал — экзамен был не по религии, а по английскому, — что для Иова можно было найти утешителей получше, чем Елифаз, Вилдад и Софар*.

— Неужели ты это помнишь?

— В последнее время я многое вспомнил.

— Но странно, что ты помнишь имена. Я их совершенно забыл. Что это за дверь?

В комнате была вторая дверь. Приоткрыв ее, Хильер выглянул наружу. Уже показалась луна, и стало немного светлее. Хильер увидел высокую, изрезанную трещинами каменную стену. За нею было в свои тамбурины Черное море.

— Я часто читаю Библию. Дуэйскую *. Конечно, ее и рядом не поставишь с каноническим переводом. Проклятые протестанты, вечно они делают все лучше нас.— Роупер закрыл глаза.— О, Господи... А все потому, что смешивал... У русских, наверное, луженые желудки.

— Роупер, я пришел, чтобы отвезти тебя домой.

— Домой? В Калинин? — Он открыл глаза.— Ах да, ты ведь теперь, судя по форме, милиционер. Странно, я не сомневался, что тебе предложат работу в разведке. Ох, как мне худо...

— Роупер, не валяй дурака. Проснись. Если ты переметнулся к русским, это не значит, что и я сделал то же самое. Да проснись, идиот! Я работаю там же, где и раньше. Я доставлю тебя в Англию.

Роупер открыл глаза. Его трясло.

— Англия. Поганая Англия. Похитить меня хочешь. Хочешь отправить меня в тюрьму, а потом — суд и виселица. Ты — как там тебя? — ты предатель. Забыл твоё имя... Ты тоже участник этого проклятого четырехсот-летнего заговора. Убирайся отсюда, подонок, иначе я позову на помощь.

— Хильер. Вспомнил? Денис Хильер. Попробуй только крикнуть, я тебя... Да пойми ты, Роупер, никто не собирается тебя похищать. Я привез письменные гарантии того, что тебе не грозит никакая опасность. Просто Англия нуждается в тебе — вот и все. В моем кармане фантастические предложения. Но беда в том, что у меня нет времени на рассусоливания. Я должен немедленно убираться отсюда.

Роупер открыл рот, словно собирался крикнуть, но вместо этого рыгнул и зашелся в кашле.

— Твоя вонючая — ках! ках! — сигара! В тот день, вернувшись домой, я сразу почувствовал — ках! ках! — как из каждого угла несет этим мерзким запахом. И сразу после этого — ках! ках! — она ушла из дому. Бедная, несчастная — ках! ках! — девочка.— Роупер был весь мокрый.— Кажется, я хочу...

Хильер смотрел на него безо всякой симпатии: стареющий англичанин с благоприобретенной русской хандрой; заляпанный, потертый синий костюм — советский, мешковатый, безнадежно устаревшего фасона; ничтожество, которое природа наделила сумасшедшим талантом. Напоминавший горгулью разинутый рот Роупера навис над цементным полом. Но у него (из него) ничего не выходило.

— Вдохни поглубже, — сочувственно посоветовал Хильер. — Никто тебя принуждать не собирается. Расскажи, что ты делал все эти годы. Что они делали с тобой.

С видимым усилием Роупер вдохнул поглубже и закашлялся, разбрызгивая слюни.

— Я занимался ракетным топливом. Работал на космос. И русские не делали мне ничего дурного. Ни во что не вмешивались.

— А как насчет промывания мозгов?

— Глупости! Марксизм как наука давно уже устарел. Я им об этом заявил прямо, и возражений не последовало.

— Они согласились?

— Конечно. Это же самоочевидно. Мне вроде немного лучше. Этот тип что-то говорил про кофе.

— Да, скоро принесет. Но если ты разочаровался в марксизме, то какого черта ты здесь делаешь? Что мешает тебе возвратиться на Запад?

— Мне снова хуже. Рано радовался.

— Роупер, оставь свои глупости. Дома тебя встретят с оркестром. Неужели ты не понимаешь, что, помимо прочего, это будет еще и прекрасным пропагандистским спектаклем! И всего-то надо — перемахнуть через эту стену. Я прихватил для тебя фальшивый паспорт и бороду.

— Накладную бороду? Это... Это... — Он снова зашелся в кашле.

— В порту стоит британское судно «Полиоольбион». Завтра мы будем в Стамбуле. Давай, Роупер. Перелезь через эту стену ничего не стоит.

— Хильер... — Голос Роупера был совершенно трезвым. — Пойми, Хильер: я никогда не вернусь в Англию, даже если мне предложат сотню тысяч фунтов в год. — Он помедлил, словно предоставляя Хильеру возможность подтвердить, что примерно эта сумма и предлагается

в письмах, о которых тот говорил.— Поверь, правительство тут ни при чем. Все дело в истории.

— Господи, Роупер, что за глупости!

— Глупости? Ты считаешь, что это глупости? Английский корабль, как он называется?

— «Полиоольбион». Но при чем тут...

— А должен был бы называться «Коварный Полиольбион» *. Здесь есть прекрасные историки, которые, уверяю тебя, относятся к своему делу гораздо серьезнее, чем их коллеги из Коварного Полиольбиона. Они разобрались в истории моего предка, убитого за веру. Они сказали, что я этого никогда не сумею забыть, и могу поклясться, они правы. Твоя утопающая в цветах — чтоб ей пусто было! — промозглая страна живет по принципу «что прошло, то прошло». А для меня он живой, я — плоть от плоти его, я вижу, как его лижут языки пламени, как он вопит от боли, а вокруг — гогочущая толпа. И ты хочешь, чтобы я об этом забыл, чтобы я сказал, мол, конечно, это была ошибочка, но, право, не стоит ссориться, господа, пожмем друг другу руки, отправимся-ка в ближайший паб и выпьем тепленького английского пивка с шапкой пены!

— Но так и есть, Роупер! Мы не должны ворошить прошлое. Надо избавиться от этого груза. Что мы сможем сделать, если все время будем тащить на хребте своих мертвецов?

— Жертвы истории ей не принадлежат. Часы Эдварда Роупера остановились без двух минут четыре. В тысяча пятьсот пятьдесят восьмом году. Сгорая, великомученики зажигают в людях огонь надежды. Возможно, этот несчастный и заблуждался, но в жизни, а не в мечтах. Ведь мечтал он о всемирном единении, о людях, избавленных от грехов. Он предвидел, что Европа расколется на множество государств, маленьких, нечестивых, ошестинившихся друг на друга; он предугадал все: ростовщиков, капитализм, опустошительные войны. Ему виделись широкие горизонты.

— Уж не русские ли степи?

— Смейся сколько угодно. Ты всю жизнь только и делаешь, что смеешься. Никогда у тебя не было ни одной серьезной мысли. Потому-то ты душой и телом предан подлецам-англичанам.

— Я сам подлец-англичанин. И ты тоже.-- Хильер вздрогнул.— Что это за шум?

— Дождь, обыкновенный дождь. Здесь не моросит английский дождичек, не выглядывает худосочное английское солнышко. Здесь все с размахом.

Дождь колошматил по крыше революционными кулаками.

— Прекрасная погода,— сказал Хильер.— Идеальная для побега.

— Вот, вот... Капиталистические интриги, засады, шпионы, войны. Пистолеты и погони. Накладные бороды. Здесь я занимаюсь покорением космоса, а кому это нужно на Западе? Никому! Пыталась когда-нибудь Англия запустить человека в космос? Так что не смей меня,— закончил Роупер угрюмо.

— Мы не можем себе этого позволить,— крикнул Хильер в ответ.

Дождь сделался просто оглушительным.

— Согласен! — крикнул Роупер. Выглядел он значительно лучше, словно только и ждал дождя.— Но зато вы можете себе позволить состоять в паскудном НАТО, строить баллистические ракеты, засылать шпионов... Вот, читай! — Он пошарил за пазухой и извлек оттуда изогнутую фотокопию какого-то документа.— Как только меня одолевают сомнения, вспоминаются зеленые луга — будь они неладны! — и английские солдаты, нянчащие детишек, и то, что у вас называется законностью, демократией и игрой по правилам; как только я вспоминаю палату общин, Шекспира, собачек королевы,— я перечитываю этот документ. На, прочти, прочти!

— Послушай, Роупер, у нас нет времени.

— Читай, иначе я закричу, и тебя схватят.

— Ты и так кричишь. Сегодня русский дождь работает на меня. Ну, что там у тебя?

— Выдержка из книги Хирна «Страстотерпцы Британии». Я и не слышал никогда об этом исследовании. А у них, в Москве, оно, оказывается, имеется. Читай:

— «Эдварда Роупера привезли на рыночную площадь на телеге,— начал читать Хильер.— Там собралась огромная толпа, в которой было немало детей, приведенных родителями поглазеть на кровавое, огненное зрелище. На Роупере была только рубашка, короткие штаны и рейтузы. При его появлении народ принялся кричать: «Смерть негодяю!», «Богохульник!», «Смерть еретик!», «В огонь его!». Роупер улыбнулся и поклонился, но это было воспринято как издевка и лишь сильнее разожгло

ненависть толпы. Вокруг столба, к которому должны были привязать Роупера, мужчины сваливали хворост; займется он быстро, поскольку последние несколько дней стояла сухая погода. Когда Роупера — по-прежнему улыбающегося — стали подталкивать к столбу, все вдруг услышали его ясный, спокойный голос: «Раз уж мне не суждено уйти от своей судьбы, то я приму ее безо всякого грубого принуждения. Не дотрагивайтесь до меня». Не понукаемый палачами, он твердыми шагами приблизился к столбу, ветви древа Христова. Перед тем как его стали привязывать, Роупер выхватил из-под рубашки алую розу и воскликнул: «Не желаю, чтобы эта эмблема Ее Величества и всей Ее династии * погибла вместе со мной. Я молюсь за то, чтобы ни королеву, ни ее род, ни ее подданных — как бы они ни заблуждались, как бы ни отворачивались от священного света истины — не постигла моя участь». Сказав это, Роупер бросил пышную июньскую розу в толпу. Зрители застыли в замешательстве. Хотя роза и лежала на груди еретика и предателя, но разодрать ее было бы *lèse-majesté*¹. Каждый, стараясь поскорее избавиться от цветка, передавал его соседу, так что он целым и невредимым быстро достиг дальнего конца толпы, где и исчез; говорят, этот символ страстотерпения кто-то засушил между страницами требника, но следы его с течением лет затерялись. Перед тем как бросить горящую головню в хворост, Роупера спросили, не хочет ли он покаяться перед Богом. Он ответил: «Взгляните, как сливается этот огонь с лучами солнца. Грустно, что я его больше не увижу, но я верю: пройдя сквозь испепеляющее пламя, я сольюсь с солнцем, еще более величественным, чем это. И я молюсь за то время, когда, повинувшись Божественной воле, королева и все ее подданные возвратятся к истинной вере, свидетелем которой — грешным, ничтожным, но непоколебимым — я являюсь». В это мгновенье солнце скрылось за тучами, и кое-кто в толпе испуганно принял это за дурное предзнаменование. Но едва солнце опять показалось, глумление и насмешки возобновились. Роупер, привязанный, словно медведь, к столбу, весело воскликнул: «Где же ваш огонь? Если вам суждено будет услышать крики, знайте: то кричит не душа, но тело. Я молю у него прощения, я сострадаю своему бедному телу, как, должно

¹ Оскорблением величества (фр.).

быть, распятый Христос сострадал своему. И да осенит пламя славою истинное свидетельство моей веры. Да благословит вас всех Господь». Он затих в молитве. Вспыхнул хворост, толпа ахнула и разразилась проклятьями, в которых потонул редкий детский плач. Сухой хворост прогорел почти мгновенно, пламя лизнуло поленья и коснулось тела Эдварда Роупера. Послышался отчаянный вопль — это загорелась его одежда, за ней — кожа, за ней — плоть. Вскоре сквозь пламя и клубы дыма люди увидели, как его обезображенная, окруженная огненным нимбом голова безжизненно повисла. К счастью, вскоре все было кончено. На глазах у обливающейся потом толпы — жар шел не только от солнца, но и от костра! — обугленное тело и внутренности (и среди них — огромное сердце) рухнули и зашипели, поджариваясь на углях; на глазах у толпы палач раздробил скелет Роупера. Затем все разошлись, кто — по домам, кто — по делам, и те, чьи крики были громче других, брели теперь в глубоком молчании. Возможно, то были первые всходы мучений страстотерпца, свидетеля истинной веры».

Хильер поднял глаза, все еще находясь под впечатлением прочитанного.

— Ни один русский дождь не погасит этого пламени,— сказал Роупер.

— Его казнили в 1558 году?

— Да, ты это прекрасно знаешь.

Дождь несколько приуныл, и кулаки барабанили по крыше уже не так неистово.

— И, похоже, казнь была летом?

— Да. Это видно из текста — роза, солище, пот. Мерзавцы-англичане, летний день и тот испоганили.

— В таком случае ты законченный кретин! Его казнили не при Елизавете I. Она взошла на трон только в ноябре 1558 года. А твоего предка отправила на смерть Мария Кровавая. Роупер, ты полный идиот! Болван безмозглый, твой предок был протестантом!

— Неправда! Этого не может быть.

Роупер был бледен как полотно, глаз дергался, словно заведенный, и снова началось: ик-ик-ик...

— Ты называешь себя ученым, а у самого не хватило мозгов проверить факты. По-видимому, твои предки перешли в католичество сравнительно недавно, и эта исто-

рия в искаженном, фальсифицированном виде стала семейной легендой. Ну и кретин же ты!

— Врешь! Где... ик-ик-ик... доказательства?

— В любом учебнике. Можешь завтра проверить, разумеется, если твои русские дружки не переписали ради тебя историю. Впрочем, не все ли равно, какая королева его казнила, протестантская или католическая? Все равно она была мерзкой, поганой англичанкой, не так ли? Ты по-прежнему можешь исходить злобой и заправлять ракеты, нацеленные на гадкий, вероломный Запад. Но тем не менее ты кретин и неуч.

— Но... ик-ик, но... ик-ик. Но они утверждают, что католицизм был бы всем хорош, если бы не его религиозное содержание. А протестантство они считают капитализмом. Но не мог же он отдать свою жизнь за капитализм. Что-то здесь не то. Врут твои учебники истории.

— Пойми, Роупер, твои дружки к каждому подбирают ключик. И к тебе нашли — вот и все. Они были уверены, что среди твоих научных изданий не найдется ни одного исторического справочника. Впрочем, для тебя и сейчас ничего не изменилось, не так ли? Ты по-прежнему с ослиным упрямством держишься за свои убеждения.

Икота у Роупера неожиданно исчезла, но тик продолжался.

— При желании ты мог бы сказать, что протестантство было первой из всех великих революций, — произнес Роупер. — Надо будет обдумать это на досуге. В какой-то книге, названия не помню, я читал что-то подобное. Там было написано, что всеобщий мир и бесклассовое общество могут появиться только в результате агонии предшествующей системы.

— Господи, я бы мог наговорить тебе чего угодно — тезис, антитезис, синтез и прочий марксистский бред. Социализм придет на смену капитализму! На смену католицизму он не придет, уверяю тебя. Так что можешь и дальше тянуть свою лямку. Эдвард Роупер по-прежнему остается жертвой исторического процесса, который не удалось остановить даже Марии Тюдор! Ладно, Роупер... Оставайся при своих убеждениях. Только не надо говорить мне об интеллектуальной честности и необходимости учета лишь неопровержимых данных. Привело тебя сюда отнюдь не желание сделать мученика из проклятого — и проклятого — Эдварда Роупера. Он

явился лишь эмоциональным катализатором. А оказался ты здесь из-за процесса, который начался с той немецкой шлюхи. Тебе требовалась вера, но ты не смог обрести ее ни в религии, ни в том, что называл своей страной. Все логично. Вполне разделяю твои чувства. И все-таки, Роупер, тебе придется последовать за мной. Таково мое задание. Последнее, но все же задание. А я всегда гордился тем, что безупречно выполняю задания.

— Браво! — донеслось со стороны двери. Они и не заметили, когда ее приоткрыли.— Я искренне сожалею, но никто ни за кем не последует. Я тоже безупречно выполняю задания.

Хильер хмуро уставился на одетого в белый плащ человека, небрежно, как бы нехотя наставившего на них пистолет с глушителем. Хильеру показалось, что он узнал его, но все-таки уверенности не было.

— Рист? — изумленно проговорил Хильер.

— Мистер Рист, — усмехнулся вошедший.— Я настаиваю на почтительном обращении. Положение стюарда куда значительней, чем вы предполагаете, мистер Хильер.

5

— Я принял вас за человека, который несет нам кофе, — укоризненно сказал Роупер.

— Был такой. Когда несешь кофе, трудно уклониться от удара. Боюсь, я стукнул его чуть сильнее, чем требовалось. Обычно считают, что у русских крепкие черепа, но при этом забывают, что Советский Союз населяют не только русские. Должно быть, среди многонационального советского населения встречаются типы со слабыми черепушками. Как бы то ни было, он заснул — возможно, навеки, кто знает? — в окружении восхитительных роз. Алых роз, мистер Роупер.

Рист улыбнулся.

— Откуда вам известно об алой розе? — спросил Роупер.

— У джентльмена по имени Теодореску — мистер Хильер его неплохо знает — имеется ксерокопия вашей автобиографии. Произведение это не отличается большими литературными достоинствами, однако с фактической точки зрения небезынтересно. Несмотря на страсть мистера Теодореску к коллекционированию фактов, один из них все-таки ускользнул от его внимания: он так и не

узнал, кто я и что делаю на корабле. Прибирая в его каюте, я обнаружил немало интересных вещей. Что же касается вашей автобиографии, мистер Роупер, то я ксерокопировал несколько последних страниц. История мученика с красной розой за пазухой показалась мне весьма трогательной, хотя и не имеющей отношения к моей цели. Целью же было понять причины того, что мне поручено. Меня не устраивает роль бездумного исполнителя. Я всегда хочу знать, почему выбрана именно данная жертва.

— Какая еще автобиография? — спросил Хильер у Роупера.

— Мистер Хильер, я восхищаюсь вами. Любой другой на вашем месте хлопал бы сейчас глазами не в силах произнести ни звука. И точно так же я восхищаюсь мистером Теодореску. Вас обоих не так-то легко вывести из равновесия. Я полагаю, что следует выразить свое восхищение и мистером Роупером — до того, как он растянется среди алых роз. Подобно вам, мистер Хильер, он держится с большим достоинством под дулом моего пистолета. Кстати, о пистолетах. Мистер Хильер, не сочтите за труд — расстегните ваш ремень и бросьте его на пол.

— А что, если я откажусь?

— В таком случае я буду вынужден нанести довольно болезненное, хотя и не смертельное ранение нашему мистеру Роуперу. Думаю, это было бы не совсем справедливо.

Хильер расстегнул ремень, и тот скользнул на пол. Рист подтянул его ногой и, продолжая переводить пистолет с Хильера на Роупера и обратно, быстро нагнулся, вынул «Тигг» из открытой кобуры и положил его в левый карман плаща. Затем дружелюбно улыбнулся и сказал:

— А почему бы нам, собственно, не присесть? Перед тем как выполнить противное сердцу деяние, субъект деяния имеет право хотя бы на минимум комфорта, и таким же правом обладают объекты.

Хильер сел. Рист сел. Роупер и так сидел. Свободной оставалась только одна койка. Хильер внимательно смотрел на Риста. Голос Риста изменился и вполне подходил для его нынешних бесстрастных оборотов, чем-то напоминавших манеру Теодореску. Хильеру подумалось, что в разведчике всегда присутствует нечто педельское. Впрочем, аристократизм, из-за которого сходство

Риста и Теодореску еще более усиливалось, отличает речь далеко не каждого педеля. Галстук воспитанника Харроу выглядел теперь довольно убедительно. Риста вполне можно было представить себе распеваящим гимны вместе со своим однокашником сэром Уинстоном Черчиллем и размышляющим над тем, зачем он, Черчилль, спас Запад. Во рту у Риста виднелись зубы. Хильер подумал, что никогда еще не встречал вставных зубов, выглядевших столь естественно. Помимо того что они были разной величины, слева, возле верхних коренных, чернела дыра, нижний клык был разъеден кариесом, на верхнем резце поблескивала золотая коронка.

— Похоже, я бросал свои деньги на ветер, — сказал Хильер.

— Они вам все равно не понадобятся там, где вы окажетесь. Или вы верите в загробную жизнь? Я нередко обсуждаю эсхатологические проблемы со своими — эвфемистически выражаясь — пациентами. Большинство из них испытывает страх, иначе бы они так не причитали (а ведь причитают, поверьте, почти что все). Но не может же это быть просто страхом перед потерей жизни — ну, еще несколько кусков семги, ну, часок лишний понежиться на солнышке, ну, еще разок шибанет в нос шампанское, ну, можно попробовать засадить еще какой-нибудь красотке (хотя, простите, конечно, но здесь вы, кажется, даже перестарались). Наверное, большинству из нас, занимающихся международными интригами, шпионажем, скарлетпимпернелизмом *, убийствами за деньги, жизнь представляется чем-то более глубоким, нежели чредой незатейливых удовольствий (а это наиболее распространенный взгляд на жизнь).

— Я бы не отказался от кофе, — сказал Роупер.

— Искренне сожалею, что оставил вас без причастия перед путешествием. Было бы несправедливо еще и лишать мистера Хильера наслаждения, которое он испытывает от своих омерзительных бразильских сигар. Закуривайте, мистер Хильер, и еще раз продемонстрируйте отсутствие дрожи в руках. Я так не могу: когда я чувствую, что близится момент истины, меня охватывает трепет.

Хильер с благодарностью затаился. Дождь затих. Хильер ощущал удивительный душевный покой, хотя жалеть ему было о чем (и о ком; главным образом — о Кларе). Если его и убьют, то не сейчас — слишком сла-

достными были эти мгновения, слишком далекими сделались, наконец, все его заботы; тянулись секунды, капал мед его жизни, чудное золото чистого бытия. Он взглянул на Риста чуть ли не с нежностью. Ну, конечно же, что-то произойдет, и все образуется, всегда так было. Сам никогда не умираешь, смерть — удел других, по ней как раз и проходит граница, делающая их «другими».

— Мистер Хильер, не стоит понапрасну уповать на то, что в последнюю минуту вас кто-нибудь спасет, очень прошу вас расстаться с этими обнадеживающими и, если угодно, безнадежными мыслями. Ни один из трех охранников уже никогда никому не поможет. Научная пирушка в отеле в самом разгаре, они сейчас пляшут гопака и обсуждают, не стоит ли пригласить горничных разделить общее веселье. Насколько я понимаю, доктор Роупер, у них действительно есть чему радоваться?

— Крупнейшее открытие, связанное с «Планом Бета», — промямлил Роупер. — Послушайте, у меня есть полное право знать, что здесь происходит. То же самое, — добавил он после некоторого раздумья, — относится и к мистеру Хильеру.

— Вы правы, это право у вас имеется. Я здесь для того, чтобы убить вас обоих. При этом, хочу подчеркнуть это особо, я лично не имею к вам совершенно никаких претензий. Как уже было сказано, я — агент или, если воспользоваться одним из мифов вашей общей религии, ангел. Ангел смерти. Я убиваю людей за деньги, но меня неизменно интересует, почему (шекспировская деталь, специально для вас) выбор пал именно на данного человека. Это меня весьма интригует. Итак, мистер Роупер, ваша смерть — всего лишь довесок к смерти мистера Хильера. Мое основное задание — это убить мистера Хильера. Заплатили мне не в рублях и не в долларах — в фунтах, надежных, хрустящих фунтах. Они и сейчас при мне. И вы не догадываетесь, мистер Хильер, кто мне заплатил?

— Как я могу догадаться?

— Можете, но не желаете. Это открытие было бы для вас слишком чудовищным. Но близится момент истины, и что делать, если для вас, мистер Хильер, она оказалась горькой. Вас предали те, кому вы отдали всего себя, те, ради кого вы терпели, когда вас уродовали, резали, прижигали. Это ваше S, какая жестокость! Уж я-то

знаю, я на Соскиса работал. Весь он в этом! Впрочем, за вас, помнится, неплохо отомстили. У меня стало на одного работодателя меньше. Хотя, как сказать,— свято место пусто не бывает. От Гримольда уже поступали заманчивые предложения. Игра продолжается.

Хильер почувствовал, что его начинает подташнивать.

— Вы хотите сказать, что заявку на мою ликвидацию вы получили от моих же коллег?

— Я лично ничего не получал. Заказ был отправлен в наше агентство, в «Панлету». Прекрасное название, не правда ли? И замечательно подходит для рекламы: «Панлета» поглотит ваших врагов!» Изучив данное дело, я не могу сказать, чтобы желание ваших бывших друзей избавиться от вас свидетельствовало об их глупости или неблагодарности. Я даже думаю, что вам был предоставлен шанс спастись. Разумеется, я прочел письмо, которое передал вам после того, как в Венеции вы взошли на борт «Полиольбиона». Я не стал утруждать себя его расшифровкой, но догадаться о содержании не составляло труда. Они просили прощения за то, что должно случиться. Где-то в Англии крепко спят сейчас несколько джентльменов — сей благородный поступок избавил их от угрызений совести. Вам бы следовало все свое время посвятить расшифровке письма, вы же вместо этого решили, так сказать, кутнуть. Как выясняется, в последний раз. Оказалось, вы были правы, ведь я бы все равно до вас добрался, не здесь, так в другом месте. Вы же напоследок отрезали себе увесистый кусок жизни. И это еще мягко сказано, дьявол меня дери, сэр,— добавил Рист голосом стюарда, после чего снова превратился в выпускника Харроу.

— Так что благодарите судьбу.

— Но я так и не понял причину,— произнес покрытый испариной Хильер.

— А я, кажется, догадался,— сказал Роупер.— Ты слишком много знаешь.

— «Слишком» по сравнению с кем?

— Странно, что вы еще не поняли,— сказал Рист.— По сравнению с человеком, которому могут разрешить выйти в отставку. Мистер Роупер совершенно прав. Мне кажется, что вы уже успели продать Теодореску кое-какую информацию. Я о деньгах, которыми вы пытались

прикрыть свою наготу, — неужели вы считаете, что я поверил в это нелепое пари! Между прочим, щедрые чаевые только подтверждали, что вас мучили угрызения совести. Так что останься вы в живых, непременно продали бы или разболтали еще что-нибудь. То, что вы получили католическое воспитание, всегда работало против вас. Конечно, вы порвали с церковью, но кто поручится, что, выйдя в отставку, вы не вернетесь в ее лоно? Чем не развлечение на старости лет? Как и мистеру Роуперу, прежние идеалы всегда мешали вам до конца принять те, что пришли им на смену. Вы никогда не были полностью патриотом. Добавьте к этому вашу всем известную чувственность — тоже своего рода эрзац веры, — и вы сами поймете, что имелись более чем веские основания для вашей бесшумной и весьма прискорбной ликвидации. Не так ли, мистер Хильер? Поставьте себя на место британских джентльменов, единственной заботой которых — разумеется, когда они не находятся на площадке для гольфа — является обеспечение безопасности страны.

Хильер выглядел скорее заинтригованным, чем испуганным. Он не скрывал своего восхищения стройностью приведенной Ристом системы доводов.

— Но при чем здесь я? — спросил Роупер.

— Я же уже сказал, что ваша жизнь — всего лишь довесок. По вполне понятным причинам было решено, что лучше, если мистер Хильер найдет свое последнее успокоение на советской территории. Вы, мистер Роупер, никогда не рассматривались иначе, чем предлог для того, чтобы послать сюда мистера Хильера. Понимаю, вам больно это слышать. Но не стройте иллюзий: вы совершенно не нужны Англии, меня уверили в этом на самом высоком уровне.

Несмотря на недавние инвективы в адрес страны, казнившей его предка, Роупер с трудом сдерживал свое негодование.

— Я так не считаю, — сказал он.

— И напрасно. Подумайте сами: пик вашей научной деятельности уже позади. Ученые ведь, как поэты, — рано расцветают, рано увядают. Англии требуются молодые ученые. Избитый детективный сюжет о седом гении, которого тайно переправляют через границу, не имеет ничего общего с действительностью. Да и русским вы нужны скорее как символ. Британия гораздо больше оза-

бочена не тем, как заполучить вас обратно, а как бы переманить на Запад Алексеева.

— Алексеева? Этого сосунка?

— Именно сосунки и требуются,— сказал Рист. Последняя фраза в сочетании с бесстрастностью тона прозвучала в его устах так, словно речь шла о жертвоприношении. Сцена приобретала ритуальный характер.— А что касается моральной оценки вашего бегства, то головы предателя Роупера требует лишь ничтожная кучка парламентских крикунов. Если судить вас за измену, то на страницы газет выплеснется слишком много дерьма. Дерьмо же надо зарывать, а не размазывать.

Роупер побагровел.

— Какое еще дерьмо? — спросил Роупер.

— В детали я не вдавался,— ответил Рист,— но в той части автобиографии, которую я прочел...

— Где этот подонок раздобыл ее? — негодуяше воскликнул Роупер.— Этот ваш Тео... как его?

Рист пожал плечами.

— По всей видимости, рядом с вами работает двойной агент. Лаборант, уборщица или еще кто-нибудь. Он продал ксерокопию уже завершенных глав человеку, который продал ее другому человеку, тот продал ее третьему, который, в свою очередь, продал ее мистеру Теодореску. Ведь мистер Теодореску — прорва, втягивающая любую информацию. Что же касается первого машинописного экземпляра или любого из последующих, то они никому не нужны, за исключением разве какого-нибудь литератора. За что еще могут заплатить, так это за рукопись. Впрочем, исследователю побудительных мотивов людских поступков или историку, изучающему генезис предательства, ваша автобиография покажется небезынтересной. Беда в том, что написать ее может любой,— ничего, помимо известного воображения, для этого не требуется. Кстати, ваш рассказ прервался — не от страха ли? — на пороге действительно любопытных признаний. Меня же интересует, затем вы вообще взялись за перо.

— Мне предложили изложить на бумаге некоторые мои мысли,— пробормотал Роупер.— Я решил попробовать, тем более что сам хотел кое-что для себя уяснить. Но вы так и не сказали почему...

— Мне кажется, все совершенно ясно. Видите ли, мистер Роупер, мой клиент...

— Послушайте, мне осточертело ваше идиотское «мистер». Я — доктор Роупер, понятно? Доктор, доктор, доктор!

Это напоминало стоический вопль из классической драмы: «Я все еще герцогня Амальфи!» *.

— Увы, мистер Роупер, вас лишили докторского звания. Об этом было публично объявлено, но насколько я понимаю, вас просто не поставили в известность. Ученый совет вашего университета объявил, что обнаружены доказательства плагиата.

— Это гнусная ложь!

— Возможно. Но национальные интересы требовали представить вас мошенником и шарлатаном. Британская общественность могла спать спокойно — стоит ли обращать внимание на то, что к русским переметнулся какой-то проходимец? «Дейли уоркер» не информировала своих читателей о лишении вас докторского звания, и, разумеется, об этом не сообщалось в «Правде». Неудивительно, что вам ничего не известно.

— Мне тоже, — сказал Хильер. — То, что вы говорите, становится все более подозрительным.

— Как вам будет угодно. Но вы, мистер Хильер, перестали поспевать за быстротекущими событиями задолго до того, как подали рапорт об отставке. Ваше чтение ограничивалось строчками меню и родинками на животах у шлюх. Впрочем, это не столь важно. То, что я скажу сейчас, гораздо важнее. Один из министров кабинета был крайне взволнован, услышав во время званого обеда в Олбани * о том, что вас, мистер Роупер, собираются насильно вернуть домой. О вашей автобиографии он ничего не знал. Из этого я заключил, что он опасался, как бы во время суда не всплыли компрометирующие его факты. Я догадываюсь, чего он боится. Если бы вы не прервали свою автобиографию, я бы сейчас знал наверняка, какую роль в вашей жизни играла эта важная особа. И все же можно не сомневаться, что, коль скоро дело принимало личный оборот, ему требовалось обезопасить себя от вашего возвращения в Англию. Он и раньше прибегал к услугам «Панлеты». Это было связано с организацией отставки предыдущего правительства. Правительственное большинство в парламенте ограничивалось всего двумя голосами; между тем у одного из депутатов от малозначительного избирательного округа пошаливало сердце. Усилиями «Панлеты» у него нача-

лось обострение, и весьма скоро болезнь завершилась безвременной кончиной. Так вот, мистер Роупер, когда вашему недоброжелателю под большим секретом сообщили, что вы вскоре окажетесь в Англии, он снова обратился в «Панлету». Таким образом, оба моих задания никак между собой не связаны и лишь по чистой случайности будут выполнены в одном и том же месте. Агентство «Панлета» дорожит своей репутацией и заботится об удобстве клиентов. К тому же оно берет себе только десять процентов комиссионных, остальное достается исполнителю.

— Значит, вы не собираетесь выполнять второе задание? — повеселев, спросил Роупер.— После того как вы убьете Хильера, он не сможет доставить меня...

Роупер чуть не сказал «домой».

Рист печально покачал головой.

— Нет, так не пойдет.

— Но ведь вам уже заплатили,— сказал Хильер.— Вы сами сказали. Следовательно, можно вообще никого не убивать.

— Я получил только часть денег,— сказал Рист.— К примеру, вы, мистер Хильер, в начале путешествия заплатили мне часть денег и, как я понял, собирались в конце заплатить еще. С моими двумя заданиями — то же самое. Но перед тем как мне выплатят недостающую сумму — причем это в равной степени касается Департамента X и мистера Y,— я должен представить доказательства успешного выполнения задания. Обычно я привожу с собой палец...

— Палец?!

— Да. Чтобы проверили отпечаток. Отпечатки пальцев большинства моих пациентов известны. Разведчики, знаменитые ученые и тому подобное — на всех на них заведены досье. Странно: как только на вас заводится досье, к вам начинают относиться, как к потенциальному преступнику. И угроза такого наказания,— он покачал пистолетом,— висит над каждым. Когда вы докурите сигару, мистер Хильер, ястреб устремится вниз.

— Вы могли бы просто отрезать нам пальцы и посчитать, что ваша миссия выполнена,— бесстрастно сказал Роупер, словно речь шла о дереве, которое следует слегка подрезать.

Рист покачал головой еще более печально, чем прежде.

— Подобно хирургу, я всегда доводил операции до конца. А провел я их немало, поверьте. Нет, джентльмены, существуют понятия профессиональной этики и профессиональной чести. Если когда-нибудь обнаружится, что вы весело разгуливаете по свету — без пальца, но при всем остальном, моей карьере придет конец. К тому же существует Инспектор.

— О, Господи,— простонал Хильер.

— Никто не знает его имени. Не думаю, что кому-нибудь удавалось его видеть, порой я даже сомневаюсь в самом его существовании. Возможно, это просто персонификация Чести. Но верить в его существование довольно удобно. Нет, джентльмены, вы делаете мне достойные предложения.— Он вынул из внутреннего кармана изящную, обитую бархатом шкатулку и приоткрыл крышку.— Новенькая, в первый раз пользуюсь. Видите, внутри углубления для двух пальцев. А в старой помещался только один. К тому же она была такая потертая, что просто неприлично пользоваться. Один из моих коллег, человек, надо сказать, с большими претензиями, пользуется коробочкой из-под сигары, но я нахожу это вульгарным. Шкатулка, которую вы видите, изготовлена специально по моему заказу одним лондонским мастером. Я сказал, что собираюсь хранить в ней ампутированные пальцы, чем его очень рассмешил.

Хильер ничего не мог больше высосать из своей бразильской сигары. В кармане лежало еще пять — жаль, что пропадут.

— Ну что же,— сказал Хильер.

Роупер торопливо грыз ногти, словно не желая, чтобы предмет интереса Риста позорил его, Роупера, пусть даже мертвого.

— Странно,— задумчиво проговорил Рист, снимая оружие с предохранителя. Хильер посмотрел на пистолет: коль скоро интимной близости с ним не избежать, нелишне предварительно хотя бы познакомиться. Это был «Поллок 45». Видно было, что за ним любовно ухаживают. В профессионализме Ристу не откажешь, но у него имелся один существенный недостаток: личный интерес к своим жертвам. Когда-нибудь он поплатится за это жизнью.

— Странно,— повторил Рист.— Через несколько мгновений вы будете удостоены окончательного ответа. Вера в Бога может оказаться несусветной глупостью

или, напротив, полностью подтвердиться. И вашим открытием не смогут воспользоваться ни архиепископ Кентерберийский, ни римский папа. Совершенно секретно! Ящик заперт. Сейф сверхнадежен. Что там — рай Кватроченто или готический ад? Почему бы и нет? Где гарантия, что наш рациональный, асептический мир есть отражение подлинной реальности? Может быть, вечным уделом станет пылающая преисподняя с гадами и гогочущими чертями? В такие моменты я всегда взираю на свои жертвы с благоговением. Им суждено узнать нечто, единственно достойное познания. Не желаете ли вы, джентльмены, прочесть молитву?

— Нет! — отважно воскликнул Роупер. — Я в эти бредни не верю!

— Мистер Хильер?

Хильер старался не думать о Кларе. Пусть в мыслях, но он уже осквернил ее образ. Сквозь туман, клубившийся над бескрайней равниной, мимо Хильера S-образно шествовали его шлюхи и его жертвы, указывающие на него трехпальными руками, безгубые, безносые, с огромными блестящими глазами-светильниками.

— Слова. Не более того, — пробормотал Хильер.

Он чувствовал, что покривил душой. Роупер был лучше него.

— Господи, — прошептал Хильер, — прости меня, принося покаяние во всех совершенных мною мерзостях...

— Бредни! Говно церковное! — воскликнул Роупер, по-видимому, решив, вслед за Китом Марло *, погибнуть с проклятиями на устах. — Рассказни для кретинов!

— ...потому что я заслуживаю Твоего самого страшного наказания, потому что на грехах своих распял я возлюбленного Спасителя Иисуса Христа...

— Чушь! Прекрати молоть вздор! Человек умирает, и на этом все кончается.

— ...а более всего за то, что порочат они Твою безмерную благость. Клянусь, что никогда больше, укрепленный Твоей милостью, не согрешу пред Тобою...

— Гарантирую, что клятва будет исполнена, — изрек Рист.

— ...я не оскорблю Тебя.

В дверь чуть слышно постучали. У Хильера подпрыгнуло сердце. Сказано ведь кем-то (отцом Бериом?): не старайтесь извлечь из молитвы сиюминутную выгоду. Рист присоединился к потоку роуперовских ругательств

(впрочем, без роуперовского энтузиазма), затем сказал:

— Какая обида. Этого я не предвидел.

— Слишком много разговариваете,— сказал Хильер.— В этом ваша беда. Поменьше бы болтали, давно бы уже выполнили задание.

В голосе Хильера звучал неподдельный упрек.

— Третий,— сказал Рист.— Возможно, абсолютно невинный. Жаль. И, кстати, делаю это безвозмездно. Чистая благотворительность.

Продолжая ворчать относительно даровой работы, Рист наставил дуло пистолета на дверь и сказал:

— Войдите.

Дверь открылась. На пороге стоял мальчишка, закутавшийся от морозящего дождя в большой, взрослый пиджак.

— Зуб даю, что это наш паршивец, мистер Всезнай-ка,— проговорил Рист, превратившись на мгновение в стюарда.— Мне искренне жаль, сынок, но ничего не поделаешь. Заходи.— Рист сделал приглашающий жест пистолетом.— Как ты нас отыскал?

Хильер строго посмотрел на Алана. Так, наверное, смотрит учитель на чужого ученика, вбежавшего в его класс.

— По дымку от сигары. Почти незаметному. Я вас потерял по дороге,— сказал он, виновато глядя на Хильера.— Заглянул в отель, но там все в стельку пьяные.

— Умничка,— промурлыкал Рист.— Представляю, как порадуетя твоя мачеха, узнав, что ты больше не будешь путаться под ногами. Может быть, мне даже имеет смысл намекнуть на скромное вознаграждение.

— Надо же, я тоже обдумывал, как бы от нее избавиться. Похоже, эта страна располагает к убийствам. Но потом я решил, что сначала надо заняться главным. Я ведь знал, что вы такой же стюард, как и я.

— Конечно, конечно. Ты ведь у нас все знаешь, правда? Даже позы, предпочитаемые педерастами.

— А что было делать? Я не видел другого выхода. На свете еще остались мерзавцы, один из них — вы. Кстати, у вас были промахи. Вы мне говорили, что во время войны находились в австралийской тюрьме. А минуту спустя разглагольствовали об армии и о том, как, возвратясь из увольнительной, проходили врачебный осмотр. Я сразу понял, что вам нельзя доверять. Вы же за все требовали деньги.

— Сегодня я работаю бесплатно,— сказал Рист.— Вытащи-ка руки из-под своего пиджачка и стань рядом с этой парочкой. Закрой глазки. Прочти свою детскую молитвочку. Ты будешь первым, а потом уже джентльмены. Так сказать, на закуску. Antipasto, как называют это итальянцы. Теодореску бы понравилось. Давай, малыш, мы и так потеряли много времени.

— Нейтрал проклятый! — воскликнул Алан.— Отправляйся туда, где всем вам, нейтралам, место!

Из пиджака вырвалось тусклое пламя, оставив в нем дымящееся отверстие. Что-то хрустнуло, Рист схватился за запястье, из которого хлестнула кровь. Почти со слезами на глазах он смотрел, как пальцы его выпускают пистолет и тот бесшумно падает на койку. Рука Алана вынырнула из-под пиджака, в ней дымился «Айкен» с глушителем.

— Получай! — крикнул он, целясь сквозь дым, отдававший копченым беконом.

Лицо Риста сделалось изумленно-обиженным. Алан целился в нос, но пуля вошла в правый глаз. Глаз выпрыгнул и повис на канатике, что напоминало сюрреалистический кадр *. Какое-то мгновение еще не наполнившаяся кровью глазница зияла пустотой, затем лицо исчезло под кровавым потоком, низвергавшимся на падающее тело. Губы — уже независимо от развороченного мозга — искривились в изумленном вопле. Пальцы левой руки вцепились в край койки, словно крысы, спасающиеся во время кораблекрушения. Тело Риста опускалось грузно, медленно, как будто пытаясь растянуть последние мгновения. Из треснувших брюк послышалось бульканье. Вместо Риста на полу валялся неодушевленный предмет.

— Меня сейчас вырвет,— сказал Алан.— Должно же хоть кого-то вырвать.

Он стал в угол, словно напраказивший мальчуган. Плечи его подпрыгнули — Алан пытался извергнуть из себя весь современный мир.

6

Роупера передернуло.

— Все как и тогда,— сказал он, задумчиво разглядывая валявшиеся на полу остатки портновских стараний и претензий на принадлежность к Харроу. Хильер пони-

мал, что сейчас вспомнилось Роуперу.— Никогда не переведутся желающие превратить мир в мясорубку.

Он говорил не об Алане. На мальчика Роупер поглядывал удивленно и чуть ли не с симпатией.

— Выйди на свежий воздух,— посоветовал Хильер Алану.— Поблагодарить тебя мы еще успеем. Пока что ограничусь простым «спасибо». Выйди, глотни свежего воздуха.

Алан кивнул — улучив момент между бесплодными спазмами — и подошел к двери. Бросив курящийся «Айкен» на койку, он вытер руки, будто касался не орудия убийства, а самого убитого. Алан отворил дверь, и они услышали пьяное пение и звон разбиваемых бокалов.

— Нам нельзя терять ни минуты,— сказал Хильер, когда дверь за Аланом закрылась.

— Нам? Что значит «нам»? Я тут ни при чем.

— Неужели? А кто мне голову морочил? Стратотерпец, розы! — а, оказывается, дело совсем в другом. Что это еще за история с министрами? Ладно, и без тебя все выясню. А пока помоги стянуть с него брюки.

— Значит, он выдавал себя за стюарда? — спросил Роупер, не двигаясь с места.— Поди догадайся... Вот так: тебе приветливо улыбаются, прислуживают, перед тобой расшаркиваются, а на самом деле только и ждут, как бы всадить в тебя пулю. Ик-ик,— это Хильер обиажил левое плечо Риста.— Бррр,— Роупер поморщился,— какого черта... ик-ик-ик... ты это делаешь?

— Я выхожу из игры. Все, кончено. Навсегда.— Он вынул из кармана перочинный нож, глубоко воткнул его в безучастное плечо Риста и вырезал букву S. Затем разжег бразильскую сигару — первую из посмертных! — и блаженно затянулся.

— Не оскверняй труп. *Requiescat in pace*¹. Он уже за все заплатил.

— Не совсем.— Хильер несколько раз глубоко затянулся, пока на кончике сигары не заалел раскаленный уголек.— Не совсем то, что требуется, но сойдет.

К еще не выветрившемуся запаху копченого бекона примешался еще более сильный мясной аромат.

— Да на кой дьявол... ик-ик!..

— Вечером, когда мы окажемся в нашей L-образной каюте, ты сам все поймешь.

¹ Да почиет в мире (лат.) — заключительная формула католической заупокойной молитвы; обычная надгробная надпись.

— Никуда я не поеду. Какого рожна мне ехать! А ты-то, ты-то куда собрался?

Хильер промолчал.

— Да, я не подумал... Как-то не до того было...— Сигара чуть тлела.— Господи, нет... Получается, мы с тобой оба изгнанники.— Он глубоко затаился и стал дирижерски ритмично выпускать дым.

— Нет, я — дома,— сказал Роупер.— Я живу здесь, в Советском Союзе. Почему это я изгнанник?— Он закашлялся от табачного дыма с привкусом жженого мяса.— А вот тебе действительно не позавидуешь.

Хильер взглянул на себя сверху, с деревянного потолка — вот он, в ворованной советской милицейской форме, выжигающий «S» на трупе с обезображенным лицом; его уже поджидают в Саутгемптоне и в лондонском аэропорту — пальчик-то по назначению не прибыл.

— Дом там, где пылятся твои вещи,— проговорил Роупер,— где приходится шарить по ящикам в поисках чего-то нужного, где официант в соседнем кафе здоровается с тобой по имени. И, конечно же, где тебя ждет работа.

— И женщина. Жена или дочь, а то и обе вместе.

— Нет, это я из своей жизни вычеркнул. Я хочу сказать — в том, прежнем смысле. В нашем институте работают симпатичные девчата. Мы иногда устраиваем вечеринки, выпиваем, танцуем. Больше мне ничего не надо.

Хильер закончил прижигание и сдунул обожженные обрезки кожи и волоски. Кряхтя от натуги, он, без помощи со стороны Роупера, с отвращением натянул брюки на Риста и защелкнул подтяжки.

— Плащ пригодится,— сказал Хильер.

— Мало того, что осквернил труп, еще и раздел его. Грязная, однако, у тебя работа, Хильер. Не то что моя.

— Посмотрим-ка...— Хильер вынул из внутреннего кармана Риста туго набитый бумажник. Он подумал, что, в конце концов, имеет на это право. Фунты, его собственные доллары, рубли.— Гляди: рубли,— показал он Роуперу.— Кстати, не надо надеяться, будто дома ты в безопасности. Откуда у тебя уверенность, что Рист не работал на Советы так же, как работал на ублюдков, которых я называл своими друзьями? Ученый-перебежчик застрелен в тот день, когда к причалу пришвартован британский корабль. Последнее время ты читаешь Биб-

лию. Может быть, они почувствовали, что ты собираешься вернуться в лоно церкви.

— Никогда! Какая чушь!

— Кто может поручиться за будущее? Да просто за завтрашний день? Кто, например, ожидал от меня раскаяния!

— Мне, по крайней мере, было за тебя стыдно,— сказал Роупер.

— Может быть, через пару дней и ты замараешь свое строго научное мировоззрение христианскими сантиментами. Или с формулами под мышкой сбежишь из России, чтобы приложиться к туфле римского папы.

— Послушай,— вскипел Роупер,— подозревать можно кого угодно и в чем угодно. Ты понял? Я ничем не отличаюсь от тех алкашей. Да, с этим приходится мириться, но тоже самое происходит повсюду. И твоя паршивая Англия не исключение. Кстати, то, что он говорил,— Роупер кивнул на Риста — обезображенного, изрезанного, обчищенного,— сущая правда. Когда я еще был в Англии, этот ублюдок по-настоящему за мной охотился. Здесь он не врал. Что же касается того, что я слишком стар и лишен диплома, то это, конечно, чушь, но про ублюдка он не врал. А теперь я пойду к себе в номер и хорошенько выплещусь. Наверное, придется принять пару таблеток. Я жив, здоров, и это главное.

— Еще немного, и о тебе можно было бы сказать нечто прямо противоположное.

— О тебе тоже.— Роупер улыбнулся, впервые за весь вечер.— Бедняга Хильер. Ну и попал ты в переплет! На вот, держи, может, пригодится. Всех там сразишь одним ударом.— Роупер достал из внутреннего кармана пачку измятых листов, испещренных синими каракулями.— Глава, над которой я сейчас работаю. Но теперь я уже вряд ли продолжу эту затею с мемуарами. Они свою роль выполнили: пока писал, многое для себя уяснил. Не знаю, куда ты отправишься, но чтением на дороге я тебя обеспечил. Кстати, куда ты все-таки двинешься?

— Сначала в Стамбул, а потом посмотрим. К тому же мне надо там кое с кем увидеться.— Хильер взял рукописи.— Так и норовишь подсунуть мне какое-нибудь чтиво! Я тоже мог бы дать тебе кое-что почитать, я ведь привез для тебя письма. Но все это уже из другой жизни. Ладно, нам надо побыстрее сматываться.

— Здорово, что повидались. Столько лет прошло... Знаешь, при желании ты мог бы...— Роупер замялся,— остаться здесь. Думаю, тебе бы нашли применение.

— Нет, все кончено. Я выхожу из игры. Мне разонравилась новейшая история.

— Есть в ней и кое-что интересное.— Роупер кивнул на потолок.— Скажем, космонавтика. Мы вот-вот доберемся до Луны.

— До этой пустой позеленевшей сырной головки? Скатертью дорога!

Дверь распахнулась, и вбежал Алан, с лицом, напоминавшим Луну в представлении Хильера.

— Там ползает что-то хрипучее! Прямо за мной карабкалось.

Роупер схватил с койки «Айкен».

— Твой друг решил удалиться от дел,— сказал он Алану,— так что теперь моя очередь действовать.

Он смело шагнул в ночь, пропитанную ароматами — нет, не новейшей истории, а не обсохших после дождя цветов.

Хильер взглянул на Алана. Еще недавно бесившее его нахальное отродье сейчас вызывало жалость и даже любовь — ответ другой любви. Может, по-отцовски обнять его, приголубить?

— Я догадываюсь, что там ползает,— сказал Хильер.— Не бойся. Да, втянул я тебя в историю... Наверное, когда садился на корабль в Саутгемптоне, тебе такое и присниться не могло. Я готов извиниться.

— В голове не укладывается... Просто в голове не укладывается...

Хильер помрачнел, представив себе Теодореску, с вожделением разглядывающего мальчика.

— Ты не устоял перед соблазном этого мира.— Хильера передернуло, когда он вообразил, как похотливо сопящая туша Теодореску покрывает хрупкое юное тело.— Должно быть, тебе ужасно хотелось заполучить этот пистолет.

— Клянусь, я не знал, что он ваш. Я просто собирался ее припугнуть.

— В переполненном обеденном зале?

— Нет, я надеялся улучшить момент, когда она останется одна. Все это было так глупо... так глупо...

Алан всхлипнул. Хильер обнял его за плечи.

— Я позабочусь о тебе. Теперь я за вас отвечаю. За обоих.

Снаружи послышался голос Роупера. Приговаривая на своем ломаном русском, он, похоже, кого-то волочил по траве, Хильер поспешил на помощь. Это был недобитый Ристом комитетчик. Его слипшиеся от крови, засохшие волосы напоминали ермолку. К мокрому мундиру прилипло несколько розовых лепестков.

— *Escho odin*,— проговорил Роупер тяжело дыша.

Морщась от боли, ничего не понимающий комитетчик обводил их мутным взором. Челюсть у него отвисла. Он напоминал продавца, незаслуженно обвиненного в обмане покупателя. Что касается лица Риста, то оно еще было наполовину узнаваемо. От этой половины следовало избавиться. Может, поручить Роуперу? Хильеру требовался обезображенный до неузнаваемости человек с выжженным тавром. Комитетчика тянуло на пол.

— Бегите,— сказал Роупер.— Я обо всем позабочусь. Да, Верещагину с Васнецовым теперь не позавидуешь! Тоже мне гэбэшники — пьяны в стельку! Ох, и достанется им за эту бойню! А я вас прикрою. В конце концов, англичанин я или нет? Мы им еще покажем!

— Ну, что я говорил! — воскликнул Хильер.— Передо мною снова старина Роупер.

— Минутная слабость. Кто из нас без греха? Тут на симпозиум один тип приехал, так он утверждает, что москвич не стоит и подметки украинца. Ладно, давайте-ка за дело.

— Я стянул пиджак у человека, спавшего в холле,— сказал Алан.— Не могли бы вы его вернуть?

Роупер взял пиджак и достал из его внутреннего кармана несколько старых мятых конвертов.

— Пиджак Врубеля,— усмехнулся Роупер.— Веселенькая будет история. Но на Врубеля мне плевать.

— Надо успеть на трамвай,— сказал Хильер. Его мундир распирало от паспортов и денег.— Надеюсь, после нашего ухода ты все доделаешь...— Жест Хильера означал *coup de grâce*¹. Роупер, кажется, его понял.

— Будем считать, что этим ты отомстишь и за меня,— добавил Хильер.

Роупер нехотя возвратил Хильеру «Айкен».

— Хорошая штукавина. Но, кажется, ты больше не собираешься ею пользоваться?

¹ Смертельный, добивающий удар (фр.).

— Какой же ты ученый, если полагаешься на то, что тебе кажется? Нет, есть еще одно, последнее, дело. Лично мое.

— Ну что ж, рад был повидаться,— сказал Роупер так, будто Хильер жил где-то рядом и запросто заглянул вечером, чтобы по-соседски разделить возлияния, страхи, угрозы и убийства.— Молодец,— сказал он Алану, словно ребенку, который, тихонько пристроившись в уголке с пирожным и лимонадом, весь вечер никому не мешал, и с улыбкой добавил: — Прощайте.

Хильер и Алан еще не успели спуститься по извилистой тропинке, когда позади раздался еле слышный, приглушенный выстрел. Риста больше не было, был человек с выжженной буквой S. Алан вздрогнул. Хильер, пытаясь улыбнуться, сказал:

— Представь себя героем романа Конрада *. Наверное, он бы написал так: «Боже милостивый! — подумал я.— Что за восхитительное приключение! И я, мальчишка, оказался вдруг в гуще событий!»

— Да,— сказал Алан,— действительно, мальчишка. Но быстро превращающийся во взрослого.

Вперед сверкнула нскрящаяся трамвайная дуга, и сквозь шорох моря и перекаты гальки Хильер услышал знакомый ляг.

— Боже милостивый! — воскликнул Хильер, но вспомнился ему не Конрад, а тот вечер в Браккастере, когда они с Роупером бежали после кино к остановке, боясь, что не успеют на последний трамвай.— Только бы успеть!

Запахавшиеся, они подбежали к остановке и вскочили в отъезжавший трамвай. Однако у Хильера хватило сил застонать, когда он увидел, кто сидит напротив.

— А, снова вы! Наверное, думаете, чего это я ушел так рано с работы. Можете меня подозревать, если хотите, но все знают, что я себя неважно почувствовал. Нечего было мне угрожать! Значит, только и поймали что мальчишку. Конечно, дело нехитрое: притащи ребенка в милицию — сразу расколется.

— Что он там про меня говорит? — испуганно спросил Алан.

— Все нормально, не волнуйся,— ответил Хильер и, повернувшись к русскому, рявкнул: — Molchat!

— Все, что можете сказать, да? Небось пацану-то не скажете molchi, наоборот, заставьте говорить. Ну

и что, про меня ему сказать нечего— я его в первый раз вижу. Надо было по верхам поскрести — директора, мэтра, всю эту банду. Все, молчок, опять разболтался.

Он достал все тот же измятый «Советский спорт» и принялся рассматривать фотографию женской сборной по легкой атлетике. Трамвай выехал на бульвар, и Хильер с Аланом приготовились сходить, повар же проворчал напоследок:

— Samozvanyets!

— Он вас обозвал? — спросил Алан.

— Да, тем же словом, что и ты тогда в баре. Помнишь, когда обнаружил, что я ничего не смыслю в пишущих машинках. Нет, лучше уж быть нейтралом.

— Перестаньте!

— Так, снимаем фуражку, надеваем плащ. Еще немного — и я уже не самозванец!

По влажному асфальту быстро шли в сторону портовых ворот мальчик и мужчина с непокрытой головой, в сапогах и белом плаще. Тишину, которую нарушало лишь воркование матросов и их подружек, внезапно пронзили крики и натужное тарактенье старого мотора. С ними поравнялся (и даже умудрился обогнать) переполненный серый автобус, утопавший в клубах дыма.

— Наши,— сказал Алан, поежившись.— Пожрали, значит. И эта сука с ними.

— Коли так, надо опять пробежаться. Она не должна оказаться на корабле раньше нас.

— Почему?

— Потерпи— увидишь,— выдохнул на бегу Хильер.

Когда они подбежали к воротам, пассажиры с переполненными желудками уже выходили из автобуса. Кто-то сказал: «Предупреждал ведь — не ешь столько инжира», — и подал руку спускавшейся даме (не миссис Уолтерс), которой, судя по цвету лица, было изрядно не по себе. От гогочущих туристов несло водкой.

— Вон она, последняя,— сказал Алан.— И кобель белобрысый тут как тут.

Они вклинились в толпу размахивавших паспортами туристов. Хильер никак не мог отдышаться. Скоро все кончится — лицемерие, коварство, предательства; ему уже виделись сад, погожее, чуть подернутое туманной дымкой осеннее солнце, и он сам — откинувшись в кресле, попыхивает мягкой сигарой. Он полез за паспортом

и нащупал сразу несколько. Ему захотелось вытащить первый попавшийся, чей бы он ни был — бородатого Иннеса, покойного Риста, samozvants'a Джаггера или настоящего, сияющего, выходящего из игры Хильера.

— Ну и отъелись же вы! — воскликнул один из пассажиров и похлопал Хильера по животу, на котором под плащом была спрятана фуражка.

— А какие сапоги! — восхитился другой. — Где добыли? Смотри, Алиса, настоящая хромовая кожа.

Все, даже стоявший у ворот пограничник, уставились на сапоги Хильера. Окружающие расступились, чтобы получше рассмотреть экзотический сувенир.

— Не нахожу в них ничего особенного, — сказала дама с болезненным цветом лица.

Хильер юркнул в ворота и показал свой паспорт. Пограничник угрюмо сличил реальность с ее отражением, нехотя кивнул и позволил Хильеру пройти. Они с Аланом немедленно втиснулись в рыгающую толпу, но вынуждены были подчиниться ее неторопливому продвижению в сторону корабля. Им не терпелось поскорее подняться на корабль — подсвеченный, сияющий чистотой, безопасный. Англия! Но Англия теперь уже небезопасна... Дородные мужчины и женщины, отдуваясь, втаскивали по сходням свои плотно набитые черноморской жратвой животы. А где же Клара, почему не встречает, не радуется, что все, наконец, позади? Столпившиеся вдоль борта пассажиры приветственно махали им руками, но Хильер уткнулся носом в карабкающуюся перед ним жирную спину, словно в благоухающую розу.

— Хорошо отдохнули, сэръ? — услышал он, добравшись до конца сходней. Это был напарник Риста. — Еще раз спасибо за пиво.

— Встретимся в каюте Клары, — бросил Хильер Алану и кинулся к ближайшему трапу, ведущему на верхнюю палубу. Пустой корабль, встретивший его гулким эхом, вскоре наполнится толпой, жаждущей получить поскорее что-нибудь посуше, поохлажденнее, поразбавленнее, чем дары Ярылыка. Он ринулся по мягко подсвеченным и асептически благоухающим коридорам. Вот, наконец, и его коридор. А вот и каюта миссис Уолтерс. На почти не смятой простыне безмятежно храпел С. Р. Полоцкий, тридцати девяти лет, уроженец Керчи, женат, ублюдок. Хильер скинул плащ Риста и перед тем, как снять мундир и снова оказаться в своих брюках и рубашке, выта-

шил из карманов все, что было его собственным или могло теперь по праву таковым считаться, аккуратно повесил мундир С. Р. Полоцкого на стоявший у койки стул и поставил в ногах сапоги. Так, опять надеваем плащ, набиваем карманы и — быстро к себе. Он осторожно приоткрыл дверь в свою каюту — опасностью не пахнет, зато запах духов, слишком взрослых для юной Клары, еще не выветрился. Он плеснул в стакан остатки «Олд морталити» и осушил его до дна. Жаль, что уже больше не позвать услужливого, хотя и алчного стюарда Риста. Хильер вздрогнул: как легко он низвел живое человеческое существо до его корабельной функции. Это и называется быть нейтралом, то есть скорее машиной, чем кукольными подмостками, где происходит борьба со злом или с добром? Он надел невесомый костюм и тщательно повязал галстук. Хильер собирався к Кларе. Учащенно билось сердце. Уже не от страха.

Но все-таки, взявшись за ручку ее двери, он со страхом прислушался: какие-то странные, нечеловеческие завывания, похожие на судорожные рыдания автомата, встречающего хихикающих бездельников у входа в неприязнительную «комнату ужасов». Хильер вошел. На койке лежал всхлипывающий Алан. Примостившаяся рядом Клара (волосы спутаны, глаза печальны) утешала брата:

— Ну перестань, перестань, малыш... Все обойдется.

Она бросила на Хильера злобно-отрешенный взгляд и воскликнула:

— Это все из-за вас. Я вас ненавижу.

Она накинулась на Хильера со своими крошечными кулачками, со своими не по возрасту яркими ноготками — чем не сцена ярости из школьного спектакля! И Хильер мог бы разрыдаться, и Хильер мог бы излить из себя весь скопившийся на душе ужас. Он, однако, схватил ее за руки и сказал:

— Каждый должен пройти через крещение. Вы оба проделали это герончески.

Из коридора донесся вопль, столь пронзительный, что Алану оставалось только позавидовать. Женский, грудной, неистовый. Заплаканный Алан испуганно затих, забыв закрыть рот. Все трое молча вслушивались. Бедняга С. Р. Полоцкий, ублюдок. Вскоре на фоне женских криков послышались мужские голоса, два из них звучали официально и корабельно.

— Ну и трус,— сказала Клара, прислушиваясь к протестующим крикам С. Р. Полоцкого, которого, по-видимому, выставляли из каюты. Кулачки ее разжались.

— Давайте закатим грандиозный ужин, у меня в каюте,— предложил Хильбер,— Я сейчас позову... Тьфу, чуть не сказал...

— Наверное, лучше о нем не скажешь,— проговорил Алан.— Некто, которого никто никогда не позовет.

7

Из мемуаров Роупера¹

Сложность заключалась в том, что Люси хотелось чувствовать себя хозяйкой. Ей требовался статус жены, но жена у меня уже была — где бы она ни находилась, — и еще одну я заводить не собирался. Мне нравилось, что Люси время от времени делала уборку, стирала, угощала меня чем-нибудь необычным. Ее экзотические блюда являли собой, как правило, нечто обернутое в виноградные листья, лозу и тому подобное. К сожалению, те полуделовые вечеринки у меня дома (на что он мне теперь?) прекратились, и Люси уже не была всего лишь одной из работающих над статьей о положении науки в обществе. Иногда после службы я пытался улизнуть от Люси, утверждая, что договорился с кем-то встретиться в городе, но она сразу начинала допытываться, с кем именно. Я не знал, что ответить, поскольку круг моих лондонских знакомых почти целиком состоял из наших общих коллег. Все, чего мне хотелось, это где-нибудь тихо перекусить и затем, если будет настроение, сходить в кино — но непременно одному.

Однако иногда я брал работу на дом, и тогда она заявляла, что не позволит мне тратить время на приготовление ужина и поэтому пойдет ко мне и все приготовит, а потом просто тихонечко посидит с книжкой. Я чувство-

¹ Клара и Алан немного успокоились, но перед сном я дал им по паре таблеток снотворного. «Полиолибион» держит курс на Стамбул. Я послал радиogramму по адресу, оставленному Т.: улица Джумхуриет, 15. По моему вызову прибежал новый стюард. Он сообщил, что Рист почему-то не возвратился на корабль. Передо мной сейчас роуперовские листки, исписанные ярко-синими, неразборчивыми каракулями; рядом полная бутылка «Олд морталити». Ну что ж, Роупер, послушаем, что ты скажешь.

вал, что надо быть настороже, не то очень скоро окажусь с ней в постели, а это было мне совершенно ни к чему. По крайней мере, с Люси. Почему? Да, несмотря на худобу, она была весьма привлекательна, однако я привык к иному типу женщин, допускаю даже, что к худшему. Но я постоянно твердил себе: не вина Бригитты в том, что она такая. Не будь рядом другой женщины, мне не пришлось бы постоянно, по контрасту, вспоминать Бригитту. Кое-что от нее в доме еще осталось, я говорю о фотографиях, но, если бы не Люси, мне не пришлось бы искать утешения в этих напоминаниях о более счастливых временах: Бригитта, словно Лорелея*, сидит на прибрежном валуне, Бригитта в пикантно-декольтированном вечернем платье, скромница Бригитта в обыкновенном платьице. Иногда я брал ее фотографии в постель¹.

Сложности начались с того дня, когда я позвонил в лабораторию и предупредил, что не приду на работу: у меня заболел живот, и я решил отлежаться с грелкой. Думаю, это была желудочная форма гриппа. Я понимал: того, что должно произойти вечером, мне не избежать, но я чувствовал себя слишком плохо, чтобы думать еще и об этом. Словом, она появилась около пяти (отпросилась пораньше с работы, представляю, как там перемигивались и понимающе кивали) и, как обычно, сразу окунулась в свою стихию: принялась флоренснэйтинговничать по дому, почему-то не снимая белого лабораторного халата. Дала мне молока с содой, две грелки (одной из них пользовалась Бригитта, которая ухитрилась отомстить мне даже на расстоянии: грелка потекла и пришлось ее убрать), «отерла бледное чело». Сказала, что не может оставить меня ночью одного, к тому же все равно зашла бы утром проведать, поэтому остается у меня, в гостевой комнате. Я, разумеется, был ей благодарен, но понимал: расплаты избежать не удастся.

Она наступила три дня спустя. Я чувствовал себя значительно лучше и подумывал, что пора бы уже подниматься. Люси была против, она сказала, что если я буду себя прилично чувствовать, когда она придет с работы, то, возможно, мне будет разрешено встать с постели. Дело было в конце ноября, день выдался холодным, и Люси возвратилась совершенно продрогшая. Наверное,

¹ *Роупер! Ты не делал этого даже в колледже!*

мне не следовало предлагать грелку, но я сказал, что мне она уже ни к чему, и предупредил Люси, чтобы не взяла по ошибке ту, что течет. Но именно ее она и взяла (по ошибке ли? — сомневаюсь) и ночью пришла ко мне в комнату, заявив, что не может уснуть в мокрой постели. Так мы и легли. Рядышком, она — тут, я — тут, словно на шезлонгах, зажатые другими, загорающими на палубе. Вскоре она пожаловалась, что никак не может согреться, и придвинулась ближе. Я сказал, что она рискует заразиться. Она ответила, что есть вещи поважнее. Все началось еще до того, как я успел понять, что происходит. Я хорошенько пропотел, что, как полагаю, приближало окончательное выздоровление. А потел я долго, поскольку, как ни старался, никак не мог достигнуть желаемого результата. Я чувствовал себя актером на сцене. Свет уличного фонаря падал на мою школьную фотографию, я смутно различал отца Берна, Хильера, Перейру и всех прочих. Думаю, через час представление стало их утомлять. По крайней мере, моя роль. Ей-то все это нравилось, она безостановочно подвывала «о-о-милый-о-я-не-подозревала-что-такое-возможно-не-останавливайся». Она была в восторге, но я ощущал себя лишним. Я пытался вообразить на месте Люси кого-то другого: пышногрудую, пахнущую кухней и ушной серой секретаршу, всегда приходившую в одном и том же черном свитере; левицу-мулатку, выступавшую по телевизору в платье с таким вырезом, что оператор без труда создавал впечатление полной наготы; толстозадую кассиршу из соседнего супермаркета. Я старательно пытался не думать о Бригитте, но не выдержал и — сработало. Наконец-то! Она громко вскрикнула, потом спросила: милый, тебе было так же хорошо, как и мне?

В какой-то книжке о сексе сказано, что тягчайший грех, который может совершить мужчина в отношении женщины, — это заниматься любовью, представляя на ее месте другую. Странно. Кто, кроме тебя самого, может знать об этом? Разумеется, если не впутывать в это дело Бога. О чем действительно следовало сказать, так это о реально существующей опасности спутать имена, назвать имя другой, воображаемой. Но с Люси я этого не боялся. Она мне даже сочувствовала: бедный мой, представляю, как ты ее любил, как тебе было больно. И добавляла: ничего, когда мы будем по-настоящему вместе, ты поймешь, что такого счастья она тебе дать не могла.

И я никогда тебя не брошу (Люси имела в виду «когда мы поженимся»). Ведь мы и так уже почти женаты, правда, милый? Конечно, я еще не миссис Роупер, но... у нее даже обручальное кольцо имелось (досталось от покойной матери, так она утверждала), и она собиралась носить его в качестве стимулятора в постели, по-видимому полагая, что замужние женщины носят его именно с этой целью.

Но потеснить Бригитту ей не удалось. Наоборот, из-за Люси я вспоминал Бригитту все чаще. Каждую ночь Люси же постепенно перенесла ко мне всю свою одежду и прочее барахло. Вскоре она и вовсе переехала. Но ведь я ни разу не просил ее селиться у меня или делить со мной постель, правда? Она сделала это по своей воле. Однако не мог же я ее выгнать! Как-то раз она сказала, что в Институте ходят всякие разговоры и пора бы мне подумать о разводе. Я ушел и напился. К этому времени я вообще-то бросил пить. Когда Бригитта меня оставила, я стал понемногу прикладываться к бутылке, но Люси это быстро прекратила. На наших вечеринках всем подавалось пиво, мне же — лимонад. Так что для Люси было большой неожиданностью, когда, после закрытия последней пивной, покачиваясь и воняя пивом (пять по поллитра) и виски (пять двойных шотландского и две ирландского — в память об отце Берне), я притащился домой. Почему я вспомнил отца Берна? Возможно, из-за «дьявольской похоти». Возможно, из-за тоски по дому, которого, в сущности, не было¹. Как бы то ни было, когда я, натыкаясь на вещи, ввалился в прихожую, Люси была потрясена. Я вмазался в столик, на котором стояла коричневая фруктовая ваза. В ней вместо фруктов приютился голубой фарфоровый кот. Столик я перевернул, и котикова голова покатила по полу. Люси разрыдалась и запричитала, что котик достался ей от матери. На что я сказал, что никто не просил тащить его в мой дом, более того, ее тоже никто не приглашал в мой дом, и Люси заголосила еще громче. Она не заявила, что немедленно собирает вещи и уходит, нет, она лишь сказала, что будет лучше, если я лягу сегодня в гостевой комнате, и что завтра, она надеется, меня ждет жуткое похмелье. Так и оказалось.

¹ Эх, Роупер, все плачешься, балбес sentimentalный! Помяни мои слова, ты еще возвратишься в лоно церкви.

Отныне я старался не проводить вечера дома. Проклятье! В конце концов это мой дом (или по крайней мере, обиталище), мне за него еще платить и платить! Но выгнать Люси я тоже не мог, поскольку (так она считала) воспользовался ею и позволил возлагать на себя определенные надежды, до сих пор, кстати, не осуществившиеся. Вдобавок регулярно совершаемый мною в постели тягчайший грех, на который только способен мужчина, рождал во мне — несмотря на очевидную абсурдность подобных рассуждений — чувство вины в отношении Люси. Для меня она сделалась чем-то вроде поджарой Бригитты, впрочем, моим оправданием могло бы служить то, что инициатором наших ночных бдений неизменно являлась Люси. Поэтому, имея все основания обвинять Люси во вторжении, выгнать ее я не мог. Но жениться на ней — нет уж! У меня была жена. И каждый вечер я отправлялся на ее поиски.

Начал я с Сохо. К этому времени уже действовал закон, запрещающий проституткам открыто флаанировать по центральным улицам с собачками на поводке или прогуливаться с расстегнутой сумочкой, поджидая, пока какой-нибудь мужчина, заметив это, подойдет ближе. И хотя законы эти выполнялись не слишком строго, проститутток стало значительно меньше. Не сравнить с тем, сколько их было во время войны, когда общество прислушивалось к предпринятым либералами социологическим исследованиям, из коих следовало, что никакой другой работы эти несчастные найти не сумели. Теперь женщины, как правило, приманивали клиентов из парадных и окон или, неожиданно появляясь из темноты, спрашивали: «Красавчик, по-быстрому хочешь?» Я прочесал весь Сохо — Фрит-стрит, Грик-стрит, Уорддор-стрит, Олд Комптон-стрит, Дин-стрит, — но Бригитты нигде не было. На какие только объявления не наткнулся я в полутемных книжных магазинах и табачных лавках: «Фифи тебя облагородит (кожа высшего качества)», «Ивонна. Позирую для художников и фотографов (40, 24, 38)», «Испанская специалистка по анальному спринцеванию». Ничего, что могло бы навести на след Бригитты (скажем, «Фройляйн демонстрирует немецкие новинки»), не попадалось. Как-то в пивной мне встретился человек, у которого имелся «Дамский справочник», брошюра со всеми телефонами и фотографиями, но и в ней следов Бригитты не обнаружилось. Я даже зашел в полицей-

ский участок и сказал, что разыскиваю жену-немку, которая по неискушенности могла позволить втянуть себя в пьянство и проституцию, однако к моим словам отнеслись с большим недоверием¹.

Как обычно и бывает, я отыскал Бригитту совершенно случайно. Однажды вечером я отправился в кинотеатр на Бейкер-стрит (даже не поинтересовавшись, что там идет, настолько мне все обрыдло), а после зашел пропустить стаканчик виски в бар на Бландфорд-стрит. Спустя некоторое время туда зашла женщина — хорошо одетая, хорошо покрашенная, с хорошим выговором. Она источала искусственный аромат розовых садов², в голосе у нее была хрипотца, как у Марлен Дитрих. Фред, бутылку джина и сорок сигарет, сказала она хозяину. Сию секунду, душечка, отозвался тот почему-то по-ирландски. Она зашелестела пятифунтовыми банкнотами, которыми была набита ее сумочка. Я недоумевал по поводу ответа хозяина, и вдруг до меня дошло: для английского уха акцент Бригитты звучит как ирландский. Я смотрел на нее в упор, но узнала она меня не сразу (или долго делала вид, что не узнает). Ничего, теперь-то она от меня не уйдет! Бригитта быстро направилась к дверям, я бросился следом. Оставь меня, иначе я позову полицию, сказала она. Нашла чем угрожать! Я ответил: боюсь, в полицию ты обратишься в последнюю очередь. К тому же, насколько мне известно, не существует закона, запрещающего мужу разговаривать с собственной женой. Она сказала, чтобы я выкинул это из головы и поскорее дал ей развод; я ответил, что теперь, узнав ее адрес (она смирилась с тем, что я следовал за ней до дома), я мог бы это сделать, в противном случае пришлось бы ждать, когда пройдут три года с того дня, как мы разъехались, однако, добавил я, как только мы разведемся, ее немедленно вышлют из страны как нежелательную, ненатурализованную иностранку. Не вышлют, бросила она сухо.

Войдя в квартиру, я понял, что деньги у Бригитты имеются. Центральное отопление, в углу бар с вращающимися стульями, подушечки, на стенах эротические картинки (видно, что нацистских времен). На кухне гудел

¹ А по-твоему, они должны были оставить все дела и броситься на поиски Бригитты?

² Роупер, откуда этот вычурный стиль!

холодильник, из открытой ванны доносились ароматы шампуней, в спальне царил полумрак, виднелась большая кровать с наброшенным на нее шелковым покрывалом. Выпьешь? — спросила она. Сегодня я выходная и собираюсь пораньше лечь. Так что нет, выкладывай, что тебе надо, и ступай.

Наверное, она думала, что я хочу спросить, куда подевался запасной ключ от входной двери нашего дома. При мысли о нашем доме я почувствовал, что к глазам подкатывают слезы. Я хочу тебя, сказал я. Возьми мой телефон, можешь иногда пользоваться, ответила она. Нет! Нет! Я хочу, чтобы ты вернулась! Она улыбнулась: Warum? ¹ Одного этого немецкого слова, неожиданно прозвучавшего на фоне ее прекрасного английского, хватило, чтобы окунуть меня в прошлое. Я расплакался. Перестань, сказала она. Прошлого не вернешь. Я хочу жить так, как живу. Я не хочу ходить по магазинам и домохозяйничать. У меня появились влиятельные друзья. Я стала леди. Ты стала шлюхой, сказал я (на обоих языках это слово звучит почти одинаково ²). Поняла? Проституткой. Это не одно и то же, сказала она. Когда же ты повзрослеешь и трезво взглянешь на мир! — добавила Бригитта. Кроме того, сказал я, у меня имеются определенные супружеские права. Я требую их уважения. Грязная свинья! — воскликнула она. Такой мерзости мне еще никто не говорил! Выметайся отсюда! (Она окатила меня ушатом немецких ругательств.) Если тебе нужна баба, сказала она, так их по Лондону тысячи болтаются. Некоторые даже, несмотря на запрет, прогуливаются с собачками. А ко мне не приставай. Никогда не приставай! Никогда! Я чувствовал себя оплеванным, но злобы к Бригитте не испытывал. К тому же я предвкушал, как ночью овладею Бригиттой, а она об этом даже не узнает. И все-таки меня бесило, что с нею может переспать любой мужчина, кроме меня — мужа. Я старался сохранять внешнее спокойствие и учтивость, хотя внутри все клокотало. Заметив на диване ее расстегнутую сумочку, я сказал: дай выпить, и я уйду. Чего-нибудь похолоднее. Может, в холодильнике найдется пиво. Когда-то у нас всегда было пиво в холодильнике. Хорошо, сказала она, пойдй налей себе и убирайся. Брм-

¹ Зачем? (нем.)

² Whore (англ.), Нуре (нем.).

гитта, сказал я, мне хочется получить его из твоих рук, в память о нашем прошлом, не отказывай мне в этом. Пожалуйста. Больше я ничего не прошу. Она пожала плечами, сказала «ладно» и отправилась на кухню. Я знал, что ключи у нее в сумочке. Переложить их в карман не составило труда. Я залпом выпил принесенное Бригиттой пиво. Как свинья пьешь! И ешь так же, сказала она. Я только усмехнулся. Прощальный поцелуй? В память о прошлом. Но она не позволила мне — мужу! — даже этого. Уходя, я сказал: Прощай, моя милая Бригитта. Береги себя. Кажется, ее удивила легкость, с которой удалось меня выпроводить. Я вышел на улицу и не сводил глаз с окон гостиной, пока они не погасли. Затем я отправился домой. На столе меня ждал прекрасный горячий ужин.

Отныне каждый вечер я проделывал одно и то же: прогуливаясь по ее улице, я наблюдал за теми, кто к ней заходил. Судя по автомобилям, клиенты у нее были не бедные. Однажды я вызвал подозрение у полнцейского, но, к счастью, сразу нашелся: все в порядке, приятель; такая уж работа у частного детектива, ничего не поделаешь. Удостоверение он у меня попросить не догадался. Удовольствие, которое я испытывал, следовало бы классифицировать как мазохистское. Раньше мне казалось, что такое невозможно, но теперь я убедился в обратном. На голове я чувствовал не шекспировские рога *, а терновые колючки ¹. Но зайти я все никак не решался. Так проходили недели. Люси я сказал, что собираю доказательства для начала бракоразводного процесса, и это наполняло меня ощущением праведника, подвергающего себя утонченным истязаниям. Когда я возвращался домой, она приговаривала: бедняжка, выпей перед сном чего-нибудь горяченького.

Однажды, как обычно прогуливаясь под ее окнами, я увидел, что к дому подъехала скромная машина, из которой, воровато озираясь, выскочил какой-то человек и быстро взлетел по лестнице. Вскоре его профиль показался в освещенном окне гостиной. Где-то я видел это лицо, но где? Какая-то знаменитость. Политик? Актер? Проповедник? Может, телекомментатор? Да-да, это уже ближе... Я вспомнил, как однажды мы с Люси сидели перед телевизором и ели с колен горячий суп (я хочу ска-

¹ Нет, Роупер, нет! НЕТИ

зять из тарелок, поставленных на колени), заедая хрустящими хлебцами, а этот тип проникновенно вещал с телеэкрана. Что-то связанное одновременно с политикой и телевидением. Агитировал, что ли, за кого-то? Часа через полтора я увидел, как он спускается, пряча за пазуху бумажник. Выглядел он так же воровато, но уже с оттенком самодовольства. Было как раз время окончания вечерних спектаклей, и по улице в сторону Бейкер-стрит спешили такси. Незнакомец еще не сел в свою машину, а я уже остановил такси. Шофер спросил: куда, дружище? (или «куда, приятель?»), и я, стараясь не улыбнуться, сказал: следуйте за той машиной. Она сейчас поедет. Какого хрена тогда она стоит, пусть трогается! Потом добавил: серьезно, что ли, приятель? (или дружище). Ты, наверно, телик много смотришь. Тем не менее он сделал все, как я просил. Следовать за машиной незнакомца оказалось не просто: между нами постоянно кто-нибудь вклинивался, но в итоге мы оказались где-то неподалеку от Марбл-Арч, и его машина затормозила у большого многоквартирного дома. Не привлекая к себе внимания, мы остановились на противоположной стороне улицы. Приехали. Что сидите? Догоняйте! И поменьше крови, ладно? Я расплатился, и таксист уехал. Выждав некоторое время, я подошел к подъезду, в котором скрылся незнакомец. Как я и предполагал, в холле меня встретил швейцар. Простите, сказал я, это не мистер Барнаби только что зашел? Он подозрительно взглянул на меня и спросил: а вам-то что за дело, приятель? (Вокруг одни «приятели» — пародия на дружелюбие в государстве натужного равенства¹.) Я вам не приятель, мое имя доктор Роупер. Простите, доктор, сказал швейцар. Нет, это был не Барни — или как вы сказали? — а мистер Корнпит-Феррерз² собственной персоной. Настоящий джентльмен. Швейцар пропел дифирамбы восхитительным речам, с которыми тот выступает по телевизору и в палате общин (впрочем, откуда ему, навряд ли посещающему галерею для публики, это знать?). Не преминул он вспомнить и о его щедрости, о неизменной готовности расплатиться полукроной за малейшую услугу. Вот сейчас, к примеру, попросил меня

¹ Роупер, из какой претенциозной телепостановки ты это позаимствовал?

² А, сэр Арнольд Корнпит-Феррерз, Роупер, дело, кажется, проясняется.

поставить в гараж машину его жены. Он на ней только что приехал, хотя обычно разъезжает на собственном роскошном «бентли». Дав на чай — то ли полкроны, то ли десять шиллингов, — я спросил: так, значит, он женат? Спасибо, сэр. Сэр доктор. Да, у него чудесная жена. И трое детишек, чудесных детишек. Кобель блудливый. Но по крайней мере теперь стало ясно, как мне вернуть Бригитту. В следующий раз я предстану перед ними — так же, как сделал это когда-то с мордоворотом Вурцелем. Впрочем, не совсем так — тогда я поступил не по-мужски и прибегнул к помощи Хильера.

Всю следующую неделю я караулил его у дома Бригитты, но он ни разу не появился, вероятно, допоздна засиживаясь в палате общин. Зато как-то вечером у дома остановилась чья-то машина, и из нее вылез человек, как две капли воды похожий на другого мерзавца — «Западно-германского дьявола». Он гаркнул водителю что-то иднотское, вроде *Kerl*¹, на что тот, перед тем как отъехать, ответил чем-то вроде *Sei gut*². На этот раз, выждав приличное — слово, впрочем, вряд ли здесь уместное — время, я решил подняться. Я весь горел: прошлое возвращалось — первой червоточинной в яблоке. Добравшись до ее двери, я остановился и, стараясь не шуметь, перевел дыхание. Вдруг я услышал, что они что-то деловито обсуждают по-немецки. Это меня удивило. Я, конечно, предполагал услышать нечто другое, серьезный разговор можно было отложить до встречи совсем иного рода. Я прислушался. Несколько раз до меня донеслось название «Эберсвальде». Эберсвальде? Это же в Восточной Германии. Бригитта пару раз говорнула мне о каком-то противном, ненавистном ей родственнике, жившем в Эберсвальде. Несмотря на все свои старания, я мало что понял из их разговора. Быстрая немецкая речь была мне не по зубам, хоть я и состоял в браке с женщиной, которая в минуты страсти и крайнего раздражения переходила на немецкий. Мне почудилось, что Бригитта тихонько всхлипнула. Неужели эберсвальдский родственник и впрямь такой противный? А может, там появился новый родственник — отнюдь не противный? Единственное другое слово, которое я явственно различал, было еще одно имя собственное — Мария. Они повторили его

¹ Душа-человек (нем.).

² Всего хорошего (нем.).

несколько раз. Бригитта, помнится, рассказывала мне о своей племяннице Марии (совсем не противной). И тут она громко воскликнула: но я ничего не знаю! Не успела еще! На что мужской голос тихо возразил: значит, узнаешь. Все узнаешь, если постарайся. Потом добавил: Ich gehe¹. Он еще не открыл дверь, как я был внизу и пропустил по улице, стараясь отойти подальше от дома.

Что это значило? Непонятно. Возможно, ничего особенного. Но в меня, как и в остальных моих сограждан, крепко вбили понятие «национальная безопасность», и я не мог отогнать от себя мысль, что в нашем свободном Лондоне немецкая проститутка (ужас! — так назвать Бригитту), имеющая родственников в Восточной Германии, представляет собой прекрасный объект для предложений и угроз Другой Стороны. Не то чтобы меня это слишком беспокоило. Ведь мы, ученые социалистической ориентации, как раз работали над благородным проектом международного научного сотрудничества и рассматривали все научные исследования как единое целое, полагая, что все ответы на все вопросы должны быть доступны всем. Войну следовало поставить вне закона, и мы составляли авангард тех, кто за это боролся, поскольку сознавали огромную ответственность ученого, наделенного устрашающим могуществом.

С помощью справочника «Кто есть кто» я обнаружил, что мистер Корнпит-Феррерз является министром без портфеля. Точнее, являлся им три правительства назад. Его нынешний пост я не знал и знать не желал. Он принадлежал — и, возможно, принадлежит до сих пор — к тем, кто пользуется большим уважением, причем не только со стороны своего швейцара, заседает в Комиссиях и Комитетах, включая и тот, который что-то там решал по поводу религиозных телепрограмм для подростков. Лицемер. Но как бы то ни было, скоро я перед ними предстану — день Противостояния надвигался. И все-таки мне пришлось прождать еще три недели, на протяжении которых Бригитта, несчастная испорченная девочка, приняла немало посетителей, и все они были одеты с иголочки. В ту ночь, когда это произошло, лил дождь, и я уже собрался уходить. Но тут к дому подкатила столь памятная мне машина, из которой выглянуло столь памятное мне лицо (теперь уже не анонимное!)

¹ Я пошел (нем.).

и настороженно, как и в прошлый раз, оглядело мокрую улицу. Корнпит-Феррерз вошел, я последовал за ним пятью минутами позже. Сердце колотилось как бешеное, я с трудом дышал и не был уверен, что смогу говорить. Решительно повернув ключ в замке, я переступил порожек. Гостиная оказалась пустой, зато я услышал, как в спальне возятся на шуршащих простынях и с отвратительным наслаждением посапывают. Оказалось, я могу говорить, могу даже кричать. Ну-ка, вы оба, вылезайте оттуда! — гаркнул я. Ублюдки похотливые. Одновременно я проверил содержимое внутреннего кармана, на всякий случай желая убедиться, на месте ли все, что я взял с собой. Наступила напряженная тишина, потом послышалось перешептывание, но тут я снова крикнул: политикан двуличный, выходи! Выходи и ты, которую у меня язык не поворачивается назвать женой. Они показались в дверях. Она запахивала пеньюар, он — уже в брюках и рубашке — приглаживал волосы. А я-то гадала, куда подевался второй ключ, сказала она. Так, давай выкладывай быстро, что тебе надо. Ему надо, чтобы его хорошим пинком под задницу спустили с лестницы, сказал Корнпит-Феррерз. Кто он такой? Твой сутенер? Мне, между прочим, никогда не приходило в голову, что и такой человек, точнее недочеловек, может быть в окружении Бригитты. Меня слегка повело, и одновременно я почувствовал прилив злобы и обиды. Мистер Корнпит-Феррерз, я муж этой женщины, сказал я. Ах, даже имя мое известно? — сказал он. Прискорбно. Привлечем его за нарушение неприкосновенности жилища, добавил он, обращаясь к Бригитте. Звони в полицию. А, не хотите! (это уже ко мне). Вам такой поворот дела, похоже, не нравится. Эта женщина — моя жена, сказал я. Бригитта Роупер. Вот (я достал из кармана документы) наше брачное свидетельство. А вот (я снова полез в карман) наш общий паспорт. Фотографии не оставляют никаких сомнений.

Он не стал требовать их для тщательного изучения. Опустившись на канапе, он достал сигарету из эмалевого портсигара Бригитты. В таком случае определимся, сказал он. Чего вы добиваетесь? Денег? Развода? Я отрицательно покачал головой и сказал: Нет, все, что я хочу, это вернуть свою жену. Бригитта вспыхнула: я к тебе не вернусь, что бы ты, мерзавец поганый, ни делал! Никогда, никогда, никогда! Слышите, что говорит ле-

ди? — спросил Корнпит-Феррерз. Вряд ли я сумею помочь вам вернуть ее. Я, между прочим, ничего этого не знал. Так что приношу свои извинения. Вышло недоразумение. А если выяснится, что ее посещают восточно-германские агенты? — спросил я.

Бригитта побледнела; ага, значит, я не ошибся! Я хочу сказать, произнес я, что ее следует депортировать. Насколько я понимаю, отношения с министром внутренних дел у вас вполне дружеские?

Корнпит-Феррерз воскликнул: а при чем тут это, черт возьми! (он с трудом держал себя в руках). Теперь все зависит от Бригитты, сказал я. Мне бы ничего не стоило надавить на вас, чтобы добиться ее депортации. Но если она ко мне вернется, не обязательно сегодня — я сейчас живу не один — а, скажем, на днях, то будем считать, что данного инцидента не было. И я вас никогда не видел. Я сам выполняю ответственную работу и совершенно не собираюсь дискредитировать лицо, занимающее важный пост. Слишком рискованно. До шантажа я тоже не унижусь. Конечно, если меня к этому не принудят. Значит, ваши требования состоят именно в этом? — спросил Корнпит-Феррерз. Я подтвердил. Нельзя сказать, чтобы мои слова не произвели на него впечатления. Что ж, обратился он к Бригитте, то, что он говорит, не лишено смысла. Может, стоит вернуться? Никогда, сказала она. А если ты попытаешься вышвырнуть меня из страны, я расскажу, что ты приходил сюда. И твоей жене расскажу, и премьер-министру. Не так все просто, сказал он. Свидетелей-то нет. Свидетель перед тобой! Мой муж. (Услышав это, я просиял, как последний идиот.) И еще один есть, добавила она. Он неоднократно видел, как ты приходил сюда. Мы с Корнпит-Феррерзом почувствовали, что она, похоже, говорит правду. Вообще-то ни к чему принимать поспешные решения, сказал он. Думаю, нам с вами (это он мне) сейчас лучше удалиться. Мы могли бы где-нибудь посидеть, выпить. А малышка Бриджит пусть все обдумает. Должен сказать (это все он говорил), что вы человек великодушный. Просто восхищаюсь вами. Наверное, это и есть любовь. Благодарю, но пить я не буду, сказал я. Меня мгновенно вытошнит. Если кто-то из вас захочет со мной связаться, найти меня не составит труда.

С этим я и вышел. Но, еще не сделав первого шага по лестнице, я решил вернуться, снова открыл дверь и сры-

вающимся, полным отвращения голосом произнес: Господи Боже мой, ну и в мерзкую же историю вы оба вляпались!

После чего я действительно ушел. В ту ночь Люси не могла нарадоваться на мое прекрасное настроение и уже не сомневалась (бедняжка!), что ждать осталось недолго.

То, что затем произошло, явилось для меня полной неожиданностью. Как-то утром я получил по почте довольно грязный конверт. Мое имя и адрес были аккуратно отпечатаны, отчего неопрятный вид конверта казался еще более странным. В конверте лежали десять банкнот по одному фунту. Там же была отпечатанная на машинке записка: «Прости, что так долго не удавалось отдать долг». Подписана записка была машинописным инициалом «С». Напрасно я морщил лоб, силясь припомнить, кому одалживал десять фунтов. Когда Люси, накрывая на стол, спросила, что случилось, я ей все рассказал и показал записку.

Она сказала: на голову допдаек свалился, чего хмуриться! (Ее отец был солдатом.) Ты же вечно все забываешь. Мы съели кукурузные хлопья. Конверт и записку я выбросил, а деньги положил в кошелек. В тот же вечер на пороге появились двое в плащах. Сэр, можно вас на пару слов? — сказали они. Я сразу почувствовал, что это из полиции. Миссис Роупер? — спросили они, заведя Люси. Подруга. Мисс Батлер, сказал я. Ах, ну да, конечно, пробормотал тот, что постарше, и они прошли в комнату. Миссис Роупер здесь больше не живет, не так ли? Я ведь не ошибаюсь, сэр? Затем, обращаясь к Люси: мисс, если не возражаете, мы бы хотели поговорить с мистером Роупером наедине. Люси явно взволнованна. Будьте добры, мисс, сказали они. Люси поднялась наверх. У нее не было права ни задавать вопросы, ни спорить, ни жаловаться.

Итак, приступим, сказал старший по званию. Не могли бы мы, сэр, взглянуть на имеющиеся у вас при себе деньги? Я имею в виду банкноты. А, наверное, речь идет об этих десяти фунтах? — спросил я. Совершенно верно, сэр, о десяти фунтах. Мы бы хотели увидеть эти десять фунтов. Я предъявил все свои деньги. Младший офицер достал лист бумаги, исписанный какими-то цифрами. Они сличили номера моих банкнот со своим списком. Так, закивали они, так, так. Видите ли, сэр, проговорил

старший, жить на средства распутной женщины — весьма серьезное преступление. Я не мог вымолвить ни слова. Наконец, я произнес: какая чушь. Какая дикая чушь. Я получил эти деньги по почте сегодня утром. В самом деле, сэр? — леививо осведомился младший. Надеюсь, вы не станете отрицать, что не так давно несколько раз посещали с определенной целью живущую отдельно от вас миссис Роупер, которая, как известно, занимается проституцией. Я этого не отрицал. Но эти деньги... — начал я. Да, именно эти деньги, сэр. Миссис Роупер взяла их из банка три дня назад. Это все подстроено, сказал я. Против меня фабрикуют дело. С вашего позволения, мы возьмем банкноты с собой, проговорил старший. О дальнейшем ходе дела вас известят.

Они поднялись, собираясь уйти. Значит, вы не предъявляете мне официального обвинения? — спросил я. Мы на это не уполномочены, сказал младший. Но через день другой вам все сообщат.

Я начал что-то торопливо объяснять. Я даже позвал Люси, я кричал на них, но полицейские лишь улыбнулись и, выходя за порог, приподняли шляпы (которые на протяжении всего разговора так и не удосужились снять).

В течение нескольких следующих дней я почти не мог работать. Когда, наконец, пришла повестка, я ей даже обрадовался. Невысокий дом, куда меня вызывали, располагался неподалеку от Гоулдхоук-роуд. Дверь открыл Корнпит-Феррерз. Рядом с ним стоял человек, судя по виду — иностранец, говоривший, как я вскоре убедился, с акцентом, похожим на славянский. У меня создалось впечатление, что этот неопрятный, скудно обставленный дом принадлежал именно ему. Вместе с тем сам он выглядел ухоженным и одет был вполне респектабельно. Корнпит-Феррерз являл собою самую учтивость.

Насколько мне известно, начал он, вы и несколько ваших коллег работаете над небольшим полемическим сочинением, призывающим к международному сотрудничеству в науке. Я промолчал. Мне кажется, продолжал он, вам предоставляется шанс сделать нечто большее, чем просто разговаривать на эту тему или сочинять какие-то статьи. К чему вы клоните? — спросил я. Да, кстати, это мистер... (имя я не расслышал; так я его и не узнал). Наверное, нет нужды уточнять, в каком посольстве он работает. Он позаботится обо всех формально-

стях. Доктор Роупер, лучшей возможности у вас не будет. Мы, политики, все разговариваем и разговариваем, но делаем мало. (Уж ты-то делаешь предостаточно! — чуть не съязвил я в ответ.) Вы же находитесь, продолжал он, так сказать, в авангарде движения за реальные действия. И, насколько я понимаю, для вас сейчас самое время покинуть страну. Я прав? В ответ я разразился ругательствами. Что, поставили свой ублюдочный капкан и надеетесь, что я попадусь? Дудки! Ставил не я один, возразил он. Она охотно помогала. Славянин расхохотался. Корнпит-Феррерз также рассмеялся и добавил: он с ней тоже неплохо знаком. Не хуже моего. А что до того, попадетесь вы в капкан — будем использовать вашу терминологию — или нет, то те двое, что к вам приходили, только ждут сигнала, чтобы поделиться с полицией кое-какой информацией. Не знаю уж почему, но для людей, уличенных в подобных делах, закон требует весьма сурового наказания. К тому же, продолжил он, я не понимаю, почему, уезжая из этой страны, вы должны так уж горевать. К Англии вы особой любви не питаете, не так ли? Да и верноподданническими чувствами не слишком обременены. Мне это известно. Вас не тянет к Англии даже в той степени, в какой тянет... сами знаете к кому. Не унывайте, доктор Роупер: она поедет с вами.

Я даже рот раскрыл от изумления. Неужели согласилась? Боюсь, однако, что следует поторопиться, сказал он. Корабль отплывает из Тилбери завтра в одиннадцать утра. В одиннадцать? (он переспросил у славянина; тот кивнул). Сухогруз «Петров-Водкин» доставит вас в Росток. В Варнемюнде вас будут ждать в отеле «Варнов». Можете мне поверить, все будет в порядке. Вы начнете новую жизнь. Ведь здесь карьера для вас закончена, надеюсь, это вы понимаете. Как там у Шекспира? «С одной красоткой уже себя связавший по рукам»¹. Не огорчайтесь. Вам там понравится — много работы и, как я понимаю, много выпивки. Какие вопросы? Я никуда не поеду, сказал я. Это не вопрос, сказал он. Распорядиться движимым и недвижимым имуществом (у вас ведь, кажется, свой дом?) вы сможете уже оттуда. Занавес-то хоть и железный, но и в нем есть щели — почтовых ящиков. С этой минуты вас будет опекать

¹ «Отелло», акт I, сц. 1 (Перев. П. Вейнберга).

присутствующий здесь наш общий друг. Дайте ему ключи от дома, он позаботится, чтобы уложили ваши чемоданы. Ночевать вы будете здесь. И вы называете себя министром Ее Величества! — воскликнул я. Знал я, что Англия прогнила, но и представить себе не мог, что до такой... Она тоже придет сюда? — спросил я. Мы поплывем вместе? Она встретит вас в отеле «Варнов», ответил он. Может быть, вы мне не верите? Бойтесь, что это очередной капкан? На этот случай я для вас кое-что приготовил.

Из нагрудного кармашка он извлек конверт, покоившийся за сложенным всемеро платочком, и протянул его мне. Внутри лежала записка, написанная знакомым почерком: «Я была дурой. Мы начнем новую жизнь».

Копий не держим, подлинник, сказал Корнпит-Феррерз. Вот так: дурой она была. Да что там, все мы вели себя глупо. Но жизнь учит. И все же вы вели себя глупее всех. Глупее всех. Глупее ¹.

Что ж, сказал я, хохотушка Англия, будь она неладна, в последний раз предает род Роуперов. Да, да. Как она поступила в 1558-м, так же поступает и сейчас. Снова все уперлось в веру. Англия сама обрекает себя на проклятье. Поджигательница войны, циничная, омерзительная страна. А его свет погас в 1558 по средневропейскому времени ². Ликуйте, суки. Загрызли мученика.

— Значит, никаких сожалений? — спросил он. Прекрасно. Он стал собираться: котелок, зонтик, серое пальто-реглан. Отменно выбрит, отменно пострижен. Причастился святых даров ³. Его твердый, привлекательный облик вскоре расплывается.

Пусть это будет на вашей совести, сказал я. Моя совесть чиста, я не изменил тому, что некогда ценилось на этой земле. Прекрасно, повторил Корнпит-Феррерз. Итак, международное разделение труда. Заморские перспективы. Предатель, сказал я. Кого? Чего? — спросил он и добавил: мне пора. Сегодня у меня обедают два весьма влиятельных депутата.

Он издевательски отдал честь, коснувшись края котелка, водрузил зонтик на плечо, надув губы, изобразил звук горна, улыбнулся на прощание славянину и вышел. Я плюнул ему вдогонку, за что славянин пристыдил ме-

¹ Спокойно, Роупер, спокойно.

² Опять за свое.

³ Вот бы и ты так же!

ня на ломаном английском. Он сказал, что это его дом. По крайней мере, снимает его он.

На этом можно кончить. Могу, впрочем, добавить, что в отеле «Варнов» под Ростоком никакой Бригитты не оказалось. Меня это не удивило. В каком-то смысле я даже был доволен. Круг предательств замкнулся. Я извлек штуцер из карьера и стал распахивать залежь свалывшихся антифонов, пока не излился бесконечным трубным завыванием белого, млечно-густого, суслообразного, дребезжалкого, молисыричардного — никогда доселе плеснешалые ночи древних Телодвижений не вылуплялись столь упонительно¹. Ребята из Варнемюнде оказались веселыми, накачали меня до отказа. Мы, кажется, распевали какие-то песни. Потом откостохрустали кой-коспалых до форшсмачного состояния. И понесли белиберду², околесницу и свистели еще, и все прочее³. А наткнешься на пустую скирдокурву, так хоть⁴ наполовину залей харчем или блюй себе вверх, где табличка «Мест нет». В отместку⁵.

8

«Что мы теперь будем делать?» — повторил пробудившийся и голодный, как собака, Хильер. Он встал, не обращая внимания на посыпавшиеся на пол листы. Она пошарила по халату в поисках его голой груди, уткнулась в нее, охватила его руками и разрыдалась. «Бедная моя девочка, — пробормотал он, зарываясь в ее волосы, — но мы знали, что это неизбежно случится. Теперь я буду о вас заботиться». Перед его мысленным взором вновь предстал размахивающий свернутым зонтом Корнпит-Феррерз — еще один ублюдок-нейтрал. В них — в нейтралах — и заключен корень зла. Клара продолжала рыдать, лицо ее было по-прежнему скрыто, он чувствовал, как по груди стекают ее слезы. Она всхлипнула и закашлялась — наверное, в рот попал волосок. Он крепко прижимал ее к груди. Погладил, желая подбод-

¹ ?

² *Дверостук, далеко.*

³ *Гдечтоктозачем?*

⁴ *Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Послушайте, он умер. Все кончено. Алана не добудиться.*

⁵ *Что такое? Клара в халатике, заплаканная. Она пришла мне сказать, она почти лкует. Он умер. Что мы теперь будем делать?*

речь. Но тело женщины есть тело женщины, даже если она девушка, даже если она дочь. «Идите сюда,— сказал он ласково.— Сейчас станет легче». Он усадил ее на узкую койку. Она вытирала глаза кулачками, а он, подсев поближе, продолжал ее успокаивать.

— Она просто зашла,— проговорила Клара сиплым от плача голосом.— В мою каюту и... разбудила. Мне показалось, что она была... рада.

— Тоже из них, из нейтралов,— сказал Хильер.— Скоро вы от нее избавитесь.

Он поцеловал ее в лоб.

— А потом. Когда сказала. Пошла. Спать.

— Ну успокойтесь, успокойтесь.

А если разобраться, что ей еще оставалось делать, как не идти спать? Зато завтра несчастная, мучимая мигренью вдовушка будет принимать соболезнования. Небось заказала уже для себя что-нибудь элегантно-траурное. Мужчины с неподдельным энтузиазмом будут приносить свои соболезнования. Хильер так и видел, как они — в котелках и с зонтами — вкрадчиво постукивают в ее дверь. Видел, как сам он завтра займется необходимыми формальностями. «Я требую вернуть деньги,— скажет он пассажирскому помощнику.— В конце концов, мистер Иннес не виноват, что не смог сесть в Ярылыке. Бьюсь об заклад, что он и не думал заказывать билеты на другой корабль. Я требую возвратить большую часть денег. Теперь о гробе. Надеюсь, для удобства вы его с самого начала включаете в стоимость тура, так что платить не придется?»

— Завтра у нас много дел,— сказал Хильер.— Она, конечно, досидит на корабле до конца, до Саутгемптона. Вдовушка наша безутешная и лакомая. Я обо всем позабочусь. А сейчас — отдыхать.

На нее навалилась усталость, копившаяся весь вечер. Вечер и впрямь выдался довольно утомительным для всех троих; немудрено, что Алана не добудиться. Проснувшись же, он вспомнит, как ему снилось, что он убивает человека. Затем ему сообщат о смерти отца. Не лучшее начало солнечного утра на борту морского лайнера. Но утреннему известию милосердно предшествовало огромное черное море ночи. «Вот так»,— сказал Хильер, нежно приподнимая Клару и вынимая из-под нее покрывало, одеяло и верхнюю простыню. «Смер-

тельно устала», — подтвердила она кивком и всхлипом. Хильер помог ей снять шелковый, расшитый драконами халатик. Под ним была черная ночная рубашка — без рукавов, с ляпочками, хоть и не просвечивающая, но сводящая с ума. Нет, надо взять себя в руки: как-никак — дочь! Она плюхнулась на койку, разметав по сторонам волосы. Хильер придвинул стул, пересел на него и взял девушку за руку. Вскоре кисть ее начала выпадать — палец за пальцем. Безмятежность ее сна явилась наглядным подтверждением благонаправленных транквилизаторских способностей Хильера. Желания не было, он разделся донага и осторожно лег рядом. Не пробуждаясь, она инстинктивно отодвинулась к переборке. Он лежал на самом краю койки, повернувшись спиной к Кларе.

Она чуть слышно всхлипнула во сне. Больше так — спиной к Кларе — продолжаться не может. Он повернулся и обнял ее, старательно избегая тех частей тела, где она могла предстать отнюдь не дочерью. И снова спящее тело откликнулось: она повернулась к Хильеру лицом, которое в конце концов упрятала ему под мышку, согревая легким дыханием его обнаженную грудь. Теперь он мог заснуть. Но спалось беспокойно. То его будил шум моря (такого еще не было), доносившийся сквозь приоткрытый иллюминатор, то какая-то жертва бессоницы принималась бродить по палубе и с кашлем раскуривать предутреннюю сигарету. Вот и Рист заглянул в каюту. Включил светильник у изголовья и, покачивая глазом, свисающим из пустой глазницы на гибком черенке, проговорил:

— Я от вас, сэр, в восторге, в самом что ни на есть восторге. Сэр, в котором часу прикажете утреннюю смерть?

Хильер жестом прогнал Риста (вместе со светильником), но тут на другую койку запрыгнул Корнпит-Феррерз, правда, какой-то совсем миниатюрный, и, взявшись за лацканы, как принято у парламентских старожиллов, обратился к членам палаты общин:

— Мой достопочтенный друг красноречиво говорил о долге по отношению к стране в целом, но с точки зрения правительства долг состоит в первую очередь не в осуществлении правления, а в существовании как таковым (*Правильно! Правильно!*), причем рассматривать его при этом следует не совокупно, а (*с галереи для публики донеслось: «Прелюбодей!»*, и кричавшего выпрово-

дили из зала) индивидуально. Мы можем пасть даже будучи вместе, как же можно позволить себе разобщенность!

Хильер понял, что находится в палате общин, где поджидает члена парламента от своего округа, чтобы пожаловаться на тех, кто вместо премии уготовил ему смерть. На полу он обнаружил затейливую византийскую криптограмму. Расшифровав ее, он прочел: «Нравственность превыше всего», «Любовь и верность — Отчизне», «Преданность». Затем буквы снова смешались, и ничего больше разобрать не удалось. Вместо члена парламента Хильер увидел своего шефа и коллег — RF, VT, JBW, LJ. Возгласы возмущения. Под грохот салюта спикер заковылял к своему месту. Впереди него вышагивал булавоносец, позади плелся капеллан. «Я апеллирую к к «прародительнице парламента!» — воскликнул Хильер. «Приятель, здесь тебе не Апелляционный суд», — сказал ему полицейский в фуражке с кокардой в виде опусковой решетки. Хильера попросили вести себя прилично и относиться с уважением к серьезной законотворческой деятельности, тем более что вот-вот должно начаться обсуждение. В Хильера всаживали пулю за пулей, и иностранные туристы, игнорируя запреты, фотографировали его бьющееся, извивающееся тело. Он очнулся и увидел, что Клара пытается его успокоить. «Наверное, что-то приснилось», — сказала она, отирая рукой пот с его лба. Руку она вытирала о верхнюю простыню. Море успокоилось. Стояло раннее, туманное утро. Член парламента... Что там по поводу члена..? В движениях рук, поглаживавших его тело, девичье любопытство мешалось с материнской нежностью. Видимо, она проснулась от его метаний. Рука ее пробиралась все ниже и ниже. Он остановил ее и подумал: «Мог ли я вообразить, мог ли когда-нибудь подумать, что стану ей мешать?» Но рука, та самая, что переворачивала бесстрастные страницы стольких секс-книжек, проявляла настойчивую заинтересованность. То, чего она коснулась, было теплым, гладким, скорее игрушкой, чем рвущимся вперед монстром. «Нет, — сказал он, — не то. Там есть кое-что другое». Огромный потогонный агрегат фаллического секса не интересовало, что сейчас за время и что это за девушка. Он осторожно показал ей. Он давал, не требуя ничего взамен. Хильеру чудилось, что чьи-то возмущенные лица с потолка шепчут: «Некрофилия», но с помощью собственной нежности

он от них быстро избавился. Устлать ласками ее вхождение в мир избавления и восторга, упредить какого-нибудь хама, циника или эгоиста, способного все безнадежно испортить,— это ли не благодарная миссия для почти что отца? То, что он делал, было актом любви.

Но разве она не была уже наполовину развращена собственным любопытством? И когда после первого крещения она попросила чего-нибудь еще, двигала ею не жажда наслаждения, а тяга к познанию, жадность поскрипывающего карандаша, составляющего инвентарную опись. А это что такое? А вот это? А как еще можно? Перечисленные в атласе названия ей хотелось превратить в осязаемую, поддающуюся фотографированию плоть заграничного путешествия. Но Хильер сказал, что ей надо еще немного поспать, ведь подниматься придется рано: до того как они сойдут в Стамбуле, предстоит сделать множество вещей. Он подарил ей еще одно наслаждение, остановившись на границе, переступив которую, она разбудила бы криком всех соседей. После этого она заснула. Юное упругое тело было покрыто красными пятнами, черные волосы слиплись от пота. Хильер устало взглянул на часы — 6.20. В семь она его растолкала и потребовала то, чего давать ему совсем не хотелось. Некоторое время он еще продержался, но бежали минуты, страсть закипала, уздечка натягивалась — и, закусив удила, он перешел к фаллическому просвещению. И она перестала быть Кларой. Голова его сделалась ясной, нежность исчезла, словно безбилетный пассажир при виде контролера; он смог сказать себе: «Девственниц не осталось; пони и учительницы гимнастики, чем вы там смущенно занимаетесь? Дефлорацией. Со смехом обесцениваете некогда величественный, священный, замешанный на мучении ритуал». В коридоре зазвенели подносы с чаем. Он успел прикрыть ей рот, заглушив вопль оргазма, и, выйдя, добрался до своего, гораздо более скромного. И тотчас окунулся в прозу утра: запер дверь от разносящего чай стюарда, разжег сигару, сказал ей, чтобы накрылась и, как только опустеет коридор, пробиралась в свою каюту. Любовь... Как насчет любви?

— Вы, наверное, считаете, что у меня слишком маленькая грудь? — сказала она.

— Нет-нет, замечательная.

Надевая ночную рубашку и халат, она прямо-таки вся светилась от детского самодовольства.

— А утро обязательно должно начинаться с этого отвратительного дыма? — спросила она.

— Боюсь, что да. Старая привычка.

— Старая привычка, — произнесла она, кивая. — Старая. Жаль, что надо ждать до старости, чтобы чему-то научиться. Вы многое умеете.

— Это умеет любой взрослый мужчина.

— В школе лопнут от зависти, когда я расскажу.

Она снова улеглась на койку, подложив руки под голову.

— О нет, — простонал Хильер.

— Они ведь только болтают про это. Обсуждают то, что в книгах вычитают. Нет, я просто умираю от нетерпения!

Хильер был уязвлен. Не дожидаясь урочного часа, он щедро плеснул себе «Олд морталити» с тепловатой содовой. В названии, глядевшем на него с бутылки, казалось, отражался он сам *. Клара снисходительно покосилась: тоже, конечно, дурная привычка, но хоть не чадит, как сигара.

— А про что расскажете раньше — про смерть отца или про любовника?

Лицо ее болезненно скривилось.

— Зачем вы так, грубо и жестоко?

Действительно, зачем?

— Простите, — сказал Хильер. — Я и в самом деле многое знаю, но забыл я еще больше. Забыл бесстрастность молодости, о которой вы мне напомнили. Этакая бесстрастность сельского жеребца. Знаете, раньше было принято, чтобы какой-нибудь выдавший виды удалец вводил молоденьких девушек в курс дела. Ни о какой любви, конечно, и речи не шло. Представляю, насколько смешно вам сейчас вспоминать, как я говорил про любовь.

Она шмыгнула носом, по-видимому, вспомнив о своей утрате.

— Ваши слова я не забуду. О таких вещах я девочкам рассказывать не стану.

— Станете.

Во рту сделалось кисло. Он с сожалением подумал: лучше бы лежал себе сейчас один и спокойно дожидался чаю.

— Впрочем, какая разница, — добавил Хильер. —

Просто я забыл, что вы еще школьница. Я ведь даже не спросил, сколько вам лет.

— Шестнадцать.

Чуть усмехнувшись, она снова помрачнела.

— Не такая уж и юная, — сказал Хильер. — Я как-то спал с одиннадцатилетней итальяночкой. А однажды мне даже предлагали девятилетнюю тамильскую крошку.

— Да вы просто ужас что за человек!

Но во взгляде ее он прочел вполне нейтральное одобрение. В глубине глаз торжествующе светилось: «жеребец». Между тем на корабле и впрямь был человек, которого с полным правом можно было бы назвать «жеребцом». «Как вы сказали? Что это еще за словечко?»

— Какой я человек — не знаю, — сказал Хильер, — но трупом мне стать не удалось. Я мечтал о возрождении. Но, возможно, для этого действительно необходимо сначала умереть. Глупо было предполагать, что удастся быть отцом и мужем одновременно. Интересно, однако, какая из этих ипостасей протестует против того, чтобы вас бросили на съедение волкам.

— Я смогу о себе позаботиться. Мы можем оба заботиться о нас двоих.

В дверь постучали.

— Чай. Наконец-то, — сказал Хильер. — Наверное, вам лучше встать с койки. Наверное, вам лучше сделать вид, что вы только что зашли, чтобы сообщить мне печальное известие.

Она встала и скромно направилась к стулу. Печальное известие... Вот чем отдавало «Олд морталити». Так, глотнем-ка еще «Печальных известий». Хильер щелкнул замком и отворил дверь. Но увидел он не нового, заменившего Риста, стюарда. Увидел он Алана. В халате, с прилизанными волосами, с мундштуком, в котором дымилось «Балканское собрание», Алан выглядел посвежевшим и повзрослевшим.

— Она провела ночь здесь? — спросил он.

Хильер поморщился и пожал плечами. Увиливать не имело смысла. Брат совершил убийство, сестра прошла через «жеребца».

— Да, вы действительно показали нам обоим жизнь другой половины, — сказал Алан. — Все прекрасно!

Хильер почувствовал в неуместности последней реплики привкус «Печальных известий».

— Она пришла и разбудила меня,— сказал Алан,— чтобы сообщить о случившемся. Но, по-моему, все не так уж страшно. Надеюсь, мои слова не кажутся бессердечными.

— Византии он достиг первым*,— преодолевая неловкость, промолвил Хильер и пожалел об этом — Алан хмуρο взглянул на него и сказал:

— Романтик, вот вы кто. Поэзия, игры, фантазии...— и, обращаясь к Кларе, добавил: — Она ведет себя именно так, как я предполагал. Всем сообщила и слегла. Голова у нее, видите ли, раскаляется. Бедняжка подавлена горем. Она поручила капитану обо всем позаботиться. Чтобы поскорее удалили труп с корабля. Нечего глаза мозолить. Труп на борту раздражает пассажиров. Они заплатили за веселое путешествие и, чтобы ни случилось, имеют на него право.

— Я обо всем позабочусь,— сказал Хильер.— Вы, наверное, хотите сопроводить его по пути домой. Из Стамбула летают самолеты «Бритиш юропиан эруэйз». Я все устрою. Это меньше, чем я могу для вас сделать. А сейчас я одеваюсь и иду к пассажирскому помощнику. Надо сообщить вашим, точнее, его адвокатам. Они встретят вас в лондонском аэропорту.

— Я знаю, что делать,— сказал Алан.— А вот неисправимые романтики вроде вас в реальных делах вряд ли разбираются. Как я заметил, вы ни словом не обмолвились о том, что полетите в Лондон вместе с нами. Бойтесь, да? Вас будут поджидать ваши дружки в плащах и с пистолетами в карманах; тоже большие любители романтических игр. Говорите, что позаботитесь о нас, а сами на английскую землю ступить боятесь.

— У меня дела в Стамбуле,— промямлил Хильер.— Одно дело, по крайней мере. Но очень важное. И потом, я как раз хотел предложить вам встретиться в Дублине, в отеле «Долфин» на Эссекс-стрит. Там бы мы обсудили планы на будущее.

— Наше будущее зависит от решений канцлерского суда. Ведь несовершеннолетние Клара и Алан Уолтерс попадают под его опеку. Закон не обязывает мачеху заботиться о нас. Наверное, вы сейчас начнете говорить, что зато вас к этому обязывает совесть. На деле это означает, что мы втроем будем шнырять по Ирландии, стараясь никому не попасться на глаза. Нейтральная территория. Вышедшая из игры, так вы, по-моему, выражае-

тесь. Что означает: ИРА*, вооруженные бандиты, взорванные почтовые отделения. Нет уж, спасибо. Мы лучше в школу вернемся. Мы предпочитаем учиться *постепенно*.

Хильер виновато и с грустью посмотрел на этих детей.

— Ты не всегда так рассуждал,— сказал он.— Вспомни-ка: секс-книжки, смокинги, кольца в ушах, коньяк после обеда! Ты утверждаешь, что это я играю в игры...

— Мы всего лишь дети,— проговорил Алан почти что с нежностью.— Вы были обязаны это понять. Дети могут и поиграть.— И тут его гортань гневно, вполне взрослому задрожала.— А *ваши* проклятые игры куда нас завели?!

— Это несправедливо...

— Проклятые нейтралы! Эта сука с ее горем и головной болью, ублюдок Теодореску, скалящийся Рист и вы. Хотя вы-то себя наверняка считаете молодцом и обижаетесь, что с вами несправедливо обошлись.

— Невинных жертв не бывает,— медленно произнес Хильер.— Надо читать то, что напечатано в контракте мелким шрифтом.

— Вот, вы даже это превратили в игру,— ухмыльнулся Алан и достал из кармана халата сложенный в несколько раз листок.— Полюбуйтесь: послание, которое вы просили меня расшифровать.

Хильер взял листок. На нем не было ни слова.

— Возвращение не предусмотрено,— сказал Алан.— Играют они мастерски.

— Чернила, исчезающие на седьмой день,— сказал Хильер.— Я должен был это предвидеть.

— Жаль, что все остальное не исчезает с такой же легкостью. Все их игры и фокусы. Хватит, пора возвращаться в реальный мир.— Он двинулся к двери.— Клара, ты идешь?

— Сейчас приду. Я только попрощаюсь.

— Ладно, увидимся за завтраком.

Он вышел, не попрощавшись с Хильером. Кашель взрослого курильщика сопровождал его по пути в каюту, где, наверное, сменился слезами естественной жалости к самому себе, в одночасье ставшему сиротой. Хильер и Клара взглянули друг на друга. Он сказал:

— Целоваться, наверное, неуместно. Было бы слишком похоже на любовь.

Глаза ее сверкали, словно от глазных капель. Скромно потупившись, она сказала:

— Вы, кажется, не собираетесь сейчас пить чай. Почему бы в таком случае не запереть снова дверь?

Хильер удивленно уставился на Клару.

— У нас достаточно времени,— сказала она, поднимая на него глаза.

Сколько раз он видел эти глаза!

— Убирайтесь,— сказал Хильер.— Немедленно вон.

— Я думала, вам понравилось...

— Вон.

— Нет, вы ужас что за человек! — Клара расплакалась.— Сами же говорили, что любите...

— Вон!

Хильер вытолкнул ее за дверь, сам не понимая, что делает.

— Скотина! Грязная, мерзкая скотина!

На этот раз путь в каюту — теперь уже Кларину — сопровождался слезами. Слезы же, даже на людях — вещь вполне уместная.

Хильер жалко и жадно припал к бутылке «Олд морталити».

9

В Стамбуле ему пришлось ждать в течение трех дней. Название его отеля «Баби Хумаюн», то есть «Блистательная Порта»^{*}, было не только претенциозным, но и обманчивым, поскольку располагался он в северной части города, у Золотого Рога, а не на юго-востоке^{*}, где находится Старый дворец. Но Хильер был доволен. Для заключительного акта больше подходили вши, вонючие туалеты и гнилые обои в потеках, чем роскошные асептические интерьеры «Хилтона». Комната была темной, да и пахло в ней чем-то темным. Можно не сомневаться, что его кровать видела немало диких, животных *gesta*¹, краска была ободрана мощными звериными когтями горцев, невымытыми после того, как их запускали в жирное козье варево. Ночью по полу шаркали сальные шлепанцы бородатых привидений, бормотавших предсмертные напутствия, перед тем как нанести смертельный удар и завладеть мешочком с деньгами, который

¹ Телодвижений (лат.).

высовывался из-под распоротого матраса. В предрассветном сумраке на стенах плясали тени кровожадных бандитов. Один из стульев доживал последние дни. На грязном балконе валялись турецкие окурки, на паутине лежал белесый слой пыли. Но Хильер с удовольствием усаживался с утра пораньше на покрякивающий стул, съедал на завтрак йогурт, инжир и пресный хлеб с маслом из козьего молока. Запивал крепким кофе, затягивался своей смердящей бразильской сигарой и устремлял взор на окутанный утренней дымкой Босфор. В халате на голое тело он размышлял о том, сколько наделал ошибок, чересчур полагаясь на свободу выбора, свободу воли и логику людских поступков. Заблуждался он и относительно природы любви.

На улице Джумхуриет он украдкой, словно турок-злоумышленник, наблюдал, как гроб с телом мучного короля загружают в крытый фургон компании «Бритиш юропиан эруэйз», как дети мучного короля, бледные, изысканно одетые сиротки, садятся в автобус вместе с другими пассажирами, летящими 291-м рейсом, и, когда автобус тронулся в сторону аэропорта Ешилкёй, вяло помахал им вслед. Дом, расположенный по адресу, указанному Теодореску, оказался битком набитым различными офисами. Он осведомился у дежурной, нет ли писем на имя мистера Хильера. Женщина с монголоидным лицом и тронутыми сединой волосами протянула ему конверт. Вложенная в него записка гласила: «Ничего не понял, но приеду». Вместо подписи стояла буква «Т».

Итак, ждать. Завтрак, первая порция раки*, на ленч — жареная рыба или кебаб и снова раки, раки. Потом можно соснуть или побродить по городу, опрокинуть пару коктейлей в «Кемеле» или «Хилтоне», затем — обед в европейском ресторане, снова небольшой раки-тур и, не дожидаясь вечера, — на боковую. Семь стамбульских холмов — словно Рим попытался воспроизвести себя на другой земле — лишали его душевного равновесия. Ту-скло отливая византийским золотом, в голове звенели имена архитекторов и султанов: Анфимий, Исидор*, Ахмед*, Баязид*, Сулейман Великолепный*. Неутешным птичьим свиристеньем взывали из прошлого Феодосий*, Юстиниан* и сам Константин*. Мечети кружили голову. Неизбывный изнуряюще-влажный зной, настоящий на шерсти, шкурах и кожах. Под Галатским маяком* с грохотом и звоном грузят грязное старье и ржавое же-

лезо — какой-никакой, но экспорт. Суда, чайки, сверкание моря. Базары, нищие, тощие дети, блестящие зубы, горящие угли, коптящаяся на вертеле требуха, табачная вонь, тучные — разжиревшие на жирах — фланелево-двубортные мужчины.

На третий день Хильер отправился в Скутари * и под вечер возвратился в «Баби Хумаюн» усталый, вспотевший, с головной болью. В холле он обнаружил несколько чемоданов из добротной кожи, и пульс его учащенно забился. Кто-то откуда-то приехал. Кто? Подслеповатого, мучимого желчными коликами портье он спросить не решился. Поднявшись на лифте (металлолом на экспорт) на свой этаж, он вошел в номер, разделся и, перед тем как зарядить «Айкен», проверил и сам пистолет, и глушитель. Затем засунул «Айкен» в верхний ящик комода между чистыми рубашками, которых, кстатi, у него уже почти не осталось. Подошел к окну, отхлебнул из бутылки раки. В халате с полотенцем на шее, он направился в душ, ощущая легкую тошноту и головокружение. Он подошел к душевой; пальцы, коснувшиеся дверной ручки, охватил трепет намерения. Хильер знал, что его ждет за дверью.

Под холодным душем стояла мисс Деви. Он смерил взглядом ее нагое тело с той же холодностью, с какой она встретила этот взгляд. По шоколадной спине струились водяные ветви и островки, поблескивал черный, как смоль, кустик. Лицо со спрятанными под шапочкой волосами казалось даже более обнаженным, чем тело. Соски после холодного душа ставшие еще восхитительней, словно два глаза уставились в глаза Хильера.

— Ну что, он здесь? — спросил Хильер.

— Скоро будет. Дела. Ваше послание его весьма озадачило. Не бойтесь, он не готовит никаких трюков. Никаких магнитофонов. У него прекрасная память.

У меня тоже, подумал Хильер. Он вспомнил ночь в каюте мисс Деви, и по телу поползли мурашки. До вождения ли сейчас? Тогда оно было использовано против него; на этот раз будет иначе. Хотелось разорвать ее детское тело; от ароматов, щекотавших ноздри, от ощущений, прошивающих складки ладоней, можно избавиться лишь с помощью сильнодействующего средства — известного, набухшего, бесстыдного, привычного.

— Начнем прямо сейчас? — спросил Хильер. — Надеюсь, у нас есть время.

— О, время у нас есть. Время на *vīmanam* и *akaṅka-vīmanam*¹. На *mor*², *taddinam*³, и *Yaman*.

— *Yaman*? Это же бог смерти...

— Это просто название. У меня сорок седьмая комната. Ждите там.

— Лучше пойдете ко мне.

— Нет, в моей комнате приспособления, без которых *Yaman* невозможен. Ждите в сорок седьмой. Я должна совершить троекратное внутреннее омоложение.

На стуле, стоявшем возле нее, Хильер заметил небольшой непромокаемый мешочек. Помимо приспособлений, которых требует *Yaman*, там, вероятно, найдется и кое-что другое. Он отправился в ее комнату. Она оказалась такой же убогой, как и его собственная, но имело ли это значение, если во всем ощущалось незримое присутствие мисс Деви. Ополоснувшись холодной водой из раковины, он быстро обтерся, лег в ее постель (черное крахмаленное белье, должно быть, ее собственное) и стал ждать. Через пять минут появилась мисс Деви и, скинув у дверей одежду, нырнула к нему в постель.

— Нет, не так,— сказал Хильер, едва начался простейший *vīmanam*.— Мне хочется чего-то более непосредственного, легкого и нежного. Многоголосью оркестра я предпочитаю легкую мелодию. Так уж я устроен.

Она замерла под ним и словно одеревенела.

— Иначе говоря, маленькую англичаночку,— сказала она.— Белокурую, дрожащую, лопочущую о любви.

— О любви она не произнесла ни слова. В отличие от меня.

Мгновенным мышечным усилием она исторгла его из себя. Его это несколько не огорчило.

— Прошу прощения,— сказал Хильер.

— Убирайтесь,— проговорила она ледяным голосом.— Тем более что мистер Теодореску предупреждал: сначала бизнес, а уже потом ужин. Ждите его в своем номере — вам же туда так хотелось. Он просил меня проследить, чтобы вы заказали выпить. Только не раки. Кстати, он велел передать, что вы можете записать это на его счет. А теперь убирайтесь.

Хильер сидел в своей комнате и ждал. Морское небо — уже не розовое, не мареновое — все больше загу-

¹ Небесная колесница (*санскр.-тамил.*).

² Павлия (*хинди*).

³ Ежегодная церемония, связанная с культом предков (*санскр.*).

стёвало. Звезды над Золотым Рогом; его золото во тьме напоминало золото Византии. На столике, стоявшем возле балкона, красовались коньяк, виски, джин, минеральная вода, лед, сигаретница, сигаретная бумага была шелковистой, табак — жжено-кремовым. Хильер снова проверил пистолет и положил его в правый карман своего мойгашелского пиджака*. Теперь оставалось только ждать.

Теодореску вошел без стука. Он был в шелковой рубашке, пиджачной паре и источал ароматы скорее абстрактного Востока, чем подлинной, отдающей гнильцой Азии, начинающейся тут, к востоку от Босфора. Громадный, с лысиной, напоминавшей огромный отполированный камень, учтивый, сердечный.

— Простите, что заставил вас ждать, мой дорогой Хильер. Пришлось завершить кое-какие дела в Афинах. Но, надеюсь, мисс Деви вас немного развлекла? Нет? Какой-то вы сегодня серьезный, чтобы не сказать мрачный. Совсем не тот голый Хильер с «Полиольбиона», которого я знал и уважал.

— По обе стороны столика стояли стулья. Теодореску опрокинул в себя целый бокал виски; мелодичными колокольчиками звякнул лед.

— А теперь вы меня не уважаете? — спросил Хильер. — Теперь, когда я собираюсь бескорыстно сообщить вам кое-что. Теперь, когда я собираюсь бескорыстно сообщить вам все.

— Мистер Хильер, я играю по жестким правилам: за все плачу, но и сам ничего не даю бесплатно. Не припомню, чтобы кто-то делился со мной чем-нибудь стоящим, не требуя ничего взамен. Подарки, взятки — это, конечно, другое дело. Но про *dona ferentis*¹ не зря сказано. Вы желаете мне что-то сообщить. Чего вы за это хотите?

— Освобождения. Освобождения от тяжелой ноши. Не исповедавшись, я не смогу дальше жить. Вы меня понимаете?

— Надеюсь, что да, — сказал Теодореску, сверкнув огромными глазами. — Вы хотите сделать из меня исповедника. Благодарю за честь. Значит, вы хотите взвалить свою ношу на меня. Понимаю. Понимаю. Понимаю,

¹ ...timeo Danaos et dona ferentis — ...страшусь я дары приносящих данайцев (Вергилий, «Энеида», II, 49. Перев. С. Ошерова).

почему вы возражали против магнитофона. Что ж, единственное, о чем я попрошу, — это говорить помедленнее.

— Хоть это и исповедь, но как известно, дареному коню... Говорить я буду как обычно.

— Начинайте. Итак, «благословите, святой отец, меня, грешного...»

Хильер в ответ не улыбнулся, и Теодореску сделался серьезным.

— То, что я скажу, на самом деле предназначено не вам, — сказал Хильер. — Но раз уж так вышло...

И он начал:

— «Эвенел»* — это Х. Глинденнинг*. Сейтон, Странд-он-зе-Грин, Лондон. Радиостанцией «Авиценна» руководит Абу Ибн Сина*, багдадской полиции он известен. Группа из трех международных террористов, называющих себя «Адалламиты»*, состоит из Хорзмана, Лоу и Гроувнора. Имена, думаю, выясните сами.

— Разумеется. Какие лицемеры... — Он снова хлебнул виски. — Не останавливайтесь, прошу вас.

— Операция «Прибой» начнется через шесть месяцев неподалеку от Гелливара. Х. Дж. Принс, проживающий в графстве Сомерсет, рядом с Бриджуотером, руководит центром подготовки террористов, носящим название «Агапемон»*. Карманный телевизионный передатчик, почему-то названный «Нур аль-Нихар»¹, проектируется в центре Эль Махра, на юго-западе от Александрии. К востоку от Беэр-Шевы, в районе границы с Иорданией, почти закончена разработка парных ракет «Ахола» и «Ахолиба». Убийца С. Т. Аксакова вышел на пенсию; он проживает в районе Фрайбурга под фамилией Чичиков (не правда ли, милая подробность?). Торговец Т. Б. Олдрич* выходит на связь из Кристине-стада, поддерживает контакт с агентом по кличке «Торпедист», действующим в районе Валдайской возвышенности, к югу от Старой Руссы. В городе Кинлох на острове Рам приступили к выполнению плана, известного под кодовым названием «Альмагест»*. Канал эвакуации агентуры «Гота» начинается в трех милях северо-западнее Кёпеника. План ракетной базы в Сан-Антонио, находящийся в распоряжении так называемой поп-группы «Анархисты», в которую входят Барлоу, Трамбулл, Хамфриз и Хопкинс, хранится на вилле в предместье Хартфорда.

¹ Дневной свет (араб.).

— Вы уверены?

— Ни в чем нельзя быть полностью уверенным. Возможно, у них есть кое-что еще. Налет именно поэтому и был отложен.

— Боюсь, что из всего услышанного я сумею запомнить лишь небольшую часть. Тяжело с вами иметь дело, мистер Хильер.

— Во главе группы кембриджских ученых, разрабатывающих калькулятор типа PRT, стоит насквозь продажный тип К.Баббидж. Нелепая, но потенциально опасная группа камеронцев* со штаб-квартирой в Гронингене возглавляется Джоном Бальфуром* из Берли. Криптограмма «Нерон Цезарь» расшифрована в Таранто Ричардом Свитом. Морские испытания «Бергомаска» отложены на неопределенный срок. Внимательно следите за деятельностью группы «Бисмарк» в Фридрихсруэ. «Черные списки» из Адмиралтейства украдены. Не старайтесь понапрасну, лучше сообщите об этом прессе. Рольф Болдревуд* изготавливает фальшивые рубли в своем доме на площади Боулт-Корт, неподалеку от Флит-стрит. Во время воздушных учений «Бритомарт» будет осуществляться фотографирование базы в районе Вараздина. Испытания пистолета-распылителя, известного под условным названием «Какодемон»¹, проводятся в колледже Гонвилл-холл. Французские ядерные исследования разбиты на стадии, согласно месяцам революционного календаря. Заключительная стадия носит название «Фруктидор»*. По нашим сведениям, сейчас идет работа над «термидорианской гильотинной повозкой».

— Боже мой!

Теодореску опустошил уже три четверти бутылки.

— Следите за Португалией. Насколько можно судить, то, что видел Леодогранс, было чертежами межконтинентальной баллистической ракеты «Лусус». Но Леодогранс больше не работает в подземельях Санитарема. Следите за Испанией. Есть сведения, что в Леганесе тайно разрабатывается так называемая «Паниберийская доктрина». Довольно странные сооружения обнаружены в Бадахосе, Бросасе и в лагерях на юге Понтеведры.

— Это я знаю.

— Это вы знаете. Зато вы не знаете, что под предлогом покупки мехов Колвин посещал Ленинград. Не зна-

¹ Злой дух (греч.).

ете вы и того, что некий Эдмунд Керл фабрикует непристойные фотографии с целью скомпрометировать Косыгина. Его лавка находится в Лондоне, на Канонбери-авеню. Наши югославские агенты работают в Приеполе, Митровице, Крушеваце, Нови-Саде, Осиеке, Иваниче и Мостаре. Все они дают частные уроки английского. До первого сентября пароль — «Зоопотіа»¹.

— Минуту, какой пароль?

— Долговременный план истощения Израиля, разработанный ОАР, называется так же, как называют в Коране Александра Македонского — «Зу-ль-Карнайн». Поэтому полевые склады оружия имеют «двурогое» условное обозначение. Иоганн Дёллингер * недавно исключен из подпольного неонацистского союза «Welteroberung»². Он с утра до вечера накачивается спиртным и не выходит из своих меблированных комнат на Шаумкаммштрассе в Мюнхене. К друидическому движению *, популярному на острове Англси, стоит отнестись серьезно, поскольку оно финансируется Бёлтгером и Кандлером. Последний живет в Дрездене. Лоуренса Осдена видели с африканским мальчиком в Танжере *.

— У меня есть их фотографии.

Уговорив виски, Теодореску взялся за коньяк.

— Плесните мне тоже, — сказал Хильер.

Голова его была забита именами. Он выпил. Надо продолжать.

— Миниатюрные атомные подводные лодки «Фоморы» * будут тайно спущены на воду с мыса Россан, графство Донегол. Эксперименты по выведению ядовитых сортов трав, к которым готовятся на юге Карсонсити, штат Невада, имеют кодовое название «Габриэль Лажёсс» *. Джоэл Харрис *, официальный палач объекта J24, живет сейчас в Любеке. Судя по всему, Годолфин все еще на свободе: Ходжсон сообщает, что видел в Сакатекасе человека, приметы которого совпадали с приметами Годолфина.

— Такие мелочи меня не интересуют.

— Понимаю. Но не забывайте, что перед вами целый табун дареных коней.

— Скорее, коняг. Пони. Заезженных кляч. Но я рискую показаться неблагодарным и невежливым. Прино-

¹ Физиология (лат.).

² «Покорение мира» (нем.).

шу извинения.— Он взглянул на часы (плоское, поблескивающее «Velichestvo»).— Пожалуйста, продолжайте. Или, если можете, заканчивайте.

— Держите под наблюдением Плауэн, Регенсбург, Пассау. Новые американские ракеты на объекте 405 направлены на Восток. Во время визита Дзержинского в Пловдив туда был послан Инджилоу. Под видом странствующих евангелистов американская военная миссия посещала Калатук и Ширезу. Кашмирский бизнес доживает свои последние дни: в стоящих в Сринагаре контейнерах находятся огнеметы.

— Да, да, да... Но вы же знаете, чего я жду.

— Чего вы ждете,— вздыхая, повторил Хильер.— Военный педераст и нейтрал должен был бы и за это сказать спасибо.

— Так вы обращаетесь к священникам? — со смехом спросил Теодореску.— Впрочем, ничего удивительного. Одних профессиональная деятельность возвышает, других портит.

— Корень зла — в нейтралах, в неприсоединении,— процедил Хильер сквозь зубы.— Все из-за этого... А теперь то, чего вы так дожидаетесь.— Теодореску подался вперед.— «Номер первый» по Карибскому бассейну.— Ф. Дж. Лэйард.— (Все в Хильере орало: «Заткнись!», «Падай в обморок!», «Вставь кляп!») — Саванна-ла-Мар, Ямайка, Офис — в задних комнатах велосипедного магазина «Ледервудз». Лэйард живет под именем Томаса Норта.

— Это уже ближе к делу.

— «Номер второй» (оперативная работа) — Ф. Норрис *. Сейчас он в шестимесячном отпуске и проживает у своей тетки в Саутси. Хорнроуд, дом 23.

— Оставим Карибский бассейн. Меня интересует Лондон.

Хильер рыгнул и глотнул коньяку.

— Штаб-квартира находится на Пеннант-стрит в «Шенстоун билдингс». Десятый этаж, офис «Томаст энтерпрайсис лимитед». Имя шефа...

— Ну!

— ...сэр Ральф Уэвелл. Живет в Олбании и Сассексе — дом «Тримурти» в Батле.

— А, старый индийский волк... Прекрасно. Другие имена меня не интересуют. Дайте мне только частоты, на которых вы работаете.

- 33, 41, 45 по шкале Мертона.
- «Книжные» коды используете?
- Крайне редко.

— Благодарю вас, мой дорогой Хильер. Вы только что говорили, что я являюсь источником зла. Вполне возможно. Но я честен, и вы это знаете. В нашем бизнесе мухлевать нельзя. Когда в Лозанне я кладу на стол конверт и заявляю: «Господа, внутри находится имя шефа контрразведки» или: «Предлагается точное местонахождение службы международного радиоперехвата», то потенциальные покупатели никогда не сомневаются в моих словах. И они уверены, что второй раз я эту информацию уже не продам. Я честен и играю по правилам. Вы захотели бескорыстно поделиться со мной всеми этими лакомыми кусочками — и жестковатыми и самыми сочными, повинувшись велению сердца, поэтому я не стану унижать вас и предлагать хотя бы символическое вознаграждение. Но я — не без помощи мисс Деви — кое-что у вас позаимствовал и настаиваю на справедливой оплате. Как вы посмотрите, скажем, на две тысячи фунтов?

Он достал из внутреннего кармана листки с синими Роуперовыми каракулями и помахал ими перед Хильером.

— Она выкрала это, пока вы, мой милый Хильер, ожидали ее в постели в предвкушении наслаждений, воспользоваться которыми вам почему-то не позволила совесть. Вероятно, вы сочтете меня жадным и неблагодарным, но я беру все, что могу, когда могу и как могу.

— Вы знали, что рукопись у меня?

— Ни в коей мере. Просто стандартный обыск. И результат меня порадовал. Ведь в первый раз я услышал о любвеобильном сэре Арнольде Корнпит-Феррерзе от одной молодой особы в Гюстрове. Она захотела продать кое-какую информацию, и ее связали со мной. Так, ничего особенного, обрывки разговоров, засевшие в голове у бывшей лондонской проститутки.

— Бригитта.

Написать Роуперу. Не откладывая.

— Ее так зовут? Хильер, вы просто великолепны. Скажите, есть что-нибудь, чего вы не знаете? Значит, вы тоже интересовались делом Роупера. Впрочем, почему бы и нет — мир тесен. Я всегда испытывал особый интерес к перебежчикам, ведь это высшая форма чело-

веческого падения. Итак, вы не откажетесь взять чек моего швейцарского банка?

— Я тоже буду честен,— проговорил Хильер, доставая бесшумный «Айкен».— Возможно, я и дал что-то бескорыстно, но я нисколько не жалею о том, что собираюсь сделать. Теодореску, вы — враг; вы сидите на карнизе «железного занавеса», и в кармане у вас позвякивают праздничные колокольчики. В отличие от цирюльника Мидаса* я проболтался не в ямку, а в никуда. Хильер спустил курок.

Безобидный дымок окутал смеющегося Теодореску. Хильер выстрелил еще раз. И еще. Безрезультатно.

— Холостые! — рассмеялся Теодореску.— Мы подозревали, что еще увидим этот очаровательный крохотный «Айкен». Мисс Деви успела заменить патроны, пока вы предавались сладострастному ожиданию. Весьма полезное существо. И к тому же очаровательное. Порой я сожалею, что не подвластен ее чарам. Но мы таковы, какими сотворили нас высшие силы. Все мы в конечном счете беспомощны. Жизнь — страшная штука.

Хильер бросился на Теодореску, но был отброшен небрежным жестом руки. Заливаясь хохотом, Теодореску двинулся к дверям. Хильер вцепился было в него ногтями, но последние оказались на удивление тупыми.

— Не валяйте дурака,— сказал Теодореску.— Не то мне придется обратиться к помощи влиятельных местных друзей. У меня есть еще в Стамбуле кое-какие дела, и я не желаю, чтобы всякая мелюзга путалась под ногами. Будьте умницей — присядьте, выпейте, полюбуйтесь Золотым Рогом. Вы сделали свое дело. Отдохните, расслабьтесь. Сходите к мисс Деви, натура у нее отходчивая. А я пока что схожу пообедаю.

И он со смехом вышел в коридор. Хильер бросился к комоду. Шприц и ампулы лежали там, куда он их засунул — под носовыми платками; похоже, к ним никто не притрагивался. Он вскрыл две ампулы и наполнил шприц. Надо было действовать быстро. Выскочив в коридор, он увидел, что лифт, железновато-ржаво поскрипывая, уже начал спускаться; ему показалось, что изнутри доносится смех Теодореску. Хильер ринулся вниз по лестнице, по скользким залысинам ковровой дорожки, мимо громадных, византийских кадок с мертвыми деревьями, мимо турецкой четы, важно шествовавшей в свой номер, мимо прищелкнувшего языком официанта

в грязно-белой униформе. Слегка споткнувшись на бегу, Хильер чертыхнулся. В шахте было видно, как лифт приближается к первому этажу. На крыше кабины валялись фруктовые очистки, окурки и даже несколько презервативов. В голове стучало: «Успеть!»

У дверей лифта на первом этаже сидел человек в полотноной шапочке (вероятно, шофер Теодореску) и хмуро изучал турецкую газету. Хильер оттолкнул его, буркнув «пardon». Теодореску (кроме него, в лифте никого не было) уже открывал тонкую решетчатую дверцу. «Позвольте»,— выдохнул Хильер и взялся за ручку. Он позволил двери слегка приоткрыться, с тем чтобы между нею и зарешеченной клеткой образовался не слишком узкий зазор. Теодореску попытался открыть дверь пошире и нетерпеливо просунул в образовавшуюся щель свою мощную, холеную, украшенную перстнями руку. И тут Хильер изо всех сил навалился на дверь, и руку зажало так, что обладатель ее испустил проклятье. Рука требовалась секунд на пять, не больше... Турку в шапочке происходящее не понравилось, и он поспешил прочь. Теодореску напирал с невероятной силой, Хильер развернулся, чтобы удобней зацепиться за решетку, посильнее уперся ногами в истертые кафельные плитки и схватился, наконец, за кованый брус наружной двери. Теперь можно выдохнуть. Зажатая рука, казалось, изрыгала проклятья, перстни сверкали, направляя на обидчика лучи смерти. Хильер вытащил из нагрудного кармана шприц, зубами стянул колпачок с иглы и всадил ее в жирное запястье. Теодореску взвыл. Спускавшися по лестнице двое стариков испуганно переглянулись и повернули обратно. Издалека донесся звон посуды, словно официанты побросали подносы и отправились выяснять, что тут происходит. «Совсем не больно»,— проговорил Хильер и нажал на поршень. Тягучая жидкость потекла в набухшую вену, смешиваясь с кровью, черные капли которой выступили вокруг иглы. «Хватит»,— проговорил Хильер. Он не стал вынимать шприц, и тот торчал в руке подобно бандерилье в белом бычьем боку. Хильер отпустил ручку и выскочил на улицу.

Он притаялся возле полутемного входа в отель. Вскоре из холла послышалось пение. Теодореску, которого не могло взять ни одно виски, на этот раз был совершенно пьян. Он распевал гимн второразрядной частной шко-

лы: «Парсон был основан много лет назад. Разум здесь всегда делами правил. Вышедших из стен его доблестный отряд честь и славу Англии составил». В органоподобном голосе Теодореску проскакивали какие-то свирельные нотки, хотя прежняя мощь еще чувствовалась. Он попытался вспомнить второй куплет, потом пробормотал: «Ну и наплевать» и стал что-то бессвязно мурлыкать себе под нос. Он возник в дверях отеля, взглянул на круглый светильник, окруженный облачком мошкары, и, расплывшись в идиотской улыбке, обхватил левой рукой выщербленный стояк, словно облепленный леденцами. С правой руки капала кровь. «Ночка что надо, веселись до упада»,—заявил он, оглядывая улицу. «Эй, братва,— обратился Теодореску к кучке стоявших неподалеку турок,— айда к пятиклашкам, напишем им на доске что-нибудь неприличное». И, покачиваясь, двинулся вправо, в лабиринт грязных улочек, в царство карманников, тесных закусочных и протекающих посудин. Теперь ему вспомнилась дурацкая песенка старшекласников: «Мы на школу забиваем, в миллиард с утра катаем. Нам любого обыграть, что два пальца обос...ть». Его вело из стороны в сторону, но Теодореску с мальчишеским гоготом продолжал брести по скользкой булыжной мостовой. Хильер следовал за ним на безопасном расстоянии.

Из окон полуразвалившейся пивной доносились завывания турецкой радиолы: пронзительные звуки свирели, в микротональные мелизмы * которой вплетались (словно из уважения к Моцарту) гонги, колокольчики и цимбалы. Теодореску отреагировал на иностранную музыку презрительно. «Ниггеры недоразвитые,— гаркнул он на всю улицу.— Бонгабонга! Ниггеры и китаёзы!» Как истинного британца его тянуло к морю, благо, Стамбул ограничен морскими стенами с трех сторон, а каменной — только с одной. Мелкие представители низших рас поглядывали на него без страха и неприязни: надрался верзила, да простит его Аллах, да простит его тень Ата-тюрка *. Хильер рассудил, что пришло время помочь Теодореску лечь на нужный курс. Он ускорил шаг, и тут Теодореску внезапно обернулся и поглядел на него, впрочем, вполне добродушно. «А, Бриггз! Только попробуй приспособить мне на спину свою дурацкую записочку — тебе, сучонок, достанется. Я твои фокусы знаю, недоносок ты длинноносый!»

— Никакой я не Бриггз,— сказал Хильер.

— Правда?

Трое маленьких турко-греко-сирийских оборванцев крутились вокруг Теодореску, выклянчивая бакшиш. Теодореску пытался их отогнать, но с его нынешней координацией движений сделать это было непросто. В конце концов, поливая его бранью, они юркнули в темный вонючий переулок.

— Верно, какой же ты Бриггз,— согласился Теодореску.— Ты — Форстер. Ну что, Форстер, война или мир?

— Мир,— сказал Хильер.

— Другое дело. Тогда почапали вместе. Да здравствует мир! Руку, Форстер! Двинули!

Хильер зашагал рядом, но от дружеского короткопалого объятия уклонился.

— Говоришь, «мир»,— пробурчал Теодореску, семена по ухотившей вниз петливой улочке,— а сам сказал Уидерспуну, что я паршивый иностранка.

Повсюду валялись рваные афиши давно прошедших турецких увеселений, впрочем, на одной виднелась фотография двух американских кинозвезд, мрачно обнявшихся в окружении ошетинившихся умлягутами слов. Газовый фонарь трепетал, словно умирающий мотылек. Из заколоченной лавки внезапно высунулась толстая женщина (судя по цвету лоснящейся кожи — гречанка) и что-то хрипло заорала.

— Просто у меня фамилия такая, а вообще я стопроцентный англичанин,— сказал Теодореску.— В крикет играю... В будущем году Шоу обещал включить меня в дублирующий состав. Знаешь, как я поле вижу! И рука у меня твердая.

Он хотел продемонстрировать свой коронный удар и едва не упал.

— Пошли, глотнем морского воздуха,— сказал Хильер.

Теплый ветерок донес гнилостную вонь стоячей воды. Хильер ткнул Теодореску пальцем, подсказывая, что спускаться следует по широкой улице, вдоль которой тянулись открытые до позднего вечера продуктовые лавки. Радиоприемники разносили разнообразные мелодии, причем каждая старалась доказать свое превосходство перед остальными; сочный голос, чем-то напоминавший черчиллевский, сообщал турецкие новости, пробиваясь сквозь пуканье помех. На жирных сковородах шипели

безымянные рыбины и мясо. Теодореску жадно потянул носом.

— Рыбка с картошечкой от «Мамаши Шенстоун»,— произнес он, сглатывая слюну.— Лучшая в городе.

Навстречу стали попадаться группы рыбаков. Некоторые спорили о ценах. Хильер готов был поклясться, что видел, как какая-то женщина свесила из окна свое жирное, белое пузо. Кроме яшмака* на ней ничего не было. Разве Кемаль Ататюрк не запретил яшмаки? Белое пятно исчезло.

— Тео, ты все-таки свинтус,— проговорил Хильер.— Что ты делаешь с малышами?

— Это все Беллами,— чуть не плача выкрикнул Теодореску.— Беллами так со мной сделал. Они меня заманили в комнату старосты и заперли дверь. Я звал на помощь, но никто не слышал. А они хохотали.

— У тебя привычки вонючего иностранца. Я-то знаю, что ты сделал с тем малышом на хорах.

— Ни с кем я ничего не делал. Честное слово.

Теодореску разревелся. Небритый, измазанный в мазуте матрос, стоявший под вывеской «Gastronom», которая венчала вход в продуктовую преисподнюю, отрыгнул — долго и певуче. Теодореску неуклюже побежал.

— Все против меня! — прокричал он, хлюпая носом.— Я хочу только одного — чтобы от меня отцепились.

Он по-чарличаплински завернул за угол. Двое моряков посторонились, уступая дорогу надвигающейся громадине, извергавшей непонятные слова. Хильер догнал его и принялся успокаивать:

— Да будет тебе, Тео, брось. Сейчас дохнешь морского воздуха и полегчает.

Они вышли к небольшому причалу, выложенному шербатым скользким булыжником. На босфорских волнах качались объедки. Двое заросших подростков (один был босым) при свете фонарика орудовали старым железным ломиком, пытаясь вскрыть какой-то контейнер. Заметив Хильера и Теодореску, турки вызывающе рассмеялись и удрали. Под унылыми навесами тянулись упаковочные клетки, из которых доносилась крысиная возня. Где-то вскрикнула чайка, словно разбуженная ночным кошмаром.

— Тут можно славно побеситься,— сказал Хильер.— Давай-ка прыгнем в одну из этих лодок.

Вдали плясали мутные огоньки торгового судна. Где-то полным ходом шла вечеринка: до Хильера доносились иступленно-радостные — судя по всему, скандинавские — крики. Хильер подвел Теодореску к скользкому, с прозеленью краю причала.

— Осторожно, осторожно,— сказал Хильер.— Мы ведь не хотим бултыхнуться, правда?

Теодореску засыпал на ходу. Хильер смотрел на его громадную, обвисшую физиономию: от бывшего тучного благородства не осталось и следа.

— Паршивый инострашка ты, а не британец,— сказал Хильер.— Тебе даже до этой вот баржи не допрыгнуть.

Перед ним покачивалась пустая угольная баржа. Днище ее покрывал слой черной пыли. Выгруженный уголь, сваленный в кучи вдоль мола, поблескивал в лучах поднимавшейся турецкой луны. Порожняя посудина тихо похлюпывала метрах в полутора от причала.

— Не могу,— произнес Теодореску, мутным взором глядя на море.— Ненавижу воду. Холболлз, дурак старый, таскал купаться, а плавать толком не научил. Хочу домой.

— Трусишка,— подзуживал его Хильер.— Иностранка-трусишка.

— Рыбка с картошечкой. «Мамаша Шнстн».

Хильер приподнялся на цыпочки и шлепнул Теодореску по левой щеке. Он старался ни о чем не думать. Боже, Боже, Боже. Неужели Теодореску и впрямь такой законченный мерзавец? Мог же просто выслушать все, что ему выложили. Безо всяких вопросов, безо всяких долларов... И имя ему сообщили, и месторасположение. Что он там говорил о свободе воли, о праве решать?

— Решай, Теодореску,— сказал Хильер.— Давай иди сюда. Койка узковата, но ты влезешь.

— Мать здоровый пирог прислала. А Беллами, гад, почти все съел.

— Ну, бьемся на пять шиллингов? Ставлю пять, что я прыгну, а ты сдрейфнешь.

— Пять? — Он слегка встрепенулся.— На деньги не спорю. Джим, старый хрыч, орать начнет.

— Смотри,— проговорил Хильер примериваясь. Примерно в полуметре от планшира торчал деревянный выступ. Сойдет.— Внимание: раз-два.

Хильер играючи прыгнул на выступ. Даже дыхание не сбилось. Он смерил взглядом ничтожное расстояние, отделявшее его от причала, на котором нерешительно показывался Теодореску.

— Давай, трусишка! Ну, давай, вонючка-инострашка. Нейтралишка ублюдочный, не дрейфы!

— Британец... — проямлил Теодореску. Он гордо, вытянувшись, словно услышал звуки национального гимна. — Никакой не нейтрал.

И он прыгнул. Море, в которое неожиданно низверглась огромная туша, взметнулось, выражая свой протест, свой бессловесный, кипенный, тающий ужас, в самых курьезных формах: от едва узнаваемых пародий на женские прелести до исламских букв, по размеру годящихся на плакаты, от образчиков кружевной вышивки до крепостных башен, рушившихся под ударами молний. Вода зашипела, словно зашикавшие от возмущения зрители.

Оказавшийся между причалом и некрашеным бортом баржи, Теодореску прохрипел, ловя губами воздух:

— Подлюка! Скотина! Так нечестно. Знал, что не допрыгну.

— Ты забыл отпустить мне грехи, — сказал Хильер.

Он вспомнил про рукопись Роупера. Хроника предательства отправится сейчас на дно. А с ней и пачки денег, целое состояние. Тусклые блики перстней сопровождали потуги Теодореску вскарабкаться по мшистой кладке причала. Не в силах удержаться на плаву, он, словно распятый, с воем пытался упереться в обе стенки своего хлябкого, хлюпкого sklepa. Но единственное, что ему удалось, — это оттолкнуть баржу. Новый крик о помощи внезапно осекся: рот наполнился грязной водой.

— Беллами... финья... фонючая! — вопил он, задыхаясь.

Но старосты только посмеивались. Господи, взмолился Хильер, прибереги его поскорей. Он спрыгнул на дно баржи, но ничего, кроме тяжелой лопаты, там не обнаружилось. Взяв лопату, он полез наверх и по звуку, еще не видя Теодореску, понял, что тот из последних сил цепляется за два склизких отвеса — каменный и деревянный. Хильер представил себе этот каннибальский завтрак: он бьет по черепной скорлупе до тех пор, пока на волнах не закачается алый желток. Нет, так не пойдет. Да и ни к чему — действие PSTX еще не кончилось. Хильеру почудилось, что Теодореску сложил руки, подобно стоику,

обутому в «испанский сапожок». Потом он произнес что-то на неизвестном Хильеру языке и, кажется, уже по своей воле (глаза закрыты, губы плотно сжаты) решился пойти ко дну. И пошел. Море ответило странной булькающей отрыжкой, будто тотчас принялось его переваривать. Затем все успокоилось. Хильер затаился своей бразильской сигарой и, пуская клубы дыма, засеменял к носу баржи. Прямо перед носом к причалу был прибит истрепанный спасательный пояс, смягчавший удары о камень. Ухватившись за него, Хильер без труда вскарабкался на причал. Теперь, когда с делами покончено (правда, он вдруг вспомнил о Корнпит-Феррерзе: тот показывал нос и издевательски хихикал), можно возвращаться домой. «Вот только где он, этот проклятый дом?» — подумал Хильер, вдыхая вечерние турецкие ароматы.

Часть четвертая

1

— Так, все начинают пить, — крикнул телережиссер. — И никакой зажатости. Говорите, но не слишком громко. Помните: вы всего лишь фон. Пока не забыл, хочу сказать, что очень благодарен вам за помощь. Говорю не только от себя, но и от имени Би-би-си. Хорошо, все готовы к репетиции? Джон, готов?

Режиссер обращался к субъекту с бледным, похмельным лицом, сидевшему за стойкой бара. На него была направлена камера, сверху свисал микрофон. Перед ним стояла двойная порция ирландского виски, к которому он не прикасался и (бррр!) прикасаться не собирался.

— Все, снимаем, и кончено! — сказал режиссер.

— Микрофон фонит, — сообщил оператор.

Пришлось настраивать микрофон.

— Так, снимаем, — скомандовал режиссер. — Пожалуйста, тише!

— А мы попадем в кадр? — неожиданно забеспокоился один из сидевших в зале. — Всех в кино покажут?

— Этого я гарантировать не могу, — раздраженно ответил режиссер. — Поймите, вы всего лишь фон.

— Но все-таки не исключено? Может, я и попаду в кадр, да? — Он дрожащей рукой взял стакан и осушил его одним махом. — Этого я не могу допустить. — Он под-

нялся.— Простите. Наверное, мне надо было раньше сообразить. Но,— в голосе его появились агрессивные нотки,— я привык пить именно в этом баре. И имею на это такое же право, как и все остальные.

— Не двигайтесь,— приказал режиссер.— Я не хочу, чтобы там было пустое место. В чем дело? У вас что, не дружи есть какие-то в Англии?

Смягчив тон, он добавил:

— Не волнуйтесь. Будете читать газету, она скроет ваше лицо. К тому же неплохая деталь.

Режиссер достал из кармана пальто сложенную «Таймс», вчерашнюю или даже позавчерашнюю. Сам он ее не читал: следить за новостями не было времени.

— Ладно,— согласился человек.— Спасибо.

Он развернул газету и стал изучать первую страницу. Седой электрик поднес к камере покрытый белесой пылью нумератор с «хлопушкой».

— Поехали! — скомандовал режиссер.

— Сцена десятая, дубль первый,— провозгласил ассистент.

— Давай! — сказал звукооператор.

«Хлопушка» щелкнула.

— Мотор!

— В барах, похожих на этот, он любил коротать свой досуг *,— начал похмельный Джон, уставившись честными и смертельно усталыми глазами прямо в камеру.— Он раскладывал свои желтоватые листочки, брал огрызок карандаша и записывал все что слышал: непристойный стишок, скабресный анекдот или какое-нибудь соленое словцо. Вообще-то у него никогда не было досуга, он постоянно работал. Подобно Автолику *, он умел захватить врасплох зазевавшихся рыбешек банальности. Возможно, его приверженность к местным словесным отбросам и обветшалой велеречивости объяснялась тем, что этот город ему не был родным, не был ему родным и ни один другой город этой убогой, злобной, но волшебной страны. Он был чужаком, скитальцем, пришедшим сюда позже всех, тайно обжившим перед тем всю Европу — от Гибралтара до Черного моря. Здешняя атмосфера оказалась для него внове. Подмечая острым глазом...

— Таким же, в который ты сейчас получишь,— буркнул подвыпивший бородатый парень, местный певец.— Убогой и злобной, говоришь? И после этого смеешь называть ее волшебной?

— Вырежьте,— сказал режиссер.

— Вот как морду тебе сейчас расквасят! — крикнул парень, отбиваясь от вцепившихся в него рук.— И камеру твою идиотскую, и весь этот хлам! Ишь, заявляются тут иностранцы всякие и страну нашу поносят!

Не обращая на него никакого внимания, техники принялись хладнокровно перенастраивать аппаратуру: свет, тень, угол, уровень. Бородач же, которого уже поволокли к дверям, продолжал сыпать проклятьями. Режиссер обратился к человеку по имени Джон:

— Надо этот убогий и злобный эпизод вырезать, но сохранить. Может, сумеем продать его ирландскому телевидению.

— А мне понравилось. К тому же он прав.

— Меня не интересует, прав он или нет. Меня интересует наш образовательный фильм, будь он трижды неладен! Так, все готовы?!

Имея уже опыт трехдневного пребывания в стране, он добавил:

— И, пожалуйста, прошу не перебивать, пока оператор не закончит.

Но второй дубль был испорчен человеком (на вид — выпускником Тринити-колледжа), сказавшим:

— А что, разве она не убогая и злобная? Как он сказал, так и есть.

— Вырежьте.

Человека, читавшего «Таймс», вдруг так затрясло, что и третий дубль оказался испорченным. Звукооператор воскликнул:

— Шуршание газеты все забивает! Словно солдаты маршируют.

— Вырежьте.— Режиссер подошел к человеку с газетой.— Наверное, приятель, тебе лучше выйти. Ты уж не обижайся. Когда вернешься, тебя будет ждать кружка пива.

Человек вышел. Дьюк-стрит золотилась в лучах осеннего солнца. Он повернул на Доусон-стрит и зашагал на юг, к Стивенз Грин. И так, они узнали. Или кто-то другой. Недаром везде мерещатся снайперы, недаром все время снятся эти двое — учтивые джентльмены в плащах. Газета была по-прежнему зажата в левой руке. Он снова взглянул на почтовый номер автора объявления. Если бы не сегодняшний случай он бы ничего и не знал. Страх так и оставался бы во сне. Выбора нет — придется отвечать,

дальше скрываться не имеет смысла. Но до того как ответить, следует сделать кое-что важное. Он нервно свернул в сторону Беггот-стрит, недалеко от которой оставил свой невзрачный автомобильчик. Сев в него, он вместе со сверкающим автомобильным потоком двинулся на север, по набережной. Кейпел-стрит, Дорсет-стрит, Гарднер-стрит.

В большой комнате было прохладно, как и положено в храме. Вышедшему навстречу высокому человеку он сказал:

— Я тщательно все обдумал и наконец сделал выбор.

— Это очень серьезное решение.

— Я думал и о других путях, как вы советовали. Но этот для меня единственно возможный.

— У вас не должно быть никаких сомнений.

— У меня их нет и никогда не будет. Я могу быть полезен.

— Можете. Что ж, я выполню свое обещание, время пришло. Ждать вам придется недолго.

— Спасибо.

Дорога к дому (по крайней мере, так он его называл) была неблизкой. Он ехал вдоль берега, слева лежало море. С одной стороны показался Блэкрок-парк, с другой— Блэкрок-колледж, и он почувствовал, что успокаивается. В гавани (некогда Кингстаун Харбор, теперь Дан-Лаогэр) сверкало солнце. Монкстаун-роуд. Где-то здесь был бар, в котором работал его сосед Ларри, существо, обходившееся без фамилии. Священник. Святое слово, святое дело. Джордж-стрит. Нижняя. Верхняя. Саммерхилл-роуд. Улица Гластьюл. Сандикоув-роуд. А вот и залив Скотсманз, гавань Сандикоув. Одна из башен, построенных Питтом * для защиты британской земли. «Скоро галлов парусина выжмет сок из Апельсина!» * Ничтожные последствия для такого мощного вторжения. Сморщенный апельсин. Все здесь уменьшается в размерах, приобретает сладость. Но пора возвращаться в горький мир. Он свернул вправо на Альберт-роуд.

Домик был небольшой, ухоженный, недавно покрашенный (из-за соленого морского ветра красить приходилось часто). Над темно-коричневой крышей с криками кружила чайка. Он открыл дверь. Из комнаты мистера Салливана, когда-то служившего в Замке *, раздавался громкий кашель. В уютном, волглom запахе холла ощущался смутный хлебный привкус. Стоячая вешалка, ба-

рометр. На стенах аляповатые картинки: «Святое Сердце» *, «Пресвятая Дева Мария», «Св. Антоний» *, «Цветочки» *. Их автор каждый вечер спускался в подвал отеля «Ормонд» и среди пышущих жаром труб, напоминавших питонов, корпел над своими агнографическими * творениями. Время от времени какой-нибудь уважающий искусство официант приносил ему бутылку пива.

— Миссис Мадден, я дома, — крикнул он.

Слово это уже не казалось ему неестественным и вынужденным. Скоро он будет еще в большей степени дома.

Миссис Мадден (пышногрудая, с шальными глазами) вышла из кухни, отирая руки о передник.

— Сразу подавать?

— Одну минуту, схожу напишу письмо и тотчас спускаюсь.

— Только не задерживайтесь. Я ставлю на огонь.

Она отправилась к своим сковородкам, а он поднялся по лестнице. На стенах вдоль лестницы висело еще несколько религиозных картинок, на этот раз итальянских: смуглый Христос, лишившаяся чувств Мадонна. Фотография покойного папы Иоанна *. Он вошел в свою гостиную (она же спальня). Окна ее выходили на парк Даидли, на озеро, по форме напоминавшее ладонь. За парком виднелась Бреффни-роуд, а за ней — море. На стенах вместо картинок висели карты городов. Масштаб был очень мелким, и, чтобы прочесть название улицы, приходилось пользоваться лупой. Все города находились по ту сторону так называемого «железного занавеса».

Что ж, он работал, зарабатывал, но по сути дела — убивал время. За несколько недель, проведенных в Долфине, почти все его деньги растаяли, и пришлось зарабатывать преподаванием иностранных языков в небольшой частной коммерческой школе, отыскавшейся в Бутерстауне. Он экономил на еде, пил дешевое пиво. За все это время у него не было ни одной женщины. Словом, убивал время. Он уселся за маленький столик, достал бумагу, шариковую ручку и написал несколько строк, отвечая на объявление в «Таймс». Поставил дату, но адрес не указал. Он написал: «Я жив. Мне уже почти не страшно. Поместите точно такое же объявление в «Таймс» ровно через год, к тому времени я совсем перестану бояться. Я сообщу вам свой адрес, и вы сможете прийти». Он подписался. Пусть видят, что подпись настоящая. После обеда он отправится в гавань и убедится, что его письмо дей-

ствительно оказалось на борту посудины, плывущей в Англию. Вот и пришлось вспомнить старые хитрости. Но скоро они понадобятся для гораздо более интересного дела.

2

В тот день, когда он встречал их в дублинском аэропорту, лил страшный дождь. Прошло уже больше года, и для него это время было отмечено возобновлением работы, дисциплиной и послушанием. Объявление они дали день в день, он тотчас откликнулся, но они сообщили, что встреча немного откладывается, поскольку сразу выехать они не могут. Он улыбнулся, вспомнив свое облегчение и в то же время досаду. В конце концов, у них он числился мертвым. А ведь он сам говорил как-то, что возрождение возможно только после смерти. Он поднял воротник плаща и плотнее укутал шею шарфом: для недавно оправившегося от простуды погода была не самой лучшей. Объявили, что самолет на десять минут опаздывает. Он заказал в баре двойное ирландское виски. Неожиданно он увидел отца Берна. Тот приехал из Корка навестить внучатого племянника. Старик был по-прежнему наравнодушен к ирландскому виски, антисемитский пыл его поубавился. Куда нас заведут эти екуменические * новшества, совершенно неизвестно, но мы же должны идти в ногу со временем, верно, мой мальчик? А что, этот твой дружок, любознательный такой, прости его, Господи, как его, Хопер, Рэйпер? Хильер сказал, что Роупер написал ему из Восточной Германии. С женой они одно время жили порознь, но теперь сошлись. На большевиков работает, как я тебя понял? Господи, что за мир! Он и мальчишкой был безбожником — все его наука. Минутку, — сказал Хильер.

Самолет спустился с небес. Зонты у входа в аэровокзал. И вот... Придется преодолеть смущение.

— Надо же, — сказал Хильер, — боялся. Даже сейчас слегка побаиваюсь. Мне есть за что просить прощения.

— Думаю, нам тоже, — сказал Алан. — Между прочим, вы почти не изменились. Разве что похудели.

Алан превратился в рассудительного молодого человека. От сигареты он отказался. Что касается Клары, то она была по-прежнему красива.

— Где вы собираетесь остановиться?

— В «Грешаме». Неплохой отель?

— Роскошный. Одни кинозвезды и прочая элита. Я там даже выпить не могу себе позволить.

На бесконечной ленте приплыл багаж.

— У нас только по одному чемодану,— сказал Алан.— Мы всего на пару дней: у Клары скоро свадьба.

Хильер прислушался: екнуло ли сердце, но тут же усмехнулся над собой.

— Что ж, как говорится, одному не страшно, а двоим веселей. Кто он?

Клара зарделась.

— Скульптор. Но вполне обеспеченный, поверьте. Лондонский муниципалитет заказал ему скульптурную группу, символизирующую всеобщее образование. У него большие перспективы, честное слово.

— Честное слово,— повторил за ней Хильер, поднимая новенький чемодан из свиной кожи,— у меня и в мыслях не было, что он женится на вас из-за денег. Алану он нравится?

— Охотников до денег было предостаточно,— сказал Алан,— но этот парень мне понравился.

— Кто будет посаженным отцом?

— Можете смеяться,— ответил Алан,— но одно время мы всерьез подумывали просить об этом вас...

— Ну уж нет.

— ...Но Хардвик настаивает на том, что это его забота. Джордж, я хотел сказать: наверное, теперь его надо называть по имени. Сейчас каникулы, и мы живем у него в Суррее. Хороший парень, правда, чересчур много смеется. Но, с другой стороны, у него есть причины для веселья: его назначили председателем комиссии, представляете!

— Неужели? Вот моя машина.

— Мне все время казалось, что вы продолжаете свои шпионские похождения,— сказал Алан.— Но, насколько я могу судить, все это в прошлом. Теперь вы вполне порядочный гражданин.

— Не вполне. Не вполне порядочный.

Они проехали указатель «Ата-Клот» *. Дублинское шоссе превратилось в зеленую полосу насквозь промокших деревьев. Дворник в машине работал скверно. Хильер спросил про мачеху.

— А, эта сука... Вообще-то она все обделала как надо, хотя адвокаты и наговорили про нее всякого. Вышла замуж за какого-то типа со стороны, а вовсе не за своего

постоянного любовника. Получила меньше, чем рассчитывала, но на то, чтобы стать лакомой вдовушкой, хватило. Сейчас они, кажется, в Канаде. Он сам канадец, занимается пишущими машинками.

— Надеюсь, не самозванец?

— Я был тогда еще совсем ребенком с хорошей памятью,— сказал Алан.— И слишком много знал, правда, все это была чепуха, годящаяся только для викторин. Теперь я решил изучить что-то одно, но по-настоящему. Я хочу стать специалистом по средневековью.

— Очень интересно. Но требуется ли это для мучного бизнеса?

— Хотя мы теперь и едим хлеб, но не слишком о нем заботимся. Нет, мучным бизнесом Уолтерсов пусть занимается кто-нибудь другой. А мне хочется только одного — получить эту бессмысленную с точки зрения бизнесмена стипендию.

— Смотрите, церковь Финдлейтера *,— сказал Хильер,— Видите? Да, местечко у нас: хлещет круглый год!

— Зачем же вы здесь поселились? — спросила Клара.

— А где еще селиться англичанину-католику, обреченному на изгнание? Все-таки западная столица, к тому же не слишком шумная. Море. Немало выдающихся личностей родом отсюда. Завтра мы сходим в собор Святого Патрика. Про Свифта и Стеллу слышали? * Кстати — и это еще одно преимущество — для ирландцев история не имеет временной протяженности. Дружья и враги держат друг друга железной хваткой. Очень похоже на объятия влюбленных.

— Страна нейтральная,— добавил Алан.— Далекая от мировых катаклизмов. Господи, посмотрите на тот пращечный фургон! Видите, у него свастика на борту! В какой еще стране такое возможно?

— Надо быть осторожным со словом «нейтральная»,— сказал Хильер.— Не обязательно видеть развалины городов, чтобы помнить о войне. Отсюда точно так же, как и из любого другого места, могут начать страшную войну. Я говорю о войне, по сравнению с которой обычные войны просто ничто.

— Вы говорите о Добре и Зле? — спросил Алан.

— Не совсем. Нужны новые понятия. Бог и Небог. Спасение и вечные муки должны быть уравнены в своем величии, как две стороны подлинной реальности. Что же касается зла, то его надо уничтожить.

— Заодно с нейтралами,— сказал Алан.— Если говорить о настоящем противоборстве, то в нем не будет места для шпионов, «холодной войны», сфер влияния и прочей чепухи. И все же лучше заниматься этими глупостями, чем быть мерзавцем-нейтралом.

— Теодореску умер,— произнес Хильер.— В Стамбуле.

— С вашей помощью?

Вопрос был задан бесстрастным тоном профессионала.

— В каком-то смысле — да. Я приложил к этому некоторые усилия.

— С ним, помнится, была индианка,— сказала Клара.— Красивая и готовая для него на все.

— Я ее больше не видел. Она обладала великим даром, она могла отворить дверь в иной мир. Глупо, наверное, звучит, да? Этот мир не был ни миром Бога, ни миром Небога. Так сказать, модель подлинной реальности, лишенной главного — дуализма. Кастрированная подлинная реальность. То, что делала она (кстати, еще один нейтрал!), — тоже в каком-то смысле добро. Но добро не только нейтрально, оно неодушевленно: музыка, вкус яблока, секс.

— Но все-таки не ипостась Бога? — спросил Алан.

— Понять, что есть Бог, нельзя, не понимая, что есть Его противоположность. От этой великой оппозиции нам никуда не деться.

— Похоже на манихейство, правда? Господи, как мне не терпится поскорее заняться средневековьем.

Они подъехали к отелю «Грешам». Под дождем стояло несколько школьниц с блокнотиками для автографов. Они замялись, не зная, надо ли подходить к Кларе.

— Тут одни киношные знаменитости,— сказал Хильер.

За багажом вышел носильщик с огромным зонтом. Алан с Кларой подошли к дежурной.

— Я подожду вас в комнате отдыха,— сказал Хильер.— Выпьем в окружении кинозвезд.

— Плачú я,— сказал Алан.

Спустившись, они едва не потеряли дар речи. Хильер снял плащ и шарф и сидел теперь, улыбаясь, в священническом облачении. Впрочем, завидев Клару, он, как подобает джентльмену привстал. Клара сказала то, что и должна была сказать:

— Значит, я все-таки могу называть вас отцом?

— Чего-то я не понимаю,— хмуро проговорил Алан.— Вы же только что разглагольствовали про все эти манихейские штуки. Что может быть менее правоверным?

— Для того чтобы спасти мир, годятся любые способы — правоверные и неправоверные. Неужели беспристрастный нейтралитет лучше служения дьяволу? Что вы будете пить?

Официант застыл, словно ожидая святого благословения. Алан сделал заказ и, когда принесли джин, размашисто — наследник мучного короля! — подмахнул счет.

— Никак не могу привыкнуть к вашему наряду,— сказал он.— Не сомневаюсь, что это очередная личина.

— Нет, всего лишь запоздалое прозрение,— сказал Хильер.— Мне пришлось поехать в Рим и посещать там что-то вроде ускоренных курсов. Но на днях вы снова меня встретите, и тогда уже я действительно буду выдавать себя за другого. Снова назовусь специалистом по пишущим машинкам или владельцем фирмы, производящей презервативы, или, к примеру, торговцем компьютерами. Правда, поеду я туристским классом. А все остальное — как в старые добрые времена: проникновение за «железный занавес», шпионаж, подрывная деятельность. Но война уже никогда не будет «холодной». И она не ограничится противоборством Востока и Запада. Просто так уж вышло, что я знаком с языками противников по «холодной войне».

— Как иезуит елизаветинских времен,— сказал Алан.— Ни слова в простоте, одни увиливания.

— И убивать будете? — спросила Клара, пожалуй, громче, чем следовало.

Сидевшие рядом уважаемые дублинцы ошарашенно посмотрели в их сторону.

— По поводу убийства существует заповедь,— ответил ей Хильер и подмигнул.

— А как насчет коктейлей с шампанским? — радостно предложил Алан.— Выпьем?

— Вы — и вдруг священник...— недоуменно протянула Клара.

Хильер знал, о чем она сейчас вспоминала.

— Мой сан на прошлое не распространяется.

— Ошибаетесь. Я ведь тогда был не так уж глуп,— сказал Алан.— На корабле, я имею в виду. Раскусил, что вы не тот, за кого себя выдаете.

— Samozvanyets,— напомнил ему Хильер.— Кстати, человек, который ехал с нами в трамвае в тот вечер...

— В тот вечер, когда я...

В голосе Алана звучала спокойная гордость убийцы.

— Да. Он тоже раскусил. Но если разобраться, все это большой обман. Настоящая война идет на небесах.

Внезапно его охватила глубокая тоска. Постель его в ту ночь будет холодной и одинокой. Будущее виделось еще более мрачным, чем прошлое. Наступала старость. Может быть, нейтралы правы? Может быть, и нет ничего, кроме вселенского обмана? Но сама ярость, с которой нахлынуло на него сомнение, убеждала в том, что оно, сомнение, не уверено в своих силах, что оно готово капитулировать. Скучно. Он почувствовал голод. Алан, умевший разоблачать самозванцев, умел и читать их мысли.

— Давайте-ка закажем хороший обед,— сказал он.— Я плачу. С шампанским. С тостами.

— Восхитительно,— сказала Клара.

— Аминь,— сказал отец Хильер.

КОММЕНТАРИИ к роману «Трепет намерения»

«Полиольбион» — название корабля отсылает нас к поэме Майкла Дрейтона (ок. 1563—1631) «Полиольбион», в которой воспеваются красота природы Англии, ее героическое прошлое, обычаи и традиции.

Сатириаз — патологическое усиление полового влечения.

«Зверь» — апокалипсический символ сил зла.

«Кольцо» — оперная тетралогия Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга», состоящая из пролога «Золото Рейна» и трилогии «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов».

«Сделай меня целомудренным, но не спеши» — неточная цитата из «Исповеди» Бл. Августина (354—430). Ср.: «Даруй мне чистоту сердца и непорочность воздержания, но не спеши» («Исповедь», кн. VIII, гл. VII).

...*Кентерберийским, а не Гиппонским...* — Св. Августин Кентерберийский (?—604) — основатель христианских общин на юге Англии, первый архиепископ Кентерберийский. Бл. Августин с 395 г. был епископом Гиппона (Сев. Африка).

Руперт Брук — английский поэт (1887—1915), прославился книгой о первой мировой войне «1914 и другие стихи» (1915).

Старокатолики — приверженцы течения, отколовшегося от римско-католической церкви после принятия 1-м Ватиканским собором (1869—1870) догмата о непогрешимости папы.

...*из пятого младшего класса* — по системе, принятой в привилегированных частных средних школах, в классах с четвертого по шестой учатся по два года, первый год называется младшим, второй — старшим. Возраст учеников младшего класса 14—15 лет.

...*заповедей блаженства... восемь...* — о количестве блаженств, упомянутых в Нагорной проповеди, до сих пор идут споры, поскольку в Евангелии от Луки (6, 20—49) говорится только о четырех блаженствах, и, хотя принято считать, что в Евангелии от Матфея (5, 3—11) их восемь, согласно другим традициям, их семь (блаженства стихов 3 и 10 принимаются за одно) или девять, так как слово «блаженны» в Нагорной проповеди повторяется девять раз.

...*на якобы шотландском диалекте.* — Яков I, сын Марии Стюарт, правил Шотландией с 1567 г. под именем Якова VI, а после смерти Елизаветы I в 1603 г. стал одновременно и английским королем Яковом I.

...*Чемберлен — j'aime Berlin...* — двойной каламбур. Во-первых, намек на нерешительную политику британского премьер-министра Невилла Чемберлена (1869—1940) в отношении Германии, в частности, подписание им в 1938 г. Мюнхенского договора. Во-вторых,

намек на Х. С. Чемберлена (1855—1927), немецкого писателя английского происхождения, чьи пангерманские взгляды легли в основу идеологии национал-социализма.

«Черно-пегие» — во время подавления ирландских национально-освободительных выступлений в 1920—1923 гг. на английских солдатах были желтовато-коричневые мундиры и черные ремни.

Роджер Кейсмент (1864—1916) — дипломат, борющийся за независимость Ирландии и против ее участия в первой мировой войне. Вступил в контакт с немцами в надежде на их поддержку ирландского освободительного движения, был арестован англичанами и повешен в Лондоне в августе 1916 г. Для ирландских националистов его имя стало символом жертвенности.

Вордсворт — Уильям Вордсворт (1770—1850), английский поэт-романтик, приблизивший поэтическую речь к живому разговорному языку.

...Джонбулем Христом, распятым на «Юнион Джек». — Джон Буль — простоватый фермер из памфлета Дж. Арбетнота (1667—1735) «Тяжба без конца, или История Джона Буля» (1712); олицетворение типичного англичанина. «Юнион Джек» — учрежденный в 1801 г. британский государственный флаг, символизирующий союз Англии, Шотландии и Ирландии.

...экзогамного оплодотворения. — экзогамия — характерный для общинно-родового строя обычай, запрещающий браки в пределах одного рода или племени.

...манихейское месиво! — для манихейства, религиозно-философского учения, основанного персом Мани в III в. н. э., характерно представление о мире как смешении добра и зла, а о человеке — как творении тьмы, заключившей душу — искру света — в оковы плоти.

Антифон — попеременное пение двух хоров или солиста и хора. Одна из старейших форм католического служебного пения.

«Пал, пал Вавилон» — слова Ангела, возвещающего Страшный суд возмездия над грешным Вавилоном (Откровение Иоанна Богослова, 18, 2).

«Если я забуду тебя, Иерусалим» — Псалтирь, 136, 5.

Горгулья — характерное для готической архитектуры рыльце водосточной трубы в виде фантастической фигуры.

...обнаженное, как Ной... — Библия повествует о том, как однажды Ной «выпил... вина... и лежал обнаженным в шатре своем» (Книга Бытия, 9, 21).

...в позе выставленного напоказ Марса. — В «Одиссее» рассказывается о том, как Гефест застал Ареса на ложе своей супруги Афродиты и накинул на них невидимую железную сеть. В таком виде Афродита предстала перед смеющимися богами. В искусстве

и литературе послеантичного периода этот сюжет отразился преимущественно в своем римском преломлении, как история Марса, Венеры и Вулкана. Комизм данного эпизода усугубляется тем, что в поле «выставленной напоказ Венеры» оказывается Марс.

Нотунг — волшебный меч из «Кольца Нибелунга».

...слушая «Мейстерзингеров»... — имеется в виду опера Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1868), главный герой которой — знаменитый мейстерзингер, сапожник Ханс Сакс (1494—1576).

BVM — первые буквы слов Blessed Virgin Mary — Пресвятая Дева Мария (англ.). Игра на сходстве с аббревиатурой названия немецкой автомобильной фирмы BMW — Bayerische Motoren Werke AG.

Пресуществление — превращение во время причащения (евхаристии) хлеба и вина в плоть и кровь Христову.

Бедняжка Гертруда... — Гертруда Стайн (Stein, 1874—1946), американская писательница.

Эдуардовский костюм — плотно облегающий костюм с зауженными брюками и удлиненным силуэтом, получил распространение в начале XX в., в годы правления короля Эдуарда VII (1901—1910).

«Балканское собрание» — дорогие английские сигареты с фильтрами разных цветов.

...оба экстремума континуума — в математике этот термин означает максимум и минимум связанного множества; здесь — наиболее различные между собой женщины из «множества всех возможных женщин».

В 1870 году ее изобрели три человека... — на самом деле через несколько месяцев после начала совместной работы Скоулз отделился от Соула и Глиддена. Финансируемый Джеймсом Деисмором, он довел исследования до конца и в 1868 г. получил патент на печатающую машинку. В 1873 г. Фило Ремингтон с помощью Скоулза наладил ее серийное производство.

Актеон — согласно древнегреческой легенде, охотник Актеон, превращенный Артемидой в оленя, стал добычей собственных собак.

Карийон — музыкальный инструмент, представляющий собой набор колоколов различной величины; играют на нем при помощи клавиш или молоточков.

Ричард Роджерс — американский композитор (1902—1979), автор популярных песен и мюзиклов «Оклахома» (1943), «Саут Пасифик» (1949), «Звуки музыки» (1959).

...игристое вино Отвие... *Дома Периньона* — келарь бенедиктинского монастыря в Отвие (деп. Марна) Дом Периньон (1638—1715) первым научился делать шампанское вино шипучим.

Трость надломленная — библейский символ сокрушенного сердца

грешника (Книга пророка Исаии, 42, 3; Евангелие от Матфея, 12, 20).

...мисс «танцующей Девы»...— Девы, жена бога Шивы, часто изображается танцующей.

Алеаторическое — основанное на случайном сочетании звуков

Дравидская группа — группа языков, на которых говорит население южной Индии, северного Цейлона и западного Пакистана.

«*Кама Сутра*» — древнеиндийский трактат об искусстве и философии любви, написанный между I и IV в. н. э. Маланагой Ватсьяной. Все позы, упоминаемые в данной сцене, описаны в «Кама Сутре».

«*Рокат*» — вымышленный трактат, название которого переводится как «чувственное наслаждение» (санскр.-тамил.) и схоже с английским глаголом «to roke» — совокупляться (вульг.).

День Воздвижения Креста Господня — христианский праздник, установленный в честь воздвижения в IV в. н. э. на Голгофе креста, на котором, по преданию, был распят Иисус Христос.

«*Ипатия*» — исторический роман английского священника и писателя Чарльза Кинглси (1819—1875).

Уильям Малреди (1786—1863) — британский художник, автор конверта для первой в мире почтовой марки (1840).

«*Моральная философия*» *Дони* — трактат (1552) итальянского печатника и писателя Антонио Франческо Донни (1513—1574).

«*Кеннингтон Оувал*» — бывшая рыночная площадь в районе Кеннингтон, в южной части Лондона, превращенная в площадку для игры в крикет.

Картафил — имя Агасфера в одном из ранних вариантов легенды о «Вечном жнде».

Теобальд Бём (1794—1881) — немецкий флейтист и композитор; сконструировал современный тип флейты, т. н. флейту Бёма.

...над *Помпеями, Спалато, Кенвудом, Остерли*... — памятники Помпей и дворец Диоклетяна в Спалато (совр. Сплит) служили образцами для архитекторов-неоклассиков XVIII в. Кенвуд и Остерли — усадьбы в пригородах Лондона, перестроенные в неоклассическом стиле архитектором Робертом Адамом (1728—1792).

«*Алабама*» — знаменитый крейсер конфедератов, который во время Гражданской войны в США уничтожил за два года своих действий множество торговых кораблей северян. Потоплен в 1864 г.

«*Бигль*» — корабль, на котором Чарльз Дарвин совершил кругосветное путешествие (1831—1836). «*Беллерофон*» — английский корабль, который в июле 1815 г. у острова Экс взял на борт Наполеона и доставил пленного императора в Плимут, первую остановку на пути к острову Св. Елены. «*Баунти*» — шлюп, отправленный в 1787 г. к островам Сообщества. В 1789 г. на борту вспыхнул мятеж, во-

шедший в историю как «мятеж на «Баунти». В 1790 г. корабль был сожжен, а члены команды стали первопоселенцами на близлежащем атолле Питкэрн. «*Катти Сарк*» — последний из «чайных клиперов», быстроходных кораблей, возивших чай в Англию в XIX в. «*Дредноут*» — спущенный на воду в 1906 г. линкор, давший название классу военных кораблей. «*Индивор*» — барк капитана Джеймса Кука (1728—1779), участвовавший в открытии Австралии. «*Эребус*» — один из кораблей английского мореплавателя Джеймса Кларка Росса (1800—1862), обнаружившего в 1841 г. в Антарктиде два гигантских вулкана и давшего им имена по названию своих кораблей Эребус и Террор. «*Фрам*» — исследовательская шхуна. В 1893—1896 гг. участвовала в экспедиции Фритыофа Нансена, пытавшегося достичь Северного полюса. В 1910 г. доставила в Антарктиду экспедицию Роальда Амундсена. «*Гоулден хайнд*» — корабль, на котором Фрэнсис Дрейк (1540—1596) отправился в 1577 г. в кругосветное плавание. «*Грейт Гарри*» — флагман короля Генриха VIII (1509—1547). Первый английский двухпалубный корабль. Спущен на воду в 1513 г. «*Грейт истерн*» — крупнейший пассажирский пароход своего времени, спущен на воду в 1858 г. «*Мария Селеста*» — пассажирское судно, исчезнувшее в океане во время рейса в колонии; впоследствии было найдено пустым и неповрежденным. «*Мейфлауэр*» — судно, на борту которого в 1620 г. в Северную Америку прибыла одна из первых групп англичан-колонистов. «*Ривендж*» — галеон адмирала Дрейка, в 1588 г. участвовал в разгроме «Непобедимой армады». «*Скидбладнир*» — в скандинавской мифологии сделанный марликами цвергами для бога Фрейра корабль, который всегда имеет попутный ветер, вмещает любое количество воинов и может быть свернут, как платок. «*Виктори*» — флагман адмирала Нельсона (1758—1805) во время Трафальгарского сражения (1805).

Уриил, Рафаил, Рагуил, Михаил, Сариил, Гавриил, Иеремиил — имена семи архангелов, о которых упоминается в Библии (Книга Товита 12, 15; Откровение Иоанна Богослова, 8, 2 и др.). В ортодоксальной традиции встречаются имена только трех из них — Рафаила, Гавриила и Михаила. Имена остальных взяты из нудейской апокрифической «Книги Еноха», где подробно разработана ангелология.

Линга и йони — распространенные главным образом в шиванзме символы соответственно мужской и женской божественных производящих сил.

Махаманвантара (санскр.) — «большой мировой цикл», в индуистской космогонии — длительность очередного существования мира, 306 720 000 лет.

«Американо» — коктейль из сладкого вермута с тоником.

Джон Донн (1572—1631) — выдающийся английский поэт-метафизик.

...как хоронили Нельсона — во время похорон в соборе Св. Павла гроб с телом Нельсона был покрыт белым адмиральским штандартом.

Приап — в античной мифологии божество производительных сил природы; покровитель проституток, развратников и евнухов.

«*Благоуханный Сад*» — трактат об искусстве любви, написанный в XV в. тунисским шейхом Абу Али Омаром Ибн Мухаммедом ан-Нафзави и известный в Европе во французском переводе е-1850 г.

Либида — одно из основных понятий психоанализа. Означает влечение сексуального характера, преимущественно бессознательное.

Остров Ариадны — Наксос, где влюбленный в Ариадну Дионис похитил ее у Тесея.

Сфорцандо (муз.) — внезапное и резкое усиление звука.

Харроу — одна из старейших (основана в 1571 г.) престижных мужских школ.

Лепорелло — слуга Дон Жуана из оперы Моцарта «Дон Жуан».

...*вязаные шлемы*... — в память о Крымской войне подобные шлемы по-английски называются «балаклавскими».

Флоренс Найтингейл (1820—1910) — английская медсестра, организовавшая отряд санитарок во время Крымской войны.

Я Беатриче... — строка из «Божественной комедии» («Ад», II, 70; перев. М. Лозинского), имеющая по-итальянски и другой смысл: «Я Беатриче, которая прочистит тебе желудок».

...*domina, non sum dignus* — во время католической мессы священник перед тем, как положить в рот облатку, трижды повторяет: «Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum; sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea» — «Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой; но скажи только слово, и выздоровеет душа моя!» (Парафраз слов сотника из Евангелия от Матфея, 8, 8.). Комизм состоит в том, что вместо звательного падежа мужского рода Domine (Господь) употреблена форма женского рода domina (повелительница, возлюбленная).

Стихомифия — в античной драме быстрый обмен репликами, придававший языку живость и непосредственность.

Елифаз, Вилдад и Софар — друзья, пришедшие утешать Иова (Книга Иова, 2, 11).

Дуэйская Библия — английский перевод Библии для католиков. Предпринят в XVI—XVII вв. во французском городе Дуэ, центре английских католиков, оказавшихся в изгнании. Канонический перевод 1611 г. (т. н. «Библия короля Якова») используется в большинстве английских церквей.

«*Коварный Полиольбион*» — намек на Альбион, поэтическое название Англии. Выражение «коварный Альбион», часто встречающееся

ся в европейской литературе, восходит к строкам Св. Августина Кентерберийского: «Нападем на коварный Альбион в его собственных водах!»

...и всей Ее династии... — то есть династии Тюдоров; эмблемой Тюдоров была красно-белая роза, поскольку Тюдоры наследовали власть от династии Ланкастеров, в гербе которых была красная роза, христианский символ земного мира, и от династии Йорков, провозгласивших своей эмблемой белую розу, символ чистоты. Последними представителями дома Тюдоров на троне были королева-католичка Мария I (1553—1558), прозванная Кровавой за свои беспощадные преследования протестантов, и Елизавета I (1558—1603), вернувшаяся к порядкам англиканства.

Скарлетпимпернелизм — тайная переправка людей через границу — от прозвища героя приключенческого романа «Скарлет Пимпернел» (1905) английской писательницы венгерского происхождения Эммушки Оркси (1865—1947).

«Я все еще герцогиня Амальфи!» — цитата из драмы «Герцогиня Амальфи» (1614) английского драматурга Джона Уэбстера (1580—1625).

Олбани — фешенебельный многоквартирный жилой дом в Лондоне на улице Пиккадилли.

Кит Марло — обвинявшийся в безбожии английский драматург Кристофер Марло (1564—1593). Был убит ударом кинжала наемного убийцы Ингрема Фрайзера.

...сюрреалистический кадр — имеется в виду знаменитый сюрреалистический фильм Лунса Бунюэля и Сальвадора Дали «Андалузский пес» (1928), один из первых кадров которого — крупный план разрезаемого бритвой глаза.

Джозеф Конрад (настоящее имя Юзеф Теодор Конрад Коженёвский, 1857—1924) — английский писатель.

Лорелея — нимфа, сидящая на утесе на берегу Рейна и увлекающая своими песнями корабли на скалы.

...шекспировские рога... — ср., например, «Как вам это понравится», V, 2: «Носить рога не стыд тебе. / Он давно в твоём гербе» (перев. Т. Щепкиной-Куперник).

В названии... отражался он сам — название этого вымышленного сорта виски «Олд морталти» буквально переводится как «Давно усопшие». Так звали героя одноименного романа Вальтера Скотта (в русском переводе «Пуритане»), Кладбищенского Старика.

Византии он достиг первым... — трактовка Византии как символа рая на земле, вечного покоя, гармонии и блаженства восходит к мифопоэтической системе ирландского поэта У. Б. Йейтса (1865—1939). См. его программные стихотворения «Византия», «Плавание в Византию».

ИРА — Ирландская республиканская армия, основанная в 1919 г. военная националистическая организация, которая в своей борьбе за воссоединение Ирландии нередко прибегает к террористическим методам.

«Блистательная Porta» — бытовавшее в Европе название Османской империи.

...у Золотого Рога, а не на юго-востоке... — у входа в залив Золотой Рог находится главный порт Стамбула. В восточной части европейской половины города сосредоточены посольства, театры, банки и т. д.

Раки — турецкая виноградная водка с анисовыми добавками.

Анфимий, Исидор — византийские архитекторы, строившие храм Святой Софии в Константинополе.

Ахмед — распространенное имя султанов Османской династии. Ахмедом I (1590—1617) возведена стамбульская мечеть Султан-Ахмед-джами.

Баязид — распространенное имя султанов Османской династии. Баязидом II (1447—1512) возведена мечеть Баязид-джами.

Сулейман Великолепный — султан Сулейман I Кануни (1520—1566), по приказу которого построена знаменитая мечеть Султан-Сулейман-джами.

Феодосий — Феодосий I (ок. 346—395), император Восточной Римской империи (379—395).

Юстиниан — Юстиниан I (482—565), император Восточной Римской империи (527—565). В честь победы полководца Велизария над мятежниками построил храм Святой Софии (532—537).

Константин — Константин I Великий (ок. 285—337), римский император (306—337), провозгласивший в 330 г. Константинополь новой столицей империи.

Галатский маяк — стамбульский маяк на северном берегу залива Золотой Рог.

Скутари — предместье Стамбула, знаменитое громадным мусульманским кладбищем и многочисленными мечетями XVI—XVII вв.

мойгашелского пиджака — в североирландском городке Мойгашел производят плотное мягкое полотно.

«Эвенел» — Мэри Эвенел, героиня романов Вальтера Скотта «Монастырь» (1820) и «Аббат» (1820).

Глиденнинг — намек на Пьера Глиденнинга, героя романа Мелвилла «Пьер, или Двусмысленности» (1852).

Авиценна — латинизированное имя врача и философа Ибн Сины (ок. 980—1037).

«Адалламты» — отступники; по названию Адалламской пещеры, где Давид со своими сторонниками скрывался от царя Саула (Первая книга Царств, 22, 1).

«*Агапемон*» — коммунистическое поселение, основанное в 1849 г. в английском городе Спакстон. Обитатели поселения прославились своей безнравственностью.

Т. Б. Олдрич — Томас Бейли Олдрич (1836—1907), американский писатель и редактор.

«*Альмагест*» — энциклопедия астрономических знаний, составленная Птолемеем (ок. 90 — ок. 160).

Камеронцы — последователи шотландского пресвитерианского проповедника Ричарда Камерона (1648—1680), находившиеся в оппозиции к англиканской церкви и дому Стюартов.

Бальфур — намек на Артура Джеймса Бальфура (1848—1930), британского премьер-министра, автора декларации (1917) о создании еврейского национального очага в Палестине.

Рольф Болдревуд (настоящее имя Томас Александер Браун, 1826—1915) — австралийский писатель, автор авантурных романов о «золотой лихорадке» в Австралии.

«*Фруктидор*» — двенадцатый, последний месяц французского революционного календаря (18, 19 августа — 17, 18 сентября).

Иоганн Дёллингер — немецкий теолог и историк (1799—1890), отлученный от церкви за свои диссидентские взгляды.

Друидическое движение — движение, возрождающее традиции друидов, полулегендарных кельтских жрецов, выступающих в ирландских и валлийских легендах как чародеи и прорицатели.

Танжер — марокканский порт, популярный среди гомосексуалов:

«*Фоморы*» — морские разбойники из кельтских легенд (букв. — «подводные»), первоначально — божества зла и тьмы.

«*Габриэль Лажёсс*» — герой поэмы Лонгфелло «Эванджелина» (1847).

Джозл Харрис (1848—1908) — американский писатель, создатель образа дядюшки Римуса.

Ф. Норрис — Фрэнк Норрис (1870—1902), американский писатель.

В отличие от цирюльника Мидаса... — греческий миф повествует о том, что у фригийского царя Мидаса были ослиные уши, которые он прятал под шапочкой. Зная об этом цирюльник в конце концов не выдержал, вырыл в земле ямку и шепнул туда о своей тайне.

Микротональные мелизмы — мелодические украшения устойчивой формы со звуковысотными интервалами меньше полутона.

Ататюрк — «отец турок», имя, данное Мустафе Кемалю (1881—1938), основателю и первому президенту Турецкой Республики.

Яшмак — платок, которым мусульманские женщины прикрывают лицо, оставляя лишь тонкую прорезь для глаз.

...он любил коротать свой досуг...— по-видимому, речь идет о Джеймсе Джойсе.

Автолик — в греческой мифологии сын Гермеса, ловкий разбойник, «самый вороватый из людей».

Питт — Уильям Питт Младший (1759—1806), английский государственный деятель, стремившийся к объединению Англии и Ирландии. Один из злейших врагов революционной Франции, опасаясь вторжения которой, строил многочисленные оборонительные сооружения. Возглавляемое им правительство подавило восстание в Ирландии в 1798 г. и в 1801 г. ликвидировало ее автономию.

«Скоро галлов парусина выжмет сок из Апельсина!» — намек на «защитника протестантской веры» штатгальтера Голландской республики Вильгельма III Оранского (William of Orange, 1650—1702; orange по-английски — апельсин), который в июле 1690 г. наголову разбил высадившиеся в Ирландии войска изгнанного из Англии короля-католика Якова II Стюарта.

Замок — Дублинский замок, бывшая резиденция английского вице-короля; ныне — место инаугурации президента Ирландии.

«Святое Сердце» — один из наиболее популярных у католиков культов. Поводом для его основания послужили видения ирландской монахини Маргариты Марии Алакок (1647—1690), которая утверждала, что видела кровоточащее сердце Христа в его отверстой груди.

«Св. Антоний» — Антоний Египетский (ок. 251—356), аббат, основатель монашества. С 286 по 306 г. жил отшельником в пустыне, где подвергался искушениям.

«Цветочки» — собрание рассказов о жизни Св. Франциска Ассизского (1181—1226), составленное в первой половине XIV века.

Агиография — церковно-житийная литература.

...папы **Иоанна** — имеется в виду папа Иоанн XXIII (1881—1963).

Экуменический — связанный с движением за объединение всех христианских церквей.

«Ата-Клот» — сокращение гэльского названия Дублина — Бейл-Ата-Клот, что значит «город на переправе с препятствиями».

Церковь Финдлейтера — пресвитерианская церковь Эбби-Черч на Ратленд-сквер, построенная на средства Александра Финдлейтера.

Про Свифта и Стеллу слышали? — В соборе Св. Патрика похоронены его декан, писатель Джонатан Свифт со своей подругой (по некоторым сведениям, женой) миссис Эстер Джонсон, письма Свифта к которой были опубликованы под названием «Дневник для Стеллы».

СОДЕРЖАНИЕ

Заводной апельсин.

Роман

Перевод В. Бошняка

3

В. Бошняк. От переводчика

150

Трепет намерения

Роман

Перевод А. Смолянского

152

*Комментарии
к роману «Трепет намерения»*

372

Бёрджесс Э.

- Б 48** Заводной Апельсин. Роман. Трепет намерения. Роман: Пер. с англ. / Коммент. А. Смолянского; Ил. и оф. А. Лишенко.— М.: Пресса, 1992.— 384 с. ISBN 5—253—00716—4

В книгу вошли два романа одного из самых известных английских писателей Энтони Бёрджесса (род. в 1917). «Заводной апельсин» (известный также по фильму Стэнли Кубрика) повествует о похождениях юного преступника и садиста Алекса, в душе которого странным образом уживаются жажда насилия и тяга к красоте. Роман «Трепет намерения», относящийся к временам «холодной войны», имеет явную политическую окраску и являет собой пародию на шпионские страсти Джеймса Бонда. Значительная часть действия романа происходит на территории Советского Союза, в Крыму.

4703010101—2900
Б 080(02)—92 2900—92

84.4 Вл

Литературно-художественное издание

БЕРДЖЕСС Энтони
ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН
ТРЕПЕТ НАМЕРЕНИЯ

Редактор

Е. М. Кострова

Художественный редактор

И. С. Захаров

Технический редактор

И. А. Синьковская

Младший редактор

Т. А. Мосневич

ИБ 2900

Сдано в набор 19.08.92. Подписано к печати 13.09.92.

Формат 84×108^{1/32}. Гарнитура «Литературная».

Печать высокая.

Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,16. Уч.-изд. л. 21,43:

Тираж 100 000 экз. Заказ № 1961. Цена договорная.

Набрано и отпечатано в типографии издательства
«Пресса». 125865 ГСП Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



